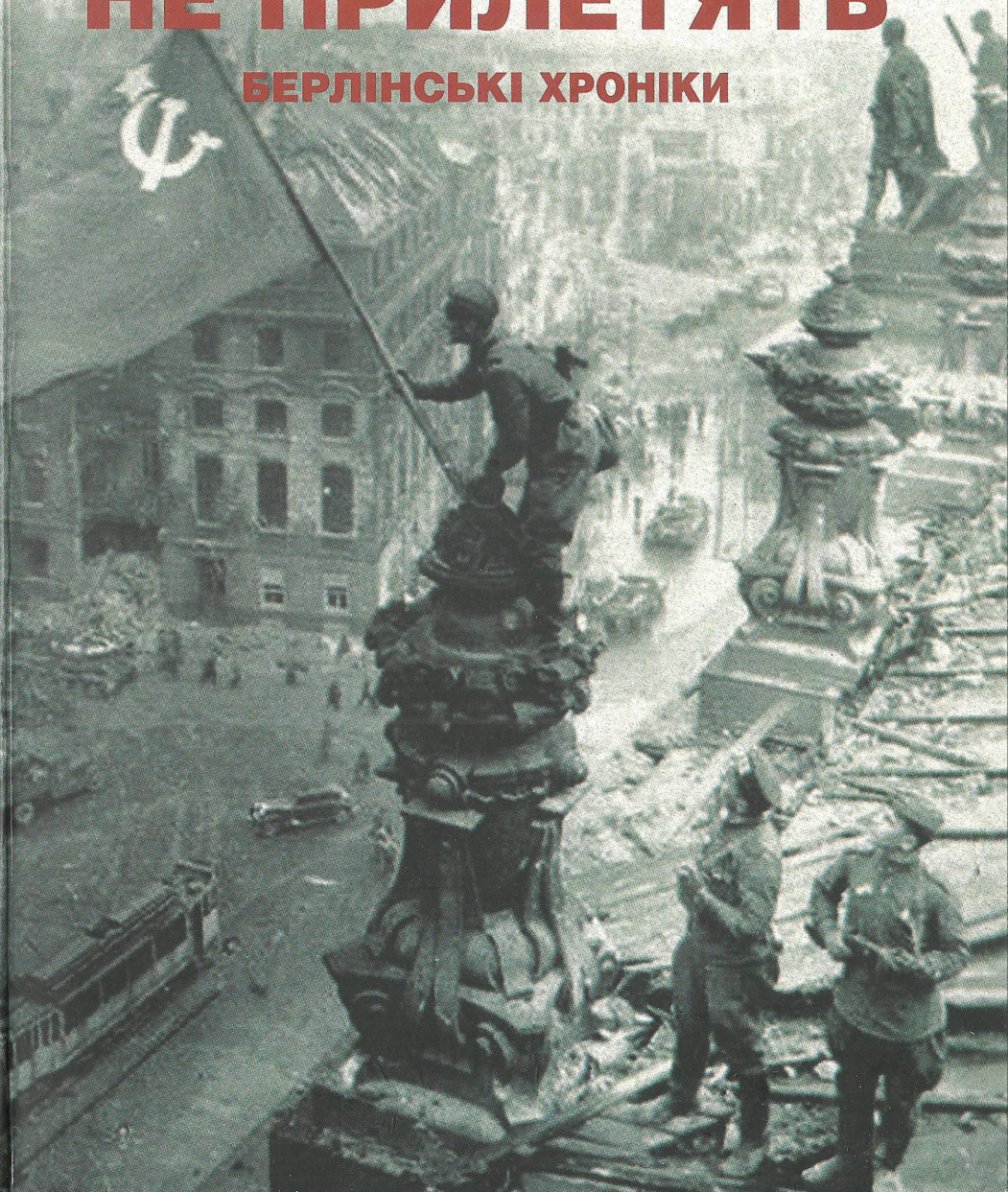


821.161.2'06
СЗ4

ОЛЕКСАНДР СИЗОНЕНКО

ВАЛЬКІРІЇ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ

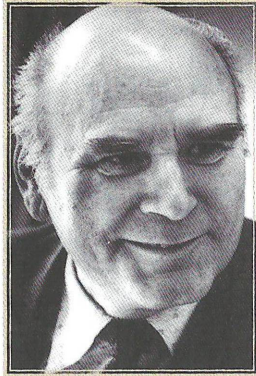
БЕРЛІНСЬКІ ХРОНІКИ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА
ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ



О. СИЗОНЕНКО



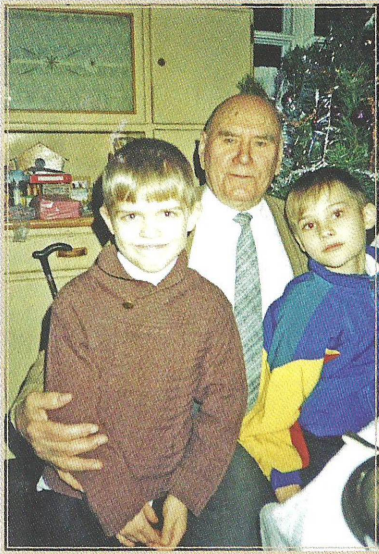
Це я в 2003 році



*Будинок кіно
20.09.2003 р.
Іван Драч вітає
ювіляра*

*2 жовтня 2003 р.
с. Мар'ївка
А в очах бринить
сльоза*





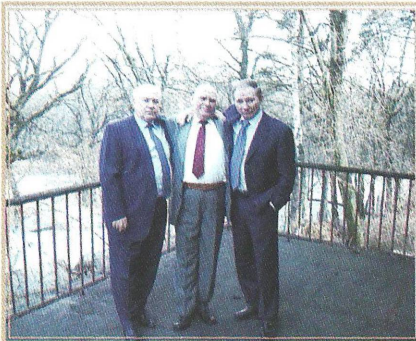
Правнуки. 2001 р.

В батьківському дворі — востаннє, на 80-ліття, 20 вересня 2003 року. З внучатою племінницею Людою, племінником Валентином Ночвиним, племінницею Ларою. Тепер хата валиться, покинута нею заради секти «свідки Ісгови», і вітер забуття заносить наші сліди на землі...





Трептов-Парк. Меморіал Вучетича, затверджений Й.В.Сталіним
Берлін. 23.10.2005 р.



Перша зустріч
з ініціативи
В.Ст.Черномірдіна – Посла Росії.
Конча-Озерна, 12 квітня 2005 року.
День Космонавтики



І. Драч, Л.Д. Кучма, О.Сизоненко,
Д. Павличко на святкуванні
п'ятиріччя Президентського фонду
«Україна»
7 грудня 2006 р.



Гвардії-сержант і генерал

АВТОБІОГРАФІЯ

Народився в с. Ново-Олександрівка Баштанського району в селянській родині. Батько – грамотний, закінчив двокласне після ЦПШ. Багато читав!

Дід мій – Микита Іванович Сизоненко, – тричі нагороджений Георгіївськими Хрестами за прориви з депешами в обложеному Порт-Артур на чолі відділення кінної розвідки IV козачого корпусу генерала Міщенка.

Після Русько-японської війни мірошникував у багатьох німців – колоністів. Непогано заробляв, передплачував журнал «Нива» с приложениями» и «Петербуржскую газету»! Однак, рано вмер від ран, одержаних під Порт-Артуром, в 1910 р.

Я, очевидно, живу за нього. На його журналах і книгах російської класики я навчився читати в 4 роки і читаю усе життя. Тому, мабуть, і став письменником.

В ніч на 22 червня 1941 року відбувся випуск 10-го класу Баштанської середньої школи ім. Т.Г. Шевченка. Я одержав атестат відмінника і похвальну грамоту. Медалей тоді не було.

На війну пішов після визволення 20 березня 1944 року. Закінчив школу молодих командирів в учбаті 149 запасного полку 8-ої армії Чуйкова. Командував Мінометною службою до Темпельгофського аеродрому. В Берліні – штурмовою групою. При взятті головного штабу ВМС Німеччини, був тяжко поранений у ближньому бою.

*Конча-Озерна,
12 квітня 2011 р.,
Ол. Сизоненко*

Олександр СИЗОНЕНКО

**ВАЛЬКІРІЇ
НЕ ПРИЛЕТЯТЬ**
(БЕРЛІНСЬКІ ХРОНІКИ)

РОМАН

НОВЕЛИ

ЕТЮДИ

ЕСЕ

Київ
Видавничий дім «АДЕФ-Україна»
2011

УДК 821.161.2-3
ББК 84(4Укр)6-4
С34

*Книга видана за підтримки
Комуністичної Партії України*

СИЗОНЕНКО О. ВАЛЬКІРІЇ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ. Берлінські хроніки. –
К.: , 2011. – 366 с.

Видавець і виготовлювач:
видавничий дім «АДЕФ-Україна»
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, офіс 40а
тел.: (044) 284-08-60, факс: (044) 284-08-50
e-mail: adef@adef.com.ua
www.adef.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДК № 334 від 09.02.2001

УДК 821.161.2-3
ББК 84(4Укр)6-4

ISBN 978-966-187-107-5

© Сизоненко О., 2011
© Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2011

ЗМІСТ

ВАЛЬКІРІЇ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ (роман).....	11
ЇМ СНЯТЬСЯ ЛЕВИ.....	12
ПЕРЕПРАВА.....	20
РЕТРОСПЕКЦІЯ.....	26
ГУДЕРІАН.....	38
МАГНУШЕВСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ.....	57
ХУРАТОВ.....	72
ПРОРИВ ЗА ВІСЛУ.....	86
ОД ВІСЛИ ДО ОДЕРА – 570 КІЛОМЕТРІВ!.....	92
ВІДСТАТИ ВІД РОТИ.....	94
ЕРНА.....	100
НА ДАМБИ.....	104
ЗЕЄЛОВСЬКІ ВИСОТИ.....	112
МАРШ-ЛІЕД НАД ПОВЕРЖЕНОЮ НІМЕЧЧИНОЮ..	125
СУХОВ.....	132
МАНЬКО.....	143
ВАЛЬКІРІЇ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ.....	150
ЕЛЬЗА.....	163
НА ФРІДРІХШТРАССЕ. 28 КВІТНЯ 1945 РОКУ.....	166
ТОДІ ЛІЧИТЬ МИ СТАНЕМ РАНИ.....	179
МЕРТВИМ НЕ БОЛЯЧЕ?.....	193
НОВЕЛИ ЕТЮДИ ЕСЕ ЦИХ ОКАЯНИХ ЛІТ.....	201
ОЙ ДІД-ЛАДО.....	202
А МИ ПРОСО СІЯЛИ, СІЯЛИ.....	214
А ЛИСТЯ ПАДАЄ Й ПАДАЄ... ..	221
ТС-С-С! НЕ ЗБУДІТЬ.....	230
ТИ ПЛАЧЕШ, СОЛДАТЕ?.....	243
ЗАБУТІ МЕЛОДІЇ.....	260
МОВЧАННЯ ЯГНЯТ.....	267
ВИДІННЯ?.....	276
АРАБ.....	279
ІМЛА.....	294
«ФАШИЗМ – ЭТО ЛОЖЬ, ИЗРЕКАЕМАЯ БАНДИТАМИ!»	298
ШЛЯХИ І ВІДСТАНИ.....	308
ЧИ ПЛАКАВ КОЛИ-НЕБУДЬ СТАЛІН.....	346



Дорогой Сама!

Читал твои главы о Фридрихштрассе, и горький комочек невылитых слез стоял в горле. Спустился к жене на кухню, чтобы встряхнуть себя крепкой чашкой кофе, жена взяла меня внимательно и спросила: «Что с тобой?» Я рассказал ей о твоей прозе, которая поразила меня. Тебе же я скажу солдатское и писательское спасибо за твой талант, духовную чистоту, чистую память, великое солдатское со товарищество, которое сильнее, нежели у других «баталистов».

О Сухопе ты написал великолепно. И все твои солдаты, офицеры – это мои со товарищи, мои близкие люди, почти всех сейчас их нет на белом свете. Независимо от разных разностей в характерах – это были прекрасные люди – как их не хватает сейчас! Мы с тобой, Сама, жили, воевали и умирали рядом с людьми, уже неповторимыми, ибо изменилась и сама Земля, и Воздух ее, и тепло Солнца. В своем письме ты написал очень сильную фразу о нашем, в сущности, поколении, именно нашем: «На Фридрихштрассе мы положили весь полк». Эту фразу я не мог читать без слез, как и многие места из твоих глав.

*24 марта 2011
Чистосердечно одними тебя.
Твой Ю. Бондарев*



Дорогой Сама!

Тысячу раз виноват перед тобой за очень запоздалый ответ, но были обстоятельства, через которые я не мог перепрлынуть: хворь, приезд родственников и множество других забот. Прочитал все, что ты прислал, и в одном месте да, да, пролил солдатскую слезу – так все нахлынуло из тех лет, из того судьбоносного месяца. Майор Подрубенко чрезвычайно мне дорог. В общем – хорошо, что ты взялся за войну. Наши поколения ушли и уходят последние. Вряд ли вспыхнет талант (новый) в нашей фронтовой среде, я не верю в чудо.

Очень жалею, что я отошел от войны и весь погрузился в новый жанр (как называли его критики) «мновоения». Но в них хочу рассказать, поразмыслить, порассуждать о многом в нашей жизни, военной, послевоенной и нынешней, пытающейся отнять у нас победу и все то время, в котором мы жили, росли, любили и умирали – как мужики, солдаты, а не смятяти, коих развелось сейчас стадами.

Все утренние часы, точнее – до обеда занимаюсь архивом, занимаюсь с чувством страха, что утону в нем – в рукописях, в письмах, в разных документах и материалах и это будет лишением за то, что не был аккуратен с бумагами.

Потихоньку, полегоньку собираю полное собрание, но говорить об этом рановато: «есть у нас еще дома дела»...

Хочу прочитать твой новый роман о войне – примили как только выйдет из печати. Я же посылать тебе книги опасаться: мои посылки частенько пропадают. Была бы оказия – я тебе передал бы кое-что, не дошедшее, быть может, до тебя.

Выздоровливай, дружище, храни тебя судьба.
С наступившим 2011-им! С Рождеством!

Обнимаю по-солдатски.
Твой Ю. Бондарев
8.01.2011г.

*Дорогой Саша!*

Пишу к тебе почти с родственным чувством - твои главы о последних днях в Берлине чрезвычайно понравились мне, это лучшая проза, которую я читал о последних минувениях войны. Взволновался и обрадовался одинаковости чувств и душевного состояния. Ты просто молодчина, снимаю тебя по-солдатски, с желанием выпить с тобой по «сто фронтовых грамм», но время, расстояния и, как говорят врачи, преклонные годы несправедливо разделяют нас, черт возьми. С большим нетерпением буду ждать твою книгу, ибо ты остался почти в одиночестве (как и я), верным нашей фантастической молодости, сотоварищам и Великим годам - и пишешь военную истину талантливо и с болью. После этих глав я полюбил твою прозу мудже, чем мне представлялось прежде. В ней нет ни усталости, ни спокойствия, ни самодовольства, чего я терпеть не могу в писательском деле.

В твоей прозе, слава Богу, царствует энергия.

По-братски снимаю и целую тебя.

Твой Ю. Бондарев



Дорогой Александр ...!

Простите за панибратство, но полное имя свое ни в письме к В.С.Кожемяко, ни в письме к нам со Светланой Вы не оставили. А подсмотреть негде, книги остались в Иркутске.

Спасибо Вам за сочувствие в нашем горе. Это не просто спасибо: если бы благодарность имела какие-то особые измерения, они бы потянули ой много. Никто так горячо и точно не сказал, что было - да и не только было, а продолжает быть причиной каждой частной беды. Их не миновать и не перечесть, из них состоит вся наша жизнь - до тех пор их не миновать, пока весь государственный порядок замешен на наплевательстве ко всем нам, на нас строится ужасающая несправедливость.

В очередной нашей беседе с В. Кожемяко он приводит Ваши слова о происходящем у вас и у нас, и они чеканно точны. Лучше и точнее не сказать. Скоро пятнадцать лет как мы с В. Кожемяко публикуем то в «Правде», то в «Сов. России» свои беседы. Скоро 15 лет - и хоть бы что-нибудь изменилось! Кроме того, что нефтяные деньги посыпались золотым дождем, а в результате в астрономическом порядке возросли аппетиты власть имущих, но бедные остались бедными, а несправедливость только увеличилась.

Ой, да что об этом!..

Меня утешает почти единственное: мне вот-вот 70, скоро уходить, и продолжения срама, слава Богу, увидеть не придется.

Мы со Светланой пока не меняем распорядок жизни: до конца марта - начала апреля будем в Москве, а затем до поздней осени в Иркутске - к сыну, внучке, к Марии. Московский наш адрес на конверте; иркутский: 664025, Иркутск, ул. 5-й армии, 67-68.

Еще раз спасибо за поддержку.

С наступившим новым годом!

Будьте здоровы. Кланяюсь вашим близким.

Дружески В. Распутин



*Дорогой друг и старший товарищ
Александр Сизоненко!*

Простите за витиеватое обращение, его можно было бы избежать, если бы я помнил Ваше отчество. Но его не было и в прежних письмах, нет и в последнем. Судя по всему, Вам еще и рановато его из запаса доставать. То, что Вы делаете, как пишете свои военные воспоминания – прозу, как гоняете на машине, с каким мастерством и как бы без особых хлопот получается у Вас берлинская эпопея – конечно, это не для старика, прожившего не только большую, но и долгую жизнь – это у человека с прекрасной памятью и твердой рукой, т.е. у человека, еще далеко не вошедшего в старость. Можно Вам завидовать, но зависть это не то, совсем не то – это могучая натура и господне вмешательство в нее. Что бы это ни было, но живите еще долго-долго и пишите так же молодецки. Я, к сожалению, не могу Вас и в подметки. Больницы, болезни, операции – все это уже надоело и раз за разом вышибает из радости. Московский период, видимо, к весне закончится, и буду окончательно перебираться в Иркутск. А там – как Господь соизволит.

Ваши берлинские страницы написаны и живо, и легко, и хорошо. Даже больше, чем просто хорошо. Но пристроить их я нигуда не смог. Вы и не просили меня об этом, однако, мне хотелось, чтобы они были напечатаны. Не тут-то было – юбилей прошел, теперь до следующего. Думаю, что Вас это и не огорчит – было бы написано. А когда так написано – оно и само устроит себя с достоинством. Ну и я постараюсь подталкивать, хотя и слушают меня уже не очень. Сошел – ну и оставайся там, куда сошел, не докучай нам.

Еще раз с благодарностью, почитанием и любовью.

Ваш В. Распутин.

ВАЛЬКІРІЇ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ

*«Ведь Берлин, если помните,
назван был под Москвой».*

Олександр ТВАРДОВСЬКИЙ



ЇМ СНЯТЬСЯ ЛЕВИ

ІНТРОДУКЦІЯ

«Воєнні сні вже не сняться мені», — напише в листі видатний письменник Росії Юрій Бондарев — ровесник, побратим по війні й літературі. А пам'ять — моя мучителька — послужливо навіює асоціативний ряд: «Йому вже не снились ні бурі, ні жінщини, ні кулачні бої. Тільки іноді сняться леви, як він уперше побачить їх місячної ночі біля берегів Західної Африки зі слизької палуби броненосця. Вони виходитимуть із глибин пустелі, бавлячись, мов кошенята. Завмиратимуть на березі океану і невідривно зиритимуть на гуркітливе чудовисько, всіяне тисячами вогнів. Доки воно шезне за вигином берегової лінії». Це Хемінгуей — «Старий і море».

Мені ж сняться й не перестають і досі мої загиблі друзі і командири, такі ж мужні, як леви! Їм, напевне і, на тім світі сняться леви. Як снились, можливо, перед загибеллю?

Снитись мені часто й дивна будівля. Такі будівлі бачити лише в Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско — серед тісняви мегаполісів. А ця — зі скла і червленого старого срібла — стоїть на просторому зеленому узгір'ї. З нього видно всю Україну! На півдні грає синіми хвилями Чорне море. На заході сяють альпійськими луками під синіми небесами Карпати. В центрі «реєт и вьєтєя по зеленому миру» Дніпро. На сході темніють подібні до гір терикони Донбасу. А на півночі золотиться банями храмів та монастирів древній Чернігів.

— Де ваші твори? — питає мене в тому сні суворий голова якоїсь наради.

Він на мить нагадає мені нашого Василя Васильовича Цвіркунова — славного директора кіностудії Довженка, котрий отак само, стоячи, проводив засідання Художньої ради. Але ж у вузькій і тісній сьомій проекції! А тут — височенний ангар чи термінал. В таких доведеться побувати лише на Міжнародних книжкових



виставках у Празі, а потім у Франкфурті-на-Майні, присвячених 60-літтю перемоги над фашизмом.

– Ми зібралися тут, щоб обговорити ваші «Берлінські оповідання», а ви замість них подаєте проект «Берлінські хроніки» під назвою «Валькірії не прилетять». То покажіть, хоча б те, що у вас є, якщо не весь цикл. Бо в нашому портфелі – все тільки про УПА, 14-ту дивізію СС «Галичина», про каральні батальйони «Нахтігаль» і «Ролланд», криївки та схрони. Наче Великої Вітчизняної й Другої світової воєн і не було! – Головуючий різко і невдоволено підкреслить останню фразу, і я здивовано гляну на нього.

В модному сірому костюмі, стрункий і високий, він здається мені малим і німечим, бо стоїть на протилежному кінці довгого-предового столу. Важкого полірованого столу, що годиться перепиняти танки й ворожі колони. Або щоб лагодити на ньому потужні реактивні двигуни міжконтинентальних лайнерів чи стратегічних бомбардувальників.

Проте на столі лежать тільки тонесенькі згортки білого паперу. Більш ніколи на цьому столі нічого не лежало. І вдатні столярі Закарпаття, що втнули цей непохитний стіл у якийсь прекрасній майстерні, мабуть, не знали, для чого його будують.

Проти кожної горстки паперу сидить по одному чоловіку. Всі вони ніби прикуті до тих паперів – схилиються над ними пильно, суворо і зосереджено. Знайомляться, мабуть, з моїм проектом. Намагаються виглядати поважними, як усі чиновники, але здаються дрібними й однаковими, мов близнюки.

– Навряд, щоб у нього щось було, – скаже хтось із них, навіть не глянувши на мене.

– Що ви собі думаєте? – суворий голова зіпреться обома руками об край столу, наче йому важко стояти, а він мусить головувати стоячи.

– Він нічого не думає, – знову скаже хтось із суворих чиновників. – По-моєму, він уже не здатен ні почати щось, ні завершити! Погляньте на нього уважно і зважте, екселенце, скільки йому років? Хіба в такому віці можна щось путнє написати? У нього й справді нічого немає!

Усі вони в моєму сні так разюче схожі один на одного, що я ніяк не збагну, хто з них бовкне цей бридкий і неправедний наклеп? Голова ж на моїх очах, як буває тільки у сні чи маренні, перевтілюється у Великого Інквізителя з легенди Достоєвського. «О, вже і цей тут! – не дуже й здивуюся. – Десантується із Львова до Києва разом з резиденцією греко-католицької церкви? Та й не



просто в Київ, а на лівобережжя! Щоб папський Рим розгортав звідси експансію проти Православ'я на Дон і Волгу! І далі на Схід, за їхні степи? Саме ж для цього й потрібні інквізитори – мобільна гвардія католицького Риму!».

– У вас насправду нічого немає? – Грізно питає Великий Інквізитор громовим басом, пропідкши мене моторошним зором. – І ви вже нездатні нічого написати?

«Брехня!» — гукну подумки й затулю рот долонею, щоб жодного звуку не вирвалося. А то ще й справді піддадуть інквізиційним тортурам?

Добре, що ніхто нічого не помітить. І не почус. Можна й далі мовчати, сидіти за столом покірно і смиренно, а втім — перенестись у далеке село свого дитинства, перебігти двір і город, переплигнути огорожу й сховатися в травах білоголовим хлопчиком у подертій сорочці та полатаних штанях. Трави пахучі й високі — полин, буркун, ромашки. Вигналися вище за огорожу, бо ростуть над ставом і постійно виглядають сонця.

А я сиджу собі тихенько, причаївшись, і квіти зійдуться наді мною — погойдуються під вітром і вдають, що не ховають нікого. Пахнуть собі. Та цвітуть. Білим і жовтим. Любі квіти мого дитинства! Знизу вони ніякі — самі стовбури. А зверху утворюють шати, що ховають від стороннього ока. Сидиш і вдихаєш їхні пахощі. І відчуваєш тім'ям сонце, а ніздрями — вітер. Вони проникають сюди ласкаво і легко.

А Голова редакційно-художньої ради й суворі його помічники не бачать мене. І хвилі шумлять у ставку, й степ мріє за селом, і батьків сад у мене за плечима мліє під сонцем, і мама щось роблять у хаті. Ось вони зараз вийдуть і погукають мене...

– Ви пишете хроніку замість оповідань? — гукає мені з протилежного кінця столу Великий Інквізитор. — Правильно! Боги вмерли ще в ХІХ столітті. І першим помітив це Фрідріх Ніцше. За ними вмерли, напевне, й Валькірії. Або ж вони замерзли ще в грудні 41-го, літаючи над загиблими воїнами розгромленої групи армій «Центр» в білосніжних полях під Москвою. А якщо котрісь і лишаються після першого розгрому гітлерівців, то під Сталінградом, у ще страшнішу зиму й поразку, околють всі до одної! — Огидно всміхнеться тонкогубим ротом Великий Інквізитор. — Чому ж ви свою документальну хроніку мітите їхніми міфічними іменами? Ідеалізм, романтизм і ліризм гинуть і заперечуються нинішнім прагматичним світом. І ви обіцяєте у своєму загалом цікавому проекті правдиво відтворити дійсні події та живих, а не вигаданих



за столом, людей. Без пережитків ідеалізму та романтизму! Так? А ставите в заголовок ім'я вигаданих поетами й композиторами богинь. А як же ваші обіцянки? Строки подачі рукопису вийшли!

«Обіцянки-цяцянки». «Солов'я байками не годують». «Строки вийшли, а твори не вийшли», – все правильно. Але хіба ж я комусь обіцяв холодну безсторонність? Мої хроніки, як і оповідання, вмуть без романтизму й ліризму! Це ж не пережитки? Хіба вони – альтернатива правдивості? І де ж вони, мої хроніки? Де поділись?

Ага, он вони. Он! Збились над Бугом і дивляться в каламутну воду. І бояться ступити на переправу. Бо ще, мабуть, не час. Ще я чогось в них не додумав і не відчув до кінця, щоб поставити останню крапку. А переправа веде з метушливого берега поспішності у мудрий світ вивіренних відчужень і мелодій, необхідних людям до туги, до радощів! І, можливо, до сліз. Там, за переправою, ждуть тільки правдивих і довговічних творів, а не одноденок. Тому навіть мої хроніки – реальні, без жодної вигадки – все ще бояться ступити на переправу.

А я переправ не боюся. Не боюся відтоді, як вийду на переправу через Південний Буг під Новою Одесою. Я ще тільки ставатиму солдатом тієї весни, але вже й тоді не боятимуся нічого, крім смерті. Але віритиму, що й кулі, і смерть пролетять повз мене, може, й справді, щоб я написав про війну, про своїх бойових друзів і командирів правдиво? Тому я не маю права квапитись. Тільки не вмю пояснити це Великому Інквізиторові та суворим його помічникам. Не зважуся довести святе своє право на Правду, добуте пролітою в ближнім бою кров'ю. Може, це буде наївно і нескромно?

«Але спробую!» – вирішую про себе. А сам знову опинюся на тій пам'ятній переправі через Південний Буг, що стане для мене тієї весни усіма ріками світу.

І треба було б запам'ятати кожна дощечку тієї переправи! А я не запам'ятаю: іду цілий тиждень у тифу і бачу все, як в тумані. Ріка розіллється й перетвориться на море – сивіє протилежним високим правим берегом далеко-далеко, мов уві сні. А переправа – вузька, без поручнів, з широкими щілинами поміж вузькими й слизькими дошками, що їх бідні сапери знайдуть невідомо де в тім голім повойованім степу. І хвилі безборонно вихлюпуються на понтонний поміст. І дошки – ну, до того мокрі й слизькі! Що втриматись на них і не впасти в каламутні нуртуючі хвилі дуже важко...



— Не лайтеся,— скажу, вже посивілий, вертаючись з тієї слизької вузької переправи до широкого й сухого столу, трохи коротшого за неї.— Не лайтеся. Я напишу...

— Про що? — насторожитьсЯ Великий Інквізітор.

— Про штурм Зеєловських висот і Берлінську битву. Про своїх командирів і бойових друзів. Про те, як вони гинутьимуть на моїх очах...

— Про що, про що? — питає Великий Інквізітор, і в його тоні вчуються іронія і зневіра. — Все про війну та про війну? Доки? І потім — це ще треба заслужити: писати про війну. Та ще про Берлінську битву, за якою стежило, затаївши подих, все людство! Хіба в хроніках, навіть художньо-документальних, може вміститися така грандіозна битва?

— Так, може! За однієї-єдиної умови: писати правдиво! Як було насправді, а не писалося в газетах, в реляціях і бойових донесеннях. Її ще й досі бояться видавці й редактори — правди про війну! І ви теж боятиметесь! Бо звикли все пригладжувати...

— Приклади! — розлючено гримне Великий Інквізітор.

— Щойно самовільно вилучено з моєї художньо-документальної хроніки знетямлений крик генерала: «Всіх фаустників розстріляти! Всіх до одного!» Бо вони щойно спалили розвідзвод його танкового корпусу під командуванням майора Волошка — три танки з екіпажами! То як же має реагувати розгніваний командир корпусу на загибель своєї розвідки? Це ж очі і вуха всього ударного військового з'єднання! Та ще й втративши своїх бойових друзів, з якими дійде до Берліна від самого Сталінграда?

— І ви це бачили? — ВизвіритьсЯ Великий Інквізітор, аж ніздрі йому люто і хижо роздуються. — Чули, як генерал саме отак кричав?

— Я особисто братиму участь у тій події — все бачитиму власними очима й чутииму власними вухами! І в «Берлінській хроніці» напишу тільки правду! Нічого, крім правди! Все в ім'я правди! Як у суді. Напишу про те, як братиму участь у тих боях. Як горітиму в полум'ї пожеж разом з усіма! Аж до їхньої загибелі та власного, майже смертельного, поранення в ближнім бою! А ваші підлеглі в тиші кабінетів правлять те, що гриміло й палало на полі бою! А де вони самі були, як гриміло? Через їхню упередженість я не можу завершити цикл і подати його Вам на розгляд. Вони вимагають, щоб усе було пристойно, благополучно. Навіть на війні! А я не можу брехати про війну ані на йоту! Перед пам'яттю живих і загиблих товаришів і командирів. Їм, і мертвим, сняться, мабуть,



леви. Бо й самі вони були, як леви. А війна з усією жорстокістю й правдивістю все життя палає в моєму серці! Стукає попелом Класа в мою душу і совість! Ваші підлеглі цього не розуміють. Та не знаю, чи зрозумієте й ви...

— Про нас тут не йдеться, — примирливо всміхнеться Великий Інквізитор. — Ми ж тут зібралися не для обговорення наших вчинків чи переконань. Правда ж? А редакторам видніше, що друкувати, що правити, а що відхиляти. На те ж вони й редактори...

— Видніше з тихих кабінетів те, що гриміло й палало на полі бою за моєї участі? Адже ніхто, крім мене, свідка й учасника тих подій, не може правдиво розповісти про людей і про події — так, як це було насправді! А їм, бачте, видніше, з тихих кабінетів і високих посад, ніж мені з поля бою, що там було і як там було? Вони ж нічого того не бачили й не чули, не можуть навіть уявити собі?! А беруться правити!

— Не гарячкуйте, — заспокійливо підносить руку, мов для благословення чи причастя, Великий Інквізитор. — У редакторів своя лінія...

— І своє начальство, — докине хтось із тих сірих і однакових засідателів.

Мені стане прикро, і я знову опинюся на тій переправі. Вийду на неї разом із своєю полковою колоною, яку залишу, знепритомнівши від тифу, там, на річці Південний Буг, під Новою Одесою, в квітні 44-го. А це так далеко! І було давно-давно! Так давно, що повернутись туди легко тільки в думках і в уяві.

— Скажіть конкретно: що ви хочете написати? — допитується Великий Інквізитор з військовою виправкою, переступивши на здорову ногу й скрипнувши протезом. І я лише зараз подумаю: а чи не стоїть, часом, за довгим-предовгим, мов переправа, столом той, хто так владно перетнув потік військ на березі Південного Бугу. А потім, мабуть, як і я, він буде тяжко поранений. Тільки йому не зуміють врятувати ногу, як врятують мене? Довіра ворухнеться в моєму серці, переповненому війною й тугою за товаришами, загиблими у мене на очах. І за вмерлими від ран і старості.

— Напишу, як ми штурмуватимемо Зеєловські висоти, братимемо Берлін і гинутимемо на його вулицях. Про завершальні бої найкращавішої та найславетнішої з усіх війн — війни проти фашизму! — скажу Великому Інквізиторові, що ~~раптом стане мені ближчим: може, він з нашої дивізії? Чи з 8-ої гвардійської армії Чуйкова?~~



— Здивував! — Буркне собі під ніс хтось із тих, що нерухоміють над паперами обабіч довгого, як переправа, столу.— Теж мені відкриття!

«Відкриття-закриття», «Кішки-мишки»,— подумаю собі. — А ти сам що-небудь путне зробив у своєму житті?» — майже крикну подумки, але стримаюся.

І подумаю про те, що добре було б написати чи й зняти без сценарію, як на самому початку переправи двадцятилітній капітан у гарній гімнастерці, синіх бриджах і хромових чобітках стоїть перед усміхненою лікаркою-лейтенантом медичної служби і, тихо наспівуючи «Огоньок», намагається не дивитись на неї, але любить її до нестями! І до самозречення бажає її, доки вони ще живі! Доки війна ще не поглинула їхню молодість, повну нерозтрачених сил, і не забрала в свої моторошні сховища їхні квітучі життя.

Бо тільки ж на війні по-справжньому усвідомлюєш, що таке жінка-жінщина, мадонна і розпусниця! Тільки там осягнеш її справжню незамінність і значення в житті кожного з нас! І тільки там, перед лицем смерті, поклоняєшся їй, як найбільшій святості, дарованій за всі муки, за бої на кривавих полях битв і за поневіряння в боях і походах по далеких і чужих землях. І про це ще по-справжньому не написано. І мені теж ніяк не вдається написати про це...

І знову я опинюся в своєму степу, там, де гула колись переправа. Стою в лісосмузі, з рушницею на зігнутій руці. Терпко пахне осіннім полем і сухим листям. І вітер лагідно й тихо шумить у деревах. І сумовито курличуть десь під хмарами журавлі, й погавкують собаки в далекому селі — і тихо, так тихо в степу і в душі! І ніхто тебе не питає, де твої твори...

— То де ж ваші «Берлінські хроніки»? — питає Великий Інквізитор і нарешті сяде, ще дужче скрипнувши протезом. — Пишуться вони? Чи їх ніколи й не буде?

І знову я полину через ріки, степи й ліси. Летітиму довго і, розгублений, приземлюся на тихому сільському кладовищі, біля батьківської могили. Схилюся на огорожу, відчуваючи руками й грудьми, яка вона холодна й ребриста. «Ну, що вони хочуть від мене?» — несподівано для самого себе пожалуюся батькам. А потім отямлюся: хіба ж мертві допоможуть? Чи захистять? І стане мені ніяково перед найріднішими у світі людьми.

— Треба було б і про вас написати,— скажу сам собі над могилою, у якій лежать тато й мама рядочком, намучившись, наробившись і настраждавшись за свій недовгий вік.— Та хіба ж можна



охопити все одразу? Хіба можна квапитись, коли хочеш писати посправжньому, як воно ще не визріло в душі та уяві і не стало твоїм хлібом насущним?

Мовчить могила. Холонуть пальці на залізній огорожі. Мене й тут не покидає туга за тим, що весь огром незбагненого світу вирує в мені тисячами тем і мелодій, але я не вмю відібрати з цієї мішанини найнеобхіднішу, одну-єдину — про війну і смерть? Чи про радісне життя і кохання? Я ніяк не можу зупинитись на головній темі.

— Прошу пролангацію,— нервово ворухну зацікавленими від холодної огорожі на батьківській могилі пальцями над масивним горіховим столом, об який можуть розбитися ворожі танки. — Дайте мені час, і я напишу...

А як тільки попрошу час, хтось довірливо шепне на вухо: «Так часу ж у тебе вже не залишається! Хіба ти забув?»

І мені стане моторошніше, ніж було на війні.

«Багдадський злодій літо вкрав! Багдадський злодій...», — згадується Ліна. Я не знаю, хто краде час. Але тут навіть Ліна не врятує зі своїм максималізмом і талантом. І Олесь Гончар з напуттям: «Думаймо про велике!» Та запитанням: «Чим наш дух трепетав?» Із своїм письменницьким генієм і досвідом.

Навіть вони мене не порятовують — ці найдорожчі, найулюбленіші і найближчі люди. Бо час не належить нікому!

Його можна тільки втратити, а не вберегти і не продовжити...

*Конча-Озерна,
25 серпня 2010 року*



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ПЕРЕПРАВА

1.

Переправа буде через Південний Буг. Під Новою Одесою.

Перша моя переправа на найтяжчій у світі дорозі – дорозі на війну.

Маршовий батальйон новобранців-«чорнорубашечників» 149 запасного полку 8-ої армії Чуйкова підійде до неї надвечір 2 квітня 1944 року. І перед самою переправою нас зупинять. Здорово вміли це робити! Майор-смершівець протиснеться в середину військ, підніме руку— тієї ж миті зупиниться, як вкопаний, нездоланний і невпинний потік машин, танків і гармат! А також замруть піхотні колони, що валом валять на переправу, наздоганяючи відступаючих німців! Зупиниться і наш жалюгідний батальйон.

За командою єдиного офіцера на весь маршовий батальйон, вертлявого, крикливого, але й доброго капітана Шумилкіна — «Принять вправо!» — ми, натомлені цілоденним маршем грязюкою по кісточки, попадаємо хто де стояв.

Одразу ж впоперек зупиненого загального руху озброєні автоматами смершівці з собаками проведуть групу вищих німецьких офіцерів в шкіряних регланах та елегантних шинелях гарного крою з плетеними срібними погонами. А серед них ітиме й кілька молодих жінок чи дівчат – дуже змарнілих і стомлених, але вродливих і модно одягнених. Жалюгідно виглядатимуть тільки модельні тифельки на високих каблуках та тонкі панчохи, заляпані багном по саме нікуди. Одразу видно, якими жорстокими вітрами видме їх із затишних кабінетів та із спалень впливових покровителів...

– Дівчата! – єхидно кричатимуть їм услід баби-селянки з-під своїх сухих хат.– Далеко ж ви ото зібралися вслід за своїми любовниками?



Може, й справді коханки завойовників? А радше – їхні підручні по гестапо, поліції безпеки та СД: стенографістки, перекладачки та друкарки? Помічниці по чомусь дуже важливому і значному! Інакше СМЕРШ не вів би їх під конвоєм. Та ще й з собаками.

Проймає чутка, що того дня перехоплять увесь миколаївський гебітскомісаріат з його каральними службами, коли вони тікатимуть на Вознесенськ, а не на Одесу.

У конвоїрів, у всіх до одного, суворо стулені уста, сердиті очі, нахмурені й зведені до перенісся брови. Все це не віщує нічого доброго тим, кого вони супроводжують під автоматами на бойовому взводі і з собаками.

А владний і відчужений майор-смершівець, котрий зупинить наш батальйон і всі війська й техніку, що сунуть на переправу, здасться нетутешнім, таємничим і загадковим.

Навіть не віриться, що він після війни відбудовуватиме міста і села, сіятиме й оратиме ниву чи рубатиме вугілля.

Особливо важко уявити, що цей майор колись торгуватиме чи виконуватиме якусь іншу дріб'язкову й невдячну роботу. Таким впливовим і значним видасться він на війні, де все вимірюється життям і смертю. А цінується тільки мужність і відвага. Та військова професійна виучка. Цей майор був здатен на все! Але тільки на війні. Цивільним він не уявляється мені й досі.

Як тільки німецьких офіцерів заведуть у хату, одразу з'явиться відкритий «Вілліс» із генералом у лампасах. А за ним «Додж3/4» з полковниками й охороною. Хтось видихне поруч, чи мені тільки чується дивно, навіть страшне слово: «А-ба-ку-мов!».

І коли той генерал висуне ногу з «Вілліса» в наваксеному хромовому чоботі, йому тут же кинуть під ноги і хутко простелять на багнюку килимову доріжку, по якій він, легко й спритно вислизнувши з «Вілліса», шурхне в сні, не закалявши сяючих чобіт.

Приїде, мабуть, допитувати високопосадове німецьке начальство та їхніх помічниці.

Всі, хто юрмитиметься на переправі, дивуватимуться і смершівцям із собаками, і їхнім дивним бранцям, і отому майорові, що так владно зупинить піхотні колони і техніку перед переправою. Та найдужче вразить усіх генерал-полковник Абакумов, ім'я якого й тоді вже гриміло по всіх фронтах, як головного контррозвідника Червоної Армії, підзвітного лише особисто Сталінові, Верховному Головнокомандуючому.



2.

Дивуюся й зараз: як я в тому, майже непритомному, стані все так яскраво побачу, сприйму і навіть запам'ятаю на все життя! Світ крутився тоді в мене перед очима, але і в тій військовій каруселі бачитиму і соснові стружки на розгаслому чорноземі, і обрізки дошок та колод, залишені саперами, котрі тут зовсім недавно зводитимуть переправу. І похідні кухні пам'ятаю й зараз – синій димок мирно стелиться від них по воді та долинають і до нас пахощі американської тушонки, якої ми, новобранці, ще й не пробували...

Запам'ятаються й групи коней у заводях з роздутими животами та моторошно задерними вгору копитами, підкови на яких вже встигнуть заіржавіти. І трупи німців – усі обличчями вниз. Плавають у вируванні все прибуваючих весінніх вод. І навіть вряди-годи гойдаються на хвилях, наче живі, коли потягне з моря свіжий вітер-низовик.

А на самім початку переправи сидітиме на поручнях, виставивши з-під коротенької військової спіднички стрункі ноги в хромових чобітках, вродлива лікарка-лейтенант, в біленькій хустці з червоним хрестом. А бравий капітан, схилившись на ті поручні впритул з її тугими стегнами, наспівуватиме їй, ніби нічого й не помічаючи і ні на що не зважаючи:

«На позицію дівушка провозжала бойця.

Темной ночью простилися на ступеньках крыльця.

И пока за туманами видит мог паренек,

На окошке у дівушки все горел огонек...»

А під високими осоками, понизу закаляними рідкою грязюкою з дороги, що веде на переправу, помічаю серед поприв'язуваних до дерев вівчарок молодого ірландського сетера. Такий, знаєте, випещений, породистий, з лискучими боками!

Чистий, вогненно-рудий, він нагадає мені дядькового Митрофанового племінного жеребця Гнідого, яким ми з острахом і захопленням милувалися в дитинстві. Так само, як Гнідий, весь блищить і виблискує і цей сетер!

І такий він незвичайний серед весіннього бруду, грязюки, нанесеного рікою топляка, серед кінських і німецьких трупів, що гойдаються на хвилях посеред сміття й мотлоху ще не очищеної після повені ріки! Контрастує і з тлумом на переправі, різко відрізняється й серед сірих вівчарок.

А одна молода сука, саме зараз, отут, на війні, на переправі, мліє у першій юній похоті. Вона б водила тічку, але перебуває серед дресированих псів, звиклих коритися, виконувати накази.



Всі вони – службові. Всі – в ошийниках. Тому гамують свої могутні інстинкти! Тільки шулять вуха й облизуються, зирячи на мліючу суку.

А вона обирає коханця не з них, однакових і сірих, а молодого вогнистого ірландського сетера. І насторожено оглядається на старшину, що лишиться стерегти й годувати собак. Оглядається на нього – ну, точнісінько людськими очима! В її погляді благання, хтивість і провина.

Але її непереможно вабить до ірландського сетера могутній інстинкт материнства. І вона, лякливо озираючись на старшину, сунеться задом до сетера, готова віддатись йому.

Старшина, присоромлено зиркаючи на нас, жорстоко гамселиє її з усієї сили носачами у здухвини, зціпивши зуби відпирає її від сетера підборами! А вона, трохи відсунувшись від сетера під тими немилосердними ударами, знову береться за своє, як тільки старшина одвернеться.

Молодий, вродливий і могутній сетер співчутливо дивиться на неї, ніби хоче сказати: «Ну, не треба! Ти ж бачиш, який сердитий старшина! І як це непристойно на війні. Та ще й при людях!»

«Бідні собаки!» – встигну подумати, перш ніж знепритомнію знову.

3.

А прийду до тям тільки тоді, як мій шкільний товариш Петя Кіона за одну руку, а сам капітан Шумилкін – за другу підніматимуть мене з купи кураю, на який я впаду, знепритомнівши. Попід руки вони виведуть мене в голову колони маршового батальйону, вишикуваного перед переправою, щоб продовжити марш до лінії фронту, на передову. А на весь батальйон – ні санітара, ні фельдшера, ні медикаментів – нічогосінько!

– Треба йти, – скаже мені капітан Шумилкін. – Нічого не зробиш. Тут ні на кого залишати тебе. Та й у моїх списках ти значишся. І я маю здати вас усіх списочним складом в діючу бойову частину чи підрозділ. Інакше ти числитимешся дезертиром. А з дезертирами, ти ж знаєш, розмова коротка! Треба йти, браток! Нічого не зробиш.

А йти я не можу – ноги не те що не несуть, а не тримають! Підломлюються мої ноги на 21-му році життя, виснажені тифозною агонією, і я буквально висну на руках Петра Кіони і капітана Шумилкіна. Через переправу, хоч і слизьку, але тверду, вони якось перетягнуть мене. З величезними зусиллями підводячи



голову, я бачитиму каламутні, нуртуючі в повені хвилі, вони ось-ось поглинуть і мене, і Петра Кіону, і капітана Шумилкіна, і весь батальйон, що йде вслід за нами. Буг розіллється так, що правий берег його, глинистий і високий, ледве мріє в сутінках хто зна й де! І мені здається, що ми до нього ніколи не дійдемо.

Коли нарешті мене дотягнуть мокрими й слизькими дошками переправи до протилежного берега, то я вже зовсім не зможу по розгаслому чорнозему підніматися на його слизьку крутизну. Мене відведуть на узбіччя, покладуть на купу якогось напівзгнилого кукурудзяного бадилля, а самі підуть чекати єдину підводу, яка везе вслід за батальйоном його жалюгідний «сухий паїнок».

Чутиму чвакання сотень чобіт по грязюці, людські перемовляння і важке, надсадне дихання. І мені здасться, що ці люди далеко-далеко від мене! І вже ніколи не наблизяться. У маячні і гарячці мені стане моторошно від цього відкриття, і я незабаром знову знепритомнію. Так що й ці звуки вже не долинатимуть до моєї свідомості.

Не знаю, скільки пролежу в непритомності. Але виведе мене з неї несамовитий мат! І матюкають, виявляється, мене! Їздовий немилосердно батожить присталих коней і за кожним ударом проклинає мене: «І нащо везти отакого здохляку? Куди його везти? Кому він отакий потрібен? Якому командирові?» І – мат за кожним словом. Мені невимовно гірко бачити напружені спини вкрай присталих коней, тяжко й образливо чути прокляття й матерщину на свою адресу. І я з останніх сил зсунуся з навантаженого воза і впаду лицем в багнюку, під ноги батальйонові. Хтось спіткнеться об мене й злякано крикне: «Людина під ногами!» І одразу ж пролунає поблизу команда капітана Шумилкіна:

– Под ноги!

І це врятує мене. Бо всі під ту команду дружно переступатимуть через мене, доки й наспіють мої новоолександрівці. Вони якимсь чином пізнають мене в темряві чи просто здогадаються, що це я. Бо хто ж іще, крім мене, тифозного, може впасти в отаку грязюку?

– Братці! – крикне Шумилкін моїм односельцям. – Виручайте свого земляка! Не кидати ж його на ніч серед дороги?

– Піддайте його мені на плечі, – почую я голос Петі-Лепеті, як ми дражнитимемо його в школі. Мене піднімуть з грязюки, мокрого, виваляного, й покладуть Петрові на його біленький «сидір» – мамин мішечок з домашніми маторженниками. І Пе-



тро – задній бек нашої шкільної футбольної команди, який за- просто боров нас усіх, іноді й кількох зразу, – такий був сильний і меткий, – донесе мене до села Вереміївни, в якому, на моє щас- тя, буде написано карболкою на всю стіну крайньої хати: «Ка- рантин для тифозних 3-го Українського фронту».

Коли, аж через два тижні тифозної агонії й непритомності, я нарешті оклигаю, старий, занехаяний і неголений санітар-добро- волець з «чорнорубашечників», розповість, як Петя-Лепетя за- несе мене в сіни, виваленого в багнюці, звалить з пліч на підлогу без жодних ознак життя, як схилиться наді мною, непритомним, затуливши обома долонями лице, і заригає, приказуючи: «Шу- рочко! Що ж я скажу тітці Федорі, як повернуся додому? Де ж я оце діну тебе? Покину! І що буде з тобою?»

Бувалий в бувальцях санітар оторопіє:

– Навіть жінки над покійними чоловіками так не голосять, як він голоситиме над тобою! Мабуть, гарний у тебе був това- риш! Був, та загув. Ото поплаче над тобою та й побіжить дога- няти своїх. А їх кинуть отаких, не обмундированих, на плацдарм під Паланкою за Дністром, та там вони всі й гинуть. Їх німці танками подавлять на тому плацдармі, залитому Дністром, та з кулеметів посічуть. Всіх до одного!

Нам розкажуть про цю трагедію хлопці-тифозники, яких згодом доставлять сюди з того страшного плацдарму.

*Конча-Озерна
8 серпня 2010 року*



РОЗДІЛ ДРУГИЙ

РЕТРОСПЕКЦІЯ

1. В кабінеті Сталіна

Була неділя, 7 грудня 1941 року, в Москві. Пізній ранок...

З довгого ряду стрілчастих вікон лилося холоднувате сяйво зимового сонця й падало на стомлені обличчя членів Політбюро, на розгорнуту карту на столі — не на порожньому, полірованому, за яким сиділи всі попід стіною, а на великому, робочому, в глибині кабінету, заваленому паперами й документами.

За цим важким дубовим столом стояв Сталін і мружився: сонячні відблиски вигравали на дзеркальному паркеті й бешкетливо били йому у вічі.

Один край карти звисав зі столу, і на ньому видно було лінію фронту, що тяглася здвоєною червоно-синьою смугою вздовж Яхроми поблизу Дмитрова з нашого боку, Красної Поляни і Крюкова по той бік, де синя смуга підходила до самої столиці. Позавчора вони ще були під ворогом, а зараз, заштриховані улюбленим синім олівцем Головнокомандуючого, значилися визволеними. Дивлячись на відвойовані у ворога рідні міста й села, члени Політбюро полегшено зітхали. Світлішали їхні змарнілі обличчя: ворог ще позавчора був під самою Москвою, а тепер війська Західного фронту женуть його геть, перейшовши у загальний контрнаступ.

Саме в зв'язку з контрнаступом Калінінського, Західного та відновленого Брянського фронтів, що успішно розпочався п'ятого грудня, сьогодні, в неділю, й зібрав Сталін з самого ранку членів Політбюро, щоб санкціонувати повернення з Куйбишева оперативної частини апарату ЦК, підрозділів Генерального штабу й Наркомату оборони. Вже все обговорено й вирішено з цими установами, але повернення дипломатичного корпусу — прерогатива наркома закордонних справ. Без нього це питання вирішувати було б неетично, а його все не було, і Сталін, вже вкотре під-



ходячи до вікна та повертаючись назад за свій стіл, говорив спокійно й тихо:

— Почекаємо Молотова. На нього це не схоже. Мабуть, трапилося щось дуже важливе. Почекаємо? — запитав він, обводячи поглядом яскраво освітлені обличчя своїх соратників. Можна було сприйняти його запитання як вибачення, якби не вчувалося і в загальному спокої, і в інтонації затамованої нетерпеливості і навіть тривоги.

Тут тривожилися всі, й тривожилися постійно в ході всієї битви під Москвою протягом вересня, жовтня, листопада: а чи не вдарить по нас Японія? Хоч там і лишалися на кордоні з Маньчжурією та Північним Китаєм, які вже давно були захоплені японськими мілітаристами, наші дивізії, але ж немало частин і з'єднань забрано із Сибіру під Москву, і тепер, коли німецькі війська тікають від столиці, кидаючи зброю і техніку, чи не зуміє Гітлер натиснути на свого союзника по «Антикомінтернівському пакту» та чи не змусить його вдарити нам у спину, щоб урятувати свої хвалені війська, свій «непереможний» вермахт від розгрому? Про це думали всі. Думав про це, ясна річ, і Сталін, хоч ніколи нікому нічого й не говорив, зберігаючи дивовижний спокій і певність, що саме через свою невисловленість здавалася не так загадковою, як природною, глибинною, — вірилося: Сталін знає щось таке, чого не знає ніхто.

Він і справді знав багато чого: від Рамзая — Ріхарда Зорге — мали повідомлення за повідомленням, але з 18 листопада не надходило жодної його шифровки. Останнє своє повідомлення він завершив багатообіцяючою фразою: «Все це означає, що в нинішньому році війни не буде». Тобто Японія не нападе. Та хто того року не помилявся? Міг помилитися й Зорге.

Підвівся Вознесенський, скориставшись мовчанкою, викликаною довгою відсутністю Молотова.

— Товаришу Сталін, а чи не повернути нам разом у Москву і авіаконструкторів, щоб вони не гинули там, у Сибіру? В холоді й голоді.

— Сідайте, товаришу Вознесенський, — усміхнувся Сталін. — У Москві цього року також холодно, — мовив, дивлячись на Вознесенського. — Дуже холодно, — повторив без притиску, без смислового наголосу, як звук говорити про все. — Це тільки тут тепло, — повільним рухом руки обвів просторий кабінет, — бо кочегари знають: я людина південна, люблю тепло, не терплю холоду. Ще з Вілюйська... А коли говорити серйозно, то конструктори



й конструкторські бюро потрібні не в столиці, а на заводах. Заводи авіаційні де у вас? — запитав він Шахуріна. — Сидіть, сидіть, — зупинив наркома літакобудування, — і так всі знають, і товариш Вознесенський знає, де наші авіазаводи. Отам мають бути й конструктори для того, щоб вчасно ліквідувати недоліки існуючих конструкцій, впроваджувати модернізацію, розробляти нові типи винищувачів та бомбардувальників і там же виготовляти й випробовувати їх...

Двері різко розчинилися, і Молотов, зосереджений, помітно схвильований, стрімким, рішучим кроком пересік кабінет і, ні на кого не дивлячись, поклав перед Сталіним розшифрований текст якогось документа на секретному бланку, а сам, круто розвернувшись, сів у найближче крісло за приставним столом, де сиділи всі члени Політбюро.

Сталін уважно, як завжди, прочитав документ, і всі помітили, як вуса його здригнулись. Він ще раз перебіг очима те, що було надруковане на цупкому бланку, взяв його зі столу лівою негнучкою рукою, бо правою опирався об стіл, і підвів від паперів тяжке своє, мовби закам'яніле, обличчя.

— Сьогодні на світанку Японія...

Всі здригнулися й ніби аж подалися до нього. Молотов не ворухнувся, не підвів голови.

— ...напала на Пірл-Харбор і знищила там... — Сталін знову помовчав, відклав повідомлення. — Я б уточнив: вивела з ладу Тихоокеанський флот США. Одночасно Японія рушила своїми збройними силами в південні моря — японці висаджуються на Філіппінах, в Південному Таїланді, Бірмі, бомбардують аеродроми в Малайї та Сінгапурі. Японський удар, товариші, розкриває наміри осі Берлін — Рим — Токіо загарбати весь світ. Що думає з цього приводу нарком закордонних справ? — звернувся він до Молотова.

Молотов стенов плечима, випростався й глянув Сталінові у вічі.

— Т-теп-пер,— сказав він, заїкаючись дужче, ніж завжди, — слід ч-чекати, що Сполученим Штатам оголосить війну і Німеччина...

— Безперечно, — погодився Сталін, наближаючись до Молотова. — А взамін Гітлер зажадає, щоб Японія негайно напала на нас. Чи не це вас турбує найбільше, В'ячеславе Михайловичу?

— Ситуація в світі загострилася, і нам треба негайно реагувати.



— Наша мета залишається незмінною: захистити свою соціалістичну Батьківщину, — сказав Сталін. — Треба підготувати наше послання Рузвельту з побажанням успіхів американському народові в боротьбі проти агресора — це й буде наше реагування на зміни в міжнародному становищі. Я вас більше не затримую, товариші, — сказав він членам Політбюро, а лишившись з Молотовим на самоті, запитав коротко:

— Ти не здивований?

Підвівши ліву брову, дивився на свого найдавнішого й найдовіренішого соратника задумливим поглядом.

— Я занепокоєний тим, що японці, розв'язавши війну зі Сполученими Штатами, не взяли з Маньчжоу-го і з Китаю жодної дивізії.

— Нічого, — сказав Сталін, — Візьмуть. Тепер уже їм лише подай. Тільки от що мене дивує: як американці підставили їм свій флот? — Сталін підійшов до великої карти світу, ткнув люлькою з пахучим димком «Герцеговини флор» у центр Гавайських островів, а другою рукою спробував дотягтися до Японії і не зміг. — Ти бачиш, які відстані? І треба ж було величезною ескадрою пройти непомітно й напасти зненацька...

— Як і на нас напали, — нагадав Молотов.

— Ти маєш на увазі напад адмірала Того на Порт-Артур в ніч з восьмого на дев'яте лютого 1904 року? — запитав Сталін.

— Я маю на увазі двадцять друге червня цього року.

Сталін спохмурнів. Одійшов від карти. Він усе пам'ятав сам. Не любив нагадувань. Особливо неприємних.

— Ти порівнюєш речі непорівнювані, — сказав він після мовчанки, кинувши люльку в попільницю. — Фашисти напали на нас, маючи договір, підписаний у нашій столиці. Американці ж самі завели переговори з Японією в тупик. Отже, флот, який перебував на Гавайях, того ж дня треба було привести в готовність номер один. А вони, що називається, підставили його японцям. Ти уявляєш? Потоплено вісім лінкорів! В одній гавані, одним ударом. Як це пояснити?

2. Аналогії

Сталін полюбляв аналогії.

Володіючи аналітичним, дещо книжним розумом, покладаючись більше на самоосвіту, ніж на життєвий досвід, він впадав іноді в парадокси і крайнощі суджень, як сталося це при трактуванні ним характеру класової боротьби після перемоги соціалістичної



революції в нашій країні чи, скажімо, при визначенні засобів та інструментів здійснення диктатури пролетаріату, коли після Леніна, особливо в тридцятих роках, органи безпеки поставив над партією. Так виникла ежовщина; саме тому набирав такої ваги і сили в Політбюро і у всій країні з початком війни Берія.

Тяжко працюючи по шістнадцять годин на добу, Сталін встигав неймовірно багато читати. Залізна самодисципліна і міцне здоров'я, а також вироблена ще в засланні система в опануванні знань, що не змінювалась протягом життя, дозволяли однаково впевнено й вільно почуватися в колі вчених, конструкторів, військових спеціалістів, архітекторів, письменників.

Та найбільше вабила його історія Риму й Карфагену, історія війн. Там він шукав аналогій, там знаходив паралелі, приклади й аргументи і постійно посилався на них в суперечках і судженнях про події сучасної війни. Це було не начотництво, не звичка козирнути знаннями — це була його стихія, а може, й сутність рвйного і потайного характеру: як певна непослідовність сприймалися посилення на минулі події, бо вони ж ніколи не повторюються в незмінному вигляді, інакше це суперечило б суті марксистсько-ленінського вчення, яке Сталін все життя постійно обстоював у «Питаннях ленінізму». В дні успішного контрудару під Ростовом, при розгортанні контрнаступу під Москвою він залишався зовні зосередженим, навіть похмурим, і тільки ті, хто знав його довго і близько, помічали, як світлішає його чоло, як сходять жовтава сірість з обличчя, як теплішають суворі очі цієї крутої людини з кожним нашим успіхом. Під час щоденних ранкових і вечірніх доповідей Шапошникова та при обговоренні обстановки він терпеливіше вислуховував судження штабістів, уникав різких виразів, вживав при диктуванні телеграм «прошу протриматися ще дватри дні», замість «наказую». А що то були за дні, всі розуміли. І він розумів, може, найкраще. Однак в одному був послідовний і непохитний до краю: нічого нікому не тільки не давав із накопичених резервів, що ешелон за ешелонам прибували під Москву, а й не обіцяв нічого. «Танків дати не можемо!» — телеграфував Катуюву під Можайськ та Істру. «Гармат і боепришасів у даний момент нема», — відповідав Белову під Каширу. І додавав після паузи, не прийнятої на ВЧ, важкої й змушеної: «Прошу протриматися якою завгодно ціною». І все. Одні люди гинули на оборонних рубежах, щоб інші вціліли для контрнаступу. Невблаганна формула найтяжчого періоду війни, яка йому нарешті відкрилась у муках, роздумах і втратах.



Він мало їв. Ніхто не знав, коли він спав і чи спав взагалі. Дуже схуд, але після шостого грудня помітно збадьорився. Багато кутив. І мовчав, прогулюючись довгим кабінетом, більше, ніж звичайно.

Члени Політбюро теж мовчали, пригнічені його мовчанкою, а він все ходив і думав, мабуть, тривоживсь за те, що замишляв разом з Генеральним штабом і про що нікому не хотів говорити передчасно.

На щоденних обговореннях становища на фронтах, котре помітно поліпшувалося і мало б втішати, Сталін дедалі частіше й різкіше нападав на командування Чорноморського флоту за пасивність та безініціативність:

— Обмежуватися обороною Севастополя нині, коли Червона Армія на Центральному напрямі жене ворога все далі та й далі від столиці, успішно розвиваючи контрнаступ під Москвою, неприпустимо. Навіть,— підвищував голос, — злочинно! Адже саме зараз, як ніколи, необхідно підтримати наступаючі в центрі війська активними діями на флангах. Борисе Михайловичу, — звертався він до Шапошникова здалеку, аж із-за свого робочого столу, — перестаньте нарешті шукати виправдань Октябрському, а пошвидше закінчіть в Генеральному штабі план десантної операції на Крим, широко задійте в ній усі бойові кораблі Чорноморського флоту. Уясніть самі і переконайте чорноморців, що ініціативу ще нікому не вдавалося перехопити у ворога, ведучи оборону. Нам треба скрізь наступати! Треба нарешті пустити в хід всю величезну бойову потужність кораблів, яка нам так нелегко дісталася і так багато коштувала протягом всієї індустріалізації країни. Ми ж не маємо права такої могутній військовий потенціал тримати в кишені, ховаючи бойові кораблі в затишних гаванях, коли вирішується саме існування нашої держави. — Сталін говорив це, стоячи за робочим столом, майже за спиною начальника Генерального штабу, і маршалу Шапошникову важко й незручно було вислуховувати нотацію, не повернувшись до нього обличчям.

А повертатися ж навіть до Сталіна не можна: просто перед Борисом Михайловичем сидять члени Політбюро за довгим столом під стіною, напружено й запитливо дивляться на нього.

— Плани десантних операцій на Керч та Феодосію, в основному, розроблені,— сказав Сталінові через плече Шапошников, — але вони потребують деяких уточнень саме в питаннях взаємодії бойових кораблів з піхотними частинами, десантними загонами



і особливо з авіацією. У нас немає статутних положень про таку взаємодію.

— Коли зможете завершити ці уточнення й доповісти Ставці? — спитав Сталін, не покидаючи свого місця за столом, хоч і не звик затримуватися там довго під час нарад та обговорень.

Але чомусь затримувався там, перекладаючи папери і зігнувавши нагадування про відсутність бойового статуту на десантні операції. Це теж збентежило Бориса Михайловича: адже Сталін категорично вимагає негайно видати бойові статuti і доручив саме йому в найкоротший термін підготувати їх.

— За тиждень зможемо доповісти,— подумавши, відповів маршал Шапошников.

— Звільніть Штеменка від оперативної роботи сьогодні ж,— наказав Сталін жорстко, хоча й тихо,— і хай завтра ж на денному обговоренні доповість. Військ на Північному Кавказі й зокрема на Таманському півострові багато. Сплануйте не якусь там часткову, тактичну операцію, а солідну, оперативну, скажімо, силами двох загальновійськових армій і всього Чорноморського флоту — ну, хоча б тієї його частини, яка незадіяна в обороні Севастополя. У нас є відомості, що ставка Гітлера збирається добру частину одинадцятої армії Манштейна перекинути в район Воронежа і завдати потужного удару у фланг нашим наступаючим військам Південно-Західного і Брянського фронтів. Тому треба спланувати десантну операцію так, щоб з ходу звільнити весь Керченський півострів та Східний Крим до Макензієвих Гір, з наступним завданням — визволити з-під облоги гарнізон Севастополя. Тоді німцям буде не до контрударів — тоді Манштейн не перекидатиме свої війська, а й сам запросить нових підкріплень. Як бачите, справа серйозна. Вона має й серйозно готуватися. Фашистів зараз не лякати треба, а бити по-справжньому. Як тут, під Москвою. Отже, діяти з розмахом, Борисе Михайловичу, і в Криму, не шкодуючи сил і засобів. Ну, звичайно ж, з розумом. Тут велика доля успіху має лягти на плечі Чорноморського флоту. Подивіться, що вчинили японці. — Сталін взяв зі столу якийсь документ, спочатку перебіг його очима, потім уголос прочитав: — «Подолавши за десять днів тисячі миль розбурханого океану, оперативне з'єднання віце-адмірала Нагумо зуміло досягти повної конспірації виходу в район Гавайських островів і несподіваності нападу. Внаслідок досконало спланованої та майстерно здійсненої операції японці зуміли вивести з ладу Тихоокеанський флот США, втративши при цьому всього п'ятдесят п'ять чоловік — екіпажі збитих два-



дцяти дев'яти літаків та дев'ять чоловік на надмалих підводних човнах, потоплених в самій гавані. Ще кілька десятків чоловік загинуло на великому підводному човні». Отак би й нам спланувати, а ще краще здійснити десантну операцію: таємно, несподівано, результативно і, головне, з малими втратами. — Сталін кинув папір на стіл і поглянув на Шапошнікова підбадьорливо, навіть трохи лукаво, мовби під'юджуючи. — А чим ми гірші за японців? — усміхнувся він у шорсткі й густі вуса, із зусиллям примружившись, ніби усмішка давалась йому хтозна-як важко, — Товаришу Штеменко, — перевів він ще іскристий від усмішки погляд на молодого генерала, у якого теж були вуса хоч куди — пишніші, ніж у Сталіна. — Я вас чекаю завтра о дванадцятій з проектом наказу на десантну операцію. Строк підготовки — два тижні, висаджуватися двома арміями, П'ятдесят першою й Сорок четвертою в районі Керчі та Феодосії з двох напрямів. Деталі уточніть зі штабами Октябрського та Козлова.

— Слухаю, товаришу Сталін, — виструнчився той, і Сталін відпустив усіх, кивнувши важкою чубатою головою, аж надто великою через густе волосся, яке неодмінно мало б важити дуже багато, мов моноліт.

Відпустивши генштабистів, тут же наказав Поскрьобишеву зв'язати його з командуючим Чорноморським флотом віце-адміралом Октябрським та командуючим Закавказьким фронтом генерал-лейтенантом Козловим.

— Хочу вказати вам обом, що пасивність та безініціативність ваших військ і штабів неприпустимі! — Тому прийміть моє усне розпорядження як розпорядження Ставки — за два тижні підготувати й двадцять першого грудня здійснити десантні операції у відомі вам пункти. Директиву вишлемо завтра. — Він відключився.

...А тим часом в продутих вітрами пустельних степах під Кучугурами, Таманню і Темрюком продовжували зосереджуватись війська 51-ї армії генерала Львова, які й засікла німецька авіарозвідка того ж 7 грудня, а під Новоросійськом, Анапою і Туапсе — 44-та армія Первушина.

3. Несподіваний виклик

У період оборони Москви Сталін о цій порі спав, лягаючи, як правило, о шостій ранку. Що ж змусило його тепер, коли наші війська ведуть наступ одразу трьома фронтами, відмовитись від багаторічної звички і одірвати начальника Генерального штабу від аналізу подій, які сталися за минулу добу.



Ініціатива вперше перейшла до нас на всіх фронтах, і Борис Михайлович відчув полегшення. Проте zarazом відчув і втому свою, і нещадну хворобу, що насаждала все дужче: розслабившись, він виявився смертельно втомленим. Подумавши про незвичність такого раннього виклику, він одразу ж заснув, привалившись плечем і скронею до холодної бокової панелі, заколисаний м'яким погойдуванням на вибоях і тихим рокотом довгої чорної машини.

Над Москвою було тихо, сівся сніг, на деревах осідав іній — вперше з дня 22 червня стало спокійно на душі. Отоді-то й прийшли по нього недоспані ночі, перевтома й хвороба та й забрали в солодкий, майже дитячий сон.

Машина мчала, обганяючи військові колони, артилерію на мехтязі, запнуті брезентом «катюші» — все це квапилось на фронті, і водій помічав, як з подивом і цікавістю оглядаються на довгий сяючий ЗІС молоді й старі солдати. Навіть командири.

Маршал Шапошников прокинувся, коли машина безшумно в'їхала в розчинені навстіж і тут же зачинені ворота й підкотилася до особняка.

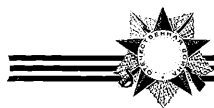
Розплющивши очі, він одразу ж побачив Сталіна: той у хутрянній товстій шапці, довгому білому кожусі і чорних валянках відкидав сніг від порога, прогортав стежку в сад, бо любив там прогулюватися в будь-яку погоду.

Почувши шерхіт шин, Сталін устроїв лопату в сніг і пішов до неї, неквапливо, розважливо, шукаючи зіркими горіховими очима маршала за її склом. Шапошникову Сталін здався цього ранку молодим і свіжим. Вуса його трохи побіліли від інею, а обличчя порожевіло від роботи на морозі — саме це й підмолодило, й підсвіжило його. Та й бачив його Борис Михайлович при ранковому освітленні вперше.

Водій, перегнувшись через спинку сидіння, відчинив дверцята (наказано було приїхати без охорони і ад'ютанта), і маршал, високий та плечистий, покректуючи, з напругою витиснувся з них. Вхопившись обома руками за дверцята, важко піднявся з сидіння, перевалив костисте і велике, важке тіло на нетривккі, зм'яклі уві сні ноги й поволі випростався.

Сталін, підійшовши, стояв і дивився, як важко він вибирається з машини. Потім ступив упритул і подав руку.

— Доброго ранку, Борисе Михайловичу, — розтягуючи слова і мружачись, привітався Сталін. — Вибачте, що потурбував так рано. Хочу порадитися з вами на самоті з одного дуже важливого питання. — Він взяв маршала під руку й довів до ганку.



Шапошников мовчав. Його, після раптового й несподіваного сну в теплій машині, пробирав мороз, трохи млоїло, крутилася голова, і слова Сталіна долинали мовби хтозна з якої далечини. «Видно, всерйоз захворів», — скрушно й сумовито подумав маршал, ступивши на рипучий від морозу ганок.

Вони зайшли до вітальні в широко розчинені двері майже одночасно, мовчки, не дивлячись один на одного, роздяглися.

Сталін завів його в кабінет, запросив сідати в крісло біля столу, подав йому донесення розвідки, а сам взявся набивати й розкурювати люльку.

— Як бачите, — говорив Сталін, за звичкою прогулюючись по кабінету, — наші центральні фронти успішно просувалися вперед і цієї ночі. Під Тихвіном і Ростовом на далеких флангах наші війська теж женуть ворога. Я хочу нагадати вам, що 1812 року наполеонівські війська втекли з Москви, коли на них взагалі ніхто не наступав. Але, покинувши Москву, так звана Велика французька армія загинула у тому відступі, особливо на Березині. Чи не здається вам, що у нинішній війні вже настав перелом? — Сталін зупинився проти Шапошникова і пильно глянув йому у вічі.

Маршал погано бачив Сталіна проти вікна, тому що за спиною у Сталіна біліли сніги, і темне обличчя його, одвернене од вікна, було затінене.

— Розвідка свідчить, що Гітлер учора підписав директиву своїм військам перейти до оборони. По всьому фронту. В тому числі й на Московському напрямі, і відстоювати кожну п'ядь землі. А це означає, що відступати вони не збираються — будуть жорстоко оборонятися. Це ще не загальний відступ. Товаришу Сталін, я не бачу тут аналогій. — Маршал Шапошников підвівся й собі, хоч почувався кепсько. Але сидючи дискутувати чи сперечатися зі Сталіним він не міг.

— Ви сидіть, сидіть. — Сталін владно поклав йому на плече свою руку.

Вона здалася твердою й холодною.

— Розумієте, — всадивши маршала назад у крісло, пішов Сталін у свої улюблені кабінетні мандри, йому, очевидно, так легше думалося, — в безлічі питань і проблем, які нам доводиться вирішувати щоденно, ми можемо прогавити вирішальний момент для переходу в генеральний наступ. Тому давайте поміркуємо ось про що: Бонапарт відчув усю небезпеку свого становища навіть тоді, коли сидів у Москві, і Кутузов не збирався його атакувати. Пам'ятаєте, як сильно написав про це Толстой?



— Я не схильний у воєнних ділах спиратися на літературу — сказав Шапошников. — Навіть на геніальну Кесарю — кесареве...

— Література іноді розкриває сутність подій повніше й глибше, ніж історична наука. — Сталін зупинився біля вікна, з добру хвилину спостерігав, як снігурі, обсівши всипану червоними кетягами горобину, весело й завзято скльовують ягоди. — Наполеон відчув небезпеку без атаки Кутузова, а Гітлер не відчуває її навіть при розгортанні нашого наступу по всьому фронту. Як використати цей слушний момент? Як одержати з цього довгожданого й вистражданого Червоною Армією наступу найбільше вигод? Ось про що я просив би вас поміркувати разом зі мною. Мені ця думка не дає спокою з самої ночі. Адже гітлерівські війська, як і французькі, виявилися не підготовленими до ведення воєнних дій в умовах нашої зими. Стоїть питання: що нам робити зараз? Чи не зняти війська з Далекого Сходу, Середньої Азії й з турецького кордону, щоб негайно організувати наступ по всьому фронту. І гнати їх, гнати! — Сталін підвищив голос, рубав повітря рукою з міцно затиснутою в ній люлькою, і очі його жовтаво палахкотіли гнівом і люттю. — Гнати, як Наполеона до Березини, і там втопити! Або на їхніх плечах увірватися в саму Німеччину! Адже вони тікають, кидаючи автомашини, артилерію і навіть танки. Мені показували аерофотознімки. Це повний розгром і паніка! Ми вже звільнили Рогачов, Істру, Солнечногорськ, незабаром будемо в Клину, в Калініні, Волоколамську. Борисе Михайловичу, це розгром! Треба всім наступаючим фронтам розширювати смуги наступу і без зупинки переслідувати...

— Аналогії — річ заманлива, — суворо сказав Шапошников, хоч як важко було зупиняти Сталіна й розвіювати його переконаність. — Німецька армія, товаришу Сталін, терпить першу поразку, але вона ще дуже сильна, і нам не треба піддаватися ілюзіям. Аналогія з наполеонівською армією тут не підходить зовсім. Бонапарт привів у Росію всього сімсот тисяч, а тут тільки під Москвою півтора мільйона чоловік. Наполеон забрав із собою з Франції все, що в нього було на той час: і свою гвардію, й ополченців, і кінноту, й артилерію, всі боеприпаси і навіть казну. У Гітлера ж ще цілі армії на Заході, армія резерву в Німеччині, танковий корпус «Африка» у Роммеля, війська по всій Франції, і вся європейська промисловість працює на нього на повну потужність. Яке ж тут порівняння, які аналогії?

— Ви мені розповідаєте про те, що відомо кожному школяреві. Якісь азбучні істини! — розгнівався Сталін. — Коли так, то



й Червона Армія — це не армія Кутузова. Я наказую не пропустити моменту, коли обстановка дозволить нам перейти в стратегічний наступ по всьому фронту, розробити заходи на такий випадок.

— Товаришу Сталін, — різко підвівся маршал Шапошников, — як військовий спеціаліст, я маю вас застерегти. Як людина і радянський громадянин, я розумію вас і співчую вашим намірам. Але вони нездійсненні. Принаймні цього й наступного року на нас чекає тяжка боротьба, бо противник ще дуже сильний, він здатен перейти в наступ, і подолати його буде непросто. Повірте, він оговтається незабаром і дуже скоро. Ось до чого нам треба готуватись.

— Ви песиміст! — суворо і тихо, з образою сказав Сталін. — Ми вже довели, що їх можна бити, ми розвіяли міф про непереможеність вермахту! Перед усім світом...

— Це неабияке досягнення, — погодився маршал Шапошников. — І нам треба зосередити всю увагу на розгортанні наступу на Московському напрямі. Всякі інші наміри — чистісінькі ілюзії. Не гнівайтеся, товаришу Сталін, на мою відвертість, але бійтеся аналогій. Вони так само небезпечні у воєнному ділі, як і в політиці. Ви — політик. Я — військовий. Мій обов'язок — застерегти вас від випередження подій, від спокуси сприймати бажане за дійсність. На війні це найстрашніше й найнебезпечніше для таких людей, як ми з вами. — Він помовчав, помітивши, як посірів лицем і постарішав на очах Сталін. — І я просив би вас, товаришу Сталін, не піддаватись випереджувачам подій, які обов'язково знайдуться і які вам пропонуватимуть свої плани і свої послуги.

Сталін пройшов за спиною Шапошникова до столу, кинув з брязкотом погаслу люльку в кришталеву попільницю, та аж підскочила; кілька секунд простояв, повернувшись до нього спиною, що на очах зсутулилася й почужішала, і, не обертаючись, сказав:

— Повертайтеся до службових обов'язків.

— Єсть, — стукнув каблуками маршал Шапошников, розвернувся через ліве плече й рушив до дверей.

— От що, — зупинив його Сталін, повільно виходячи із-за столу. — От що, Борисе Михайловичу, — сказав він спокійно і врівноважено, знову підійшовши впритул і пильно глянувши маршалові у вічі, — пошліть негайно всім командуючим фронтами шифровки, хай вони обміркують у своїх штабах й пришлють свої судження з приводу того, що ми тут з вами обговорили. А в Берліні ми будемо. Обов'язково!



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ГУДЕРІАН

1. Повернення з небуття

Зимові сутінки навіюють ще більшу тугу, і генерал-полковник Гудеріан, знятий 21 грудня 1941 року з посади командувача Другої танкової армії за відведення її під ударами Катюкова за річку Зушу, блукатиме в пустих полях далеко від садиби до вечірньої зорі. Вона криво засвітиться при самій землі, скраєчку захмареного неба, й покладе на засніжений простір тривожні відблиски.

«На негоду...» – подумає Гудеріан і за давньою звичкою гляне на годинник з сяйливим циферблатом, по якому на світанні 22 червня 1941 року він о 4:00 віддасть наказ «Дортмунд» – атакувати наші війська. Цією командою почнеться вторгнення на нашу територію не лише його танкової групи, а й уся Велика Вітчизняна війна.

Все частіше й частіше згадує він і той далекий ранок, і свою команду, і свою танкову групу – інколи з гордістю, а частіше з гіркотою за тим, що так вдало розпочата війна обернулась поразкою під Москвою, під Ростовом і нарешті – під Сталінградом.

Ці згадки давно стали суттю його життя. Життя вигнанця, скривдженого фюрером по доносу бездарного й злостивого фельдмаршала Клюге: висулужуючись, він топив і його, і генерал-полковника Гьопнера, командувача Третьої танкової групи, аби вигородити себе. Тільки б самому возвеличитися й домогтися ласки фюрера.

Гудеріан і зараз вважає відхід за Зушу на старі, добре підготовлені позиції єдино правильним і з тактичної, й з оперативної, і навіть із стратегічної точки зору. Бо тільки так можна було врятувати від розгрому його Другу танкову армію, зберегти її боєздатність. Після поповнення особовим складом і танками вона обов'язково прорвалася б і взяла Тулу, з півдня вийшла б до Можайського шосе і, перерізавши його, оточила б Москву з



південного сходу. І тоді б Москва не вистояла – її обов'язково взяли! І війна завершилася б ще в сорок першому.

Але через бездарного Кейтеля та хитрого, як лис, Йодля до фюрера ні тоді, ні зараз не пробитися ні йому, ні Манштейнові, щоб запропонувати новий план, замість «Удару грому», по її глибинному оточенню в обхід усіх російських укріплень. Гітлер і зараз нікого не слухає, крім цих двох підлабузників, що кажуть йому тільки те, що він бажає слухати, відсікаючи все негативне, трагічне й невідкладне, щоб не завдавати клопоту і не псувати настрої.

В глибокій вечоровій тиші Гудеріан уловить далекий рокіт двигуна і, обернувшись на цей несподіваний звук, побачить мотоцикліста, що мчить до нього від фільварку. Очевидно, зорієнтований генераловою дружиною. Бо тільки вона знає маршрут його щоденних вечірніх прогулянок протягом чотирнадцяти місяців вигнання, забуття й неслави в розквіті неабиякого командно-оперативного таланту. Все в цьому світі можна поправити і переінакшити – навіть переграти! Крім часу, якого не повернеш. І битв, які не переграєш...

Загальмувавши так, що на засніженій польовій дорозі «Цундап» з коляскою аж занесе, мотоцикліст у сірому шкіряному реглані й танковому шоломі вимкне двигун, сплигне з мотоцикла, виструнчиться перед Гудеріаном:

– Хайль Гітлер! – викине він руку в нацистському вітанні. – Пане генерал-полковнику! Я прибув за вами з управління кадрами Вермахта з Берліна. Там вас ніяк не розшукають. Просять негайно зателефонувати. Обер-лейтенант Беке.

«Нарешті згадали!» – подумає Гудеріан і ледве втримається, щоб не обняти обер-лейтенанта.

Нещодавно вилікуване серце зачастить знову, і перехопить дихання, і в очах потемніє. Гудеріан зробить над собою зусилля, щоб не виказати слабкість перед «посланцем долі», як він подумки нарече офіцера зв'язку.

– Данке, – скаже він лейтенантові тихо і потисне йому руку.

А перевівши подих, легко занесе ногу, обтягнуту лакованим генеральським чоботом, сяде в люльку могутнього «Цундапа», накинє на себе дерматинову запону од вітру:

– В маєток! – накаже мотоциклістові.

– Яволь! – хвацько стукне каблуками і всядеться за кермо обер-лейтенант, впритул розглядаючи Гудеріана. «Їсть його очима»; а в очах і острах, і захоплення, і відданість справжнього солдата.



«Такі мене ще пам'ятають... Старі солдати бережуть традиції вірності, відданості і дружби, незважаючи на немилість начальства», – подумає Гудеріан і востаннє огляне свої засніжені володіння.

Закрайок неба при самому обрії звільниться від хмар, і далека вечірня зоря (очевидно, Сатурн) лукаво підморгне Гудеріанові, прощаючись...

В кабінеті фільварку обер-лейтенант Беке покладе перед Гудеріаном номери телефонів Управління кадрами Сухопутних сил, не промовивши й слова, і стомлено впаде у крісло.

– Стомились, Беке? – усміхнеться Гудеріан, знявши трубку телефона та ще не набравши засекречений номер Бодевіна Кейтеля – начальника Управління кадрів.

«Так точно, пане генерал-полковнику! – виструнчиться обер-лейтенант, „жеручи очима» Гудеріана, наче й не падав щойно у крісло знесилений. – Вважайте, пересік усю Німеччину!

– Відпочивайте, доки я зв'яжусь з цими тилowymi пацюками. Цікаво, чи сидять вони в своїх норах о цій порі? Чи працюють так пізно?

Замість відповіді Гудеріан почує солодке сопіння: обер-лейтенант Беке миттю засне в кріслі, звісивши біляву голову на груди, і йому, певне, сніться дівчата-однокласниці з далекої Тюрингії.

«Що то молодість? – подумає Гудеріан, поблажливо дивлячись на обер-лейтенанта. – Тепер, хоч гармати коти, а його не розбудиш. Не те щоб телефонним дзвінком чи розмовою розбудити. Щаслива пора... А чи ж щаслива? А Сталінград?»

Генерал-полковник Гудеріан набирає номери Бодевіна Кейтеля, двох його заступників і чує лише гудки відбою. Нарешті четвертий номер відповідає:

– Тут генерал Ліннарц.

– Ви, здається, помічник начальника Управління кадрами? – питає Гудеріан, стримуючи роздратування.

– З ким маю честь?

– Гудеріан. Мене просили зателефонувати Бодевіну Кейтелю. Але ні його, ні його заступників...

– Вони вилетіли в ставку фюрера. Вас теж викликає фюрер. Ви маєте негайно відправитися на його виклик, пане генерал-полковнику.

– Мета? – питає Гудеріан, зберігаючи спокій. Хоч це для нього – повна несподіванка.

– Нічого не можу повідомити про мету вашого виклику, пане генерал-полковнику. Мені доручено передати, що завтра, 18 люто-



го 1943 року, ви маєте виїхати звідси, з Берліна, поїздом в супроводі обер-лейтенанта Беке в Растенбург, щоб звідти літаком вилетіти в ставку фюрера під Вінницею. Сподіваюсь, Беке вже у вас?

– Ось він, спить сном немовляти в моєму кабінеті й не чує, як ми з вами приємно бесідуємо. Змучився в дорозі...

– Доведеться й вам, пане генерал-полковнику, з ним теліпатись сюди.

– У мене є „Хорх», подарований фюрером ще за Францію. Кращого авто й не вигадеш. Сподіваюсь, в гаражі Генштабу місце знайдеться? Розпорядіться, генерале, щоб я одразу поставив машину і встиг на вокзал.

– Яволь, пане генерал-полковнику! Все підготовлено! Квитки для вас і Беке у мене.

– Виїздимо негайно. Хайль!

– Хайль Гітлер! – відгукнеться Ліннарц і покладе трубку.

Гудеріан довго слухатиме гудки відбою, мов марш-ліед на військовому плацу своєї другої танкової групи.

– Що там, любий? – зайде в кабінет осаниста й пишнотіла дружина.

– Фюрер викликає в ставку! – переможно гляне на неї Гудеріан.

– Майн Гот! – вхопиться вона за високі й пружні груди. – Вони знову пошлють тебе в саме пекло...

– В самісіньке! – вигукне Гудеріан. – Я ж тільки для пекла й годжусь із моїми танками й танкістами.

– А твоє серце? Ти ж тільки-но з лікування!

– Я вже здоровий, моя люба. Може, й захворів через те, що несправедливо зняли, відправили в запас і забули, – Гудеріан обніме дружину, теплу, ніжну, розкішну. Радісно поцілує, вловивши її ніжне й пахуче дихання. – Я знав, що в тяжку пору мене покличуть...

– Куди вже тяжче, – зітхне дружина й відсторониться, зиркнувши на сплячого обер-лейтенанта. – Бідний Паулюс! Нещасні солдати Шостої армії. Скільки смертей?! Які муки?! А голод! А морози! А російський полон? – Вона схлипне, а потім заплаче посправжньому, не зважаючи на сплячого Беке.

Гудеріан мовчки слухатиме її ридання – думатиме довго й тяжко. А потім сяде за стіл і зробить останній запис у щоденнику перед від'їздом:

«Тільки велика нужда примусить Гітлера зробити цей крок. Катастрофа під Сталінградом, нечувана капітуляція Шостої ар-



мії на величезному фронті, небачені й небувалі втрати, викликані цим національним нещастям, а також тяжка поразка наших союзників, що не зуміли своїми слабими військами прикрити фланги нашої Шостої армії, – все це призвело до небувалої кризи. Бойовий дух армії і народу надзвичайно знизився. До воєнної катастрофи додається також зовнішньополітичні та внутрішньополітичні промахи.

Західні країни, висадивши десант в Африці, вже домоглися значних успіхів. Всезростаюче значення цього театру воєнних дій стало очевидним після наради Рузвельта й Черчілля з 14 по 24 січня 1943 року в Касабланці, пишномовно названої «Атлантичною конференцією».

Найважливішим підсумком цієї конференції являється рішення про вимогу безумовної капітуляції держав осі!»

Це найбільше вразить Гудеріана, він весь час думатиме про це і вдома, й на прогулянках. І тепер допише:

«Ця нагла вимога зустрінута німецьким народом та особливо армією з великим обуренням. Віднині кожному солдатові стало абсолютно ясно, що наші противники обуяні пристрасстю знищити німецький народ, що їхня боротьба спрямовується не лише проти Гітлера і так званого нацизму, як вони твердять з пропагандистською метою, але й проти ділових, а тому й неприємних промислових конкурентів».

Цей запис і особливо заключна фраза дивують і зараз: танковий генерал, цей «Achtung, Panzer!», – як прозвуть Гудеріана не лише в танкових військах, а й у вищих штабах та в усьому вермахті, – мислив аналітично. І як політик, як економіст, а не лише як воєнний спеціаліст. Вони були всебічно освічені – і Гудеріан, і Манштейн, і Роммель, і Гальдер та Браухіч. Це були видатні стратеги, майстри оперативного мистецтва і гнучкої тактики на полі бою – і в наступі, і в обороні. Величезна заслуга наших полководців, маршалів і генералів, солдат і офіцерів, що зуміли вистояти й перемогти такого могутнього, талановитого й вишколеного ворога.

І як гірко читати, коли якісь, за висловом моєї бабусі Гапки, «сцикухи» з «Бульвару» по-зміїному шиплять: «После Великой Отечественной прошло уже достаточно времени, чтобы отдохнуть от пафоса «воинов-освободителей», спасших мир от коричневой чумы, и попытаться осознать непостижимый национальный феномен, блестяще сформулированный когда-то Жванецким: «В драке не вырчат, в войне победят».



Як писали колись: «Sic!». «Жванецький сказав!» А вище, інтелектуальніше і дотепніше ніхто в світі не скаже! Ні філософи, ні історики, ні мислителі – така, знаєте, войовнича категоричність одеського «Привозу» чи «7-го кілометра».

І далі з ще більшим сарказмом і ненавистю:

«Народ, измученный с 1917 по 1941 год кровопролитной борьбой с самим собой, вдруг неожиданно объединился для борьбы с чужими, потеряв в ней, по последним данным, 27 миллионов своих».

А якби не об'єднався і не зложив голови? Де б тоді були, перш за все, Жванецький і оця язиката Юлія Пятецька? В Освенцімі? В Дахау? Згоріли б в крематорії? Бо Гітлер збирався «остаточно вирішити єврейське питання» – тобто винищити їх до ноги!

Вклоніться своїм рятівниками – отим мільйонам, що, захищаючи вас, своїх близьких і рідних та свою Вітчизну, віддали за Перемогу найдорожче – життя!

Ні-і-і! Ви іронізуєте над їхніми подвигами й жертвами: «Жить с размахом не получилось, зато хорошо получилось умирать». Яке кощунство! Яка невдячність! Яке хамство! Мертвим не боляче – мертві за себе постояти не можуть. Як писав Редьярд Кіплінг: «Но бедный мертвый солдат Короля не может поднять руки...».

Але ми ще живі – учасники Великої Вітчизняної і Другої світової війн. І як же нам невимовно тяжко читати отаке топтання по пам'яті полеглих бойових друзів і командирів?! Не можемо захистити їхню честь від паплюження отаких смердючих гієн! Як боляче чути і читати безпардонну хулу на їх адресу через 65 / шістдесят п'ять! / років після Перемоги?! Ну вже б тішилися сексом, копірсянням у брудній білизні так званих зірок шоу-бізнеса, естради, походеньками «контактера с космосом» Петра та його лисого препротивного кота.

Ну, що ви, дівчата, розумієте у воєнному ділі?! Грайтеся в ляльки, кокетуйте, епатуйте читачів «Самой лучшей газеты в Украине», тільки не лізьте туди, де все кров'ю окипіло нашому стражденному народові, кожній українській родині. Не трясіть пеленою міні-юбок, не хвицайте стегнами там, де все й досі сходить кривавими слізьми вдів і сиріт! Бо за це святотатство Вам прощення не буде ні на цім, ні на тім світі!



2.

Поїзд Берлін-Растенбург відходить із Східного вокзалу глухої ночі. Гудеріан, цілий божий день провівши в управлінні кадрами і дізнавшись про становище під Сталінградом та й на всьому величезному фронті, з тяжким серцем розташується у відведеному йому купе і відчує смертельну втому. Становище на південному фланзі Східного фронту виглядає катастрофічно. Особливо в його уявленні про різницю між нанесеною на карти оперативною обстановкою та реальністю. Південне крило Східного фронту фактично розгромлене проривами російських танкових клинів на Калач з північного сходу та з півдня віддаленими флангами Сталінградського та Степового фронтів. Це нагадає йому власний прорив через Маас, Ардени й лінію Мажино і вихід на плато Лангр і далі – через усю Францію до верхів'я, а потім і до нижньої течії річки Сомми, на північне узбережжя Атлантики. Навіть у вигнанні, забутий і покинутий, він потай гордився цим проривом. І гірко шкодував, згадуючи оту безглузду зупинку його 42-го танкового корпусу перед самісіньким Дюнкерком: тоді фельдмаршал Рунштедт сідатиме своїм „Візелер-шторхом» мало не під гусениці його танків, виконуючи „Стоп-наказ» фюрера, абсолютно невмотивований і незрозумілий ні тоді, 24 травня 1940 року, ні зараз, у 1943-му, після Сталінградської катастрофи.

Ці відчайдушні, безоглядно сміливі з оперативної точки зору прориви радянських танкістів на немислиму глибину, без прикриття й забезпечення флангів, були його, Гудеріана, відкриттям, стихією і надбанням. Російські танкові генерали, а може й Верховне командування, аж до Сталіна включно, безумовно знали про той його прорив на Сомму, що паралізує Генеральний штаб Франції в управлінні арміями і фактично вирішить долю Франції. Та й Англія була б поставлена на коліна розгромом її 450-тисячного експедиційного корпусу, якби не той безглуздий „Стоп-наказ» Гітлера 24 червня 1940 року. Але, покинувши артилерію і все тяжке озброєння, англійці зуміють врятуватися втечею на кораблі з необладнаного узбережжя. Мабуть, тільки одні вони й здатні це зробити – потомственні моряки, докери й каботажники з діда-прадіда...

Його тривоги з приводу Сталінградської катастрофи та сподади про далеке літо 40-го року у Франції перерве на проміжній станції генерал Кемпфф, колишній командир 10-ої танкової дивізії в його 42-му танковому корпусі, зупиненому тим трагічним «Стоп-наказом» фюрера перед Дюнкерком. Вони обнімуться за



давніми традиціями пруських генералів, серед яких в позаслужбовий час не прийнято дотримуватись субординації – різниця в званні не має значення в таких приятельських взаєминах та обставинах.

– Ви теж в Растенбург, а звідти у Вінницю, в ставку фюрера, у «Вервольф», в його так зване «Вовче лігво»? – питає Гудеріан свого підлеглого. – Кажуть, ви вилетіли за наказом фюрера один-єдиний з усіх оточених генералів у Сталінграді? Вам божественно поталанило, генерале! Я чув, фельдмаршал Паулюс здався в полон добровільно?

– Який там з нього фельдмаршал? Жертва обставин! А взагалі – пропади воно все пропадом! – кине на верхню полицю свій кашкет Кемпф. – І Сталінград, і ця безглузда війна на два фронти! Хіба можна було зігнувати заповіт залізного канцлера Бісмарка? «Ніколи не затівайте війни з Росією! – заповідав він, відбувши каденцію Посла в Санкт-Петербурзі. – Росіяни довго запрягають, але дуже швидко їздять! Їх неможливо перемогти. Нікому!» Не послухали генія германського духу, то тепер маємо... І Москву, і Ростов ще в 41-му, а тепер ось Сталінград! А що нас чекає в майбутньому? Один Господь знає.

Гудеріан налле йому французького коньяку, і Кемпф сперсередя залпом вип'є його, мов за себе кине, і підставить чарку знов:

– Налийте ще, генерал-полковнику! Та й собі не забудьте... Це єдиний засіб заглушити в собі печаль і скорботу від нашої страшної й непоправної поразки.

– Я свою норму випив. Мені не можна – серце здає. Оце викликають до фюрера прямо з санаторію. Тільки-тільки повернувся, а тут мотоцикліст з управління кадрів. А вас теж викликають у ставку?

– Авжеж, – Кемпф, смакуючи, випиває, тепер уже повільно, й другу чарку вишуканого й дорогого напою. Не питаючи дозволу господаря купе, прикурює сигару і жаліється з гіркотою: – Усім розповідай подробиці про Сталінград! Та краще лишитися там з товаришами, ніж розповідати тепер про наші муки від голоду і морозів! Не дай Бог нікому таке пережити і так гинути в тих диких степах і розвалищах! Пропала наша мила Німеччина! Прахом пішла її воїнська слава! Всі наші перемоги обернулись ганьбою й поразкою! Жити не хочеться після такої трагедії...

– І ви маєте намір сказати це Гітлеру? Попереджаю: вас відправлять на шибеницю!

– Фюреру я не скажу того, що кажу вам. Його трагедія в тому, що йому всі брешуть і ніхто не наслідиться сказати правду. А



правда проста і пряма, мов дишло: ми цю війну програли! Росіяни вистояли, хоч і були на краєчку загибелі. Особливо під Москвою в 41-му. А тепер їх уже ніщо не зупинить. Он у які кліщі взяли південне крило нашого Східного фронту! Чи й втримаємось до весни так, як вони встояли влітку й восени 41-го. Налийте ще своєму колишньому командирові дивізії та вип'ємо разом за те, щоб хоч Валькірії пролетіли над нами, як будемо лежати десь у снігах за Волгою чи Доном.

– Тепер уже скоріше на зелених луках над Рейном, – гірко усміхнеться Гудеріан, наливаючи третю чарку старовинного фамільного срібла п'янюньому співбесідникові. – Я ніколи не підозрював у бравому генералові Кемпффу такого песиміста і панікера. Сподіваюсь, ви так відверто розмовляєте тільки зі мною? Стережіться, Кемпффе! Гестапо має тисячі вух, стільки ж підслуховуючих апаратів. І ще більше донощиків.

– Плював я і на гестапо, і на їхніх донощиків! Після Сталінграда мені вже нічого не страшно! Ех, «Був у мене старий товариш!» Пам'ятаєте, генерал-полковнику, цей марш – давній, гренадерський? Весь час перед очима у мене жах Сталінграда, а у вухах оцей безсмертний марш. Не може така велика нація, зі славними бойовими й військовими традиціями і отакими гренадерськими маршами, бути поверженою! Га? Як ви думаєте? Я думаю: не може!

– Оце розмова! – поблажливо всміхнеться Гудеріан, з жалем дивлячись на осоловілого Кемпффа. – А до фюрера, якщо покличуть, підемо разом. Удвох буде певніше, правда?

– Яволь! – виструнчиться і віддасть йому честь Кемпфф. – А зараз, з вашого дозволу, пане генерал-полковнику, піду в своє купе спати. Ніяк не висплюся після проклятого Сталінграда...

3.

У Вінниці, як тільки розташуються в готелі «Егерхое» для вищого командування, Кемпффа одразу ж підхоплять службовим авто і повезуть у ставку фюрера, так що Гудеріан не встигне й оком моргнути. А до нього в номер увірветься, мов на пожежу, генерал-ад'ютант Гітлера полковник Шмундт. Завжди привітний, з вишуканими манерами, цього разу він здасться Гудеріанові затурканим, метушливим і розгубленим.

Привітавшись, він одразу ж розгорне на столі свою особисту карту і доповість Гудеріану невтішні новини з фронту: від Калача наші танкові корпуси протягом ночі гнатимуть, увімкнувши



фари, розбиті й дезорганізовані румунські й угорські частини в засніжені й безмежні степи між Волгою й Доном, прирікаючи їх на загибель в цих неблаганних та немилосердних просторах! Німецькі війська ще тримають там сяку-таку дисципліну і, зайнявши кругову оборону, зберігають бойовий дух, відходять організовано на старі свої позиції. З надією утримати фронт. А румуни, італійці та угорці в паніці розбігаються, як тільки помітять здалеку російські танки.

– Які ж частини та з'єднання залишилися у Манштейна? – питає Шмундта Гудеріан, перервавши сумну його розповідь.

– Його група армій «Дон», як вам відомо, потонула в снігах перед російськими артилерійськими протитанковими позиціями. Танки Гота хоч і розгромлять й подавлять чимало їхніх протитанкових батарей, але так і не зуміють прорватися в Сталінград і виручити Паулюса. Самі потраплять під могутні танкові тарани росіян і розпорошаться на групу генерал-лейтенанта Холлідта, що відходить від Калача в західному напрямку, – показує на карті, – і групу генерал-майора Фреттер-Пікко, що під ударами росіян відступає на північ. Південне ж крило нашого фронту оголене до калмицьких і сальських степів. Там в паніці тікають або масово здаються в полон італійці. Тільки окремі опорні пункти утримуються німецькими ротами й батальйонами. Фюрер хоче послати туди Кемпффа, щоб він, досвідчений бойовий генерал – єдиний, викликаний фюрером з оточеного Сталінграда перед самою катастрофою, – об'єднав усі розпорошені в тому районі війська і зайняв оборону фронтом на північ і не випустив російські танки на Нижній Дон і на узбережжя Азовського моря! Утримав хоча б Таганрог і Ростов. Інакше росіяни відріжуть усю групу армій «А» фельдмаршала Ліста. І що головне – ми втратимо Першу танкову армію Клейста! Вона зараз поспішно відходить з передгір'їв Кавказу на Ростов, щоб не потрапити в оточення. Якщо росіянам вдасться закрити горловину і відрізати шляхи її виходу, захопивши Ростов, вона повністю загине! Ну, а генерал-полковнику Єнеке з 17 армією – пряма дорога у Крим через Таманську протоку. Це єдиний вихід для його армії. До того ж, протока добряче замерзла. По кризі Єнеке й перекине свою армію на півострів без перешкоди з боку противника. Бо вирватися сушею він уже не встигає. Не справдяться наші надії й на козачі війська: вони виявляться нестійкими в обороні і нерішучими в наступі. Баласт, одне слово! Та й коли туземні війська приносили германцям славу? Хіба тільки кавалерія східних гунів у часи розквіту Великої Германської Рим-



ської імперії. Але коли це було, мій генерал-полковнику? Наша історична доля складається так, що маємо розраховувати лише на власні сили. Тобто – самі на себе! А чи ж вистачить матеріальних ресурсів, на які в нас завжди дефіцит? А особливо на людські резерви! Майбутнє наше зараз вимальовується в дуже похмурих тонах. І якщо ми не підніmemo на новий рівень бронетанкові війська, котрі втратили довіру фюрера та Верховного командування, нас цієї весни чекає катастрофа. Вся надія на танки! І на вас, пане генерал-полковнику.

– Та-а-ак, та-аак! – роздумливо протягне Гудеріан, ніби й не чує розпачливих просторікувань Шмундта. Він все ще вивчає і вникає в найсвіжішу обстановку, нанесену на карту цього ранку. – Кемпффові не позаздриш, – підсумує він, професійно оцінивши всю складність становища, особливо на південному фланзі. – Цей мій бравий командир дивізії потрапляє не з корабля на бал, а з вогню та в полум'я! Але Манштейн, сподіваюсь, зуміє навести лад – об'єднає ці бойові групи і таки зупинить росіян. – Гудеріан із зусиллям одірветься від карти (давно вже не вникав у живу оперативну обстановку) і питає Шмундта, глянувши зблизька йому у вічі: – А мені яку роль відведено у цій катавасії, якщо фюрер викликає в такий складний час? Тут і чорт ногу зламає! Тяжчої обстановки й не вигадаєш.

– Наші танкові війська під Ростовом та Москвою в сорок першому і тут, зараз, під Сталінградом, понесли такі колосальні втрати, що їх треба негайно переформувувати й переозброювати новою, сучасною матеріальною частиною! Тобто потрібні свіжі, в технічному відношенні набагато досконаліші бронетанкові війська. А це надзвичайно складне завдання можна доручити тільки вольовому, досвідченому і авторитетному у танкових військах генералові. Такого зараз, на даний момент, серед діючих фронтових воєначальників фюрер не бачить. Тому він має намір доручити саме вам взятися за цю вельми нележку справу. Він просить також вашої згоди на це призначення. А мені доручив попередньо дізнатись, якщо ви погодитесь, які будуть ваші вимоги? Що вам треба для успішної роботи?

Гудеріан довго мовчить. Гудеріан тримає паузу? Ні, він знову пильно вдивляється в становище на південному фланзі Східного фронту, вникає в обстановку, ретельно нанесену на карту акуратистом Шмундтом. Підперши обома руками вольове масивне підборіддя, Гудеріан довго, навіть непристойно довго мовчить. Можливо, збираючись з думками і водночас зважуючи всю складність



запропонованої місії і тих зусиль, які доведеться затратити на виконання майже нездійсненого завдання, яке збирається йому доручити Гітлер.

– Полковнику Шмундте, – відірветься нарешті Гудеріан від карти, – ви усвідомлюєте, що це – катастрофа? Усвідомлює це фюрер і Верховне командування? Південного крила Східного фронту не існує! Воно розгромлене! Усвідомлюєте це ви всі чи ні? Чи й досі бавитеся наївними ілюзіями?

Шмундт оторопіє. Чує чи не чує генерал-полковник Гудеріан, які надії покладає на нього Гітлер? Чому ж він ніяк не реагує на пропозицію фюрера, а зосереджується на становищі, що склалося і давно вже відоме фюрерові та Верховному командуванню – ОКГ та ОКВ – на чолі з фельдмаршалом Кейтелем та генерал-полковником Йодлем?

– Підтягуємо спішно резерви на цю ділянку фронту, сюди, – показує Шмундт на карті Гудеріанові. – Передислокуємо з Франції танкові дивізії СС «Вікінг» і «Мертва голова».

– Мало! – скрикне Гудеріан і зірветься зі свого місця. – Віддайте Манштейнові та Шьорненру отих сто «Тигрів», які збираєтесь посилати в Африку Роммелю! Тільки вони здатні зупинити КВ і Т-34! Інакше росіяни зімнуть тут усе! – він кине на карту обидві долоні і придавить її з усієї сили до столу. – Вирвуться на узбережжя Азовського моря і тоді їх ніхто не зупинить до самого Ростова! А якщо вони візьмуть Ростов, як це вже було в сорок першому, тоді загине вся група армій «А» фельдмаршала Ліста! А не лише 1-ша танкова армія Клейста. Ви це розумієте?

– Манштейн ніколи цього не допустить! – крикне й собі Шмундт. – Він зупинить і розгромить росіян!

– Чим? Він усі танки втратив, прориваючись в Сталінград на виручку Паулюсові! Віддайте йому «Тигри», і тоді можна буде хоч на щось сподіватися!

– Вони для Африки пофарбовані в жовте, під колір пісків пустелі – на снігу будуть видні за два-три кілометри!

– З такої відстані «Тигри» прошиють російські танки наскрізь кумулятивними снарядами своїх могутніх гармат. Я певен у цьому!

– Але ж ви нічого не відповіли мені на пропозицію фюрера, – нагадає Шмундт. – А я маю за півгодини доповісти йому про вашу згоду чи незгоду! Доповісти йому про ваші умови, за яких ви погодитесь очолити організацію й відновлення виробництва,



освоєння нових видів танків та вдосконалити навчання особового складу. Колосальна робота!

Заклавши руки за спину, Гудеріан мовчки пройдеться кілька разів по номеру повз Шмундта і, зупинившись перед його кріслом, скаже йому, вже заспокоївшись:

– Враховуючи катастрофічне становище моєї Батьківщини і ситуацію, яка склалася на південному крилі Східного фронту, я приймаю пропозицію фюрера. Але для плідної й успішної діяльності на цьому відповідальному посту я вимагаю повної свободи дій! Без бюрократичної тяганини й погодження з проміжними інстанціями. А тому бажано, щоб я підпорядковувався не начальникові Генерального штабу сухопутних сил і не ОКВ, а безпосередньо і особисто фюрерові – Головнокомандуючому наших збройних сил! Це перша і головна умова. Конструювання, запуск у виробництво й освоєння нової техніки теж має бути під моїм контролем. А для цього всі танкові заводи, офіцерські танкові училища, процес бойової підготовки екіпажів підлягають моєму контролю разом з Міністерством озброєнь і боєприпасів та Армією резерву. За цих умов я можу взятися за цю вельми нелегку справу. Інакше відправте мене назад у Берлін, без зустрічі з фюрером!

– Спасибі, пане генерал-полковнику, – вклониться ввічливий і гарно вихований генерал-ад'ютант Гітлера полковник Шмундт. – Я повідомлю фюрера про ваші умови. Певен, фюрер їх прийме і схвалить. Він сьогодні ж прийме вас.

Шмундт віддасть Гудеріанові честь по-армійськи. А, дійшовши до дверей, різко розвернеться кругом, через ліве плече, хвацько стукне каблуками й піднесе праву руку в нацистському вітанні:

– Хайль Гітлер!

Здивувавшись, що цей ритуал зберігається ще й досі, навіть у такій критичній ситуації, Гудеріан мовчки кивне у відповідь і знову схилиться над залишеною Шмундтом картою з нанесеним на ній найсвіжішим становищем на Східному фронті.

4.

«Монах, монах, как труден твой путь!» – так дивно розпочне Гудеріан у перевиданих російською мовою мемуарах «Erzielung eines Soldaten» («Спогади одного солдата») дивну розповідь про своє відчайдушне рішення захистити 2-гу танкову армію від обструкції з боку командуючого групою армій «Центр» фельдмаршала фон Клюге, з яким вони конфліктують ще з французької кампанії, і відправитись 20 грудня 1941 року



з Підмосков'я в ставку Гітлера в Східній Пруссії за підтримкою фюрера. Але Гітлер його не почує і не сприйме жодних його доводів! Він маніакально вимагатиме утримувати зайняті позиції і не відходити ні на крок! Ні за яких обставин! На цій зустрічі Гітлер зніме його з поста командуючого 2-ою танковою армією за самовільний відхід під ударами Катюкова на старі позиції за річки Зушу і Каму. І вижене з армії найвидатнішого танкового генерала Другої світової війни – засновника німецьких бронетанкових військ!

Тепер, 21 лютого 1943 року, Гудеріан напише сухо й безсторонньо:

«Мене призначили на доповідь Гітлеру о 15 годині 15 хвилин. Я був прийнятий точно в призначений час... Ми залишилися з фюрером в його робочому кабінеті віч-на-віч. Після похмурого 20 грудня 1941 року я не бачив Гітлера. Він дуже постарів за минулі 14 місяців. Його манера тримати себе не була вже такою впевненою, якою була раніше; мова здавалась повільною, ліва рука тремтіла.

На його письмовому столі лежали мої книги».

– В 1941 році наші шляхи розійшлися, – скаже Гітлер Гудеріанові без всякого вступу. – В той час між нами мали місце непорозуміння, про що я дуже шкодую. Зараз ви мені потрібні. – Він насторожено вп'ється в Гудеріанове обличчя своїм пронизливим поглядом, чекаючи його відповіді.

– Готовий працювати, мій фюрере, з усіх сил, якщо ви надасте мені умови для плідної діяльності.

– Я призначаю вас генерал-інспектором бронетанкових військ. Шмундт повідомив мені про ваше рішення прийняти мою пропозицію і про вашу думку з цього приводу і про ваші умови. Я їх приймаю і схвалюю і прошу вас розробити на цій основі інструкцію і представити мені на розгляд і затвердження. – Гітлер виходить із-за столу, бере Гудеріана під руку і веде пухким килимом до каміна, садить у низеньке крісло перед полум'ям. А сам сідає на інше крісло навпроти, не зводячи з генерал-полковника зіркого погляду.

– Я ще раз перечитав ваші довоєнні праці про бронетанкові війська, зокрема: «Achtung, Panzer!» та «Panzer, forwärts!» і переконався, що ви вже тоді правильно передбачали хід їхнього розвитку. Віднині ви повинні втіляти свої ідеї на практиці! – Він різко підведеться зі свого крісла й нервово заходить по кабінету, оцінюючи сучасне воєнне становище Німеччини.



Гудеріанові не залишається нічого іншого, як підвестися і теж ходити поруч з ним по м'якому килиму, уважно слухаючи Гітлера.

– Я ясно усвідомлюю невдачі, котрі впали на нас у воєнному, політичному і моральному відношенні у зв'язку з поразкою під Сталінградом та подальшим відступом німецьких військ на Східному фронті. Але я рішуче і впевнено заявляю! – притисне він обидві руки до грудей, зупинившись перед Гудеріаном: – Ми втримаємося й вистоїмо під ударами противника! А потім відновимо становище! – Він знову втупиться в Гудеріана своїм пронизливим і гнівним поглядом, намагаючись переконати його в своїй правоті.

Та Гудеріан у своїх мемуарах зазначить в дужках: («Звичайно, це була тільки його особиста точка зору»). Бо видатний танковий генерал-полковник, фактичний батько бронетанкових сил Німеччини, оцінюватиме ситуацію набагато реалістичніше.

Що ж, наша дерзновенна стратегічна операція по оточенню й знищенню 6-ої армії Паулюса і 4-ої танкової армії Гота в Сталінграді потрясе всю Німеччину, а не лише Гітлера. Віднині ініціатива остаточно перейде од вермахта до Червоної Армії та її Верховного командування, солдатів та видатних полководців.

«Ця перша зустріч з Гітлером, – підсумує Гудеріан, – закінчилась після 45-хвилинної ділової розмови приблизно о 16 годині».

5.

Від Гітлера Гудеріан зайде до начальника генерального штабу Цейтцлера, щоб одержати найповнішу та найсвіжішу інформацію про становище на фронтах.

Вечір він проведе в ресторані готелю «Егерхое» в товаристві генерала Кьострінга, колишнього воєнного аташе в Москві, коменданта Вінниці фон Пріна і командира 15 піхотної дивізії Буншенхагена. З усіма цими генералами він був давно і добре знайомий

«Після моєї довгої відсутності, – напише Гудеріан у своїх мемуарах, – їхні повідомлення були корисні для мене. Те, що повідомив Прін про управління німецькими властями окупованою територією, було вельми не радісне. Методи управління німців, особливо методи німецького рейхскомісара Коха перетворили українців з німецьких друзів у їхніх ворогів. На жаль, воєнні інстанції не могли боротися з тими махінаціями, які проводилися по лінії партійній та адміністративній без участі військових та, як правило, без їхнього відому і проти їхньої волі. До нас доходили лише чутки про різні зловживання»



Повертаючись у свій номер пізньої ночі, Гудеріан зіткнеться з гулякою Кемпффом. Той, на доброму підпитку, довго вмовлятиме Гудеріана виділити його майбутній групі побільше танків.

– Я поклявся перед бойовими товаришами, вилітаючи з котла за наказом фюрера, що обов'язково помщуся 62-ій армії Чуйкова за нашу поразку і за наші муки в Сталінграді!

– Шістдесят другої армії більш не існує, – кепкуватиме Гудеріан. – Саме за оборону Сталінграда вона стане 8-ю гвардійською!

– Ви тепер генерал-інспектор бронетанкових військ, – не слухаючи Гудеріана, правитиме своєї генерал-лейтенант Кемпфф. – І повинні допомогти мені дотримати цієї клятви перед пам'яттю моїх загиблих бойових товаришів. Скільки їх там залишилося в снігах і розвалищах? Лежать під снігами і слухають, як виють над ними вовки й завірюхи! Доки й житиму, мститиму росіянам! І ви повинні допомогти мені! Танками! «Тиграми» й «Пантерами», «Фердинандами»! – Кричатиме розпашлий Кемпфф.

– Поможу, поможу, – поблажливо всміхнеться на ці п'яні теревені тверезий Гудеріан. – Треба тільки танків побільше наробити! А для цього непростого діла потрібен час.

Генерал-поковник Гудеріан ледве випроводить п'яного Кемпффа із свого номера і забуде цю пригоду.

Але життя саме нагадає про неї. Через рік, навесні 44-го, коли група Кемпффа в березні й квітні блокуватиме наш плацдарм перед Паланкою на правому березі Дністра, фюрер викличе Гудеріана, тепер уже начальника Генерального штабу сухопутних сил Німеччини, і показуючи на наш плацдарм, гнівно крикне:

– Звідси до Плоєшті з їхніми нафтовими родовищами двадцять хвилин льоту бомбардувальників! Що буде з Німеччиною, якщо росіяни знищать останні ресурси пального? Негайно ліквідувати цей плацдарм, доки його не розширили!

І накаже зараз же передати Кемпффові у складі групи армій «Південна Україна» фельдмаршала Шьорнера щойно вивантажений танковий батальйон нових «Тигрів».

– Негайно скинути в ріку війська 8-ої гвардійської армії противника! Ліквідувати плацдарм за всяку ціну! – кричатиме фюрер на Гудеріана, топаючи ногами. Цей батальйон по єдиному шосе, що веде від Паланки до переправи, розсіче наш плацдарм, на якому не буде ще протитанкової артилерії, і буквально виріже вогнем танкових кулеметів захисників плацдарму. А танковими гарматами розстріляє прямою наводкою нашу піхо-



ту, що стоятимуть з трилінійками у заповнених водою траншеях, і скине-таки у вируючий весінній Дністер війська 8-ої гвардійської армії Чуйкова. Там загине і той маршовий батальйон, з якого я випаду в багнюку розлемішеної військами розгаслої дороги. Всі наші новоолександрівці, а з ними разом і мій рятівник Петя-Лепетя – задній бек нашої рідної шкільної футбольної команди – всі вони загинуть там. Всі до одного! Ще й не обмундировані браття мої, нещасні «чорнорубашечники», по яких я все життя тужу і не перестаю тужити й досі! Вони й досі простягають руки до мене й волають звідти про допомогу, мої друзі-мученики, і не дають мені ні спокою, ні розради...

Але про їхню загибель нічого не знатимуть ні генерал-лейтенант Кемпфф, ні, тим більше, начальник Генерального штабу сухопутних сил Німеччини генерал-полковник Гудеріан. У них обох був хіба один наш плацдарм за Дністром та за іншими ріками? Адже саме з тих плацдармів, у крові і смерті, в одчайдушних зусиллях і подвигах куватиметься наша тяжка, але славна Перемога над таким лютим, досвідченим і (нічого гріха таїти!) талановитим ворогом!

А славу нашу 8-му гвардійську армію, що втримає-таки Сталінград останніми зусиллями 13-ої дивізії генерал-майора Родимцева на останньому пружі берегової лінії над Волгою, тихцем перекинуть з 3-го Українського на 1-й Білоруський фронт у лісі під Сарнами, перед Ковелем, де вона й приведе себе в порядок після розгрому на Дністрі. А потім візьме активну участь в літній наступальній операції «Багратіон».

6.

«Кожному своє», – говорили древні біблійні мудреці. Кому смерть у холодних вировищах оскаженілого у весінній повені Дністра, кому тяжкі рани. А мені, крім тяжких ран, ще й невигойний біль і туга за шкільними товаришами, за полеглими на близьких і далеких фронтах дядьками-соколами – весь рід наш, роботящий і чесний, вибито на війні!

А тепер знаходяться фашистські лакузи та їхні нащадки, котрі висміюють наші муки й подвиги, кепкують над нашою Перемогою, добутою великою кров'ю. І хочуть, щоб ми її забули й відцуралися від неї й від пам'яті про своїх загиблих товаришів, бойових друзів і командирів?

Та що ж це за країна – незалежна, демократична, соціальна? А совість у неї є? Немає ні совісті, ні честі! Коли бандерівці, що



служили вірою й правдою фашистам, воювали проти Радянської України та країн антигітлерівської коаліції, застять пам'ять і подвиги істинних захисників Вітчизни і цілого людства від фашистської нечисті!

І що найдивніше: деручи горлянки й вишиванки на грудях, бандерівсько-галицькі «патрійоти» разом з так званою «діяспоркою» заперечують участь України у Другій світовій війні проти німецько-гітлерівського нацизму! Відкидають навіть сімдесятилітній історичний розвиток Радянської України, коли вона вперше за тяжку й криваву свою історію увійде в десятку найрозвиненіших країн світу, а не лише Європи! А зараз, панове «патрійоти»? До чого ви її довели? Що збудували за 20 (двадцять!) років «незалежності»? Покажіть! Покажете дулю з маком? Зупинені заводи й розібрані до фундаментів, та й з фундаментами, тваринницькі ферми по вимираючих селах? Знищені колгоспи й радгоспи і машинні двори та польові стани, обладнані верстатами і мостовими підйомними кранами для поточного й капітального ремонту тракторів та комбайнів? Покажете ще й закриті медпункти й амбулаторії по селах, знищені бібліотеки і закриті клуби? Проклинаєте й ганьбите Радянське минуле?

А хто відкидає своє минуле, той не має ні права, ні спроможності сподіватися і на майбутнє! Майбутнє своє, своїх дітей, онуків і правнуків. Істина проста і всім доступна.

Горе нам у своїй рідній хаті! На своїй землі – землі наших батьків, дідів і прадідів. Вони теж полили її кров'ю своєю й потом своїм, воюючи за неї, захищаючи її від зайд і поневолювачів, обробляючи ниву у мирні часи. А зайти прийдуть і відіб'ють наші отари! Як зараз відбили, розікравши й привласнивши народне добро, наші заводи й фабрики, конструкторські бюро і науково-дослідні інститути. Все привласнивши і прихватизувавши на наших очах! Добуде багатолітньою тяжкою працею всього українського роботяшого народу! Ще й паплюжать нашу Честь і Славу! Нашу Пам'ять про загиблих героїв – простих і скромних наших людей. Глумляться над успіхами Радянської України, істинної нашої Батьківщини, укравши її у нас і в наших дітей та онуків! Називаючи період найповнішого розквіту виробництва, науки і культури періодом «москальської окупації» на бандерівський лад. Називаючи нас «совками» з легкої подачі біглого полячишки Збігнева



ВАЛЬКІРІЇ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ

Бжезинського – патологічного русофоба і ненависника нашої історії!

Паплюжать пам'ять загиблих героїв–українців і росіян, усіх народів великого Радянського Союзу.

Слава їм! Во віки віків слава! І прокляття всім антирадянщикам, що крадуть у нас наше минуле, сучасне і наші душі!

*Конча-Озерна,
3 вересня 2010 року.*



РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

МАГНУШЕВСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ

1.

Прорвавши оборону німців під Ковелем, наша 8-ма гвардійська армія з ходу форсує Західний Буг і, не зупиняючись, ринеться визволяти Польщу, згортаючи з неї гітлерівських вішателів, що встигнуть винищити шість мільйонів гордих і гоноровитих поляків. Залишки розгромлених дивізій вермахту тікатимуть в безладі на захід в ході наступальної операції «Багратіон».



Магнушевський плацдарм
Майор Підрубенко –
нач. Штабу 35 дивізії

Стратегічною метою її саме і є форсування Вісли та зайняття на її лівому березі плацдармів — Сандомирського Першим Українським та Магнушевського Першим Білоруським фронтами.

Розгром групи армій «Центр» в ході Літнього наступу 1944 року виявиться роковим: вона фактично перестане існувати, оточена й винищена в білоруській лісисто-болотистій місцевості. Для прикриття Вісли у ворожого командування не виявиться резервів. Обидва наші фронти форсують Велику Слов'янську ріку майже без бою й закріпляться на її плацдармах.

Літо. Спекса. Тиша і благодать. Саме в дні затишшя полки й дивізії приводитимуть себе в порядок після грандіозного виснажливого наступу – підтягають поповнення і тили, підвозять боеприпаси. Все робиться спішно, щоб не сказати квапливо. Бо з вермахтом не жартують! Він не змирється з поразкою, хоча б і такою тяжкою, і кине на ліквідацію плацдармів усі свої сили, зніме дивізії із Західного фронту, щоб скинути в ріку наші війська і зайняти тривалу оборону, саме прикрившись Віслою. Наше досвідчене



командування все врахує заздалегідь. І саме тому намагається й тут виграти час, щоб закопатися в землю і втримати плацдарми.

В 35-ту дивізію 8-ої гвардійської армії поповнення з 149 запасного полку прибуде надвечір. Штаб дивізії розташується в розкішному листяному лісі, хоч майже вся центральна Польща вкрита соснами. А тут береза, граб, дуб, клен і осика в низинах. І трави – по пояс!

На відкритій галявині згрупується поповнення всіх трьох полків, а на узліссі, поблискуючи трубами, грає бойові марші духовий оркестр. Його потужні й експресивні звуки лунають в тихому й нерухомому повітрі, проникають в лісові зарості далеко-далеко й вихлюпуються на простори великої слов'янської ріки, що ніби одрізає нам шлях додому.

На плацдармі кипить робота: на рівнині й у видолинках копають траншеї в повний профіль, а висоти укріплюються особливо ретельно ще й дзотами. Від берегів ріки до переднього краю вже прокладено ходи сполучень, збудовано бліндажі, підготовлено вогневі позиції полкової артилерії та мінометних батарей. Роти, взводи й батальйони займають оборону в очікуванні наступу противника, а на укріплення плацдарму виділяють певну частину особового складу, і риття траншей та ходів сполучення триває з досвітку до темної ночі.

Тому поповнення тут чекають – не дочекаються! І зустрінуть, мов дорогих гостей. Нас спочатку нагодують, як справжні турботливі господарі, в дивізійній їдальні, нашвидкуруч зліпленій саперами із свіжозрубаних молоденьких сосон. Пахне свіжозрубаним лісом, квітами, сонцем і травами. Щедрі кухарі насипають нам повні котелки густого супу-пюре горохового з американською консервованою печінкою, накладають гречаної каші з м'ясом. Видають по цілому буханцю ще теплого й запашного армійського хліба, і ми вперше обідаємо за фронтовою нормою, добряче проголодавшись у запасних полках та учбових батальйонах.

Поповнення згрупується чотирикутником на порослій високою травою галявині. Молодий смагливий красень майор, наділений яскравою українською вродою, з'явившись поміж деревами на узліссі, по-парубоцьки зірве на ходу свій офіцерський кашкет з піхотним малиновим околишем, запустить його розмашистим жестом у повітря, і він, плануючи, долетить аж до нас – так що передні підхоплять його. А майор густим баритоном ще здалеку заведе пісню, улюблену і знайому всім українцям з дитинства.



*Понад лугом зелененьким,
понад лугом зелене-еньким
Брала вдова льон дрібне - е - нький.
Вона брала-вибирала,
вона брала-вибира-ала,
Тонкий голос подава-ал-а-а...*

Ми майже всі дружно підхопимо цю милу й рідну пісню, що нагадає кожному матерів і сестер, далеку домівку і дитинство. І майор, зупинившись перед цим імпровізованим хором, заспівуватиме й одночасно диригуватиме нами. І, мабуть, тому одразу ж стане своїм, близьким і рідним – мимоволі милуватимемось ним ще до знайомства й представлення. Відчуємо готовність іти за ним хоч у вогонь і воду! В уніформі з тонкого англійського хакі, в блискучих хромових чоботях та хвацько насунутому на брови кашкеті, він постане перед нами, новобранцями, втіленням молодості й краси офіцерів переможної Радянської Армії.

Закінчивши пісню, по-молодецьки зведеться навшпиньки, аж чобітки під ним рипнуть своїми вишуканими рантами, і дзвінко відрекомендується:

– Гвардії майор Підрубенко – начштабу дивізії! – Відчувається, що він і сам захоплений і своїм званням, і своєю молодістю, і високою посадою. – Спасибі за пісню, орли! – Підніме обидві руки на знак задоволення. – Одразу видно, що поповнення з України! – Скаже нам рідною українською мовою, яку не часто почуєш з вуст командирів такого рангу.

Ми всі, не змовляючись, дружно й дзвінко аплодуватимемо молодому начальникові штабу дивізії, красеневі майору, що ніби втілює ще й нашу українську вроду й саму Україну в славній Армії Радянського Союзу! Що зробиться на серці кожного із нас, важко передати, а уявити можна: щоб рідною мовою до нас, учорашніх «чорнорубашечників», заговорив сам начштабу дивізії?! Та ніколи такого й зроду не було, відколи й Червона Армія існує!

2.

В цей час із лісу вийде генерал, сяйнувши серед лісової зелені полум'ям лампасів, і майор Підрубенко, знову звівшись навшпиньки, ще дзвінкіше вигукне:

– Поповнення, струнко! Рівняння – ліворуч! – кине руку до козирка і стройовим кроком рушить генералові назустріч. – Товаришу генерал-майор, поповнення ввіреної вам дивізії вишику-



ване! Начштабу дивізії майор Підрубенко, — не одриваючи руки від козирка, ступить набік, даючи комдиву дорогу.

Той спочатку подасть йому руку, якимось повільно, ніби нехотя. Потім, нудьгуючи, обведе напівсонним поглядом не нас, а верхечки дерев над галявиною. І тільки після цього з тією ж нудьгою в очах байдуже огляне нас. Через довгеньку паузу скаже нехотя і хрипкувато:

— Здрастуйте, товариші бійці і командири...

— Здрав жлам, тащ генерал-майор! — невлад загудемо ми.

Багатьом із нас, «чорнорубашечників», вперше доведеться бачити генерала. Вразить його надмірна вгодованість, червонопикість — можливо, генерал за обідом добряче хильне оковитої. Генералам же, мабуть, не одміряють наркомівських сто грамів!

Та найдужче вразить і навіть образить його нудьгуючий погляд. Цій людині, здається, все абсолютно байдуже, крім власної особи, власного самопочуття, власного благополуччя.

Враження від першої зустрічі з першим генералом приголомшить! Несподівана відраза ворухнеться в серці, бо за його нудьгуючим поглядом криється або жорстокість, або страшна, нелюдська зневага до всіх нас, солдатів. Хай і новобранців. Що для нього чуже життя або смерть? Генерал-майор Кулагін, старий і стомлений, оточений заступниками й помічниками у високіх чинах, постане перед нами втіленням війни з її жорстокістю і невблаганністю. Крижано-синяві очі на побуряковілому обличчі здаватимуться сталевими лезами, що ріжуть все, на чому спиняться: дерева під його поглядом мають падати, а люди — вмирати. Проте ні першого, ні другого не станеться. Генерал пройдеться вздовж шеренги вишикуваного поповнення, вдивляючись у солдатські обличчя щілинками-лезами заплилих жиром очей, потім вийде на середину галявини й зупиниться. Полковники й підполковники з його оточення зупиняться теж, трохи віддалік. Вони повторюють кожен його рух і крок. І тому нагадують табун гусей чи качок на нашій сільській вулиці. Тільки й того, що не гелгочуть і не крякають. Генерал вийме із широких синіх бриджів барвисту позолочену коробку цигарок «Гвардійські» й почне частувати своє оточення. Закурить і сам. А вкутавшись димом, скаже майорові Підрубенку:

— Віддайте команду «вільно» й посадіть людей, щоб не стовбичили. А ви, полковнику, — звернеться до свого замполіта, — розкажіть про бойовий шлях дивізії, охарактеризуйте оперативну



обстановку на нашій ділянці фронту, щоб поповнення знало, в яку дивізію потрапило і які завдання стоять перед нами.

Замполіт, стрункий і підтягнутий полковник Зінченко, молоджавий, з іскристими бісиками в карих насмішуватих очах, пройдеться по галявині в брезентових чобітках і ладно та складно розповість нам про бої, проведені нашою дивізією в Сталінграді, на Курській дузі. Розповість, як вона визволяла Україну – як форсувала Дніпро в районі станції Апостолове, брала з тяжкими боями Кривий Ріг, Казанку, Новий Буг, мою рідну Баштанку, Роздільну, Одесу, виходила на плацдарм за Дністром. Тут він замнеться й насторожено гляне на Кулагіна.

– Давай, давай, Володимире Михайловичу, – підбадьорить його генерал. – Не вагайся. Розкажи, як фріци нас скинуть цієї весни в Дністер. Нічого не треба приховувати. На війні не все складається успішно. Та ще на такій жорстокій війні з могутнім і вишколеним ворогом! Хай знають і готуються до найгіршого. А хороше й без підготовки сприйметься. Тільки хорошого ні солдатам, ні полковникам, ні генералам на війні не випадає густо. Піт і кров – ось що нам усім судиться на війні. І праця – тяжка праця до сьомого поту! А не тільки «Бах-бах!» та «Ура!», не лише переможні атаки і марші.

Од генерала несподівано повіє за цими чесними й прямими словами теплом і людяністю. І ми, сидячи у високих травах, з подивом і задоволенням відзначимо цю перемену, готові простити йому сухість, зверхність, навіть жорстокість, що так яскраво виявляться у його зовнішності й по суті нікуди не дінуться – залишаться з ним. Але ніби померкнуть. Чи їх хтось відмінить на наших очах. Або несподівано вкраде у генерала.

– Розкажіть, як нашу дивізію розріжуть на плацдармі перед Паланкою навпіл танками, як вийдуть по єдиному шосе на переправу й сплять її термітними снарядами, як згорнуть наші полки й батальйони спочатку у плавні, а потім у Дністер. Як ми переправлятимемося на підручних засобах, а то й уплав. Як гинутьимуть наші люди в збуреному Дністрі, що розлітеться тої пори неймовірно. Розкажіть, полковнику, не бійтеся! Поразки – це теж уроки. На жаль, за них дорого доводиться платити. Іноді надто дорого. Саме так було на плацдармі під Паланкою. Розкажіть, Володимире Михайловичу, люди вас зрозуміють і зроблять правильні висновки. А головне, знатимуть, що таке плацдарм і як його треба обороняти, щоб не опинитися у Віслі. А про перемоги й подвиги вони й у газетах прочитають. Бо війна у газетах – то суцільні по-



двиги й перемоги. Ніби невдач зовсім не буває. А я саме про невдачі й писав би і розповідав, бо вони вчать розуму, застерігають від благодушся, мобілізуюють усі сили, духовні й фізичні, щоб не повторювалися поразки та їхні тяжкі наслідки.

Доки генерал говорить, полковник стоїть поруч і тихо всміхається, бо говорити йому після генерала вже нічого. До того ж він знає, що в політуправлінні армії і фронту за такі розмови по голівці не поглядять.

А генерал-майор Кулагін своєю прямою й чесністю неймовірно зросте в очах і серцях усього поповнення, стане для кожного з нас близьким і зрозумілим. Коли він віддасть команду «покупцям» від полків, батальйонів та рот розібрати людей за призначенням, ми оточимо нашого комдива тісним кільцем, закидаємо запитаннями, кожен з нас намагатиметься пробитися до нього якомога ближче. Все це створить атмосферу довіри, єдності, чого ніколи не відчуваєш у запасних полках.

Сонце сідає, і вечірня прохолода виповзає з лісу, з-поміж дерев, влягається на просторій галявині, свіжо дихає в обличчя. І кожного з нас огортає дивний спокій всупереч тривозі, посіяній генералом Кулагіним. Бо ця тривога мимоволі вселяє в нас віру в те, що з таким командиром дивізії ніякі випробування нам не страшні! Коли до людей ставляться з довірою і повагою, вони відчувають свою гідність і достоїнство. І готові подолати всі випробування разом з таким командуванням.

3.

Коли поповнення розпадеться на три частини відповідно до кількості стрілецьких полків, до кожної такої групи під'їздить на мотоциклі капітан Чумак у камуфляжному комбінезоні з німецького плащ-намету, підперезаному широким поясним ремнем з двома кавалерійськими портупеями через плечі, з двома ж таки пістолетами в кобурах по обох боках. На форменому кашкеті, поверх козирка, закріплені сонцезахисні окуляри на зразок авіаційних чи гоночних. І, незважаючи на всі ці аж надто войовничі обладунки, капітан Чумак все одно здається тихим, якимсь ніби домашнім і геть цивільним, а не військовим.

Він, командир дивізійної розвідки, шукає серед поповнення знавців німецької мови: відбирає у писарів людей з вищою та середньою освітою й одразу ж заводить розмову по-німецьки. Ніхто ворожій мови не знає, і Чумак смутніє, здається навіть пригніченим. Журба, давня українська журба залягає в його задумливих



очах, і якесь підсвідоме співчуття до цього «війнствуючого» зовні, а внутрішньо дуже мирного Чумака охоплює кожного, хто з ним залишається віч-на-віч.

Дійде черга й до мене. Чумак сидить на люльці свого мотоцикла й сумовито дивиться, як я підходжу, як виструнчуюся перед ним та доповідаю по-статутному коротко й чітко.

— Облиш ці формальності, — стомлено й ніби нехотя вимовляє він. — Мову знаєш?

— Знаю.

— О! — ніби прокинеться Чумак і аж стрепенеться. — Вперше чую таку зухвалу й упевнену відповідь!

Він одразу ж перейде на німецьку й почне прискіпливо розпитувати мене, звідки я родом, де вчився, звідки знаю мову, бо шкільна програма задовольнити його не може. Дізнавшись, що я зростаю серед німців-колоністів і засвоїв їхню живу, розмовну мову змалку, він вийме блокнот і ручку, щоб записати всі дані про мене. Але, дійшовши до того, що я опинюся в окупації, але ще не побуваю в бою, згорне свій блокнот, сховає у нагрудній кишені.

— Не буде баба дівкою, — посмутніє він знову. — Смерш тебе в розвідку не пустить, — скаже впевнено й спокійно. — Дивно, що дозволили тобі закінчити школу молодших командирів без участі в бойових діях та без пролітої крові. — Чумак говорить зі мною по-нашому, по-сільському: сидить на своєму мотоциклі, немов на призьбі чи колодках, похиливши голову, і тихо бесідує, ніби вдома.

Вперше зустріну звичайну нашу людину, яка зживеться з військовою, здається, навіки.

— Під час форсування Вісли ми втратили свого перекладача, — зітхне він. — Гарний був хлопець, царство йому небесне. Отакий молодий, як ти. Тепер не можу знайти йому заміну. Єдиний шанс знайти перекладача, доки вас не розібрали по полках. А з полку вже нікого не висмикнеш.

— А я б дуже хотів у розвідку потрапити, — зізнаюся я.

— Потрапиш, — обіцяє мені капітан Чумак. — Після першого ж бою спробую забрати тебе через смерш. А поки що послужи в сто першому — це мій рідний полк, славний полк! Тут я командував полковою розвідкою. На плацдармі, доки не почалися бої, доведеться тяжко попрацювати: треба весь його перекопати траншеями в повний профіль, щоб фашисти не прорвалися. Глибина траншеї — метр сорок, ширина — вісімдесят сантиметрів. Уявляеш, скільки треба землі вивергати? А ще ж і бруствер висипати



й розрівняти, бліндажі та ходи сполучень вирити. Цей плацдарм нам кров'ю окипить. — Чумаком одним доторком ноги заведе свій мотоцикл і поїде-попливе поміж травами, вибираючись на просіку, а я повернуся до гурту, що саме збереться вирушати в розташування віднині рідного мені сто першого полку.

Відбиратиме і вестиме нас у полк начальник штабу третього батальйону старший лейтенант Лучін — мій ровесник, москвич, що закінчить, як і я, десятий клас у сорок першому році. І випуск у них в Москві буде, як і в нас, у Баштанці, саме в ніч на 22 червня. І атестат відмінника він одержить, як і я, — про це ми встигнемо з ним побесідувати ще до зустрічі з капітаном Чумаком.

По хисткому містку перейдемо річку Радомку, візьмемо ліворуч і попрямуємо на лівий фланг плацдарму під село Ходковську Волю, геть спалене й рознесене вцент під час боїв за плацдарм. Оскільки хати дерев'яні, жодної цілої не лишиться. На їхньому місці лише купи попелу та бугри землі на місці згорілих обійсть. І лише посеред села стирчить, мов знак біди, обвуглений цегляний димар згорілого поміського фольварку. За димарем та бугристими слідами від хат видніється суцільне картопляне поле — це покинуті жителями Ходковської Волі городи. А за картоплею, аж до синього лісу, що темніє за три кілометри на захід, зелене люпинове поле, неймовірно густе, свинцево важке навіть на вигляд. Тут повсюди піски, і люпин править місцевим жителям за добрива — він так і згниває на корені і дає поживу наступним врожаям.

Покинуте, зруйноване та спалене дощенту село справляє враження сумної пустки чи навіть кладовища, де мають лежати всі ті, хто жив, працював, любив і вмирав на цій неласкавій землі. А тепер про долю жителів Ходковської Волі можна тільки здогадуватися. Простоявши тут сім місяців в обороні, ми так нічого й не дізнаємося ні про саму Ходковську Волю, ні про її жителів. Зате зрозуміємо й відчуємо, як їм тут гарно жилося: хоч ґрунти піщані й пісні, а картоплі родять, нівроку, на славу! Родять цього разу нам — білі, розсипчасті, цукристі! А жита колосяться перед Гловачувим і Магнушевим, як Дунай. Їх, щоправда, витолочать у майбутніх боях, однак стоять вони суцільною стіною на людський зріст, густі і тучні, як на чорноземах.

Річечка Радомка обтікає село в пологих берегах, порослих верболозом та ліщиною, і широка її улоговина затишна й тиха — саме тут і треба було ставити село! Вода в Радомці на диво прозора, чиста, мов сльоза, і риба вільно розгулює на бистрині, маючи



надійні прихистки в куширі, в очеретах та рогозі, що ростуть в затонах при березі.

Хоч яка маленька річечка, а плацдарм, навіть на штабних картах та в оперативних документах, зветься то Магнушевським — за назвою найбільшого на плацдармі міста, то Радомським — за назвою оцієї малесенької річечки. Буде вона у фронтовому побуті і нам, і штабам в оперативних донесеннях орієнтиром, природною перешкодою, певним рубежем, ця тиха, спокійна річечка, що ніби сумує за своїми господарями, які покинуть її надовго, а може, й навіки. Якщо десь загинуть на чужині, далеко від її рідних берегів.

А містечко Радом десь далеко від нас, і ми навіть не побачимо його, як і Магнушева. Зате перед нами, в центрі плацдарму, біліє Гловачув з високим костьолом, який ми назвемо церквою. Його біла дзвіниця зводиться над усією привіслянською рівниною, так що її видно з усіх усюд. По ній, очевидно, пристрілюють артилерійські й мінометні батареї, бо кращого орієнтира в природі не існує. Тому дзвіниця пробита снарядами в багатьох місцях. І ці моторошні отвори в її зраненому тілі видно здалеку. А клали її, очевидно, добрі майстри, бо вона вистоїть під вогнем усе літо і всю осінь. Вистоїть і наш прорив оборони німців і так і лишиться стояти, коли ми зіб'ємо з позицій і поженемо фашистів на захід. Стоятиме, мов пам'ятник її великим будівничим та нашим жертвам при прориві фашистської оборони.

4.

Біля штабу полку нас чекатимуть командири рот і навіть командири батальйонів. Їх рідко можна бачити всіх разом, бо в кожного своя ділянка фронту, своє завдання, своє розташування. Нам покажуть найвизначніших: комбата-І майора Агафонова та комбата-ІІ майора Кисельова, представлених за форсування Вісли до звання Героя Радянського Союзу. І нашого скромненького, непомітного й тихого старшого лейтенанта Гробового, мало схожого, а то й зовсім не схожого на командира батальйону. Він не впадає у око одразу, не запам'ятається й потім, а після першого ж поранення при прориві оборони німців 14 січня 1945 року забудеться й зовсім. Тож нічого й зараз згадати про свого комбата.

Зате командири рот виявляться фігурами колоритними: капітан Ценних, високий та стрункий блондин, комроти-7 нашого батальйону. Всіма полковими телефоністами прослуховується, як він явно зневажає командира батальйону під час бойових донесень. А командир 5-ої роти старший лейтенант Абрамов поло-



нить усіх своєю грою на баяні та піснею «Позарастали стежки-дорожки», яку він співатиме з начальницею полкової санроти, смаглявою красунею старшим лейтенантом, як тільки нас приведе в розташування батальйону й подасть команду «Розійдись!» – начштабу Лучин.

У Абрамова виявиться густий та чистий баритон, надзвичайно м'якого, навіть ніжного тембру, і в душах наших назустріч тому голосу та мелодійним звукам баяна підніметься щось потаємне, далеке й напівзабуте... Так що багатьом з нас не вдасться стримати сліз захоплення і розчулення. Особливо при словах:

*Позарастали мохом-травою,
Іде ми ходили, мильй, с тобою...*

Бо як же й справді позаростали всі наші стежки-доріжки в рідних краях і селах за нашої відсутності? Як вони осиротіли й спустошилися без нас? І коли ж ми повернемося до них? І чи повернемося взагалі? Бо вони ж співатимуть під задушевний акомпанемент Абрамова на баяні й марш Агапкіна :

*Прощай, отчий край!
Ты нас вспоминай.
Прощай, мильй взгляд!
Не все из нас придут назад...*

Переливи й варіації баяна під пальцями елегантного й задумливого старшого лейтенанта Абрамова бентежать наші серця щемливим болем і сумом, щось приховане й таємне будять в них, навіваючи бажання любові й тривоги водночас із тугою за домом і рідними людьми, яких ми так пристрасно і ніжно любимо, що тільки зараз відкриється нам по-справжньому, так далеко від рідних місць! Та ще й за далечню війни і близькості смерті.

Абрамова після цих мелодій і пісень, віртуозної гри на баяні оточимо-обступимо, як і генерала Кулагіна після його виступу, великим натовпом, всім поповненням, а також, як не дивно, оточать його й працівники штабу батальйону, телефоністи і навіть днювальні. Я теж протиснуся поближче до командира п'ятої роти та його баяна, але несподівано на моє плече ляже чиясь владна рука, і, озирнувшись, я побачу поруч Лучіна. Кивком голови він покличе мене з собою. А коли ми виберемося із натовпу, візьме мене під руку й поставить перед негарним, передчасно постарілим старшим лейтенантом Хуратовим.

— Ось, — скаже йому Лучін, — привів вам, як і обіцяв, десятикласника. — Він погляне на годинник, тут же крутнеться й швидко піде у своїх штабних справах. А я зостануся стояти перед суво-



рим та непривітним старшим лейтенантом, котрому пора було б уже бути й полковником.

— Звідки родом? Як звати? Доповідай, як належить за статутом, — суворо накаже старший лейтенант, не зводячи з мене важкого й погрозливого погляду карих, аж темних очей, вибалушених ніби з ненависті або з якоїсь неймовірної напруги.

Вислухавши мене, він неквапливо скрутить товстелезну цигарку з газети й махри, закурить, кілька разів глибоко затягнеться і випустить з ніздрів цілу хмару синюватого диму.

— Бери тебе в мінометну роту, — строго скаже він по довгій паузі.

— Не хочу в мінометну, — виструнчусь перед ним. — Хочу в автоматники.

— Дурень! — незмигну дивлячись мені у вічі, скаже старший лейтенант. — Автоматники гинуть першими, в першому ж бою. А тобі випадає щаслива лотерея: хоч батальйонні міномети безпосередньо підтримують піхоту, але в бойових порядках ідуть вслід за нею, а не попереду. Ясно? Як відмінник-десятикласник, командуватимеш першою обслугою: по тобі будуватимемо веєр. А, ти не знаєш, що таке веєр? Не біда, ми тебе швидко навчимо всім цим премудростям. До того ж, обслуга в тебе підготовлена добре: і навідник, і заряджаючий, і піднощик бували в бувальцях — протягли на собі міномети аж із-за Дніпра. А дехто й від Сталінграда. Іди оцією стежкою — вона тебе виведе на вогневу. Там представишся старшому лейтенантові Сухову.

5.

Я відкозиряю йому й піду вузькою стежечкою поміж чагарниками до піщаних пагорбів. Під ними у видолинку, за зворотними від противника скатами побачу шість концентричних заглибин, у кожній із яких стоїть міномет. Заглибини з'єднані ходами сполучень. Крім того, з кожної заглибини прорито траншеї до бліндажів для обслуги та до ровиків з боєприпасами у дерев'яних ящиках з чорним маркуванням. Оце і є вогнева позиція батареї 82-міліметрових батальйонних мінометів, яка називалася ротою.

У центрі вогневої на прогрітій сонцем землі сидять й лежать молоді хлопці у вигорілих гімнастерках та пілотках, а перед ними стоїть такий же молодий, як і вони, старший лейтенант — тоненький, стрункий, кароокий, з легеньким пушком над верхньою губою. На ньому хромові чобітки, сині бриджі, тонка гімнастерка з англійського хакі. З-під пілотки вибивається хвилясте волосся



й падає на високий лоб, надаючи скромному й тихому навіть на вигляд офіцерові зухвалості, геть не властивій йому. Він щось пояснює хлопцям, походжаючи взад і вперед, зрідка заглядаючи в розгорнутий блокнот. Зачувши мої кроки, обернеться, з цікавістю гляне на мене. Погляд привітний, добрий, а на обличчі з'явиться трохи ніякова усмішка. З першої миті вловлю в ньому щось зворушливо-дитяче, надзвичайно інтелігентне, і душа сама одразу ж потягнеться до нього.

Виструнчившись, кину руку до пілотки і стрійовим кроком, як учили в школі молодших командирів, підйду до нього на три кроки:

— За наказом командира роти прибув у ваше розпорядження. Старший лейтенант подасть мені руку.

— Ось ваша обслуга, — кивне на трьох дуже різних людей: круглолидий, опецькуватий Вася Акимов — навідник, перший номер, Блинников — заряджаючий, обоє молоді, шкільного віку, і зовсім старий Юнусов — піднощик, котрий одночасно виконує обов'язки ординарця командира роти Хуратова і фактично перебуває весь час при ньому. — А он ваша вогнева, — покаже старший лейтенант на крайній зліва міномет, що різко відрізняється від інших: всі п'ять мінометів пофарбовані у захисний армійський колір, а цей геть вичовганий до металу, металом же й світиться. — Знайомтеся з обсервою, з усією ротою, а про магчастину вам Акимов доповідатиме, — скаже старший лейтенант і оголосить перерву в заняттях вогневою підготовкою.

— То що ж це за міномет? — запитаю Васю Акімова, коли, перезнайомившись з усіма, нарешті зайду у свою вогневу й зупинюся біля вичовганого до металу міномета.

— А ви погляньте на дату випуску, — скаже сержант Акимов. Що він сержант, свідчать три червоні ниточки замість личок: давно, мабуть, перебуває на передньому краї, тож ніколи й погони путні дістати. — Отуди дивіться, ближче до казенника.

Я гляну і оторопію: там «1941 р.».

— От який старий! — скаже гордовито заряджаючий Блинников і лагідно погладить обчухраний ствол. — А привезли аж сюди, мабуть, із Сталінграда. Нам його вчора видали на складі боєпостачання.

— А чому саме нам його виділили? — запитаю з пересторогою і навіть образою.

— Тому що попередній склад обсерви й міномет загинули внаслідок того, що послали міну на міну, — пояснює Вася Акимов, але



я його не зрозумію. — Ну, от уявіть собі артпідготовку: стріляють усі без винятку, кидають міну за міною, а попередня не вистрілилась, осічка, вона лиш стала на бойовий лад, тобто найменшого доторку вистачить для того, щоб вона вибухнула! А тут на неї посилають наступну міну. Ну, вони й вибухнуть обидві в стволі міномета, здетонувавши. Ні міномета, ні обслуги — тільки дим та полум'я!

— На моїх очах загинули, — додасть сержант Дубченко, командир другої обслуги. — Страшне це діло! Краще такого не бачити.

— А ви як тут опинилися? — запитаю Васю Акімова.

— Нас із Блинниковим відізнали з піхоти, бо колись теж були в мінометній роті. А Юнусов як був тут, так і лишається при Хурагові. Він тільки числиться в обслузі. Але акуратний, чортяка: міномет нефарбований, заіржавів на складі, то Юнусов так видраює його, особливо ствол, що аж сяє. Бачите й самі.

— Бачу, бачу, але ж Юнусов зовсім старий. Як він потрапив на фронт?

— А хто його знає. У них там, у Башкирії, свої закони. Пішов на фронт замість молодшого брата, у якого шестеро дітей.

— У нас є й старші за нього, — скаже Дубченко через бруствер. — Їздові Манько і Холод з Полтавщини. Як підвозитимуть міни на своїх конях та підводах за Дніпро на плацдарм, так і зостануться в роті, коли полк прорветься з плацдарма на Дніпрі й піде далі на захід.

— Ходімте покажемо вам наш бліндаж, — запропонує Вася Акімов.

Ходом сполучення ми всі разом пройдемо з вогневої в бліндаж — низенький, ще глибше, ніж вогнева, вкопаний у землю.

— Три накати, — покаже товсті колоди перекриття Блинников, і в голосі його я вловлю гордість. — А перекриття знаєте, як ми заготовляємо? Володя Титов, командир третьої обслуги, возить із собою німецький кулемет MG-42. Як присяде та дасть чергу по низу, так сосни й падають як підкошені. Лишається тільки обрубати гілля та розпилити на потрібні за розміром колоди. Отакий вдалий сержант Титов. Ми вас із ним познайомимо.

Титов прийде до нас увечері з усією своєю обсервоюю. А сержант Дубченко — із своєю. Так і наб'ється вся рота в наш бліндаж з вогневої — всі придуть знайомитися з новоприбулим командиром першої обслуги. Курять, мовчать, перемовляються про се, про те. А вечір тим часом спускається над Радомкою, над Віслою,



над далеким синім лісом, по краечку якого, кажуть, проходить німецька оборона — на відстані 3 400 метрів від траншей нашої піхоти, що, зарившись у землю, не подає жодних ознак життя. Воювати наша армія на той час навчиться! Що наступати, що займати оборону та окопуватися.

Наша вогнева розташована біля підніжжя зворотних схилів піщаних горбів, що тягнуться вздовж Радомки і, можливо колись давно, були її правим берегом. А за горбами лежить до самого лісу рівнина, пласка, мов стіл. Вся вона покряяна межами, про які в наших степах та колгоспних полях вже давно забули. Низькорослі картоплі сусідують з бундючними темними квадратами люпину, а де-не-де видніються незасіяні піщано-жовті латки поміж темно-зеленими картоплями та люпином. Від цієї строкатості рябіє в очах. Над плацдармом височить високе літнє небо без жодної хмарини, і тиша стоїть! Аж моторошно від неї: така тиша на війні завжди таїть у собі несподіванки і здається неприродною.

Тим часом починає смеркати. Ластівки і стрижі літають низько над нашою вогневою, на льоту скльовуючи комарів та мушву, і ті швидкі й беззвучні шугання крилатих віртуозів надають всій оцій місцевості мирного вигляду, майже домашнього затишку. І вперше відтоді, як розлучуся з Галею біля її воріт, у моїй душі оселиться спокій, якесь умиротворення: адже я нарешті на передньому краї! Тобто там, куди прагнув весь час окупації і після звільнення.

Уже в сутінках під'їде до вогневої й спиниться в шелягах польова кухня, і циганкуватий старшина з величеньким термосом несподівано з'явиться серед нас і почне розливати оті знамениті наркомівські сто грамів, про які я так багато чув і якими тепер буду наділений разом з усіма.

Вся рота питиме за моє прибуття, і навіть Сухов із своїми ста грамами прийде мене привітати сюди ж таки, на вогневу, цокнеться зі мною.

— З прибуттям, — скаже він тихо. І, цокнувшись кружками, вип'ємо одночасно.

— Корницький! — гукне він свого ординарця, навідника у обслузі Титова. — Принеси, будь ласка, мою вечерю сюди, бо не хочеться лізти в сирий бліндаж з такої благодаті.

Горілка на війні зігріває, зближує, надає зустрічі урочистості й тепла. Неймовірно смачною здасться мені перловка з тушонкою — гаряча, густа й навариста. Запашний буде і справжній, свіжо заварений чай. Неймовірно пахнутиме домом та домашнім затиш-



ком свіжий, ще гарячий хліб доброї армійської випічки, і на душі в мене стане світло і радісно. Чи не вперше після тяжкої розлуки з рідним селом і Галею. Мабуть, через те, що уважно й просто поводиться з усіма інтелігентний Сухов, відкинувши субординацію. Так воно, очевидно, в роті й ведеться: все робити разом, ділити порівну і радіщі, й тривоги. І мені, новоприбулому, помітно, як шанують і люблять Сухова всі сержанти й рядові.

Того вечора — першого мого вечора на передовій — ми засидимося на нашій вогневій допізна, і я, сам того не помічаючи, розповім новим товаришам, своїм майбутнім фронтовим друзям, все мое життя: і про школу розповім, і про Галю, й про окупацію, і про нашу любов та наше гірке розставання. Окрилений тим, що слухають мене уважно, розповідатиму про все з незвичним хвилюванням, навіть з натхненням. І розійдемося ми по бліндажах справжніми друзями, усвідомлюючи, що таких вечорів на війні випадає нечасто.

— Ранкова повірка о шостій нуль-нуль! — Нагадає мені Сухов. — Не запізнюватись! Старший лейтенант Хуратов, командир нашої роти, вельми суворий і вимогливий. Він днює й ночує на спостережному пункті, а приходиться в розташування батареї тільки на ранкову повірку. І тоді — стережись! Отож, до ранку, — подасть мені руку, і щось тепле-тепле ворухнеться в моїй душі. Я назажди запам'ятаю ласкавий потиск руки мого юного командира.

*Конча-Озерна,
5 вересня 2010 року*



РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

ХУРАТОВ

1.

Повільно йде вздовж шеренги, ріже наші обличчя гострим поглядом, немов бритвою.

Стоїмо струнко, ведемо очима за ним. А над плацдармом, над долиною річечки Радомки, порослою ще зеленими вербами, як у нас в Україні, і вже палахкотючими канадськими кленами, летить срібними струнами бабине літо, і дзвінкий голос Козловського з агітаційної установки лунає над нейтральною смугою, краючи наші серця рідною мелодією

*Гуде вітер вельми в полі,
Реве, ліс ла-а-ма-а-є...
Плаче козак молоденький,
Що ро-о-бить, не зна-а-є...*

Передачі пересувної агітаційної установки спрямовані на оборону ворога, що губиться в синіючому узліссі за три з половиною кілометри від нашого переднього краю. Але оператор, найімовірніше — українець, насолоджується сам і радує нас милим співом, сподіваючись, що й німецькі солдати розчуляться якщо не словами, яких не розуміють, то мотивом та ангельським голосом Івана Семеновича.

Хуратова ж ні ясна днина, ні тепле сонечко тихого надвечір'я, ні дивовижна музика, що супроводжує співака з таким видатним голосом, — нічого не обходить, не зворушує. Він весь — увага, суворість, вимогливість. Вигляд у нього страшний: очі вирячені, гудзуватий ніс — картоплиною, вилиці — синіми, очищеними цибулинами.

Очі ніби вилазять з орбіт, напинаючи й витончуючи повіки, і разом з великим тонкогубим ротом набирають жаб'ячого виразу. Обличчя теж якогось жаб'ячого відтінку: брунатно-сіре, ніби вічно не голене. Густа, аспидно-чорна рослинність, зрізана бритвою, домінує: шкіра крізь неї навіть не просвічується.



Рідкі та великі зуби випинаються, від чого щелепи — тяжкі й масивні, мов у андертальця. Він походить перед строем в розстебнутій шкірянці, в синіх бриджах та хромових чоботях із вузькими халявами, що підкреслюють його тонконогу карячкуватість. На тоненькому ремінці — офіцерська фартова планшетка світло-жовтого кольору. Такого ж кольору й кобура ТТ з гарно виробленої армійської шкіри. Але в його постаті — анічогісінько військового: ні в осанці, ні у виправці, і навіть новесенька офіцерська форма якось не личить йому. Він нагадує нам, новобранцям, стомленого річним звітом бухгалтера або уповноваженого, що приїхав ненадовго і незабаром поїде, лишивши неприємний спогад про себе.

Ще чужіший він оцюму співу, що так бере за серце, аж сльози виступають мимоволі від туги за домом, бабусею, за батьками й дружинами нашими чи дівчатами:

*Гудеш, вітре, та не плачеш,
Бо тобі не тяжко...*

Вітер то відносить мелодію удалечінь, то повертає підсилену, так що кожне слово чується виразно, і, коли вона відлітає і майже завмирає зовсім, душа лине за нею з такою тугою, ніби втрачає щось найдорожче, найпотрібніше саме зараз. І що тихіший сонячно-золотий голос Козловського, то дужче хочеться його чути, ловити, сховати в душу.

А Хуратов ніби й не чує того співу: зупиняється перед шеренгою, ще раз пильно вдивляється в наші обличчя, щоб запам'ятати кожного:

— Дев'ять погонних метрів на душу ежедневно! Ясно? — Йде вздовж шеренги, заклавши руки за спину. — Перероем траншеями весь плацдарм, на всю глибину! И нас не сбросят в Вислу, как сбросили в Днестр нынешней весной. Вот наша главная задача! Ясно? Разойдись! — командує і йде у свій бліндаж.

«Адигейський татарин», — кажуть про нього в дивізії з не зрозумілим для нас пієтетом і повагою. А напередодні кожного наступу командир дивізії забирає Хуратова у свій офіцерський резерв. І як тільки його відкликають у штаб, всі вже знають: завтра арtpідготовка і — вперед! Хоч це й тримається завжди у великому секреті.

Хуратова бережуть таким чином від самого Сталінграда. І коли в грудні сорок четвертого генерал-майора Кулагіна заберуть з переднього краю в Академію імені Фрунзе, його заступник — однорукий полковник Смолин — дотримуватиметься неписаного солдатського братства: з чотирьох Хуратових хоч один має зали-



шитися — у загиблих осиротіли діти, долею їхньою має опікуватися останній брат, випускник Бакинського інституту нафти.

На третій день отого немилосердного копання з ранку до вечора, набивши криваві мозолі, ремствую перед бойовими товаришами:

— Доки ж отак мучитися!? Га? А офіцери і за лопату не візьмуться.

В обід мене викликають до Хуратова. У бліндажі командира роти морок, тиша і прохолода. Після сонячного саява нічого не бачу. Витягуюсь в струнку, кидаю руку до пілотки:

— За вашим розпорядженням гвардії сержант...

— Ты что же бойцов против командиров подбиваешь? — обриває він. — Не будь дураком — держи язик за зубами! А то смерш напамит тебе «Был в окуп. обл.». На переднем крає разговор короток! Ясно?

А на вечірній перевірці, за звичкою заклавши руки за спину і проходячи вздовж шеренги, зупиняється перед Цімохом — заряджаючим Володі Титова — і раптом:

— Выйти из строя! — рывкне так несамовито, що ми здригнемося й замремо.

Хуратов відходить на правий фланг, розвертається і каже Цімоху, що стовбичить перед строем один як палець:

— Пять минут на сборы! Собрать вещи — і шагом марш в пехоту!

Цімох блідне на наших очах, мов мрець: піхота — це смерть! А Хуратов швидко підходить до нього і каже:

— Донощикам в батарее нет места. Не потерплю! — знову зривається на вереск. — Во-о-он! Чтобы и духу твоего здесь не было!

«Ось хто доніс на мене». Хлопці нічого так і не визнають, бо Хуратов більш і не заїкнеться про це. Ну, а я й поготів.

— Сухов, — звертається до командира першого вогневого взводу, старшого на батареї, ніби аж постарівши і втомившись. — Сходите сейчас же в штаб батальона, выберите расторопного и грамотного бойца вместо этого, — киває вслід Цімохові, — приспособленца.

— Слушаю! — виструнчується командир нашого першого вогневого взводу.

С безрез несльшшен, навесом

Слетает желтый лист...

Старинный вальс «Осе-енний сон»

Играет гармонист...



Знову лине над долиною Радомки ніжний тенор Козловського так виразно і так чисто, ніби він співає десь за отими шелюгами, що вкривають зворотні схили піщаних висот, за якими окопалася мінометна батарея. З беріз і справді злітає, вже й без вітру, перше пожовкле листя, падає нам на плечі й пілочки, і його можна ловити, мов золоті монети...

*Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи-и-и,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои...*

Так ми вперше чуємо цю прекрасну пісню і стоїмо всі, як один, там, де вона кожного із нас застає. Тенор Івана Семеновича раптом затихає, ніби, співаючи, він одвертається від нас, а потім знову повертається і лунає зовсім близько:

*...Бойца не утрашит,
И, что положено кому,
Пусть каждый совершит.*

Присмирніють мої товариші, замисляться, вслухаються. Далеко-далеко наші домівки! І всі наші рідні і найрідніші. А пісня й сюди прийшла за нами як їхній привіт. Як нагадування про те, що і наші ріки течуть так само, як Вісла і Радомка, і ліси наші вже потроху жовтіють і пускають листя за вітром, і все це чекає нас і виглядає... Якби тільки лишитися живими. А Козловський, ніби вгадавши наші думки і настрої, підбадьорює:

*А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз...*

Та втіхи у цьому мало, і кожен подумає: «Не мені лягати в землю! Цур, не мені...» А Сухов затримається біля моєї вогневої, дослуховуючи куплет.

— Яка правда?! Вперше чую в пісні таку правду... — крутне головою й піде містком через Радомку на той бік, і я згадаю його роздумливу фразу на Темпельгофському аеродромі 20 квітня 1945 року, коли його зріжуть фашистські кулеметники вже в самому Берліні.

А за ним услід летить підбадьорливий голос Козловського, змінивши і ритм, і тональність на енергійніший, на мажорний лад:

*И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом...
И каждый думал и мечтал
О чем-то дорогом...*



Про що думає Сухов, не знаю. А я думаю про нашу хату над ставом, про самотню маму, про ще самотнішу молоденьку дружину мою з малим дитям, про крихітну нашу дівчинку, котрій оце виповнилося півроку...

*И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал: дорога к ней
Ведет через войну...*

Чистий, як сльоза, й прозорий, як вода в гірському ручаї, голос Козловського вертається до перших слів пісні і завмирає, а натомість грубий, чужий, гавкаючий фальцет викрикує чуже й страшне олово:

– Achtung! Achtung! – і агітаційна атака на німецьку оборону почнеться. Саме перед вечерею.

За першими ж звуками німецької мови починають стріляти з автоматів і кулеметів, щоб заглушити цю безглузду затію. А як тільки залунають звуки музики, над обома передніми краями, над нейтральною смугою, порослою високими, незайманими травами, над лісами й перелісками знову нависає тиша. Музико, музико, музико... Ти й на війні з нами, грієш наші серця, нагадуєш нам усі принади світу. І навіть тут робиш нас людянішими. Спасибі вам, музико й пісне!

2.

Із закінченням земляних робіт на плацдармі Хуратов запровадить попереми́нне чергування на спостережному пункті командирів мінометних обслуг.

– Привыкайте самостоятельно засекать огневые точки противника! Не сидите иждивенцами за моей спиной да спинами своих командиров огневых взводов. Проявляйте инициативу в определении новых огневых средств. Ибо под осень, чем длиннее ночи да чем ближе наше наступление, фашисты плотнее будут насыщать свои боевые порядки артиллерией, минометами и пулеметными гнездами. Помните: они не дураки! Все учитывают. И мы должны не сводить очей с их обороны. На батарее должны постоянно находиться командиры огневых взводов, чтобы немедленно открывать огонь по новым огненным точкам. А мне самому не удастся вовремя засечь их: как только вздремну, так и прозеваю пристрелку новых батарей или пулеметных гнезд противника. Ясно?



З того часу ми й чергуємо разом з ним з вечора до ранку. І йдемо разом з ним на ранкову повірку, коли його тут підмінюють Сухов чи Аверьянов, командир другого вогневого взводу.

Все літо на плацдармі при затишші на передньому краї тривають запеклі повітряні бої: над переправами через Віслу та над артилерійськими й мінометними позиціями. Над ними – особливо настирливо кружляють «рами», двоохвості розвідники-корегувальники, ведучи спостереження та аерофотозйомку під прикриттям винищувачів «Ме-109» та «Фокке-Вульф-190». З якихось невідомих джерел знаємо, що над нашим плацдармом «у вільному полюванні» діє молодий, але вже знаменитий ас нашої винищувальної авіації майор Іван Кожедуб, зоря якого зійшла тільки навесні над Кубанню в 43-му, але який уже доганяє полковника Покришкіна по кількості збитих літаків противника. Він в основному барражує над Віслою, прикриваючи наші переправи. Але іноді, в гонитві за повітряним суперником, пролітає й над нашими позиціями, і ми спостерігаємо захоплюючі повітряні бої.

До війни усі десятикласники мріяли про авіацію. Мріяли й ми з моїм «дядьком» Віктором Митрофановичем, молодшим за мене на три роки. З Кулеб'як Горьківської області, де вчиться на шестимісячних курсах молодших лейтенантів, він пришле мені листа: «Занятия напряженные – некогда вгору глянуть. Так что некогда предаваться нашей с тобой давней мечте о небе. Но когда пролетает над нашими тактическими занятиями самолет, снова предаюсь ей. И эта мечта клонит мою голову, как голову украинского подсолнечника в степи...»

Щоб отак написати на вісімнадцятому році життя?! Одна ця фраза свідчить про те, якою б Людиною був наш Віктор, якби не загинув?

Закінчивши навчання і одержавши офіцерське звання, Віктор Сизоненко отримає призначення на посаду командира кулеметного взводу під Кенігсбергом, де йтимуть особливо вперті й тяжкі, кровопролитні бої за столицю Східної Пруссії. Та ще його кулеметний взвод прикриватиме стик двох дивізій! З нього, із цього стику, німецька розвідка не зводить свого пильного ока. Віктор буде розстріляний прямим попаданням з «Фердинанда» буквально другого ж дня по прибутті, коли, строчачи з кулемета понад головами, зупинятиме охоплену панікою піхоту, поповнену необстріляними бійцями з Молдавії та Західних областей України.

«Тільки чоботи з його ногами залишаться на дні кулеметного гнізда», – скаже мені після війни його фронтний товариш з тре-



тього відділку нашого радгоспу. Все станеться на його очах, бо він воюватиме у Вікторовому кулеметному взводі.

Віктор загине вслід за братом Петром, 24-літнім командиром 122-х мм гаубичної батареї ще «на тій війні незначенитій», під Виборгом за два дні до замирення з фіннами. Вслід за двоюрідними братами Романом та Сергієм, що поляжуть у 41-му, обороняючи Одесу. Та вслід за їхнім найменшим братом, Вікторовим ровесником, Ванею-«Зеликом», що впаде на полі бою під час Ясько-Кишинівської наступальної операції. Майже весь рід наш буде вибитий на війні! А тепер мудрагелі-націоналісти хочуть, щоб я забув і Велику Вітчизняну війну, і загиблих родичів, бойових товаришів та командирів, зрадив пам'ять про них, зрадив і самого себе.

Яке кощунство і який цинізм?!

3.

– Немца сбили! – вривається на світанні у бліндаж нашого НП (спостережного пункту) капітан Яковлев – заступник командира батальйону по стройовій частині. – Спускається на парашюте над нейтралкой! Возьмем его тепленьким и живехоньким!

– За мной! – командує Хуратов, вихопивши свій пістолет «ТТ», пересмикує затвор, вганяючи патрон у патронник. – Вон он, стервятник! – скрикне, глянувши через бруствер.

Високо у небі квітне блідо-рожевий перед сходом сонця купол парашута, і легенький західний вітерець повільно несе його до нашого переднього краю. Видно, як льотчик пересмикує стропа парашута, щоб, знижуючись нахиленим під гострим кутом куполом проти вітру, дотягнути поближче до свого переднього краю.

– Видать, Кожедуб срезал и этого, – скаже капітан Яковлев, теж ставлячи на бойовий звід свій пістолет. – Я буду отрезать его от леса, а вы...

Хуратов перебиває його:

– Сержант! Обходите его слева! Там в минном поле разведчики сделали проход для ночного поиска. А я его буду брать с кустарника! Давай, капитан, не прозеваем аса! Вперед, сержант! – крикне востанне, а сам шугоне в кущі верболозу на нейтральній смузі, тільки його й бачили.

Оточуємо бігцем фашистського аса, а вітер несе й несе його на нашу оборону, і всі, хто в цей ранній час чергують у траншеях, охороняючи сон товаришів, висуваються з траншей, а деякі й на бруствер вилазять, щоб краще бачити, як ми братимемо німця.



В цей час сонце вигулькне із-за лісу, і нам стане видно його коричневу льотну куртку, а також круглу, мов футбольний м'яч, голову, обтягнуту чорним шоломом. Помітимо навіть, яке в нього бліде обличчя і красиві сірі брюки із стрілками. Наче він спеціально напросував їх перед таким раннім вильотом. Переконавшись, що всі його спроби марні, він почне з великими зусиллями та незручностями через лямки парашута діставати свій «парабелум».

– Сержант! – крикне мені із шелюгів Хуратов. – Стрельніть із ППШ ему в руку! А то я із пістолета не достану. Стреляйте же, ну! А то он с дуру еще застрелится!

Я вистрелю одиночним, цілячись в праву руку льотчика, й не попаду. А він тим часом вже чіпляється модельними туфлями за верхівки чагарника. І, як тільки заплутає в ньому стропи згаслого парашута, Хуратов тигром стрибне на нього з гушавини верболозу, блискавично зіб'є його з ніг, виверне йому праву руку, якою він так і не встигне вихопити «парабелум», і придавить до землі німецького льотчика-винищувача, облутаного стропами й обтягнутого ремнями кріплень парашута. Доки підбіжимо з Яковлевим, Хуратов стоятиме над лежачим ворогом із наведеним на нього віднятим «парабелумом», вихопленим із розстебнутої кобури. Коли він все це зробить, ми навіть не помітимо.

– Генде гох! – дзвінко й знервовано крикне німцеві Хуратов, тримаючи його під прицілом. І до нас: – Подніміть его! Он не может выпутаться из строп.

– Ми з Яковлевим ледве підніmemo мускулистого, хоч і худорлявого аса, і він виявиться вищим не лише за низенького й щуплого Хуратова, а й за високого капітана.

Німець стоїть перед нами з піднятими над головою руками, блідий, як стіна. Губи його пересохлі, обличчя ніби обсіпане борошном, як у мірошника, а очі повні суму й розпачу. Але погляд у нього гострий, руки не тремтять – це свідчить про мужній і твердий характер. Він явно не з полохливих. Але миттєва поразка і різка переміна в його долі й житті кладуть на нього трагічний відбиток.

Яковлев підійде до німця впритул, вправно клацне замком на його грудях, і кріплення парашута упаде йому до ніг. Переступивши довгими ногами через парашут і стропи, льотчик гляне на Хуратова, відведе його руку з пістолетом і, шваркнувши застібною-блискавкою, миттєво зірве свою сяючу новизною коричневу льотну куртку і подасть її моєму командирові батареї:



– Данке, – злегка вклониться Хуратову. – Ви зберегли мені життя – не дали застрелитися, – скаже він схвильовано, а я тут же перекладу.

– Ты смотри! – вигукне Хуратов, здивовано дивлячись на мене, а не на німця. – А я и не знал о таких способностях моего подчиненного. Молодец, сержант!

Німець рішуче наблизиться до Хуратова і накине йому на плечі свою нову, рипучу куртку наопашки, і наш суворий Хуратов аж помолодіє й покращає в ній.

– Шагом марш! – незворушно скомандує йому непримиренний Хуратов і, пропустивши поперед себе, поведе його до нашого бліндажа. – Что будем с ним делать, капитан? – питає находу Яковлева.

Не встигне той відповісти, як назустріч нам з'явиться, немов з-під землі, майор медслужби в камуфляжі з німецького плащ-намету і з пістолетом ТТ у руці.

– Я его доставлю в штаб! – Засапавшись, вигукне він.

– А-а-а, ордена возжелала тыловая крыса? – злісно прошипить йому в обличчя Хуратов.

– Как вы смеете? – все ще віддихуючись, обуриться медпрацівник. – Что себе позволяете со старшим по званию?

– Смею, – спокійно відповість йому Хуратов. – Еще в Сталинграде заработал это право, потеряв в один день троих братьев.

І тут до нас вихорем підлетить на трофейному мотоциклі «Цундап» з кількома розвідниками капітан Чумак. Хлопці звільнять коляску і виструнчаться. А Чумак підійде до Хуратова, мовчки простягне руку:

– Віддайте мені його зброю.

Хуратов, теж мовчки, віддасть йому льотчиків «парабелум».

– А його документи? – питає Чумак.

– Никаких документов! – відповість Хуратов. – Хотя... – він скине з пліч льотчикову куртку. – Поищу здесь, – шаснувши по кишенях, знов накине її опашки на плечі. – Нет ни черта! Видимо, они у него в комбинезоне...

– Гаразд, – скаже капітан Чумак. І до мене: – Переклади полоненому, щоб сів у люльку, – кивне на німця.

– Чумак! Ты что очумел? – гукне Яковлев. – Там же пулемет!

– Він без патронів. Стрічки від нього мої хлопці залюбки носять навхрест на маскхалатах. Екзотика! Як у громадянську матроси носили. Ти ж знаєш, бо сам з морської піхоти. – Чумак одним доторком ноги заведе свій «Цундап».



Хлопці стрибнуть – хто позад нього на сидіння, хто на коляску попереду й позаду німця, і капітан Чумак повільно поїде ледь помітною стежкою вгору, на піщані горби, теж порослі шелягами. А німець довго озиратиметься на свій палаючий під лісом «Фокке-Вульф – 190», збитий нашим льотчиком, доки й не почнуть вони спускатися в долину річки Радомки і не щезнуть з наших очей.

4.

За кілька днів я напишу про цей епізод новелу «Льотна куртка», відправлю її в газету «Красная звезда» головному редакторові генерал-майору Таленському.

Невдовзі від нього у політвідділ дивізії прийде відповідь, у якій він детально проаналізує мою новелу – в основному, її недоліки: і літак у мене горить і чадить, мов танк, і німець-льотчик поводить не природно, і Хуратов надто легко «бере» його в полон. Лист принесе зі штабу дивізії заступник начальника політвідділу по комсомолу молодий і веселий капітан. Але вручить чомусь Хуратову, а не мені.

Мабуть, так належить за субординацією.

Прочитавши листа, Хуратов викличе мене у свій бліндаж і довго мовчатиме над вийнятим із конверта і ретельно розгорнутим листом. Ніби не знає, з чого почати і що сказати мені. Нарешті одірве погляд від нього, пильно гляне мені у вічі:

– Редчайший случай! – вигукне він, вдаривши себе листом, вкладеним у конверт, по рuci. – Генерал-майор Таленский – редактор газеты Главпура Красной Армии отвечает сержанту?! Видно, ты и впрямь что-то кумекаешь в литературе. Гм... «Самолет дымит и горит, как танк!» А он видел, как горят самолеты, а как горят танки? Сидит же все время в кабинете, корпит над своей газетой. Лучше было бы чуткому да внимательному генералу Таленскому напечатать в своей газете то, что ты написал с природы на переднем крае! А не распространяться о достоверности изображения, как горит самолет. Горит и горит, что ж тут рассуждать? Ведь тебя за время вашего обмена письмами сто раз могли убить на переднем крае. И ты б не дождался его снисходительного ответа! Но, все равно, приятно: не в каждую дивизию сам Главный редактор «Красной звезды» пишет! Что-то, наверное, в твоих писаниях есть, – мовить роздумливо, повторивши те, що вже говорив, все ще не зовсім вірячи й самому собі. Бо дивитиметься на мене так здивовано, ніби бачить когось іншого, замість мене.



З того часу він при кожній нагоді називатиме мене «писакою» – чи заховаючи, а чи картаючи. І це визначення звучить або дружньо, або принизливо. А все ж таки як не є, а звучить. І набуває дедалі більшого розголосу не лише на батареї, а й в батальйоні. І навіть у полку. А я той лист берегтиму так само, як комсомольський квиток і медаль «За отвагу», вручену мені командиром полку підполковником Коноваловим. Аж доки мене не вб'ють. Але це буде не скоро. Аж наступної весни. Вже у Берліні.

5.

...Під осінь в нічному пошуку вб'ють Ваню Томашова, полкового розвідника, улюбленця дивізії. З невідомих причин його не винесуть, хоч розвідники не лишають своїх: ні живих, ні мертвих, ні поранених. І фашисти розстрілюють труп на очах нашої оборони з кулемета розривними: видно, як з Вані летить шмаття маскхалата.

Кулемет б'є з якогось бліндажа чи доту, ще не пристріляного, нам ніяк не вдається подавити його, хоч всією батареєю випускаємо денну норму мін. Батареї забороняють далі вести вогонь, щоб не викликати занепокоєння противника та його артналіт у відповідь. Хуратов вимагає вогню, але Сухов, за наказом командира батальйону, не може стріляти.

– Тогда всех — на НП! Витащим его сами, раз не сумели подавить огневую точку. Без огневой поддержки ни разведчики, ни стрелки... Понятно, да?

Коли прибігаємо на передній край, німці так само б'ють по тому, що колись було білявим, завжди усміхненим Ванею Томашовим.

Сіра імла, дим від розривів наших мін, мряка й туман висять над долиною Радомки, над нейтральною смугою, над далеким узліссям, звідки ведеться вогонь. Дрібний дощик сіється й сіється, а з лівого флангу, від Ходковської Волі, розбитої вщент і позначеної одним димарем від поміщицького фільварка, дзвінкий голос Козловського:

Сердце красавиц склонно к измене

И перемене, как ветер мая...

Безглузда опереткова пісенька зовсім не личить такому співакові і особливо обстановці на передньому краї, Ваніному трупові, який розстрілюється на наших очах. І всі наші подвиги, марші, воєнні труди здаються марними, непотрібними, ошуканими, приниженими оцією брутальністю, легковажністю, чимось одворотним



і чужим. Не за це ж ми мучимося, воюємо, гинемо чи залишаємося живими. Не за це!

Хуратов, навалившись на мокрий бруствер грудьми, невідривно дивиться на труп Вані Томашова, з якого за кожною кулеметною чергою летять шматки розтерзаного кулями маскхалата. Хуратов чорний, як земля.

– Сухов! — хрипить в трубку. — Шарахни по цьому балагану хоть одной миной! Ну, неможливо же терпеть таку пошлятину! — оглядається на командира батальйону Гробового.

– Ти що, здурів? — визвіряється на нього комбат. — По своїй установці? Я взагалі забороняю стріляти...

Но изменя-я-аю им первый я!

Ніби глумиться тенор Козловського, і Хуратова аж пересмикує:

– Хотя бы угомонился, — шипить він синіми, пересохлими губами. І, побачивши нас, аж скидається: — Пришли? Подходите ближе, ближе! — нетерпляче махає рукою.

Ми протискаємося траншеєю, чіпляючись плащ-наметами за її глинисті стінки, за групу офіцерів. Тут і начальник полкової розвідки капітан Чумак з двома портупеями та двома пістолетами на поясі, з біноклем на грудях, із захисними окулярами над козирком форменого картуза, зайвими, як і оця безглузда пісенька, що лунає над нейтральною смугою і над трупом Вані Томашова. У траншеї ж доводиться розминатися і з ад'ютантом батальйону капітаном Лучіним, і командирами стрілецьких рот Ценних та Абрамовим. Усі вони стоять і дивляться, як німці розстрілюють нашого мертвого розвідника, а зробити нічого не можуть.

– Пришли? — ще раз оглядається на нас Хуратов. — За мной! — Вихопивши пістолет, вискакує на бруствер, наміряючись отак, серед білого дня, під вогнем противника витягти Ваню Томашова.

– За мной! — ослизається на спливаючому бруствері, і вирачені очі його розлючені і страшні. — Докажем этим трусам, на что способны минометчики! А то стоят они! Глядят они...

Чумак блискавично хапає його за праву ногу, рве до себе, і Хуратов падає навznak, мовчки відбивається другою ногою.

– Хапай за ліву! — кричить мені Чумак: я ж найближче до нього. — Хапай же!

Хуратов, зловчившись, б'є його чоботом в обличчя, і капітан заюшується кров'ю, але ногу не відпускає, з усієї сили тягне Хуратова вниз, назад у траншею. А я ловлю, та ніяк не впіймаю міцний хромовий чобіт, яким Хуратов відбивається від нас.



– Трусы, – хрипить. – Сволочи! Над трупом разведчика глумяться, а вы-ы-ы...

Нарешті стягаємо його з бруствера в траншею, мокрого, виваляного в глині, а він виривається, відбивається, знову лізе на бруствер.

– Припинити! – люто кричить йому в обличчя командир батальйону, але Хуратов не чує – виривається з наших рук, хрипить, бризкаючи слиною:

– Всех фашистов палками, палками по голове! Кирпичем! Кирпичем...

Навалюємося на нього на дні траншеї, а він пручається, клекоче горлом, і піна пузириться на його посинілих губах, і очі вилазять з орбіт.

А потім враз розслабиться, вмовкне, тільки сіпаються руки й ноги. І тремтить підборіддя.

Піднімаємо непритомного Хуратова з мокрого дна траншеї, вносимо у бліндаж і кладемо його на вичовганий тапчан – днями й ночами він веде з нього спостереження за противником і викликає вогонь батареї по пристріляних цілях. Після припадку він засинає, і його ординарець башкир Юнусов сидить над ним, мов над дитиною:

– Страшный шеловек, – хитає головою. – Сапсем не спит. Страшное и горе у него: три брата погибли на его глазах в Сталинграде! Бомба попала в дом, который они обороняли вместе. А он чудом остался жив. Аллах акбар! Савсэм балной шеловек. Лечиться ему нада... А не воевать.

Вечоріє. Кулеметники перестають стріляти, і на передньому краї тиша. Десь за хмарами, за туманами летять журавлі, і нам чути їхнє журливе курликання.

Аж тут голос Козловського знову бере за душу:

Темная ночь, только пули свистят по стени,

Только ветер гудит в проводах,

Тускло звезды мерцаю-ю-ют...

Журавлі пролетять, а пісня лишиться і в темряві, де ні зорі, ні вогника навкруги. І розриватиме душу тугою й тривогою. А Хуратов, виснажений припадком, вперше за довгі місяці оборони за Віслою, проспить усю ніч.

А вранці, як завжди, вишикує нас на ранковій перевірці і, стискаючи руків'я «ТТ» в розстебнутій кобурі, скаже нам, очевидно, перебуваючи під сильним враженням загибелі Вані Томашова і особливо від глуму над його трупом:



– Себя я заставлю вынести из-под огня, если ранят. Но, если кто из вас на поле боя оставит без помощи раненого товарища, пристрелю, как собаку! – він мовчки пройдецься взад і вперед перед шеренгою, зупиниться посередині і, гірко всміхнувшись, застібне кобуру: – Вам скажут: «Вперед! Вперед! Раненых подберут санитары!» Не верьте! – скрикне так, що аж луна прокотиться над тихою Радомкою. – Санитары зачастую отсиживаются до прорыва обороны противника и до полного прекращения огня. Не будьте дураками! Не бросайте раненых товарищей! В крайнем случае, окажите первую помощь – остановите кровотечение, перевяжите хотя бы индивидуальным пакетом, наложив жгут! Ибо раненые изойдут кровью, пока санитары появятся. Ясно? Тогда – разойдись!

*Конча-Озерна,
серпень 1998 – вересень 2010*



РОЗДІЛ ШОСТИЙ

ПРОРИВ ЗА ВІСЛУ

В передсвітанковій імлі моторошно здиблюється од гуркоту земля і осипається з брустверів пісок. Хитаються й тремтять стіни траншей від ревища і залпів незчисленних гармат на Магнушевському плацдармі. А із-за Вісли накочується ще могутніша канада тяжкої артилерії РК. Небо й Земля, здається, зрушуються зі своїх орбіт, перемішуються і здиблюються моторошним Апокаліпсисом, якому немає ні кінця, ні впишу!

Йде артпідготовка перед тяжким проривом трьох ліній німецької оборони. Все гуркоче, вибухає й стріляє, що призначено, привезено й націлено на позиції, добряче укріплені за літо й осінь фашистськими військами на нашу погибель і на те, щоб вистояти перед нашим наступом.

Накочуючись ззаду, від артилерійських батарей, нас накривають хмари порохового й тротилового диму, змішуючись з туманами над Радомкою, застять простір густою мрякою і густою пеленою. І ми орієнтуємося, переносячи вогонь своїх 82-міліметрових мінометів для безпосередньої вогневої підтримки наступаючої піхоти, лише по «віялу», позначеному заздалегідь пристріляними біленькими кілочками, що світять нам і в темряві, і в диму, позначаючи певні цілі. Шинелі поскидаємо – жарко і парко навіть у січневий мороз. І знай – посилаємо міну за міною з усіх шести мінометів, ледве чуємо їхні постріли в пекельному клетоті артпідготовки. Пильнуй тільки не посадити міну на міну, бо тоді вибухне й розлетиться в друзки вся батарея! І всі ми загинемо – всі до одного!

Тому я сам посилаю міни у ствол, прислухаючись до пострілів. Вася Акимов і Володя Блинников подають мені міни з ящиків і встигають кричати обоє в унісон: «Постріл! Постріл! Постріл!». Щоб я впевнено підтримував безперервний вогонь за якимсь диявольським ритмом, якого набирає артпідготовка сама собою, без ніякої команди. Але – швидше, швидше, швид-



ше! Щоб фашисти й дух спустили. І вистрілити в нашу наступаючу піхоту не змогли.

А попереду, над ворожими траншеями, все клекотить в суцільній стіні розривів та вибухів! І туди страшно дивитися. А ще страшніше уявляти, що там коїться від нашої артіпідготовки.

А потім, після команди «Вперед!», переданої з вуст в уста, від командира до бійця, вискакуєш на бруствер з автоматом ППШ на грудях, із стволом, лафетом чи плитою на плечі і біжиш щодуху нейтральною смугою, на яку не можна було й ступити кілька місяців підряд, доки стояли за Віслою в обороні. Біжиш і несамовито, не тямлячи себе, кричиш «Ура-а-а!» до хрипоти. Не чуєш ніг і землі під собою, летиш над травами, припорошеними снігом, іноді спотикаєшся об замерзлі, розсипчасті трупи загиблих у літньо-осінніх боях. І не знаєш: наші лежать тут чи фашисти, яких немилосердно гнав на наші кулемети й міномети командуючий групою армій «Вісла» Гімлер по дванадцять разів за день! Ми відбивали ці контратаки засмаглих до чорноти есесівців легіону «Туркестан», Іспанської «Голубої» дивізії СС, норвезьких квіслінгівців та хорватських усташів. Усі вони йшли на нас в шортах, із засуканими рукавами коричневих літніх сорочок, в повен зріст, строчачи з автоматів навмання.

А ми відбивали їхні нескінченні контратаки прицільним кулеметним і мінометним вогнем. Іноді, як вони підходили близько, рубали їх короткими чергами з особистої зброї: карабінів і ППШ. І кожного разу, відбивши чергову контратаку, зітхаєш з полегшенням: «Пронесло». А тривога не вгамовувалась: чи полізуть ще раз? Чи вистачить у нас патронів та боеприпасів на наступні контратаки?

2.

Але зараз, коли біжиш в атаку на їхні траншеї, всі літні бої за плацдарм здаються далекими й нереальними. Наче це було зовсім в іншому світі. І юне твоє серце трепетно й легко б'ється в унісон з бігом твоїх товаришів, бойових друзів і командирів. І ти ніколи вже не відчуєш такої єдності з ними, як у цьому прориві німецької оборони, і такого злиття долі і характерів перед лицем видимої загрози і смерті. «Не відставай!» – кричить Блинников невідомо кому – може, й самому собі, – і мінометна плита ніби прикипіла до його спини і злилася з ним назавжди.

Хтось упаде, як підкошений. А хтось перестрибне через убитого товариша і не оглянеться – всі охоплені однією волею



й однією долею: добігти до першої лінії траншей ворожої оборони, увірватися в них чи загинути! І тоді вже мертві страму не матимуть....

І ти біжиш... Не біжиш, а летиш над цією привісленською травяною рівниною, припорошеною снігами. І бойові друзі твої біжать ліворуч і праворуч від тебе. Неба ніби й немає над нами! А є Воля, незламна Воля когось далекого, Великого й Чесного, хто шле нас в оцю атаку в ім'я Перемоги, яка ніколи, нікому й ніде не буває легкою й безпечною.

Біжимо, строчачи на бігу з автоматів, щоб добігти до першої лінії оборони противника й захопити її під прикриттям артилерійського вогню. Або впасти на мерзлу землю, брязнувшись об неї вже мертвим тілом, і не підвестися більш ніколи.

Але в атаці ніхто й не думає про це. Невідома сила несе всіх нас над землею, ніби ми й не торкаємося її – все вперед і вперед! Якомога скоріше захопити траншеї. І безперервне «УРА!» з розірваних криком ротів, і короткі команди, пересипані міцними й солоними словами. А попереду – ще одна смуга ворожої оборони – ти перескакуєш разом з усіма через неї і мчиш далі, щоб обов'язково осідлати якесь шосе, зайняти село чи містечко, чи якусь висоту, виконуючи поставлене заздалегідь «завдання на-ступне».

І тільки аж тут вперше оглянешся назад і побачиш рівнину, яку в думках і прагненнях тисячі разів перебігав подумки, стоячи в тривалій обороні, і сотні разів гинув на ній в мислях своїх, заспокоюючи самого себе: « Ні! Не мене! Не мене уб'ють! Уцілію на зло ворогам! На зло фашистам!»

А всі навколо тебе чужі, з інших батальйонів, і разом з тим – найрідніші з усіх рідних! Обійми, поцілунки, вигуки: « Наша взяла! Смерть фашистським завойовникам!»

А чужа артилерія десь здалеку б'є вже прицільно, і офіцери плачуть, як діти, не криючись, зробивши своє найтяжче в світі діло і тільки тепер згадавши втрачених друзів, з якими пройшли всю війну – від Києва, Москви, Севастополя чи Сталінграда.

А хазяйновиті старшини вже тут, під синюватий зимовий вечір, несподіваний і жаданий. Хоч і не віриться, що день так швидко, так блискавично минув. Старшини гасають чужими акуратними брустверами під вогнем – вже підроспіли з боеприпасами і задимленими похідними кухнями, і кричать збуджено, мов на пожежу: «Де тут третій батальйон?», «Де сьома рота?»



3.

Але ж... Кому тепер розповіси про це? Як і рідному батькові не спромігся розповісти, доки він був ще живий. Хто тебе слухатиме? Хто може і схоче уявити тепер усе так яскраво, як воно й досі живе у твоєму серці й пам'яті?

І пригадується останній, передсмертний фільм прекрасного актора театру імені Лесі Українки Олега Борисова, коли він серед хамуватих дворових циніків, що кричать йому: «Діду! Нащо начепив на себе оті цяцьки на піджак?» – сідає, бере в одного з них гітару і хрипкуватим, слабим, але задушевним голосом співає:

*«А на том березу-у-у, а на том березу-у-у,
А на том березу, где мы были...»*

– а сам плаче. – Який берег, діду? – питають зацікавлені хлопчачки, дослухавши сумну пісню.

– Немає різниці, – відповідає Олег Борисов, витираючи сльози, – Дніпро, Даугава, Вісла чи Одер? Головне – там поліг увесь наш полк,

Він підводиться, щоб іти далі. Але хлопці не беруть у нього гітару:

– Ще раз заграйте і заспівайте нам. Бо ми таких пісень і не чули.

*«А на том березу-у-у, а на том березу-у-у,
А на том березу, где мы были...»*

Я й зараз чую той голос. І не можу стримати припізнілих сліз...

4.

Тільки тепер, всівшись нарешті на якийсь засніжений надгробок Гловачувського кладовища і не чуючи від утоми ніг під собою, згадаєш, як виринали з клубів диму, під гуркіт артилерійського вогню, з туману якісь примари з головами, обкутаними бинтами, крізь які просочується темно-червона кров; з руками, теж забинтованими наспіх. І з них капає кров з перев'язки, лишаючи в снігу помітний кривавий слід. А той шкандибає, спираючись на короткоствольний карабін, бо нога в коліні теж перебинтована поверх штанів. А інший обома руками переставляє нашвидкоруч обчухрану молоденьку сосонку, перш, ніж переступити з ноги на ногу, бо поранений в обидві. І всі вони здаються якимись чужими чи подаленими, бо випали із загального наступу і йдуть йому назустріч, ніби наперекір!

Але чом же світяться радістю їхні обличчя і сяють очі? Радіють, що поранені, а не вбиті в цьому бою? В атаці на німецькі траншеї?



– Гей, слов'яни! – гукає один з них, шкандибаючи, – не кваптеся! Фашистську оборону прорвано! Підтримувати вогнем ваших «самоварів» нікого!

І я пізнаю в цьому тяжко пораненому капітана Яковлева. Він дуже змінився. Схуд, спав з лиця й потемнів, ніби його присипано сажею. «Це, мабуть, від втрати крові», – думаю собі. А очі веселі, на губах – усміх, в роті сигарета – йде ніби на прогулянці, і радіє, що вцілів?

5.

– Товаришу капітане! – кричу йому. – Це – я, сержант! Пам'ятаєте, як ми влітку брали з Хуратовим у полон збитого німецького аса!

Капітан Яковлев зупиняється, придивляється і не пізнає.

– Невже це ти, Сашо? – радіє ще дужче. А потім гукає Акимову й Блинникову: – Бійці! Ану заберіть у свого командира мінометний ствол! Йому ж за статутом не положено таскати замість вас! – і вже тихше, до мене: – Проведи хоч трохи, бо важко мені пересуватися. Бачиш: вже втретє поранено не лише в ноги осколками міни, а й у ту саму руку, з якої ти вихвачував сигарету, коли я, бувало, здрімну на НП. Бо нерв там перебито, і я не чую, як пече непогашена сигарета.

Беру його під ту саму поранену руку, але він тепер не може нею спиратися на оту молоденьку сосонку. Вивільняє руку і раптом цілує мене. А потім, ніби засоромившись, опускає погляд, дивиться на свої перебинтовані ноги й каже мені:

– Іди, Сашо, командуй своїми хлопцями. Яюсь дошкандибаю й сам. Хіба мені, морському піхотинцеві, вперше бути пораним? На Одері дожену вас після госпіталю. А бійців своїх веди ліворуч від отієї церкви на кладовище – там Сухов на вас чекає. Турбується, мабуть, що тебе, командира першої обслуги, й досі немає. До зустрічі на Одері! – гукає мені вслід.

А мені так шкода його залишати! Скільки ж його поранено й прооперовано?! І я не можу нічим йому допомогти. Покидаю самого на цій голій засніженій рівнині під синюватий зимовий вечір, наче на розпутті...

Кладовище знаходжу на самій західній околиці Гловачува. Повз нього пролягає автострада на Лодзь, біла-біла під незаїманим снігом. І на її тлі виразно чорніють мармурові чи лабрадоритові пам'ятники й надгробки над могилами невідомих мені людей. Тут, мабуть, розташувався весь наш третій баталь-



йон. Бо й високого капітана Ценних пізнаю, і щупленького Абрамова.

«Де ж тепер його баян?» – мимоволі думається само собою, дивно й недоречно. Усі мені по-фронтовому ласкаво подають руку, всі вітають з проривом німецької оборони, ніби радіють, що я з'явився, цілий і неушкоджений.

А зимові сутінки не густішають, а синішають невідомо від чого. І на душі в мене якась дивна полегкість. І навіть здивування: невже й справді подолано три лінії укріпленої оборони противника? На яку ціле літо й осінь ми поглядали з пересторогою і тривогою

І хочеться всіх обняти, як обнімав мене поранений Яковлев. І сказати, як я всіх їх люблю!



РОЗДІЛ СЬОМИЙ

ОД ВІСЛИ ДО ОДЕРА – 570 КІЛОМЕТРІВ!

Нашу 8-му гвардійську армію Чуйкова на головному напрямі підтримували 1-ша і 2-га танкові армії генерал-полковників Катукова і Богданова. Прорвавши оборону німців на Віслі, вони рвонули, незважаючи на хуртовини і сніжні заноси, до Одера, мов одержимі – по 100 кілометрів за день, змітаючи всі заслони і опорні пункти ворога.

Нелегко було нам, піхтурі, вгнатися за ними! А розриву між танками й піхотою ні в оперативному, ні в стратегічному плані не повинно бути – це непохитна доктрина сучасної війни. Через замети, крізь завірюхи і заметілі рвемося за танкістами день і ніч до повної знемоги і виснаженості!

І зараз перед очима стоїть, млоїть серце і пам'ять, тішить душу той неперевершений зимовий прорив, розпочатий раніше наміченого строку. Бо Гудеріан, вже начальник Генерального штабу Вермахта, створив-таки пастку танковим генералам США Бредлі і Паттону, завдавши потужного контрудару їхнім військам, оточив їх у Арденнах. Так що хвалені вояки затормошили і Рузвельта, й Черчилля, вимагаючи негайної допомоги Червоної Армії. А як ми, спливаючи кров'ю, зупиняли вермахт на рубежах 41-го, 42-го і 43-го років один на один, де були ці «славетні» американські генерали? Відсиджувалися за океаном? Хитрували, очікуючи, хто першим упаде – СРСР чи Німеччина, щоб скористатися з їхньої поразки в своїх стратегічних намірах?

Сталін, однак, знайшов можливість допомогти їм вирватися із пастки нашим передчасним наступом усіх центральних фронтів. Так що Гудеріан сам попросив у Гітлера дозволу припинити розгром оточених військ Бредлі і Паттона і відправити на наш Східний фронт Лейб-штандарт «Адольф Гітлер» Зеппа Дитріха і



6-ту танкову армію Мантейфеля рятувати становище між Віслою й Одером. Американці були врятовані й зітхнули з полегшенням. Про це йдеться в двотомному листуванні Сталіна, Рузвельта й Черчілля. Яке нинішні фальсифікатори і брехуни намагаються ігнорувати, приписуючи вирішальну роль у розгромі вермахту союзникам, які вступили по-справжньому у війну лише в червні 44-го, нарешті висадившись у Нормандії!

Мені ж і досі пам'ятаються, особливо безсонними ночами, засніжені поля за Віслою, хуртовина ніби й досі засліплює нам очі у тому шаленому й відчайдушному прориві, замітає наші сліди. В заметах застряють штабні машини, і дивно бачити в темряві, як там, у їхніх затишних кабінах, сяє електрика, а вітер іноді доносить звуки радіопереговорів з танковими екіпажами, що вириваються надто далеко вперед.

Ми рвемося піхтурою за танками вдень і вночі, а німців – аж кишить по лісах і фільварках. Тому йдемо з автоматами на бойовому взводі, бредемо по коліна в снігах далекою й чужою землею, щомиті чекаючи нападу. А невтомні й відчайдушні танкісти рвуться все далі й далі вперед, і відстань між танками й піхотою доходить іноді до ста кілометрів, і її ніяк не вдається скоротити.

А тут ще й клята нога, зачеплена осколком міни в перший день прориву з плацдарму за Віслою, зараз такому далекому, що до нього, здається, важче було б дійти, ніж до смерті, – нога та зовсім розпухла, не вміщається в припадистому чоботі, болить і перестає слухатися. Наче вже й не моя. І я таки відстав на якомусь переході. А були вони нічогенькі – до сімдесяти кілометрів щодоби – по глибокому снігу, в хуртовину, з якимись химерними атаками серед білого дня й серед темної ночі, ніби німці навмисне виходили з лісу, шукаючи наглої смерті, щоб не гибіти більш на морозі.



РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

ВІДСТАТИ ВІД РОТИ

«Ждатимемо тебе в клуні, – сказав мені старший лейтенант Сухов, показуючи праворуч, за село, що виринали нам назустріч з сутінок і заметілі. – Там буде привал і обід. У село не заходь, іди прямо до клуні».

Ми тоді не заходили в польські села, щоб не тривожити людей. Намагалися нікому не завдавати клопоту, щоб вони, нарешті, спочили, ті бідні поляки, врятовані нами від страшного фашистського рабства.

Сухов побіг доганяти роту, а я вже йшов неквапливо, вибирав дорогу, намагаючись обережно ступати на поранену ногу, щоб хоч трохи менше тривожити її. Рота віддалялась, і мені було невимовно страшно бачити її ар'єргард, що кутався й кутався сніговою пеленою, все даленів та даленів од мене, наче то була й не моя рота, а чиясь чужа.

Я ступав у її сліди, що здавалися теплими в снігах на чужій і холодній землі, за яку доводилося битися, мов за власну. Рота невблаганно віддалялась. Поступово, але так невідворотно, що хоч криком кричи, а ти ж оставався сам, наодинці з хурделицею, хугою, заметіллю, яку в наших південних степах можна було б назвати й бураном.

Нестерпно було лишатися в самотині, відчувати, що й позаду нікого немає, й по боках у тебе все відкрите, і звідусіль могла прийти смерть. Страшно отак лишатися самому на заметеній невідомій дорозі, по якій ступав уперше в житті без товаришів і без командирів.

І тут почулося ззаду форкання коней, постукування штельваги і характерний звук саней, що мчать по м'якому снігу. Звуки були теж м'які, глухі, немовби підступні. Вони все ближчали й ближчали, і вже чути було тупіт копит, і от-от мав би пролунати



голос того, хто правив кіньми, але коні, мабуть, були добрі, паристі, і на них не треба погукувати. Самі, напевно, знали, як їм краще бігти, і дорогу відчували, як усі коні на світі.

Он бовваніють не так уже й далеко, тільки хіба ж розбереш, хто там сидить у тих санях — свої чи чужі? В цьому білому летючому мареві, що могло б здатися таємничим навіть на мирній дорозі. Коні були білі від снігу. І сани білі. І ті, хто в них сидів. Було їх двоє. І, ступивши набік, клацаєш затвором автомата, заряджаєш його і пальця кладеш на спуск, відчуваючи тривожну бентегу і отой гарячий неспокій, що приходить від певності в своєму вивіреному автоматі, коли думаєш, що в ньому сімдесят один патрон! «Зріжу обох однією чергою», — думається якимось ніби само собою.

А коні вже наближаються, накочуються на тебе білою марою. Вже чути їхнє хапливе дихання і глухий гуркіт, коли сани йдуть у затоки і натрапляють полоззям на грудневі грудки.

— Тру, — каже той, що не тримає віжок, важко скочується з саней, підбігцем наближається до мене, продовжуючи по інерції рух саней, що не встигли ще зупинитись і зупиняються, тільки пройшовши кроків з десять повз мене. Бачу туго натягнуті віжки, бачу коней, сивих, як туман і візника, що, відкидаючись назад, ніяк не може спинити їх. А на того, що підходить, не встигаю поглянути: я вже бачу, що це свої. Німці теж були б засніжені й білі, але шапки-вушанки і наші шинелі можна впізнати не те, що під снігом, — під багнукою. Такі вони непереможно сірі й цупкі, і так вони якимось по-нашому пошиті.

— З якої частини? — питає ще здаля.

— Сто перший, — кажу йому. — Тридцять п'ятої дивізії.

— Відстав, так твою розпротак?! — вереснув, розстібаючи кобуру,

Автомат мій дивився йому просто в розчервоніле од вітру, мокре від снігу обличчя, і відповідати не захотілося.

— Ану, марш доганяти колону! — крикнув войовничо й взято. А чого він кричить, ніяк не візьму втямки, і через те якась пекуча й непрошена образа підкотилася до самого горла.

— Дезертир?! — знову крикнув він і вихопив «ТТ».

«Чого він кричить? Ну, чого він, справді, кричить?»

— Вперед! — махнув пістолетом перед самим моїм обличчям.

— Сховайте оте-го; — скажу я тихо.

Автомат мій все ще дивився йому просто в обличчя косо зрізаним пласким рильцем.



— Чого це ви розкричались? В тилу засиділися, мабуть! По штабах, видать, намовчалися при начальстві?

Був він нижчий од мене, опецькуватий. Поясний ремінь не те щоб стягував шинелю — видавався на череві вперед і вниз, так що пряжка здавалася зовсім зайвою. І пістолет він тримав невміло. Бувалому солдатові зразу це видно.

Візник сидів до нас спиною, закрившись піднятим коміром од вітру, і навіть на відстані видно було — куняти почав під посвисти вітру.

— Сховайте пістолет, — сказав я, — поки їздовий не дивиться. Просто ж незручно.

Він мовби засоромився свого вибуху, нагнув голову і почав засувати «ТТ» в кобуру, ніяк не попадаючи. Довгий ніс його, сизуватий і змерзлий, зробився від того немовби ще довший, а на щоці, повернутій до мене, так багато було напіврозталого снігу й краплин, що хотілося зараз же стерти його рукавицею чи чимсь м'якшим. І в погони стільки набилося снігу, що й не розгледити нічого.

Давши раду неслухняному пістолетові, він випростався, швидким і надиво вправним рухом руки з затиснутою в ній вовняною рукавичкою — змахнув з мого лівого погона сніг і гак суворо глянув мені в обличчя.

— Сержант? — спитав усе ще голосно, але вже не так войовничо. — Сержант, а відстаєш.

— У мене нога...

— Що, намуляв?

— Та ні, шкрябнуло ще на Віслі.

— А полк де?

— Он у тому селі. Рота наша в клуні привал зробила. Сказали, що дїждуться.

— А повозки?

— Відстали. Міни десь на складі одержують.

— У нас нема місця, — сказав він, натягаючи рукавичку, а обличчя так і не витер. І у вічі мені більш не дивився.

— Я і так дійду, — сказав я і автомата за спину не закинув.

— Перевіримо, — попередив, суворо зсунувши брови, все ще не дивлячись на мене. — Відстають, помінаєш...

Повернувся й пішов, завалюючись набік і одвертаючи обличчя од вітру.

Упав на сани збоку, виставивши кучі ноги в товстих валяннях, штовхнув їздового:



— Жени!

Коні рвонули, і сани зникли у сніжному вихорі, що налетів з новою силою.

Дочалапавши до клуні, я штовхнув хвіртку у широких її дощатих воротах, і одразу ж упав на солому, що нею була товсто встелена вся клуня.

У напівтемряві видно було, як рота лежала покотом у тій теплій, шелестючій і по-домашньому затишній соломі. Спали там, де хто впав. Дивитись на них було тепло і приємно, бо кожного тут знав і любив хтозна й звідколи. Немов від народження.

Обідом ще й не пахло. Мабуть, кухня ще не підїхала чи кашовари десь у затишку доварювали нашу перлову солдатську кулешу. Вітер вив, переїщив об стіни снігом, шелестів соломною на покрівлі — рай, та й годі. Таке в тому поході од Вісли до Одера могло хіба що приснитися. Сон і справді чигав на мене, як і на всіх. Мабуть, в якомусь темному кутку. А може, звалив одразу ж за порогом, м'яко, наче кішка підкрався і плигнув мені на груди, і я одразу ж солодко й м'яко поринув у нього. Але хтось підійшов, чалапаючи по соломі, хтось сказав чи спитав щось наді мною спочатку тихо, а тоді браво так і по-армійському неухильно:

— Роззути сержанта!

Я розплющив важкі повіки і хотів сказати, що в цій клуні над сонними солдатами личило б говорити інакше — тихше і лагідніше. Але, повернувшись звідкись здалеку, із зелених сонячних луків наглого й милого сну, побачив над собою командира роти і того, що догнав мене і покинув на дорозі. Тепер це був просто молодший лейтенант, набагато старший за старшого лейтенанта Сухова, мордатий і рожевощокій.

— Треба роззутися, — сказав мені Сухов. — Молодший лейтенант хоче подивитися, чи нога в тебе справді не в порядку...

Корницький, ординарець Сухова, вже міцно тримав мій чобіт в цупких руках, вже стягував його обережно, але настійливо.

— Болить? — спитав, помітивши, як я скривився. — Впирайся у мій чобіт, — сказав він і потягнув сильніше.

— Ти й тут не спиш? — спитав я Корницького, наймолодшого з нас голубоокого і світлочубого маріупольця. — Ти й тепер не заснув? — питаю я його, щоб перемогти й заглушити біль.

Чобота він стягнув. Корницький міг стягнути що хочете і де хочете. Тільки спати не вмів. Здавалося, зовсім не навчився спати на рибальських берегах свого невтомного Азовського. Ні в обо-



роні, ні в наступі, ні на марші — ніколи я не бачив його сонним або сплячим. Все десь нишпорив, десь щось добував. Або чистив трофейний кулемет «МГ-42», коли все було вже перенишпорене і діставати нічого не треба було.

Молодший лейтенант для чогось обмацував мою набряклу ногу, довго роздивлявся рану, що вже почала потроху нагноюватись.

— Так, — сказав він Сухову. — Треба відправити в медсанбат.

— А ви знаєте, де він? — спитав Корницький, замотуючи мені ногу бинтом з індивідуального пакета.

Молодший лейтенант промовчав.

— Медсанбат загубився, — сказав Корницький. — Усі від нас відстали. Ніхто не може вгнатися за нами, як ми не можемо вгнатися за тими клятими танкістами.

— Помовч, — сказав йому Сухов тихо, щоб нікого не розбудити. — Скоро мають прибути повозки. Ми його повеземо.

— Правильно, — сказав Корницький і глянув на молодшого лейтенанта. — Думаєте, приємно покидати свою роту?

— Накажіть йому замовкнути, — підвищив тон молодший лейтенант, звертаючись до Сухова.

— Я вже мовчу, — сказав Корницький, намотуючи мені на ногу онучу тонше, ніж вона була намотана досі.

— Ми його повеземо на повозці, — знову сказав Сухов так, щоб нікого не розбудити.

— Як знаєте. Але глядіть мені, щоб не було жодного відстаючого. Це наказ командуючого.

— Знаю, — сказав Сухов. — Не можна, щоб були відстаючі. Німців багато по лісах.

— Жодного, — сказав молодший лейтенант. — Мені доручили...

Що йому доручили, хто доручив, я вже не чув. Сон знову на котячих м'яких лапах підкрався до мене, і я вже чув тільки, як стугонить вітер в піддашші, як перещить сніг об стіни та двері, і важко вже було зрозуміти: сон це чи дійсність у тому безперервному великому наступі од Вісли до Одера, та есе бовванів мені й бовванів у тім сні ар'єргард моєї рідної роти, все віддалявся і віддалявся від мене, і страшно було бачити, як він даленіє, і ще приємніше було думати, що я таки догнав мою рідну роту і не розлучався з нею ні при форсуванні, ні на плацдармі за Одером, ні в останньому наступі на Берлін.

І навіть за такого страшного поранення, яке на мене чекало в Берліні, на Фрідріх-штрассе, найстрашніше було згадувати, як



ВІДСТАТИ ВІД РОТИ



віддаляється і щезає в заметілі рота, покидаючи мене на чужій землі мовби навіки.

Так, я знаю, що таке відстати од своєї роти на марші. Я встиг це відчути, хоча й не надовго...

Миколаїв, 1967 рік



РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ

ЕРНА

1.

На лівому фланзі перед нами було два містечка перед Одером – Зонненбург і Чернов. В Зонненбурзі німці виставили ар'єргард для прикриття військ при переході через замерзлу ріку. Відхід, очевидно, завершувався. Бо з першими ж нашими пострілами кулеметники й автоматники з прикриття теж чкурнули на західний берег. А в Чернові військ не виявилось зовсім. І ми без бою оволоділи цими містечками. І нас зупинили в них на відпочинок. Для того, щоб підтягнути полкові й батальйонні тили, розтягнені між двома великими ріками на величезному просторі.

Перед цими містечками повернувся з резерву командира дивізії Хуратов. З місця в кар'єр віддав наказ: «Тщательно проверит все дома, подвалы, чердаки! Чтобы ни единого вооруженного фрица не осталось! В дома поодиночке не заходит! Обязательно должно быть огневое прикрытие извне! Как и надлежит в уличных боях. Ясно? Тогда – вперед! К вечеру местечко должно быть чисто от врага, как перед причастием!»

Так ми й діяли попарно: один входить в будинок, а другий прикриває його автоматом напоготові. А потім, непомітно для самих себе, почнемо й поодинці оглядати будинки. Бо жодної тривожної ситуації не виникає. Під вечір я й підійду сам, один, до великого цегляного присадкуватого будинку з широким обійстям, що виходить в поле.

Штовхнувши важкі вхідні двері, наставляю в них автомат на бойовому взводі і сахаюсь раптом назад! Торопію і навіть жахаюся: на мене з темряви летить, розчепіривши скрючені пальці, врячивши божевільні очі, стара-престара німкеня з розпущеним сивим волоссям, наміряючись через ППШ дотягтися брудними нігтями до обличчя, до моїх очей!



– Мг-г-р-р-р! – гарчить на мене, намагаючись хоч шкрябнути, якщо не вирвати очі. Я бачу її роззявлений в гнівному екстазі та відчай рот, у якому стирчать два-три почорнілі пеньки напівзогнилих зубів, ворухнуться червонуватим черв'яком вузький і гострий язик.

Отут я й згадаю мудрі поради Хуратова, але навкруги пустка – анікогісінько! Що ж мені робити? Не різонуту ж її в упор з автомата?

– Stos Mutter! – Лунає з напівтемряви. – Das ist Erich! Fon Afrika for! Erich! Mein liebe Erich! – Відтягнувши божевільну бабцю, переді мною з'являється білява голубоока дівчина, дивовижної вроди, трохи повнувата, розкішна. Кидається до мене, простягає руки, наміряючись обняти. І знову: – Erich! Erich! Ich wartet Dich!

– Эт-то еще что такое? – гримить у мене за спиною гнівний голос Хуратова. – Ты же умеешь по ихнему! Почему ж не объяснишь ей, что ты никакой не Эрих? Лишился ума от ее красоты и нежности? Так они же обращены не к тебе! Тоже мне писатель! Вон! – несподівано гримне він на німкеню, і вона раптом щезне в темряві кімнати, наче її й не було. – Напугался? Растерялся?

– Побачили б ви яка стара відьма мало очі мені не видрала!

– Я же приказал обследовать дома парами, страхуя друг друга. Ладно, разберемся. Я тут свой КП расположу. А ты мотай в свой расчет, подсчитай, сколько мин осталось. И сколько расходовали при артподготовке. Думаешь, отдых дается для сна? Все подсчитать и доложить немедленно! Всем минометным расчетам! Тебя первым вызову!

– Дозвольте йти? – кину руку до шапки-вушанки, ще вологої від снігу.

–Иди и готовься к докладу. А они тут все напуганы налетами авиации союзников. И нас боятся, напуганные геббельсовской пропагандой. Наш полковой переводчик уже успел с некоторыми жителями побеседовать. Говорят, что на околице Чернова был то ли патронный, то ли снарядный завод. Так американцы с англичанами разнесли его в пух и прах! А жители от этих бомбежек с ума посходили. Вот и тебя эта девица за какого-то Эриха принимает. – Хуратов крутить пальцем біля скроні. – Она, видать, умом тронулась... Ладно, иди. Одна нога там, а другая – здесь!

Крутнуся через ліве плече, віддам йому честь, а сам думаю: хто ж може підрахувати випущені під час артпідготовки міни?



Добре хоч наші їздові завжди знають, що в них на підводах у ящиках лишилось.

2.

Коли ми, всі втрьох – командири мінометних обслуг: сержанти Дубченко, Володя Титов і я – прийдемо вже надвечір до цього великого й затишного будинку, новий ординарець Хуратова першим викличе мене і одразу ж проведе в широку багатовіконну кімнату – щось на зразок вестибюля чи вітальні. Під лівим від входу вікном – широке ліжко. І на ньому я першої ж миті бачу... ту божевільну бабцю, що мало не видерла мені очі, захищаючи юну онуку, підозрюючи в мені ґвалтівника.

А скраєчку, поруч з нею, лежить і вона – юна, вродлива, простоволоса, в білій, в голубеньких квіточках, нічній сорочці! Очі сяють і проміняться до мене ласкою, ніжністю, жаданням. І знов чую:

– Erich! Mein liebe Erich! – Ледь чутним шепотінням, від якого в мене аж серце зайдеться, а потім заб'ється часто-часто!

І коли я проходитиму поряд з ординарцем Хуратова повз неї, вона вхопить мене за руку, скине ковдру, в мить оголивши божеественні коліна, готова обняти й цілувати мене.

– Андреев! Что за задержка? – долине з сусідньої кімнати сердитий голос Хуратова. – Давай поскорее командира первого расчета! Вечер уже наступает. А мне нужно сегодня на доклад к начальнику артиллерии дивизии успеть! А-а, это ты, Аника-воин! Или герой-любовник – некий «Эрих»? Садись, давай свои записи и докладывай, какие там у тебя расходы боеприпасов? И что осталось в загашике. Нам же предстоит Одер форсировать!

Коли я відзвітую і на моєму місці опиниться Дудченко, настане «момент истины»: дівчина вхопить мене за руку, як я проходитиму повз неї, і шепне:

– Erich! Kom heir in andere Zimmer! – Легко сплигне з-під ковдри і, вхопивши мене за руку, бігом, босоніж, потягне в коридор, а потім в кімнату з венеціанським вікном на всю стіну, закине руки навхрест, підніме нічну сорочку до горла. І в мене перед очима сліпучо зблисне сонцем чи сяйвом не земної, а небесної краси її біле-біле, божеественно прекрасне ніколи небачене досі тіло, видне і спереду і з заду і з боків, як сновидіння чи марення...

Але саме цієї миті в двері нервово й швидко постукають. Вона блискавично вронить сорочку, що вмить опуститься і впаде їй до щиколоток. Потім тигрицею кинеється до дверей, наміряючись по-



вернути ключ, але не встигне: двері розчиняться і на порозі виросте височенна постать ординарця. Він закриється від неї зігнутою в лікті рукою, мов від сліпучого сонця, і крикне перелякано:

- Сержанте! До командира роти!
- Ich so wartet Dich! – схлипне дівчина в мене за спиною...

І одразу ж почується схоже на орлиний клекіт виття старої німкені:

- Erna! Erna! Donner Wetter! Kom hier! Kom! Kom!

Сержанта Дубченка вже немає. Хуратов стоїть над столом, стемнілий од люті. Дивиться на мене, презирливо й гнівно мружачись:

– Чужие пряники воруюшь, сержант? – і на Володю Титова, що саме виросте на порозі: – Вон отсюда! Когда надо будет, позову! – І знову до мене: – Командира роты обкрадываешь? Трудно догадаться, зачем я их здесь приютил? В чужие сани лезешь? Все вы, украинцы, предатели! В своего предателя Гетьмана Мазепу пошли! Все!!! Ты меня предаешь, как предал Петра Великого шведскому королю презренный изменник Мазепа!

– Она сама меня потащила в другую комнату, – белькочу в дивній протрації.

– Вон! – Знавісіло затупоче ногами Хуратов. – И на глаза мне здесь не попадайся!

Так відбудеться й мене моя перша зустріч із жінками поверженої Німеччини.

Конча-Озерна, 1 березня 2011 р.



РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

НА ДАМБИ

Командир батальйону пошле мене під вечір зняти пост бойової охорони, залишений для прикриття відступу. Бо нашу роту зіб'ють з позиції й тіснитимуть вздовж дамби кулеметники й автоматники 45-ої есесівської дивізії полковника Даніеля. А Бранденбурзьку рівнину всю, як є, залле весінніми водами. Одер підніметься на кілька метрів і утримуватиметься самим вершечком дамби! Одна-єдина бомба може знести цю штучну споруду вздовж ріки, і оборона дивізії буде затоплена. Як сталося це минулої весни з нашою 8-ою гвардійською армією на плацдармі за Дністром на 3-му Українському фронті. Саме після того нас і перекинуть сюди, на Перший Білоруський.

Але поста бойової охорони не виявиться на тому фланзі, куди я дістануся під кулеметним вогнем ледве живий, весь у багнюці, бо доведеться сурганитись по зворотньому крутому схилу дамби над самісінькою рікою, щосекунди ризикуючи шугнути в бурхливі каламутні хвилі оскаженілого Одера. Поста немає, мабуть, вже давно, бо кулеметне гніздо у вигляді рогача, наполовину залите водою. Тільки плавають недопалки та якісь папірці. Їх завжди багато валяється біля вбитих. І на залишених бойових позиціях. Можна вже й повертатися на поперечну дамбу, що веде від ріки до залізниці і править тепер за нову лінію оборони на тому не дуже просторому плацдармі. Він прострілюється німецькими кулеметами, з флангів і з фронту на всю глибину.

Я визирну за бруствер, щоб прикинути ще раз шлях, який треба подолати, вертаючись назад. Побачу воду, що стоїть одним лицем від дамби аж до полотна залізниці, за якою окопається наша мінометна 82-мм батарея. Тільки кущики де-не-де визирають з тієї гладенької води. Поперечна дамба безлюдна й далека. Я знаю, що всі мої товариші там, але скільки смертей чатує на цій відстані!



Ледве встигну подумати про це, як перед самим обличчям, на зрізі дамби, вибухне смерч і вдарить мене в очі багнукою. Припавши до землі, втрачу опору, і посунуся крутим і слизьким схилом униз, і, ще не знаючи, що сталося, встигну подумати, що мене чекає внизу: крижані хвилі, неймовірна глибина й смерть. Ноги й руки ослизаються в рідкому багні, очі все ще нічого не бачать, і у передчутті страшної купелі напружуюся, наберу повні легені повітря і несподівано для себе зупинюся — нога впреться в щось туге, хоч і податливе. Ще міцніше впершись тією ногою, а потім і другою в цю непередбачену опору, витру руки об шинелю, вхоплюся за обличчя. Все воно закаляне багнукою, замазане, мов льотка в доменній печі. Заляпані й очі. Зчистивши глину, насилу розплющу ліве око. Воно бачить. Потім праве. Потім гляну вниз.

Нога впирається в краєчок червоної німецької перини, що визирає зі щілини чи з окопу, утворюючи щось схоже на бруствер. Що там далі, не можу розгледіти. Треба спуститися ще нижче, але в цю мить знову на вершечку дамби фонтанами злетить земля і десь над головою із злісним виттям шугнуть кулі. Одна черга. І друга. А третя така довга, що суцільний ряд фонтанів прошиє зріз дамби на добрий десяток метрів.

«Засікли»,— подумаю і поповзу вище, щоб виглянути, звідки стріляють. Стріляють, певне, з двоповерхового білого будиночка, метрів за триста від дамби. Він оточений водою, якийсь осиротілий і мовби покинутий. Як хлопчисько-бешкетник, що, граючись, далеко забіг від містечка Кітц, від таких самих двоповерхових будиночків-близнюків, та й загруз тут, у весінньому розгаслому чорноземі, підплив весняними водами, і тепер ніхто вже не зможе його повернути назад, у місто. Так і стоятиме, доки його розіб'є артилерія або закінчиться в цих місцях війна.

«Ну, ну, — подумаю сам собі. — Звідти ви мене не дістанете. А от чи є хто на дамбі?»

На дамбі, скільки й видно, порожньо й тихо. По протилежному схилу завидна навряд чи хтось зможе пробратися — там все пристріляне нашими кулеметами й мінометами. Загроза тут — на оцьому схилі, зверненому до ріки. І поки видно, небезпека несподіваного нападу відпадає. Можна спокійно вертатися та пильнувати одного: як не сповзти в Одер. І не висуватися за гребінь дамби — зріжуть в одну мить.

Так, можна повертатися і шукати пост бойової охорони десь у районі штабу полка чи батальйону. Мабуть, хлопці рвонули, як тільки помітили, що піхота знялася з позиції у них за спиною, і че-



кати команди не стали. Це, зрештою, мене не обходить. Аби тільки з ними нічого не трапилось.

Перед тим, як іти зовсім, вирішую заглянути в окоп, звідки визирає червона перина. Спускаюся ще нижче, і перше, що помічаю, — очі! Сірі, майже білясті від болю й жаху. Вони дивляться на мене, не кліпаючи, насторожено й злякано. Майже дитячі очі на сіро-синьому обличчі. Загострений ніс, випнуті скроні, запалі щоки і майже чорні зашкарублі губи, запечені на внутрішньому пекельному вогні. В кутиках носа й рота зеленкуватого-сині тіні, мов у мертвого. Крім очей, що пильно стежать за кожним моїм рухом, ледь помітно рухається горло від дихання. Дуже коротке й дуже часте дихання.

2.

— Ти хто? — питаю, відчуваючи, як терпнуть пальці на ногах.
— Ти з бойової охорони? Тебе покинули?

Очі наповняться слізьми і повільно заплющаться. Повіки теж сині. Темні, немов після побоїв.

— Куди тебе поранено? — прихилиюсь до хлопця, і в ніс вдаєрє тяжкий запах крові й затхлого дихання.

— Вживіт, — прошепотить хлопець і знов розплющить очі. — Я розвідник, — скаже через якийсь час і потім довго відпочиватиме, дихаючи все частіше.

— Не хвилюйся й не розмовляй, — скажу йому.

З фляжки зніму кришечку. Чи й увійде в неї один ковток води. Хлопчина жадібно ловить кожен мій рух. Очі його потемніють і з нетерплячки заблищать. Він напружитья, підведе голову назустріч тій омріяній кришечці, тому ковпачкові, маленькому, як наперсток. І я увіллю ті кілька крапель вологи за поріг обвуглених вуст. Ковток буде судорожний і звучний. І негайно за якусь секунду хлопець обличчя побагровіє, набрякне, і в кутику рота з'явиться смужка спіненої сукровиці: побите нутро не прийме навіть кількох цих крапель.

— А-а, який же я нехлюй! Тобі ж не можна пити...

— Мені гірко... Мені пече, — скаже солдат через силу й заплющить очі.

— Добре, що припинилось, — заспокою і його, і сам себе. — Зараз піду візьму цукру, розбавлю водою і змочуватиму тобі губи.

— Не кидайте мене, — твердо й розбірливіше, ніж досі, скаже хлопчина і сумно гляне на мене з під примуржених повік.



— Не бійся. — Я нахилюся й поцілую його, відчувши могильний холод і легесенький пушок небритої щоки, її напівдитячу худорляву тендітність. — Цукор лишився там, унизу, за дамбою. Я зараз.

Поповзу трохи назад схилом дамби, щоб з'явитися на її вершечку не там, де чекає мене ворожий спостерігач чи кулеметник. По той бік дамби має бути плакуча верба, під якою в улоговині ми облаштуємо спільний для всіх склад просто неба. Біля самісінької верби до відступу стоятиме наша мінометна батарея, і, якщо почнеться обстріл, можна буде скористатися чи вогневою, чи бліндажем, чи погрібцем для боєприпасів: вони на схилі дамби, і весінній паводок їх не сягає.

Підповзши під самий вершечок дамби, полежу трохи, відпочиваючи, потім рвону і перелечу через рівну площину дамби, по якій колись, до війни, пролягала дорога, бо ще й колії від коліс залишаються. Спіткнувшись об одну з таких колій, упаду і вниз головою, на животі й на грудях, з'їду слизькою багнукою з дамби, як колись у дитинстві спускався на санчатах з гори чи хоча б із кучугури снігу. Вистрелити по мені не встигнуть, хоч місце й зовсім відкрите: вербу і улоговинку під нею я промину.

Вже вчоріє, і я помічу це тільки зараз. Звідси вже не видно ні залізничного насипу, на якому розташована наша мінометна батарея, ні поперечної дамби. Тільки нудно сіється й сіється дрібен дощик. Точніше — мжичка. І тривога знову охоплює мене: у темряві німці можуть непомітно підкрастися по прирічному схилу дамби, тоді нам обом кінець! І мені, і тому хлопчикові, якого я, хоч умру, а не покину! Ну, може, донесу його по дамбі вночі, коли німцям нічого не буде видно.

Мішок із цукром стоїть на траві посеред улоговини, як стояв він з того самого дня, коли ми ще по льоду переправимося з ходу через Одер. Напівпорожній, він навіть неприкритий, і цукор біліє проти неба, вбираючи вологу. А на землі поруч із мішком, загорнутий в армійський цупкий брезент, хліб — черствий-черствий! І мерзлий. А все ж таки хліб. Це єдині харчі для всієї роти, які тоді встиг доставити з-за Одера циганкуватий наш старшина. Бо в ту ж ніч ріка несподівано скресне, і на плацдарм не возитимуть нічого, хоч мине вже два тижні.

Набравши цукру в пілотку, виберу трохи м'якшу хлібину й рушу назад, до хлопця. Видиратимуся на дамбу під захистом верби і подумки підраховуватиму свої боєприпаси. На поясі в мене ще один запасний диск до автомата, а в речовому мішку — просмо-



лена коробка, ще сто патронів! Позиція наша буде, однак, зовсім неvigідна: з протилежного схилу нас можна закидати гранатами: вирви скобу — і кить-кить: «Покочусь-покочусь по Івасикових кісточках». Котитимуться круглі німецькі гранати по крутому схилу дамби, мов сині крашанки на Великдень або яблука, принесені Дідом Морозом на Новий Рік.

То, може, на верху дамби окопатися? Але лопати в мене немає, і затія ця неpidходяща: доки копатимеш, візьмуть тебе, як куріпку. Бо гехкатимеш, битимеш лопатою, шарудітимеш землею, і видно тебе буде на тлі неба, мов на долоні.

3.

Добравшись до солдата вже у присмерку, ледве-ледве розрізняю його лице, доторкнуся до нього рукою, погладжу по щоці.

— За мною обов'язково прийдуть... — обізветься до мене хлопча. — Розвідники не покинуть мене тут умирати...

«Правда, — подумаю я, змочуючи сиропом пошерхлі, спалені губи солдата. — Мусять прийти: розвідники своїх не кидають. Ні поранених, ні вбитих».

— Ось ще трохи почекаємо, і вони прийдуть, — знову скаже солдат.

— Я тебе не покину, не бійся...

Прихилюся до самого обличчя молодесенького солдата, щоб заглянути йому в очі.

Солдат кивне головою і заплющить очі.

— Відпочивай, — я прикрию його периною.

— Може б, хоч ковточок води... — попросить солдат.

— Не думай про це. Терпи. А я висунусь вище, щоб краще бачити. Щоб нас тут не зацапали, мов курчат. А якщо твої розвідники не прийдуть, то я сам понесу тебе, ясно?

— Ні, — скаже солдат. — Це неможливо. Потрібні носилки. Інакше я вмру. Кров'ю і так уже зійшов...

— Ну, гаразд, лежи, а я полізу на дамбу.

«Не покину його нізашчо», — скажу сам собі й заходжуся оглядати дамбу, й ріку, і протилежний берег, що губиться у весняних водах. Тихо на річці, на плацдармі й на обох боках дамби. Тільки чується плюскіт і зітхання води, що біжить своїм одвічним шляхом до моря, хоч скільки б смертей тут не творилось і хто б там не вмирав від ран на її дамбах, хто б там не охороняв смертельно пораненого товариша. Ніч спливає в цих звуках, зітханнях і шерехах, а розвідники чи санітари не йдуть і не йдуть, і я кілька разів



навідуватимуся до солдата, обережно підповзатиму до нього. Так обережно, що й сам не чую ні найменшого звуку. Та солдат, мабуть, чує краще за мене, бо, підповзши, щораз бачу його широко розплющені очі.

— Пити,— однаковісінько ворущаться його губи, і я змочую їх солодкою водицею, хлюпаю з фляги на салфетку індивідуального пакета і зволожую їх. А салфетка кривавиться, і я викидаю її в Одер.

— Потерпи ще трохи,— скажу солдатові, і той, погоджуючись, кивне головою

— Так-так, вони вже скоро... .

Санітарів немає й немає. Мене тішить те, що німці не з'являються. Хіба, може, розвідка промацає фланги, щоб «увійти в дотичність з ворогом». Але їм, очевидно, зараз не до цих статутних настанов.

Переконавши себе, що німці вже не поткнуться, бо час пізній, та навряд чи й можна в такій тиші підповзти по глибокій багнюці беззвучно, вирішую переміститись ближче до солдата, щоб йому там не сумно й не моторошно було самому. «Ну й терпляче ж попалося хлоп'я,— думаю собі. — Треба спитати, звідки воно таке? По вимові, десь із Росії. Треба йому зовсім води не давати. Може, й губи змочую даремно? Може, це йому вадить?»

Отак подумавши, спускаюся скрадливо й тихо до того окопчика, і коли вже нахиляюся до солдата, очі його вже заплющені, дихання стане частіше, тільки час від часу він стогне, як стогнуть уві сні хворі діти.

«Спить,— подумую.— Нехай спить. У сні людина сили набирається».

4.

Примощуся біля солдата, покладу голову на перину-бруствер і вже навіть здрімну, коли протяжний стогін зірве мене на ноги. Проте солдат спить, тільки дихає ніби ще частіше. «Хай собі спить,— подумую знову і будити солдата не стану. — Прийдуть же вони коли-небудь?» — подумую вже із злістю і виповзу на вершечок дамби.

І саме вчасно! Бо якраз через неї обережно переповзає хтось метрів за сто попереду, з боку німецької оборони. Відкину запобіжник, прицілюся і вже зберуся дати чергу, як зовсім поруч, на протилежному схилі дамби, почується приглушений, але нетерплячий шепіт, схожий на шипіння:



- Миш-ш-шко, гад, куди преш!
- Стій! Хто такі?
- Свої, свої,— відгукнуться разом: і той, що повзе схилом поруч зі мною, і той, що попереду переповзає дамбу.
- Розвідники ми,— скаже цей, котрий ближче,— за пораненим прийшли, та ніяк не знайдемо.
- Отут він. За мною!— скажу їм, спускаючись до води.
- Старшина! — Гукне комусь той, що попереду, і тепер підбігає до нас.— Давайте сюди носилки.
- Тихше ти! — Зупиняю його. — Чи, може, міни захотів?
- Зараз, зараз,— скаже той хапливо і кинеться випереджати мене.
- Отут він,— я спущусь майже до самої води, що біліє й світиться вночі невідомо від чого.

Пришельці незграбно, навпомацки з'їжджають на своїх кирзях за мною, чіпляються один за одного і ледве не сповзають в Одер. Дихають важко, бо, мабуть, натомляться добряче, добираючись сюди в темряві! Та ще й по такій грязюці.

- Ось він,— зупиняюсь над окопчиком.
- Вони теж зупиняються поруч зі мною. Всі, як один.
- Ей, Єгоре! — гукає вертлявий і нетерплячий, мабуть, командир розвідки.— Чуєш, Єгоре?
- Відповіді немає.

5.

Я вклякну перед хлопцем на коліна, вхоплю його за обличчя. Воно вже холодне й тверде. За руку хлопчину тримає командир. Він підведе голову і гляне мені у вічі.

- Все,— скаже. — Готовий...
- Туди вашу... — вирветься в мене пошепки. А потім не стримаюся і зірвуся на крик: — Де ви були, нетяги? Півгодини тому хлопець був ще живий!

Командир розвідки підводиться не квапитиметься. Довго сидітиме над хлопцем мовчки.

- Все одно заберемо. Давай там носилки, чуєш?
- ... Ще довго чутиму приглушену мову і мегушню за спиною, але не зупинюся. Йтиму дамбою, закинувши автомат на плече, а перед очима в мене— напівдитяче змучене обличчя. І очі. Майже білясті від болю і муки очі скривдженої дитини.



А чужа ріка тече й тече до холодного моря. Сама холодна й байдужа до всього. Жебонить, зітхає й тече, хоч хто б там умирав чи плакав на її крутобоких присадкуватих дамбах.

Чужа ріка. На чужій рівнині. Далеко від місць, де народився і не встиг як слід вирости молодий наш солдат, котрого ждуть там і виглядають.

Ждатимуть та виглядатимуть довго. Виглядають, мабуть, і досі...

*Конча-Озерна,
27 липня 2010 року*



РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

ЗЕЛОВСЬКІ ВИСОТИ

1.

Вони лежать за гранітною аркою залізничного мосту – піщано-жовті, брунатні, мов би стомлені. Круті відроги і схили в мареві сонячного дня виправдовують їхню географічну і топографічну назву: «See Lowe» в перекладі з німецької – «Морські Леви». Саме сплячих левів вони й нагадають, коли ми прорвемось сюди після жорстоких триденних боїв і вперше побачимо їх зблизька.

Про ці узгір'я напишуть поеми й симфонії – принаймні так нам здасться з першого враження. Але війни минають і забуваються. І пам'ять у людства коротка навіть на такі героїчні й трагічні події, які тут незабаром розіграються. Тому щоб не сталося в світі, ніхто не знає, як воно відгукнеться в прийдешніх поколіннях. Та як довго зберігатиметься в їхній пам'яті. Майже ж нічого про заключну битву Великої Вітчизняної не писатимуть ні по гарячих слідах, ні потім. Крім квапливих газетних повідомлень та сухих воєнних донесень.

Після клекоту бойовиська тут вразить раптова й несподівана тиша через перегрупування військ перед штурмом: ще зариваються в землю солдати ворожих армій обабіч мосту й залізничного полотна, облаштовують свої позиції кулеметники й мінометники, артилерійські радисти й спостерігачі.

А сама важка артилерія Резерву Головного Командування тільки зараз суне сюди від Одера за потужними тягачами. Легка ж – дивізійна й полкова – м'яко й весело котиться на гумових колесах за вертлявими джипами «Додж 3/4» автострадою Кюстрін – Берлін. Немов радіє, що вирвалась на відкритий



простір після тривалого перебування на вогневих позиціях тісного плацдарму.

Артилеристи запевняють: гармати у наступі легкі й слухняні, а у відступах – тяжкі й похмурі, мов не висповідані гріхи прочан. Мученики сорок першого, відступаючи від кордонів, тяжко тягтимуть їх до Дніпра, Дону і Волги, як Ісус, падаючи, нестиме свій хрест на Голгофу, і ніхто йому не допоможе. І нам теж ніхто не помагатиме в найтяжчий початковий період Великої Вітчизняної війни. А від Волги, Дону й Дніпра аж сюди, в центр Європи, гармати котяться майже самі. І жодна не відстане!

Мчать від Одера до Зеєловських висот задимлені танки, грізно й розкотисто ревучи, стрясаючи повітря і простір потужними двигунами, погрозливо бряжчать гусеницями і траками, аж земля й автострада під ними здригається, як від землетрусу. А поміж ними тихцем прослизують приципки «катюші», вкриті брезентом – цим одвічним сейфом засекреченого військового світу.

Роботящі «Студебекери» і ЗІСи, з патронними й снарядними ящиками в кузовах врівень з кабінами, тримаються правого узбіччя, терпляче зносять обгони, пропускають закриті штабні машини й відкриті «Вілліси» з величаво-гойдливими антенами. З «Віллісів» червоніють генеральські лампаси, поблискують погони, зеленіють розстелені на колінах карти. Допитливо обмацують нас, піхтуру, і техніку грізні генеральські погляди – на око прикидають боездатність військ, нашу рішучість штурмувати круті та сипкі, майже неприступні піщані схили Зеєловських висот: за ними – Берлін! Головна мета заключної битви Другої світової війни.

І щойно сформована мотомеханізована армія переслідування в лискучих касках, з сяючими на сонці автоматами тісно повсідалась на нетесаних лавах у відкритих кузовах «Студебекерів», «Доджів» та ЗІСів, котить та й котить, нетерпляча, мчить на висхідні позиції. Все на бійцях новісіньке, і білі-білі брезентові паски касок на юних обвітраних лицах та на підборіддях нагадують новенькі гноти семилінійних газових ламп, якими світили нам старі бабусі і молоді наші мами по лісових і степових селах.

Сади... Вони просто киплять! Нам дивно бачити стільки квітучих садів у поверженій Німеччині, наче у нас в Україні. І хто заперечуватиме, що це не так, – знайте: їхав, сердега, в закритій машині чи в танку, минав кілометри, ковтав пил, а пахощів вишневого цвіту й не нюхав! Та й квітучі сади у триплексах не вмі-



щаються. А лише асфальт автострад, незліченні небезпеки і тривожна далеч війни...

А нам не треба асфальтів та автострад. Ми йдемо навпростець полями, лісами, садами-садочками. І доки на автостради вибираються війська, танки й машини, обстежуємо кожен пагорб, перелісок чи долинку: не зачайлися, часом, у засаді «тигри» і «пантери»? Або ще могутніші й страшніші для наших танків самохідні «Фердинанди» з 152-мм гарматами та новітніми інфрачервоними прицілами, яким ніч і туман ніпочому: стріляють так само прицільно, як і в сонячний день! Чи не залягли десь у яру або видолинку фаустники, з котрими наші танкісти зіткнуться по-справжньому тільки тут, під Берліном? І особливо – на його вулицях. Підпустить ІС або Т-34 кроків на тридцять і – тарах! – кумулятивною міною-прилипалою із-за рогу чи з окопу: при ударі і вибуху – шість тисяч градусів! Як на Сонці. Одночасно детонує весь боєзапас і пальне. Танк розриває вщент – так що навіть башта відлітає на десятки метрів! Все горить і плавиться. А люди перетворюються на попіл і жужелицю, наче їх ніколи й не було на світі!? Ці фаустники – кара Божа для наших танкістів.

Шаस्ताємо по всіх усюдах – перевіряємо всі потаємні куточки, всі підозрілі місця. Вриваючись у будинки та в чужі покинуті спальні, лякаємося своїх несподіваних відображень в розкішних високих дзеркалах, сахаємося і завченим рухом спрямовуємо на самих себе важкі наші ППШ з сімдесят одним патроном в диску: нам по 19 – 20 років, а в проривах, безперервних боях і маршах так засмагнемо й обвітримося, що видаємося набагато старшими. Навіть рідні матері навряд чи й упізнали б, побачивши нас. І сімдесят два кілометри від Кюстріна-на-Одері до Берліна зовсім не такі короткі й легкі, як тоді писали газети. Та як здається тепер. І про ті бої і втрати ще й досі не сказано всієї правди.

– Зеєловські висоти видно з усіх усюд: із штабних «Віллісів» – генералам, з окопів і траншей – солдатам-піхотинцям, у стереотруби – артилеристам, через триплекси та з відкритих люків – танкістам, з квітучих садів – нам, розвідникам. І навіть, вправившись з усіма околицями та зайшовши у невеличке містечко з усіяними цеглою, черепицею і битим склом тротуарами, бачимо й звідси жовті піщані відроги, схожі на сплячих левів. Вони тривожать, ваблять і лякають водночас, притягуючи до себе погляди: нам же їх брати, оці Зеєловські висоти!

Всідаємось натомлено під стінами, куримо й насолоджуємося коротким відпочинком і тишею. Така ж вона дзвінка й при-



ємна, що навіть всміхаємося один одному, вперше у цьому тяжкому наступі. А дехто вже й дрімає. Бо з 16 квітня, від прориву з Кюстрінського плацдарму, всі три дні й три ночі проводимо в безперервних боях і маршах – ніколи навіть передихнути, не те що відпочити чи заснути. І в цій тиші нам здається, що ось зараз з'являться двірники у брезентових фартухах, підметуть з тротуарів бите скло, уламки цегли та черепиці і, замахнувшись лозяними мітлами, нагрімають на нас і проженуть додому вчити уроки, як до війни. Або помагати матерям поратись по господарству.

Двірники, проте, не йдуть. А в містечко втягуються танки й машини. І одразу ж повниться гуком і ревищем моторів увесь простір – на землі і в небі. Бо й наші літаки саме пролетять над нами бомбити Берлін. Чи «обробляти» Зеєловські висоти перед штурмом...

2.

Біля нас зупиняється танк. Ревнувши наостанок двигуном, завмирає. Тільки дим та курява ще довго висять над ним. Та розжарене повітря струмує над радіаторами двигуна. А потім з клацанням відчиняються люки – водійський спереду і баштовий угорі. Із водійського легко й спритно вислизає молодий спітнілий генерал-майор у водійському пробковому шоломі, що зовсім не пасує до генеральських погонів. Лунко тупнувши хромовими чобітьми по броні, озирається. В суворому погляді – погроза далеким Зеєловським висотам, ближнім готичним гостроверхим дахам і нам, солдатам.

Підхоплюємось, виструнчуємось, завмираємо. Але генерал навіть не гляне в наш бік. Ніби й не помітить нас. Завченим, натренованим рухом легко й м'яко стрибне з танка на землю і скомандує у відкритий водійський люк:

– Викликати «Дніпро»! З'єднайте мене з Першим!

Доки він, запаливши сигарету, походжає біля танка, очевидно, розминаючи зомлілі за важелями руки й за педалями ноги, всередині щось гукають, когось настійливо умовляють і нарешті з водійського люка подають йому плескатий мікрофон і ставлять на броню перед генералом малий, але важкий навіть на вигляд круглий динамік на плескатій підставці, підбитій повстю.

– Перший слухає, – лунає з динаміка спокійний стомлений голос. – Доповідайте.

– Вийшов на рубіж «Зеєловські висоти». Нагодую людей, заправлюсь і рушу на південь...



– Нікуди ви не рушите! – обривають його. – Готуйтеся до штурму висот! Втрати є?

Генерал мовчить, зіцплює зуби, аж випинаються жовна на скронях. Ще дужче насуплюється, і світло-голубі очі його здають-ся чужими на побагровілому обвітреному обличчі.

– Загинув взвод майора Волошка.

– Увесь розвідувальний взвод вашого корпусу? – тривожно підвищують голос. – Всі три танки? – майже кричать. – І екіпажі?

– Так точно. Їх спалили фаустники із засади під висотою 326. Дозвольте обійти її з півдня.

– Не дозволяю! – Все ще кричать генералові. А по паузі, вже спокійніше: – Ви відпочиваєте і готуетесь до загального штурму. – Він уже зовсім спокійний, як і належить високим інстанціям, цей стомлений голос знаменитого генерал-полковника Катукова, хоч це й коштує йому, очевидно, неабияких зусиль. – Сподіваюсь, фаустників схопили? За Гаагською конвенцією їх належить розстрілювати на місці, як незаконних учасників бойових дій!

– Авже ж, фаустники з фольксштурму, цивільні, товаришу командуючий, – перебиває Катукова молодий генерал, поставивши ногу й витягуючись в струнку, ніби начальство може бачити його. – Їх допитує СМЕРШ. А незабаром судитиме військовий трибунал корпусу. А мої люди рвуться в бій, щоб помститися за загиблих товаришів.

Який там бій, – стомлено відповідає Катуків. – Перед вами Зеєловські висоти! А за ними Берлін! Ото буде бій! Не бій, а битва! Готуйтеся до неї. І не розмініютеся на часткові операції – не ризикуйте людьми і технікою!

– Але ж... Загинув майор Волошко зі своїми танками й екіпажами, товаришу командуючий! – Генерал витягується ще дужче, але динамік довго мовчить.

Ніяких «але», – озивається нарешті Катуків. – Готуйтеся до штурму!

В динаміку щось клацає, все стихає, і генерал повільно й роздумливо кладе мікрофон на броню. А потім, схиливши голову в задумі, знову походить біля танка.

Дозвольте звернутися, товаришу генерал-майор, – виструнчується перед ним, притиснувши лікті до тулуба й поставивши ногу, простоволосий і схвильований молодий офіцер.

– Ну? – повільно обертається до нього генерал-майор – Представтесь, як належить за статутом!



– Командир мінометної роти третього батальйону сто першого гвардійського полку старший лейтенант Сухов!

– Що старший лейтенант, бачу. А з яким проханням звертаєтесь до мене?

– Серед фаустників – фольксштурмістів, яких із СМЕРША ведуть зараз на суд воєнного трибуналу, а потім поведуть на розстріл, є знаменитий піаніст. Молодий професор Берлінської філармонії... – Сухов блідий і схвильований. В очах – тривога, на обличчі – нетерплячість.

– Знаменитий, кажете? – Генерал дивиться поверх голови Сухова на гостроверхі черепичні дахи містечка. – Молодий, кажете? А серед наших молодих танкістів, яких фаустники сьогодні спалили, знаєте, скільки загинуло майбутніх піаністів, майстрів і вчених? Не знаєте? Зате я знаю. Такі хлопці! – Ухопившись обома руками за голову, генерал хитається, немов від зубного болю. І враз різко й гнівно випростується: – Всіх розстріляти! Всіх до одного! – Кричить на Сухова, почервонівши і тупаючи ногами.

В тиші, що западе після його крику, стане чути зозулю, виспікування шпаків на деревах, озветься одуд вперше після зими. І великий сизо-синій голуб витюгень любовно кличе і кличе свою голубку, та ніяк не докличеться...

І тихо, так тихо і сонячно в світі! Вичахають танки по дворах та на вуличках містечка, і стелеться по садах блідо-рожевий цвіт вишень.

– Але ж... – переступає з ноги на ногу Сухов. – Піаніст не міг цього зробити!

– Ніяких «але»! – Губи в генерала сіпаються, а очі синіють холодно-холодно! Як наші ріки в морозний сонячний день. – Вони спалили моїх найкращих танкістів, що воювали від самого Сталінграда! Хто їх мені поверне? А головне – матерям, і сім'ям? Може, ви? Чи цей ваш плюгавий піаніст? – Визвіряється на Сухова розгніваний генерал.

– На нього тільки вчора нап'яли шинелю, – вперто хилить голову Сухов. – Тільки взули в армійські ботинки. Він не вміє тримати навіть гвинтівки – не те що фаустпатрона...

– А мої хлопці вміли все! Вони взяли Кантемирівку в одnorукого лютого генерала Генріха Гіле з його головорізами з танкової дивізії «Мертва голова»! Розбили Манштейна під Прохорівкою! Я на майора Волошка і на його танкістів-розвідників покладався, як на самого себе! І сьогодні їх усіх не стало.



– Піаніст тут ні при чому, – так само вперто хилить голову Сухов. – Глянувши на нього, ви самі зрозумієте, що він не здатен когось убити.

– Які можуть бути розглядини перед Зеєловськими висотами? І яке ви маєте відношення до трибуналу мого танкового корпусу?

– Мене запросили перекладати допит фаустників і засідання трибуналу. Перекладач їхній сьогодні загинув.

– Чому ж так побиваєтеся за цим піаністом?

– Він у двадцять сім літ – професор Берлінської консерваторії.

Простоволосий, а тому беззахисний, Сухов стоїть перед генералом, мов перед причастям. – Це ж не абиякий талант! Погляньте на нього! Тільки погляньте, прошу вас...

Генерал-майор довго мовчить. Мене зношені лайкові рукавички, у яких четвертий рік власноручно водить свій командирський танк з дозволу самого генерал-полковника Катюкова.

А зозуля все ще кує в гаю, щедро пророкуючи комусь довгі літа. І одуд вже сміливіше подає свій голос після зими, повернувшись з вирію. І голуб-витютень кличе й кличе свою голубку. І стелить поряд із танком на чорній грядці свої пахучі блідо-рожеві пелюстки молода вишенька. І так тихо та тепло, та сонячно в світі, що про смерть, а тим більше про розстріл, – грішно й думати!

– Ну що ж, – нарешті міняє гнів на милість генерал. – Приведіть.

І одвертається від Сухова, щоб припалити нову сигарету.

3.

Він стоїть посеред двору – уособлення безпорадності, непристосованості й беззахисності. Безжальна карикатура на інтелігентність, написана суворими мазками війни.

Тонка довга шия жалібно стирчить із жорсткого коміра нової, ще не обношеної шинелі. Він боїться зняти її навіть у цей теплий квітневий день. Можливо, останній день у його житті. Бо шинелю одягли на нього штабні фельдфебелі та цейхгаузні унтери – грубіяни й циніки, чужі йому й одворотні. Їх він боїться більше, ніж наглої й жорстокої смерті. Навіть дужче, ніж розстрілу!

Кашкет із довгим суконним козирком, які носять солдати гітлерівської армії, налазить йому на очі, а також на вуха – гне їх униз і утримується, мабуть, лише на окулярах у тонкій золотій оправі. Довгі руки виснуть вздовж тулуба, тонкопалі та білі. І біле



лице – бліде, як у мерця. А гострий борлак випинається з худі шії дивним наростом – нагадує чаплю чи щось ще жалюгідніше й нещасне.

Генерал розглядає німця, немов якийсь антикварний експонат у музеї. Найдовше дивиться на його худі гомілки, обтягнуті коротенькими брезентовими накладками на дві застібки. Та на великі ступні, взуті у важкі й грубі ботинки. Куті залізними шипами по підметках і облямовані крицею підківок на підборах, пошиті з добротного гамбурзького товару для далеких доріг у Росію і Африку, в Україну та на Кавказ, вони дійшли від Берліна лише до Зеловських висот! Ці грубі, куті залізом для переможних походів воєнні ботинки на кволіх ногах берлінського піаніста.

– Гм – м, вояка! – презирливо бурмоче генерал.

– Найн! – злякано мотає головою німець. – Ніхт война! Мюзік!

– Мюзік, мюзік... – Кутики генералових губів гидливо опускаються. – Ану! – обертається він нарешті до нас. – Де тут рояль чи піаніно?

І ми розлітаємося по під'їздах і по кімнатах, мов горобці.

Старші офіцери, одягнені в новесенькі шовкові комбінезони кольору «хакі» на випадок зустрічі із союзниками, стоять неподалік, курять і прислухаються.

Генерал-майор підходить до них і, недбало кинувши руку до пробкового шолома у відповідь на вітання, киває на німця:

– Берлінського професора-піаніста захопили разом з фаустниками. Послухаємо, як він грає. А що роблять ваші підлеглі?

– Миються, – виструнчується перед генералом полковник-танкіст, той, що недавно співав марш-ліед «Дойче панцер ін Африка фор!».

– Миються? – дивується генерал.

– Так точно! Оголились до пояса і ллють один одному на голови й спину воду цілими відрами: у танках спека, задуха.

– Жарко, – погоджується генерал.

Він довго дивиться на Зеєловські висоти, схожі на сплячих левів. Зараз над ними пролітають легенькі білі хмарки та кидають на круті жовті схили синюваті тіні.

– Буде ще більша спека, – зітхає генерал.

4.

Рояль знаходимо в сусідньому будинку...

– Ходімо, – велить німцеві на його мові старший лейтенант Сухов.



Той нахилиється, піднімає з натугою ранець, обшитий телячою шкірою, завдає собі на плечі. Потім підперізується важким поясом з пряжкою «Got mitt uns», з бляшаною циліндричною коробкою протигазу та шанцевою лопаткою в покривці.

– Облиште! – каже йому по-німецьки Сухов. – Тут недалеко.

– Найн, найн! – Мотає головою німець і оглядається, чи не був чого. І тільки пересвідчившись, що вся амуніція з ним, чвалає за Суховим, байдужий до всього: і до сонця, і до весни, і до нас з важкими й грізними автоматами.

А коли переступає поріг і помічає рояль – одразу ж кидає свої пожитки на підлогу, переступає через ранець. Стрясаючи підлогу важким кутим взуттям, кидається до рояля. Нагинається, короткозоро мружиться на напис і радісно оглядається на нас:

– «Бьоссендорфер!» – урочисто підносить палець. Спочатку беззвучно та пестливо гладить клавіші. Потім заходить збоку і легким завченим рухом піднімає важку кришку рояля. Так що стає видно струни, світлу, мов сонце, соснову деку і позолочений металевий каркас. Вибачається: – Айн момент! – і скидає шинелю.

Та й не скидає, а ніби вилазить із неї, мов із печери. Наче вона й не трималась на ньому. Проте складає її вдвое, акуратно згорнувши вповодж. Шинеля нова-новісінька! У неї несподівано світла і дуже шовковиста – аж блищить! – підкладка.

Отак, із згорнутою шинелею в руках, шукає очима свою амуніцію. Вона лежить на підлозі далеченько – там, де він кинув її, побачивши рояль. Нетерплячим кроком підбігає до ранця й пояса з протигазом та лопаткою, хапає їх однією вільною від шинелі рукою і, завалюючись набік, тягне до інструмента. Тільки тут кладе на амуніцію згорнуту шинелю, а зверху – м'який свій кашкет. Ще поправляє обома руками довге й світле волосся, обсмикує цупкий і непокірний мундир і, примірівшись, підставляє до рояля гвинтовий стілець. Тільки тоді вже сідає.

А сівши, не одразу б'є по клавішах. Схилиє над ними лисувату світлу голову. Якусь мить сидить задумливо, ніби щось згадує чи вгамовує хвилювання. І, раптово вставши, обводить нас довгим поглядом. За скельцями окулярів – сльози. Він, певне, не сподівався вже сісти за рояль.

– Спа-си-бі, – роздільно, по складах, вимовляє по-нашому і гречно вклоняється.

І генералові, що стоїть біля вікна, зіпершись об лутку, суворий і зосереджений.



І групі офіцерів у нових шовкових комбінезонах.

І нам, запиленим і незграбним у своїх рятівних розвідницьких маскхалатах.

І Сухову, що тулиться в дальнім кутку, намагаючись не дивитись на німця.

Відкланявшись, сідає за рояль, енергійно кидає руки на клавіші та обрушує на нас могутні тривожні акорди:

– Трам-та-та-там! – починає з грубих, може, й найнижчих басів. І знову: – Трам-та-та-там! – грізно рокочуть вони і гримлять про щось суворе й страшне. Непоправне! Ніби рушається в світі міста і мости, і небо падає на землю уламками битої синьої криги, і валяться та руйнуються гори й висоти, і рвуться бомби та стріляють гармати, і кричать у розпачі жінки, і плачуть діти, благаючи порятунку. Все дужче, загрозливіше й страшніше рокоче рояль. Аж дихання нам перехоплює, і серця наші заходяться в тривозі. Всіх нас огортає напруга, що дедалі наростає й підсилюється!

Голова німцева мотається в такт експресивній приголомшливій музиці, плечі стрибають, коли він б'є по клавішах, а світле волосся розвіюється, і руки безугавно літають над клавішами двома білими блискавками, та ніяк не знайдуть, куди б відлетіти.

І ми відчуваємо: або він умре за цим роялем «Бьоссендорфер», або у світі щось трапиться ще страшніше за війну, яка вже стільки днів і ночей неблаганно носить нас своїми смертельними полями, обіцяючи загибель, смерть чи тяжке поранення.

Під цю музику все, що з нами було в боях, раптом стає сторчма в нашій уяві у всій своїй неблаганності й жорстокості, хоч ми їх досі тамували в собі, ховаючи на самісіньке дно наших емоцій, заради витримки і перемоги.

А музика гримить і падає на нас, на стіни кімнати, виривається крізь розчинені вікна у весінній простір, залитий сонцем. І під його промінням її звуки теплішають, лагідніють. А всі люди на землі мають нарешті звільнитися від озлоблення – здається, ось зараз вони позбудуться ненависті й люті і почнуть ще несміливо, а далі приязніше всміхатися одне одному. А потім простягнуть руки і обнімуться, згадавши заклик Шіллера: «Обніміться, мільйони!», втілений в апофеоз Дев'ятої симфонії Бетховена.

І щось ніжне-ніжне огортає нас – у всіх розширяються й більшають очі, розправляються зморшки на обличчях у старших, а в нас, юних солдат, легшають і піднімаються вгору брови. І губи чомусь тремтять. І на них зароджуються усмішки.



А заклик до радості й ніжності ллється та й ллється з-під німцевих пальців. І росте та міцніше злива високих і чистих звуків, що здаються чомусь сонячними. І ми забуваємо, чого прийшли аж сюди, на чужу землю, в чужу весну, де ми зараз, хто нам грає і чому?

Тихо і ніжно витають звуки музики над нами. І родяться вони не з рояля – рояль досі мовчав, як будинки мовчать поблизу. Як Зеєловські висоти вдалині. Як бруківка під ногами.

Ці благородні звуки ллються на нас з-під отих довгих, тонких і худих пальців, що торкаються білих та чорних клавішів і розповідають нам про наших матерів і батьків, про далеку рідну землю, і рідні ріки, і рідний дім та рідний сад. І про всіх, кого ми знаємо й любимо змалечку, серед кого росли й розвивалися та набиралися розуму від них.

Завершивши музичний твір, німець підводиться із-за рояля, гречно вклоняється всім і сідає знову на свій гвинтовий стілець: за роялем він не полонений, не фольксштурміст – він, мабуть, забув усе, що трапилося з ним сьогодні, і став самим собою.

А ми, не змовляючись, одвертаємося до вікна всі разом, ховаючи збентежені й розчулені очі від товаришів і командирів. А потім несподівано для себе аплодуємо.

5.

– Давно я не слухав Бетховена, – зітхає генерал, приязно дивлячись на німця. – Та ще у такому виконанні.

– Beethoven, o-o-o! – Підносить високо голову німець, аж сам ніби вищас. – Beethoven . Gross! Kolossal! Titan!

І замовкає надовго. Навіть заплющує очі – мабуть, уявляє Бетховена. Потім повільно піднімає руки над клавішами.

– Та-та-та-та! – Лунає тривожно й погрозово, ніби хтось великий і могутній попереджає про небезпеку. І знову, в тому ж ритмі, але басовитіше:

– Та-та-та-та! – немов би погрожує: «Я йду до вас! Я зараз прийду!»

Тепер я знаю: це – «Поступ Долі» з вступу до п'ятої симфонії Людвіга Ван Бетховена, як твердять музикознавці. А тоді нам здається, що в кімнату з весни і війни увірветься суворий Бетховен! Зупиниться в порозі, грізно огляне на нас: «А ви, мої нащадки, чи так живете й дієте, як я мріяв і заповідав вам?»

І його музика під тим поглядом поставить усе на свої місця! І під її впливом Зеєловські висоти раптом здадуться купами звичай-



нісінського піску. А танки, «Катюші» й гармати – громадям звичайного заліза. І кожен із нас по-новому сприйме світ і себе в ньому.

Усі ми забудемо і німця, що грає нам, і навіть того, хто написав цю музику. Нам здасться, що вона існує одвіку – народилася разом з людством і тепер розповідає нам, що війни минають і забуваються. Що мине й ця. І що всіх нас чекає прекрасне й щасливе життя! Чекає любов і праця на мирній землі, у рідній стороні, з дорогими, найріднішими в світі людьми: батьками й матерями, сестрами й братами, любими дівчатами й жінками, мудрими й суворими дідами й добрими та ласкавими бабусями.

«З дідами пий, з дівчатьми знайся» – згадається вражаючий вірш Андрія Малишка, недавно публікований у нашій фронтівій газеті.

І коли мелодія стихне під стомленими пальцями піаніста, ми немов прокинемося, сп'янівши від музики Бетховена, і сприймемо все довколишнє, як нереальне. Або в його первісному значенні, утаємниченому від нас метушнею і поверховим поглядом на речі. Справжній зміст життя там, у скритій від нас одвічній реальності і в цій безсмертній музиці Бетховена. Та ще, мабуть, у сонці й квітучих садах. І в нас самих – у тому, що ми ще живемо на землі, всупереч загибелі й смерті, які несе людству війна.

А німець повільно підводиться і дивиться на нас з якогось незбагненного далека, звідки він, як і ми, повертається після бетховенських геніальних мелодій в сувору воєнну дійсність. Погляд його запитливий і тривожний. Він ще важко й часто дихає і від втоми, і від нового хвилювання, що знову охоплює його. На чолі та на скронях у нього – великі й рясні краплі поту. Змокріле волосся липне до лоба і важкими пасмами спадає на очі.

«Що ж тепер? – питають його змучені очі. – Що буде зі мною далі? Ви мене вб'єте? Розстріляєте?» І немає сили глянути на нього.

– Відправимо його в тил? – уважно дивиться на Сухова генерал. Той мовчки знизує плечима:

– Ходімо! – наказує німцеві. І обертається від порога до генерала: – Я маю доставити його назад, до трибуналу. Взяв під розписку...

– Відправимо його в штаб Першої танкової Катюкова, – роздумливо міркує вголос генерал, ніби радиться сам з собою. Чи питає згоди в Сухова.

Німець тим часом квапливо одягає шинелю – скоріше влезить у неї, мов у печеру, кидає на голову своє кепі, а на плечі завдає ра-



нець. Хапає пояс із протигазом та лопаткою, квапиться за Суховим: боїться відстати від свого покровителя і лишитися серед нас...

Дивак! Він не розуміє, що його музика ще живе, ще звучить, не перестаючи, у наших душах! І звучатиме, мабуть, в нашій пам'яті все життя. І ми його, як і його музику, нізащо й ніколи не образимо! Та не заподіємо йому біди чи зла: він полонив наші душі й викликав у них давно забуті почуття ніжності, добра і співчуття, поглинуті війною.

Генерал виходить з будинку останнім. Його очі тепер схожі на наші: такі ж сумовиті, навіть скорботні й задумливі. Без генеральської суворості, погрози і владного блиску. Здається, музика Бетховена вимила з них усе це, хоч на якийсь час.

– Поїдете зі мною, – велить він піаністові тихше, ніж розмовляють на війні з полоненими. – І скиньте до біса оцю шинелю та покиньте амуніцію – вона личить вам, мов корові сідло! Старший лейтенанте, перекладіть!

– Найн, найн! – заперечливо мотає головою німець, коли Сухов перекладе йому слова генерала. І щось швидко забелькоче по своєму.

– Він боїться, що його розстріляють удома, якщо він щось тут покине або загубить, – скаже Сухов похмуро.

Генерал гляне на німця з жалем і співчуттям:

– Прокляття! – процідить крізь зуби. – І це – нащадки Бетховена, Шіллера і Гете... От вам і «Sch Sturm und Sch Sturm» – «Буря і Натиск». Вони давно вже перетворилися на «Nacht und Nebel» – «Ніч і туман» на нашій території. Тобто – у випалену землю! Але в що ж перетворили цю велику націю прокляті фашисти? – Генерал знову стає генералом і обводить суворим поглядом все, що бачить на просторах поверженої, але ще недобитої до краю Німеччини.

А сонце гріє ласкаво, вже по-весінньому тепло. І цвітуть сади, і зеленіють чагарники і дерева. А за ними мріють у мареві Зеєловські висоти, які нам треба взяти, щоб не вмирили мелодії та не гинули люди. Щоб видатні піаністи не тягали на собі солдатських ранців, протигазів та лопат. І не одягали шинелей.

І щоб грізний Бетховен не гнівався на нас.

О, Зеєловські висоти...

*Конча-Озерна,
9 травня 2010 року*



РОЗДІЛ ДВНАДЦЯТИЙ

МАРШ-ЛІЕД

НАД ПОВЕРЖЕНОЮ

НІМЕЧЧИНОЮ

1.

Три дні й три ночі прориватимемося вже за Одером від Кюстріна до Зеєловських висот, осідлаємо знамените стратегічне шосе — «цель ближайшая». А «последующую» — прорвати другу лінію оборони — виконати не зможемо. Тільки аж на четвертий день, підійшовши з-за Одера, Перша танкова армія генерал-полковника Катюкова змете цю оборону і піде далі, а ми — за нею.

Одна автоколона, обігнавши нас, зупиниться, і, доки проходитимемо повз неї, почуємо з радіостанції: «Гітлери приходять і відходять, а народ німецький, держава німецька залишаються...»

Це ніби мої думки, висловлені вголос. Всі мої прагнення втілюються у фразі Сталіна. Майже щодня в наступі я бачу, як на дорогах розстрілюють полонених, що виходять із лісу, піднявши руки вгору, здають зброю, рації і телефонні апарати в шкіряних чохлах, яких у нас не буває. Захищаю їх де тільки можу, застосовуючи зброю, ризикуючи сам стати мішенню п'яним ублюдкам.

«Папа! Убей немца!» — вигадка Еренбурга на початку війни. Разом із «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — цей заклик красуватиметься всю війну в кожній газеті, листівці, стіннівці. Його вишиватимуть на кисетах і висилатимуть бійцям на передову. І коли вперше побачу цей заклик — «Убей немца!» — після визволення з окупації, мало не крикну: «А як же «Пролетарі усіх країн, єднайтеся?»

Та кричати марно — ніхто не почує. Ще й розстріляють за солідарність з ворогом. Або лише за співчуття до нього.

«Ненависть! Ненависть! Ненависть!» — гасло тотальної війни, на відміну від усіх інших попередніх війн.



У критичні дні поразок і відступу, може, гасло «Убей немца!» – й було слухним. Але зараз, отут, де, крім солдат, вже трапляється й мирне населення, це – блюзнірство! Стаття Георгія Александрова – завідуючого ідеологічним відділом ЦК ВКП(б) – з'явиться надто пізно, перед самим Берліном. І не матиме великого впливу, хоч його пізніше, вже по війні, апологети Еренбурга з'їдять-таки за неї.

На жаль, усе на світі схильне до інерції – надто ж ненависть. Тут, на просторах поверженої Німеччини, вона іноді набуває особливо потворних форм.

2.

Йдемо, йдемо всю ніч за танками. Вдосвіта нас повертають на рокаду, і ми входимо в якесь порожнє містечко. Тут порядкують танкісти Катюкова: п'ють шнапс, закушують консервами з усього світу. На столі в просторому холі – могутній програвач, підключений до велетенського, мов шафа, «Телефункена». Лунає бра-вурна музика, мішаючись із хоровим співом, з ревищем танкових двигунів, литаврами, фанфарами, барабанами, командами, ревом літаків та бряжчанням гусениць і траків.

– Ей, піхота! – кричить підпилий полковник в засмальцьованім комбінезоні, на який нашито ще брудніші погони з ядучими жовтими просвітами на чорному тлі. Але з розстебнутого комбінезона виглядає білосніжна офіцерська сорочка, ясна, як сонце! – Послухайте марш-ліед «Дойтше панцер ін Африка фор!» Це вони з такими маршами по Африці йшли. Роммель ганяв пустелею 6-ту армію Окінлека і 8-му Уейвелла. Аж до Ель-Аламейна. А тепер ми прийшли сюди, майже в їхню столицю переможцями – слухаємо й дивуємося: «Судьба играет человеком!» – казав Наполеон. Погралася ним. Тепер грається Гітлером та його генералами і танкістами. Випиймо, сержанте, за нашу перемогу! Випиймо з нами!

А марш-ліед переможно гримить:

Дойче панцер ін Африка фор!

Стою і слухаю, й дивуюся: «Музико, музико! Що таїш у собі?»

Володя Титов хапає мене за рукав, і ми біжимо в глиб будинку за Хуратовим, що не встиг відбути в резерв командира дивізії і лишається поки що з нами ніби й без діла. Бо ротою вже командує Сухов.

Біжимо через спальні з розчиненими навстіж шафами, комодами, гардеробами – скрізь валяються жіночі панчохи, вишукана



тонка білизна, якої ми зроду не бачили, макінтоші і пальта, чоловічі й жіночі, взуття в розірваних картонних коробках і без них, розкидані й розкриті ліжка, на білосніжних простирадлах вже встигли й поспати наші славні танкісти у своїх кирзових комбінезонах, лишивши мазутні сліди не лише на вишуканих простирадлах, а й на шовкових подушках та матрацах, кріслах і фотелях, на низеньких пуфках під високими дзеркалами від підлоги до стелі.

У тих дзеркалах бачимо свої відбитки, не впізнаємо самих себе. А навколо – інтимний світ чужих спалень і чужих розкошів, серед яких здаємося чужими й ворожими. Пришельці хтозна з яких далей, країв, степів. Із-за далеких і чужих рік..

А все навколо покинуте, розкидане, розтоптане і зневажене.

О, доля переможених! Скільки в тобі печалі й непоправності! Скільки відчаю й безнадії! І найперше та найболючіше ти падаєш на голови і на душі матерів, жінок, дочок, внучок – жінки перед війною найбезпорадніші, найбеззахисніші. Саме ж їх поразки вражають і карають найжорстокіше. І десь у підсвідомості жевріє навіть радість від того, що всі ті, хто носив цю білизну, ці найінтимніші жіночі аксесуари, десь далеко, а не тут, не перед нами, не перед п'яними танкістами. Страшно подумати, що з ними сталося б: вигляд чужих спалень, нічних сорочок, дамських халатів і пеньюарів, теж небачених зроду, піднімає в нас, огрубілих окопниках, що місяцями й роками ходять під смертю, якісь дикі інстинкти, забуті й притлумлені щоденною небезпекою бажання. Тут, як ніде, пахне Європою, вишуканою і випещеною, розбещеною розкошами, інтимом, возведеним у культ із самого середньовіччя. А марш-ліед женеться за нами через всю анфіладу кімнат, і п'яний полковник підспівує невлад:

Дойтше панцер ін Африка фор!

І схоже на те, що він незабаром почне стріляти, розбурханий чужим переможним маршем, що так пасує до нашої нинішньої переможної ходи на Берлін, де цей марш-ліед роммелівських танкістів народився. І, хоч будинок величезний, грім оркестру, бойовий спів-заклик хору під ревище танкових двигунів та під горни і литаври наздоганяють нас і в найдальших кімнатах. Здається, цей марш-ліед розгромлених військ Роммеля в Африці, розбитих танкових груп і піхотних армій на наших полях, степах і просторах лунає над усією поверженою Німеччиною, вириваючись із розчинених навстіж вікон і дверей, летить над квітучими садами, над автострадами й містами, над ріками й лісами як глум, як реквієм завойовницьким намірам, бо нездоланна могутність вермахту за-



вдяки нашим подвигам, смертям на полі бою, ціною нечуваних і небувалих жертв і пролитою кров'ю розвіялася в прах ще під Москвою, Ростовом і Сталінградом, Києвом і Севастополем.

А тут, перед Зеєловськими висотами, під стінами Берліна, всі ті, хто загинув на полях битв, ніби йдуть разом із нами. Їх воскрешають з небуття саме оці бравурні марші-пісні, що сприймаються як похоронна музика для їхніх носіїв і як безсмертя для нас:

Дойтше панцер ін Афріка фор!

Полковник, очевидно, п'яніє все дужче та все частіше повторює цю фразу, яка вразила його в саме серце. Його, що прийшов сюди аж з-під Сталінграда через тисячі смертей. І могили його загиблих, згорілих у танках солдат, друзів і побратимів теж ніби прийшли аж сюди.

3.

У найвіддаленішому крилі будинку несподівано натикаємося на молодесеньку біленьку німкеню: сидить на розстеленому ліжку і саме годує груддю немовля. Вона дивиться на нас очима отого дитяти, якого несе в жертву Мадонна Рафаеля. Ми всі з несподіванки сахаємося назад.

А Хуратов, розштовхуючи нас, вривається в кімнату і до німкені:

– Фашисточка колышешь!? — термосить, вхопивши за плечі, кричить в саме обличчя і намагається вирвати в неї дитину.

Миттєвим, підсвідомим рухом, як у ближньому бою, майже падаю між ними й заступаю молодесеньку матір.

– Не чіпайте їх! Прошу вас! — Не чую свого голосу, не бачу ні Хуратова, ні німкеню, ні своїх товаришів. Це ніби хтось інший, а не я, закриває від Хуратова юну німкеню з її немовлям, а я тільки дивлюся на все збоку.

– Су-у-ха-а-ав! — вихоплюючи ГТ, Хуратов кричить так, що жили на шиї випинаються, обличчя синіє, і губи тремтять. — Убери этого писаку! А то я его пристрелю!

Відтручую його груди в груди від юної матері з немовлям, і ППШ з 71 патроном в диску опиняється між нами. У роті в мене сухо-сухо, і серце вперше в житті збивається з ритму, а руки й ноги терпнуть.

Посинілий Хуратов ніяк не пересмикне та не поставить на бойовий звід ГТ — мій автомат заважає. Старший лейтенант Сухов перехоплює руку з пістолетом і відштовхує Хуратова від німкені й від мене, а Володя Титов падає грудьми на мій автомат, і я опиня-



юся під стіною. Підперши зігнутою рукою моє підборіддя, так що я не можу й поворухнутися, спокійно каже Корницькому:

– Митю, забери в Сашка автомат. А то ще під трибунал за-
гримить.

Хлопці наші — не промах! Бійці хоч куди! Миттю розтягають Хуратова і мене в різні кутки кімнати. На собі відчую їхню силу, спритність і виучку.

А юна німкеня лежить навзпак впоперек ліжка з оголеною груддю, випустивши з рук дитину. Мов нежива — у глибокій непритомності. Дитя верещить, дригає ручками і ніжками, синіє дужче за Хуратова.

Але й через дитячий вереск чується бравурний роммелівський марш-ліед із фанфарами, барабанами і гуркотом танкових моторів, що лишилися в пісках Африки. І голос п'яного полковника-танкіста перебиває і пісню, й музику в п'яному екстазі, торжествуючи й потішаючись:

Дойтше панцер ін Африка фор!

– Будьте прокляті! — хрипить знавіснілий Хуратов, вириваючись із рук Сухова і Юнусова. — Кого вернет троих моїх братів, убитих немцями в Сталинграді? Може ви, желторотые плакальщики за чужими, вражьими душами?!

А марш-ліед гримить ще дужче, і в нього вривається гуркіт форсованих танкових двигунів і бряжання танкових гусениць і траків.

Хуратов вивільняється із рук Сухова та свого ординарця, ніби прокинувшись, зирк! — на німкеню:

– Водой ее! Сбрызните водою, мать вашу! Корницький, где тут вода?

Марш-ліед лунає ще дужче, — мабуть, хтось із танкістів відчинив двері із холу, але німкеня не подає жодних ознак життя.

Корницький скручує кришечку з фляги, наміряючись бризнути німкені в лице. Але Володя Титов перехоплює його руку:

– Ти що, здурів? Це ж спирт? — біжить на кухню й повертається з повним відром води: раз! — прямо на непритомну матір.

Заливає і її, і постіль, і дитину. Малюк ще несамовітіше верещить, і Хуратов загуляє обома руками вуха, хитаючись, іде геть, забивається в дальній куток, зирить звідти вовком.

А молодесенька мати здригнеться від холодної купелі, опритомнівши, зойкне і одразу ж — хап! — за дитину...

Переможний марш роммелівських танкістів по Африці лунає тихіше, але не мовкне тут, перед Зеєловськими висотами, і чужа



слава, похована в пісках Африки, ніби оживає в тій музиці як іронія, як глум, як розплата за всі злочини, подвиги й смерті.

Молодесенька німкеня тулить дитя до грудей, пригортає і кутає у свій мокрий халат, ніби хоче захистити його і від нас, і від тієї безглуздої тепер музики. Злякано піднімає очі на мене. З благанням, вдячністю чи острахом?

... Так дивитимуться на пришельців з інших галактик наші нащадки, що зустрінуться з ними після нас.

Ніколи не забуду того погляду!

А марш-ліед гримить знову, накочується, наближається, заполює кімнату.

Юна німкеня хапає мою руку, припадає до неї холодними губами, тулить до щоки. Тяжко і болісно ридеє, перекиваючи і дитячий вереск, і бравурний марш-ліед, горне до грудей своє нещасне дитя, що ніяк не вгамується. Де її мати? Де батько цієї крихітки? Все розкидала війна і поразка, і не бачити їм щастя, поки світу й сонця.

– Дойтше панцер ін Африка фор! – Реве у п'яному екстазі наш полковник-танкіст, насолоджуючись перемогою і над цією піснею, і над тими, для кого вона написана, і над конаючою Німеччиною.

У мене все пливе перед очима — сльози туманять зір.

Марш-ліед нарешті вмовкає. Стає тихо-тихо.

– Ребеночка она колышет! — Хрипить з дальнього кутка Хуратов, люто дивлячись на беззахисну німкеню. — Мои братья в земле. У их жен никогда больше не будет детей! А они тут размножаются! Они тут ребеночков колышат! Новых фашистов зачинают! — з натугою одвертається від німкені й виходить, заточуючись від горя й розпуки, що наздоженуть його й тут...

4.

– К бою! — лунає з двору команда Сухова.

Вибігаємо. Сонце тільки-тільки з'явиться і покладе на білі будинки та на білі мури весінне рожеве проміння, чисте, мов дитяче дихання.

Що буде з цією безпорадною німкенюю — вона сама ще дитина?! А в неї ж маля! Де її батьки й родичі? Чому покинули саму з крихіткою?

*На кого ж ти покида-а-є-єш,
тільки по-о-ду-ма-ай...-*

Зроджується з дна душі й пам'яті улюблена народна пісня, колись оброблена Бетховеном, і я печалюся й тужу по-справжньому,



не криючись. За юною матір'ю, за її немовлям, за Німеччиною, яку ми завойовуємо і яка має загинути, щоб відродитися знов. Якою? Коли? Чи ж дозволимо і ми, і союзники? І що буде з цією молодесенькою німкенєю, з її крихітним немовлям, з усіма людьми, які досі тікали від нас світ за очі? Та тікають і зараз, налякані геббельсівською пропагандою про нашу мстиву жорстокість. Але ж не втечуть? Не втечуть! Куди ж їм тікати із своєї розгромленої землі? Із своєї держави? Адже LAND – німецькою мовою – означає і ЗЕМЛЯ, і ДЕРЖАВА.

5.

Вулиці й провулки вузькі-вузькі! Здається, немає ні виходу, ні входу, ні кінця, ні початку цьому білому німецькому містечку, яке ми покидаємо, не пам'ятаючи, як зайшли в нього на світанку.

Вибиратимемося довго і тяжко з лабіринту його вуличок і провулків поміж розкішними віллами і дачними будинками. Бачимо автостраду – квітучі сади за нею аж киплять вишневим цвітом! І пелюстки летять за ранковим вітерцем, встеляють чужу землю біло-рожевим ніжним килимом, на який нікому ступити і нікому милуватися ним.

З автостради, піднятої над рівниною, відкривається на всі сторони світу весінній простір, залитий сонцем. І над усім цим зводяться вдалині Зеєловські висоти, схожі на сплячих левів. Вони ваблять і водночас лякають: їх треба взяти. З ходу! Обов'язково з ходу – так сказано в наказі: «Мета найближча. Мета послідуєча»...

Але і наказ Жукова, і бої в передпіллі, і атака Зеєловських висот, і навіть штурм Берліна – все мені застить отой погляд юної матері! І безпорадне її немовлятко уявляється ночами. Їхні крики й плачі рвуть мені серце й досі.

– Простіть! – простягаю руки в ту страшну далечинь. – Простіть нещасного, перемеленого війною Хуратова! Простіть і мене!

Але відповіді немає. І не буде вже? Не буде...

– Еге-гей, Зеєловські висоти! Відгукніться хоч ви! Ми ж брали вас! Визволяли!

Мовчать висоти. І долини мовчать. Ті, що у Вольфганга Гете і Лермонтова «полны свежей мглой».

І повержена Німеччина, капітулювавши 9 травня 1945 року, й досі відвертає від мене згорьоване своє обличчя...

*Конча-Озерна,
серпень 2007 - липень 2010 року*



РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ

СУХОВ

1.

Він бігтиме через пологу западину в лісі поміж високими деревами та низьким чагарником. А ліс синітиме у весінній імлі чи в диму від близьких і далеких розривів, наскрізь просвічений призахідним сонцем на немислиму глибину, у якій нам мариться Європа. Із синьо-зеленої європейської глибини, з її затаєної прозорості старший лейтенант вибігає мені назустріч, легкий, похлоп'ячому стрункий, тонесенький і рвійний.

Тої весни йому ледве перевалить за двадцять, а він воює вже від самого Сталінграда, Курської дуги, форсував Дніпро, Дністер, Південний та Західний Буг, Віслу та Одер. Прорвався й за Одером аж до Зееловських висот, в оцей ліс під Берліном.

Біжить легко й красиво. Неначе зовсім вибігає з війни.

А насправді — щоб віддати мені наказ зніматися з вогневої і рокадною дорогою вийти з батареєю до Темпельгофського аеродрому, на який наша піхота 101-го гвардійського полку проривається берлінським передмістям, вибиваючи з нього есесівців. А вибивати їх звідки було б немисливо важко!

Розгорнувши фартовий офіцерський планшет, тонкий, мов шкільний зошит, він покаже мені по карті, як вийти на рокаду, куди саме рухатися по ній. Підіб'є вище пілотку на спітнілому чолі, закине за спину новенький світло-жовтий планшет на тоненькому ремінці і всміхнеться по-сільському просто й по-домашньому тепло, змивши субординацію, що розділяє нас навіть у фронтівій обстановці, хоч як би ми не дружили. Він командир роти, а я сержант, командир мінометної обслуги.

У новісіньких хромових чобітках, синіх бриджах та світлій гімнастерці з тонкої англійської шерсті під розстебнутою шкіряною, він ніби втілює отих безвусих лейтенантів Великої Вітчизняної, що винесли на своїх худеньких плечах основний тягар війни і полягли по 97 із кожної сотні.



Тоді, ясна річ, таких підрахунків ніхто не робив, та й не міг робити, і на тихій галявині стоїть переді мною представник тієї славної когорти, мов живе її втілення. Стоїть у центрі Німеччини, серед її чистих і прибраних лісів, огорнутих синім серпанком квітневого надвечір'я, і здається безсмертним. Бо тієї миті ні він, ні я не відаємо, що йому лишається жити всього дві години, а мені — тиждень. Йому до смерті на Темпельгофському аеродромі, а мені майже до смертельного поранення в ближньому бою на Фрідріхштрассе в центрі Берліна. А коли б і знали, то не могли б нічого змінити у нашій невблаганній фронтівій долі.

— Призначаєтесь старшим на батареї замість загиблого сьогодні молодшого лейтенанта Авер'янова, — хмурніє знову всупереч доброзичливості, властивій його натурі, — Бережіть людей! Перш за все — наших їздових Манька і Холода. Це я їх забрав з підводами й кіньми підвозити міни до переправи через Дніпро. А потім і на плацдарм. Та так вони й пішли з нами на Захід, хоч за віком і не підлягали мобілізації. Ці кмітливі, слухняні й роботящі полтавські діди на моїй совісті. І я їх оберігав як міг. Бережіть і ви їх, сержанте. Всі гуртом. Це ж останні бої. Прикро гинути в самім кінці війни!? Я он і Корницького не беру із собою на передову, хоч він мій ординарець. Хай побуде на батареї. Може, вціліє? Тримайте наших їздових з кіньми й підводами подалі від передової. Все зрозуміло?

— Так точно! — виструнчуюсь перед улюбленим командиром роти, зворушений його людяністю.

— Тоді розбирайте міномети — і кроком руш на Темпельгоф підтримувати піхоту!

— Єсть! — кидаю руку до пілотки і розвертаюсь кругом, щоб бігти на вогневу.

Але, мабуть, і в Сухова щось тенькне в душі, як і в мене.

— Сашо! — вперше окликне не по-статутному, навіть не по-фронтівому ласкаво.

Зупинюсь мов укопаний, обернусь до нього. Він дивиться на мене засмучено, немов прощається чи хоче щось перемінити в моїй долі. Потім рушає до мене, розстібаючи кишеню гімнастерки:

— Тобі лист від Галини, — подає пожмаканий трикутник далекого й недосяжного щастя.

Спрагло хапаю довгожданого листа. Хочеться з вдячністю за лист і за ласкаве звертання обняти Сухова. Але не посмію. Тільки й скажу:



— Спасибі, товаришу старший лейтенанте, — і одразу ж збираюся бігти на батарею.

Але Сухов дістає з іншої кишені ще два трикутники.

— І я теж одержав від сестри Настеньки з Варвариного, а також від вашої Надії з Миколаєва. Навіть фото прислала. Поглянь...

Багряні й легкі хмарки саянуть відбитками останнього проміння сонця, в останнє яскраво освітивши весінній простір. І у вечір'ючому лісі під Берліном на мене глянуть суворі, непідкупні очі моєї двоюрідної тітки. Скінчивши до війни десятирічку, вона зараз навчається на другому курсі педінституту. Написав їй щось захоплене про свого командира роти, і Надя прислала йому новорічне вітання. Відтоді й листуються.

— Запрошує в гості після війни, — усміхається Сухов: пілотка на потилиці, лискучий чобіток на свіжому пеньочку, комірць гімнастерки із свіжим підкомірцем розстібнуто, на всіяному легеньким пушком, ще ні разу неголеному обличчі — радість. Далека-далека од війни і смерті!

З перших днів перебування в роті ми, новобранці-«чорнорубашечники», відчуваємо чуйність і доброзичливість Сухова. Він одверто співчуває нам, доставленим польовим військкоматом на передній край необмундированими, в латаній-перелатаній домашній «екіпіровці»: це — розплата за перебування «в окуп. обл.» — навіть нас, на початку війни школярів, вважають зрадниками. Тому й називають так презирливо.

Сухов же ставиться до нас прихильно й співчутливо. А почувши першого ж вечора в бліндажі, як народжувала моя юна дружина в розбомбленій хаті нашу першу дитину через тиждень після моєї мобілізації, вже без мене, не сказав того вечора й слова. А вранці, сідаючи в набитий офіцерами штабний «Додж 3/4», гукне раптом: «Сержант, до мене!» — Дасть місце між майорами та підполковниками у відкритому джипі, привезе в штаб дивізії. В фінчастині подасть бланк переказу:

— Пишіть адресу Галини. А отут ось: «Тисяча рублів».

Сам заповнить такий самий бланк батькам. І ми рушаємо до машини, щоб повертатися на батарею. Хвилюючись та ніяковіючи, спробую дякувати йому. Але Сухов розсердиться:

— Не заради вашої вдячності, сержанте, я зробив це, а заради вашої нещасної дружини. І ніколи не нагадуйте мені про це!

Тепер я замилувано дивлюсь на нього, полюбивши з першої зустрічі на фронті за людяність та інтелігентність у ставленні до



підлеглих та до моєї Галі. І думаю з прикрістю, що Надя вища за нього на півголови, старша на три роки...

«Та нехай, — вирішую. — Хай Сухов тішиться листуванням з нею, як, мабуть, тішиться, листуючись з ним, і наша сувора Надя. Лби тільки лишитись живими. А там побачимо. Якось владнається...»

2.

Не доведеться...

Того ж вечора, через дві години по нашій зустрічі в тому пам'ятному лісі, десь аж на дні отієї синьої європейської імлі, що висіла тоді над Німеччиною, старшого лейтенанта Сухова зріжуть фашистські кулеметники на залитому передвечірнім сонцем Темпельгофському аеродромі, коли ми ще не встигнемо й міномети скласти, розгорнути батарею на новій вогневій позиції.

Новий командир батальйону, прибувши аж із Бурят-Монголії на заміну вбитому в уловині спиртзаводу капітана Грбового, для чогось виведе на рекогносцирування всіх офіцерів на зелений Темпельгофський аеродром. А з далекої білої казарми на його протилежному краю могутньою чергою вдарить по офіцерській групі знаменитий кулемет «MG-42». Офіцери — всі в розтіч! А Сухов замре на місці. Навіть з батареї видно, як він увесь здригнеться від удару кулі. Постоїть якусь мить, мов укопаний, потім змахне в повітрі руками перед собою, ловлячи неіснуючу опору, і грюкнеться, як стій, навзناк.

Підбігши, ми побачимо його в траві. Він ще хитатиме заперечно з боку на бік русявою головою, ніби не вірить та не приймає наглої смерті, що влетить через маленьку дірочку над правою бровою. І я позадкую від нього, охоплений нелюдським жахом, вражений у саме серце моторошним збігом: саме отак вцілить куля нашого Петра Митрофановича Сизоненка 2 березня 1940 року «на тій війні незначентій», за два дні до перемир'я з фіннами, — під станцією Кямьяря біля Выборгу (Віпурі). «В двох кілометрах на схід від Перон-Йоки», — напишуть незворушні штабні писарі в похоронці.

Саме отак: над правою надбрівною дугою увійде куля снайпера-«кукушки», випущена по командирові 122-міліметрової гаубичної батареї п'ять років тому.

Страшне й невідворотне передчуття накриє мене мокрим рядом і витіснить останню надію лишитися живим: Петро наш загинув під Выборгом, Віктор — поблизу, під Кенігсбергом, два мі-



сяці тому, Роман і Сергій — під Одесою, ще під час її оборони, в сорок першому. Вискочивши з траншеї по артпідготовці та піднімаючи піхоту в атаку, упаде навznak і звалиться назад у неї ад'ютант батальйону старший лейтенант Лучин під Гловачувим за Віслою. Впаде мені під ноги зрізаний осколком у Кіці за Одером командир нашого 101 гвардійського полку підполковник Коновалов. Тепер от — Сухов. Наш улюблений командир батареї!

То чому ж маю лишитися я? Адже всі вони вищі за званням і набагато достойніші за мене чисто по-людськи!

Акимов, Блинников, Титов і Корницький піднімуть Сухова і обережно понесуть, наступаючи один одному на ноги. А я все задкуватиму, все ще не віритиму в те, що сталося. Сподіватимуся, хтось із них крикне: «Це неправда! Сухова не вбили! Він лише поранений!»

Але вони нестимуть його мовчки, а з мене рватиметься та ніяк не вирветься дикий крик відчаю і болю.

Голова Сухова, неприродно закинута назад і вниз, з кожним кроком опускатиметься все неприродніше — здається, тонка шия його ось-ось переломиться! Я підхоплюю її знизу обома руками, цю вихрасту, юну, світло-русу голову нашого Сухова. Тієї ж миті важка, густа, липка кров наповнить мої долоні. Пам'ятаю її й зараз і не забуду до самої смерті!

«Підводу! Підводу!» — подумки волаю, щоб підводою вивезти Сухова із смерті.

Військова повозка нашого взводу стоїть одразу ж за вогневою у видолинку під деревами, повна ящиків з мінами, які ще не встигли розвантажити й піднести до мінометів. І коні впряжені. І Холод з батіжком стоїть тут же. Він ще нічого не бачить і не знає, але стривожено ступає назустріч, ніби передчуваючи:

— Що там таке?

Ми несемо Сухова мовчки.

— Сухова вбили! — кричать з вогневої.

— Господи! — Старий Холод хреститься тремтячою рукою, хапливо й перепуджено. — Ой, Боже ж мій, Боже! — сплескує в долоні по-жіночому розпачливо.

Дивуюся його раптовим словам і сльозам, що не пасують до фронтових звичаїв та обставин і вражаюче нагадують наше село, маму та набожних моїх бабусь. Здається, Холод щойно приїхав звідти і на фронті не був ще жодного дня — так непохитно засіли в ньому й збереглися сільські, суто народні звичаї й відчуття, про які на війні забуваємо.



— Ой, Боже ж мій, Боже! Убили-таки бандити золотого нашого командира! Та нікого ж він і словом не скривдив! Та про всіх же турбувався, хоч і молодий-молодесенький! — Холод вибігає назустріч нам із кущів, махає обома руками: — Сюди!

Переступивши через рейки, я перший, підтримуючи голову, а за мною, обережно несучи Сухова і все ще заважаючи один одному, спускаються з насипу Акимов і Блинников, Титов і Корницький, і чужий гравій гримить під нашими чобітьми.

— Та хіба ж головою вперед покійників носять?! — обурюється Холод, б'ючи себе по боках обома руками. — Що то комсомольці-безбожники — лоба жоден не вмів перехрестити! Де вже їм з покійником по-християнськи обійтися! — Він кидається до нас, смішно й незграбно змахуючи за кожним кроком ліктями, суто по-жіночому. Проте вправно й рішуче підхоплює спочатку голову Сухова, з якої все ще капає кров, потім запускає йому під спину довгу клешнювату руку. — Я сам! Сам! — владно гукає, і стрункий, тендітний Сухов опиняється у нього на руках. — Мишунчику наш, — схлипує старий Холод, притиснувши його до грудей, і цілує в щоку, підтримуючи голову зігнутою в лікті рукою, як підтримував і пестив своїх синів і дочок так давно, що вже й сам забувати почав. А сьогодні, бач, згадалося...

Стоїмо й дивимось, як обережно й легко несе він Сухова, як вправно вкладає його на ящики з мінами, поправляє одяг на ньому, застібає шкірянку і складає руки на грудях, як і належить покійникові.

Під потилицю він кладе розгорнутий індивідуальний пакет, саме там, де на вильоті проломила череп фашистська куля. Розчісує своїм гребінцем русяве волосся, набагато світліше за виразні, тонкі брови.

— А де ж його пілотка? — звертає до нас зчервоніле, заплакане обличчя і повні сліз очі, в яких стільки муки й горя, що ми всі як один одвертаємося, ніби відчувши якусь провину.

Корницький витягає з-за пояса підбрану на аеродромі пілотку, підходить до Сухова й одягає її на кучеряву голову, ще й досі вологу від поту. Підхоплює краєчком пілотки й індивідуальний пакет під потилицю. Не втримується — припадає до ще не схолого командирівого обличчя, заливається слізьми:

— Міша... Мішенька... — видавлює із себе поміж риданнями.

Усі ми одвертаємося, як по команді, шморгаємо носами, рюмсаємо, соромлячись один одного.



І сонце шле нам останнє своє проміння... На Темпельгофському аеродромі під Берліном. Увечері. 20 квітня 1945 року. Майже там, звідки й почалася Друга світова війна....

3.

Ми возимо Сухова три дні й три ночі: за безперервними боями ніколи поховати — вперед і вперед, проламуючи стіни в будинках, форсуючи Шпрее й канали, беручи квартал за кварталом знаменитої Фрідріхштрассе, рвучись до центру Берліна.

Ночами вискакую з вогневої чи з будинку, який штурмуємо, поглянути на нього.

Високо й незручно лежить він на ящиках з мінами в задимленому, розбитому, палаючому Берліні — і в смерті стрункий і тендітний.

«На всяк випадок» у мене його домашня адреса: «Деревня Варварино Мокшанского района Пензенской области».

Російський хлопчик, що перетворився на радянського офіцера, в акуратно застебнутій полтавцем Холодом шкірянці, в пілотці, одягнутій його ординарцем з Маріуполя Дмитром Корницьким, на рік молодшим за нього. В синіх бриджах та хромових чобітках сорокового розміру, лежить він, байдужий до всього, чужий у смерті, ніби зрікся нас, і тепер уже строгий по-справжньому. Бо людяність свою ховав від нас у командирській вимогливості й категоричності, а все ж не приносив і не завдавав нікому прикрості навіть в бойовій обстановці.

А зараз став такий суворий, наче проклинає війну і ту кулю, що не обминула його, а вбила невідомо за що. І нас ніби теж проклинає, що не вберегли його і віддали смерті. Назавжди...

Вдивляюся в це незворушне, навіки вмиротворене обличчя, освітлене пожежами чужої конаючої столиці, відсвітами пострілів та відблисками недалеких розривів.

Запам'ятовую назавжди обриси чола, припухлих напівдитячих губів, крутого підборіддя, всіяного легеньким пушком (Сухова ще й не голівся). Милуюся тоненькою хлопчачою шиєю, якій так зворушливо просторо в стоячій комірці шерстяної гімнастерки з біленьким підкомірчиком.

Милуюся гречною стрункістю випростаного на повозі з мінами враз почужілого командира нашої роти. І гірко шкодую, що не бачать його, хоча б мертвого, в ці останні хвилини ні мати, ні сестра Настуня-Настенька. І батько вже ніколи не дізнається, як



виросте й змужніє на війні його єдиний син, у якого бравого офіцера перетвориться на фронті!

Шкода, якщо і мене вб'ють. І я вже нікому не розкажу, як він воював, як загинув і як лежав отут, у палаючому нічному Берліні, — так далеко від свого Варвариного, на ящиках з мінами, високо вознесений, ніби на якийсь дивний п'єдестал війни і перемоги...

Після чотириденних тяжких боїв, форсувавши на підручних засобах захаращену Щпрее, з обома нашими підводами досягаємо центру Берліна. Тут перед входом у знаменитий парк Тіргартен, дивом уцілілий серед руїн, нас зупиняє незворушний майор держбезпеки і наказує повертати до братської могили, що бугриться свіжою жовтою глиною під крилатими в'язами й платанами.

Наше настійливе прохання залишити Сухова, щоб похоронити самим, майор відхиляє владним жестом руки:

— Не ви перші і не ви — єдині! — гнівається безпричинно. — Повозки далі не пропускаємо! Всім діяти штурмовими групами! І не на вулицях — там суцільне море вогню від рейхстагу. Що робити з убитими під таким шквалом вогню? Перед Александерплацом — справжнісіньке пекло.

— А міномети? — згадую свою відповідальність за довірену Суховим матчастину. — В ближньому бою вони ні до чого...

— У тил! — наказує майор. — Разом з підводами, мінами, їздовими. Комбат чи начштабу знають куди...

— Та ми їх три дні вже й у вічі не бачимо! — Огризається Корницький. — Мабуть, і їх, як нашого командира роти, вбито. Пропустіть нас!

Майор вправним рухом плеча відтручує Корницького, бере підручного коня за обротьку, рішуче повертає у парк до могили.

— Я сам, сам! — кричить майорові Холод з повоза, сидячи на ящиках з мінами високо й незграбно.

Неоковирний, старий, аж темний, геть чужий у цьому дивом уцілілому куточку розбомбленого союзною авіацією та розбитого нашими танками й артилерією весіннього Берліна — фактично в центрі його.

Молоде листя на деревах та свіжа трава поміж ними ще контрастніше відтіняють заношеність обмундирування Холода, його старе й зужите, неголене обличчя, безжально підкреслюють його темну виснаженість.

— Що ми — не православні? — безпорадно гукає він майорові, високо й незручно сидячи на ящиках з мінами. — Самі розуміємо: треба давно вже предати землі нашого командира. Ну так ніде ж



серед оцього окаянного каміння, бодай йому добра не стало! Ніяк навіть могилу викопати!

Він різко й рішуче смикає віжки, так що майор випускає їх із рук, і Холод в'їжджає своєю завоськаною, заляпаною багнукою хтозна-яких рік підводою під високі та чисті дерева всесвітньо відомого Тіргартена. І тут мусить зупинитися, бо до братської могили саме цієї миті наближається однорукий полковник Смолин, командир дивізії, що замінив генерал-майора Кулагіна ще за Віслою: того щасливчика відкликано перед новим роком в Академію імені Фрунзе. Смолина супроводжують вищі офіцери штабу дивізії, ад'ютанти та охорона, і від такої кількості начальства Холодові стає ще холодніше та ще не зручніше на високій його підводі.

— Холод? — гортанно й здивовано кричить з офіцерського гурту Хуратов, знову забраний Смолиним в дивізійний резерв перед штурмом Зеєловських висот. — Кого везете, Холод? — питає Хуратов, вибираючись із почту командира дивізії та наближаючись до підводи. Холод дивиться, як він підходить, і починає мовчки плакати, тільки губи тремтять, та брови здригаються, та рот кривиться, мов у ображеної дитини. — Сухов?! — визвіряється Хуратов. На його несамовитий крик обертаються майже всі офіцери, і отой майор-смершівець, і полковник Смолин розвертається з неприродно випростаним протезом замість лівої руки. Хуратов аж синіє з люті та розпачу. — Їх треба палками, палками по голові! Цеглою, цеглою проклятих фашистів! — хрипить він, аж перекошується і горбатіє, почорнівши лицем, і на губах у нього з'являється піна.

Вхопившись за ручицю біля самого обличчя Сухова, не зводить із нього очей, ніби хоче надивитись востаннє. А Холодові здається, що Хуратов тримається за ручицю, щоб не впасти.

— Старший лейтенанте, — каже йому тихо майор-смершівець. — Відпустіть їздового, хай відвезе вбитого на протилежний кінець могили та покладе в ряд, доки полковник наблизиться. Зараз же й почнуть хоронити. Он уже й оркестр лаштується.

Ми швидко підходимо до свого постійного командира роти, вихователя й покровителя Сухова, віддаємо йому честь.

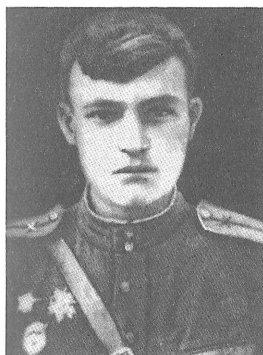
— Не вберегли?! — хрипить Хуратов, не помічаючи нашого вітанья. — Я ж вам наказував: бережіть один одного, що б не трапилось! Особливо Сухова! Не залишайте поранених...

— Його не поранили, — каже Корницький. — Його зрізали наповал кулеметники на Темпельгофському аеродромі.



— А чому ж ти не прикрив його? Ти ж ординарець!
 — Він не взяв мене на рекогносцировку. Лишив на батареї — обслуговує біля мінометів зараз неповні, — виправдовується Корницький, дивлячись на Хуратова впритул своїми світло-блакитними, як морська вода, очима.

Хоча виправдовуватися й немає потреби.



Мій командир
 мінометної роти 3-го
 батальйону 101-го
 полка Михайло
 Олександрович Сухов.
 Убитий на Темпельгоф-
 ському аеродромі під
 Берліном 20.04.1945 р.

— Я так і знав, — скаже Хуратов і прире-
 чено схилить голову. — Сухов усіх вас жалів,
 оберігав від небезпеки, захищав від мого гніву
 і стягнень. А його нікому пожаліти і захис-
 тити. Тепер вже нічого не зробиш, — у відчаї
 махає рукою. — Беріть і несіть його, — нака-
 зує, мовби змилюючись, і ми кидаємося до
 Сухова один поперед одного з готовністю й
 незрозумілим полегшенням. Знімаємо його з
 високого воза, немов з-під самого неба, й несе-
 мо на витягнутих руках над своїми головами.
 А Хуратов іде вслід за нами замість процесії,
 один як палець! І йти йому неймовірно тяжко
 — він аж заточується з туги.

А нести Сухова нам легко: він давно вже
 захолов і не гнеться. І через ту його легкість
 нам прикро, навіть соромно. Ніби всі ми винні,
 що він так і не встиг як слід вирости і набрати-
 ся ваги і тіла...

Ми приносимо його й кладемо скраю,
 поряд з якимсь красивим вусатим майором.
 Вклоняємося востаннє Сухову й відходимо.
 Бо полковник Смолин із світою наближаєть-
 ся з протилежного кінця цієї дивовижної мертвої шеренги, яка за-
 тьмарила б усі батальні картини світу, якби її хтось написав як слід
 олійними фарбами, аквареллю чи гуашшю. Але художників серед нас
 немає. Та й ніколи малювати: усіх нас чекають тяжкі бої, а декого й
 загибель...

Полковник Смолин зупиняється над кожним убитим. Йому до-
 повідують обставини й подробиці загибелі, прізвище, звання й посаду,
 а він тут же віддає розпорядження: «До ордена Червоного Прапора»,
 «Вітчизняної війни», «Червоної Зірки», «Олександра Невського».
 «До ордена Богдана Хмельницького!» — лунає над якимсь полков-
 ником.



Ми стоїмо осторонь і чекаємо, коли підійдуть до Сухова. Він лежить у тому скорботному ряду останнім — маленький, тендітний і наймолодший за всіх. Ніби спізнився, і без нього вже тут обійшлося б. Хуратов горбиться над ним, зсутулившись, і теж чекає Смолина. А коли той підходить і зупиняється біля Сухова, кидає руку до скроні і замість того, щоб доповісти про загиблого, хапає ротом повітря, несподівано схлипує і нічого не може вимовити. Тільки безсило й розпачливо кидає вниз розслаблену руку.

Стоячи лівим боком до нього з мертво-обвислим протезом замість лівої руки, командир дивізії обходить Хуратова і обнімає здоровою правою рукою за плечі:

— Знаю, знаю: твій вихованець. Здорово вмів цей хлопець пристрілювати міномети й гармати над ріками й пересіченою місцевістю! Замінив тебе, коли я відкликав...

— І замість мене загинув...

— Ну, це ти облиш, — суворішає Смолин. — На кожного із нас достатньо відлито фашистами бомб, куль і снарядів. І кожен отримує своє. Може, і нам з тобою не розминутися із смертю. Запишіть! — обертається до своїх ад'ютантів. — «Представити до ордена бойового Червоного Прапора». Шкода, що гинуть в останніх боях такі молоді люди, — каже він Хуратову тихо. І раптом помічає нас: — А ви чого тут?

— Підлеглі Сухова, — тихо доповідає Хуратов.

— Попрощалися з командиром — і марш на передній край! — наказує Смолин. — Там кожна бойова одиниця зараз на вагу золота. Кругом!

Ми розвертаємося всі як один через ліве плече, дружно б'ємо кирзяками об асфальт Тіргаргена, рушаємо до виходу з парку.

— Прощальний марш! — Віддає командир дивізії наказ, і у нас за спиною дивізійний духовий оркестр ревне «Прощання слов'янки» — безсмертний марш, написаний Агапкіним 1912 року під час війни у далекій Болгарії при визволенні її з-під османського іга.

Під цю мелодію ми йдемо від Сухова все далі й далі. А нам здається, що це він віддаляється й віддаляється від нас. Уже назавжди... На віки вічні...

І ми йдемо, йдемо, як не раз ходили із Суховим, потрапляючи в такт маршу. Йдемо, слухаємо тужливу мелодію «Прощання слов'янки» і плачемо...

Всі, як один!

*Нова редакція.
Конча-Озерна,
10 травня 2010 року*



РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

МАНЬКО

Того ж дня, надвечір, загине й Манько — другий наш їздовий. Улюбленець усієї батареї. Невтомний і добрий Манько, що завжди до наших послуг: відремонтує взуття — підметку чи набійку на чобіт наб'є, залагає халяву чи перед. Або пришиє відпоротий рукав шинелі чи гімнастерки. І все стане кращим, ніж було.

Набагато старший за всіх нас, він ставиться до всієї батареї трохи іронічно і ніби по-батьківськи поблажливо. Як тільки вступимо на землі Німеччини, сном і духом не знаєш нічого, а він привозить разом з мінами на вогневу вже зібрані й зашиті посилки: сьогодні — першій обслузі, завтра — другій, післязавтра — третій. І так усім шістьом.

— Понаписуйте тільки адреси. А я завтра ж і одвезу на польову пошту. Буде батькам та матерям, братикам та сестричкам хоч якась взувачка та вдягачка — обносилися ж за окупацію та війну — Боже ж ти мій! А ви, халамидники, й не здумаєте про це. І за вухами у вас не свербить, як там вдома бідують, неповдягані та без взувачки. То хоч я потурбуюся за всіх вас. Барахла не пошлю, не бійтеся! А все — товару на чоботи, матерії жінкам та дівчатам, краму різного. Німці, тікаючи, покидали все напризволяще. Тож не пропадати добру, ге?

Манько вічно лататиме збрую для коней. І не лише для своїх та Холодових, а й для коней інших двох мінометних рот. У кожній — по дві підводи, по четверо коней. От і набирається упряжі аж на дванадцяті коней. Ніхто ж ніколи не замислюється: як можна аж з Полтавщини до Берліна доїхати кіньми? Та ще через ріки — Дніпро, Південний та Західний Буг, Дністер на Третньому Українському фронті. Вісла, Одер, Нейсе, Шпрее тут, на Першому Білоруському. І треба, щоб вози, коні, хомути, шлеї, посторонки, обротьки-вуздечки, наритники й віжки — все було справне!

Отож наш вусатий красень Манько усіх у полку виручає. Усі несуть до нього ремонтувати не лише взуття й обмундирування, а й збрую. Коли за Віслою в довготривалій, семимісячній обороні він обшиє майже всіх офіцерів брезентовими чобітьми, а командирів



полку підполковникові Коновалову змайструє офіцерські хромові чоботи на польських колодках та копилах, його наміряться перевести в дивізійну шевську майстерню.

— А коні?! — обуриться Манько. — Рідні коні мої з нашого села, з нашого колгоспу? Що ж я їх — зраджу? Покину на когось чужого й бездушного? Та й хлопців-батареїців жаль мені — вони ж ще діти! Що командири, що бійці. Е-е, ні на кого я їх не проміняю! Ні коней моїх рідних, ні хлопців ще рідніших...

У Манька на повози мандрують весь час, від самої Вісли, й мої нехитрі пожитки: Галині, Вікторові, Олегові листи, скупі та рідкі вісті з дому — від мами й сестер, горстки особливо гарного паперу, що трапляється мені у звільнених від фашистів містах і містечках. Я люблю гарний папір якоюсь особливою любов'ю, ніби передчуваю, що він стане найголовнішим моїм знаряддям на все життя.

Коли ж доведеться відправляти і Манька, й Холода в тил з кіньми, підводами, мінами й мінометами, вони обоє принесуть і покладуть переді мною все моє фронтове надбання. Його виявиться чимало. Бо з ними мандруватиме й мій котелок, у якому ні разу не зварю собі нічого. Бо не вмю.

— Що ж мені з усім цим добром робити? — скрушно питаю полтавських мудрих дядьків.

Мовчать, чухають потилиці. А потім Манько починає стьобати батіжком перших мух у глухому кутку спустілого після похорону Тіргартена. А Холод:

— Ми б із собою забрали... Ну, нікуди. — Сплесне руками об поли. Та й дорога дуже далека.

— Зате ж додому! — вигукує завжди стриманий Манько. — А додому коні, ти ж знаєш, самі біжать.

— Ага, з поля чи з ярмарку, — зчервонілими від недавніх сліз очима дивиться на нього маслакуватий і довготелесий Холод. — А тут, брате, домом і не пахне. Роздайте, чуєте, папір хлопцям. А письма... Письма що ж... Дороге діло! Треба тримати при собі. Як і документи.

Попрощавшись із нашими іздовими, я покладу листи у задню кишеню брюк разом із комсомольським квитком, червоноармійською книжкою, медаллю «За отвагу», яку вручить мені за Одером на плацдармі сам командир полку підполковник Коновалов перед своєю загибеллю. І досі не збагну: чому не носив її на гімнастерці? Із скромності? З бережливості? Тільки ж пропаде моя єдина фронтова нагорода, залита кров'ю моєю після страшного поранення і викинута з усім моїм закряканим обмундируванням, мабуть,



ще в медсанбаті, при першій же перев'язці, якої я не пам'ятаю у тяжкій своїй непритомності.

Очоливши штурмову групу, у яку перетвориться наша мінометна рота-батарея, наказую всім позбутися всього, крім зброї та набоїв: у ближньому бою ще гірше, ніж на марші, навіть голка заважає!

Капітан Коханов — начштабу першого батальйону — лишиється єдиним офіцером на передньому краї. Лишиється й командир полку зі штабом в тилу бойових порядків. А весь полк, і майже всі командири батальйонів, рот, взводів загинуть ще в тій улоговині спиртового заводу, розстріляні есесівцем і хлопчиськом-месником із засади. А віцїлілі будуть вибиті на головній берлінській вулиці Фрідріхштрассе, що ділить фашистську столицю навпіл із сходу на захід. З півночі на південь Берлін ділить Унтер-ден-Лінден — тобто: «Під липами». Недарма ж і в Києві найреспектабельніший район — Печерськ — теж зветься по-давньому: «Липки».

Коханов покаже мені на топографічному плані Берліна, як вийти у відведений нам квартал Фрідріхштрассе. Звідти до центру, рейхстагу та бункера Гітлера залишається два квартали. На плани міста це зовсім близько. А на місцевості туди навіть дивитися страшно: там клубочиться дим, у глибині палахкотить полум'я, безугавно б'ють гармати, наші й німецькі, — все клекоче, гримить вибухами, стріляє і рветься, і трасуючі кулі й снаряди прошивають те задимлене і палаюче вировище сліпучими, злими спалахами.

— Із трьох полків лишилося отаких, як ваша, три штурмові групи з мінометників, — скаже мені довірливо капітан Коханов. — Збери всіх, хто залишився, і — вперед! Тротилові шашки у саперів ще є. Нехай рвуть стіни! А вогнеметники — струмись у отвір! Фріци вмить перетворюються на жужелицю! На вулицю не потикайтесь — там суцільне море вогню від рейхстагу! Давай, сержанте, веди свою групу обережно. А я підожду нового командира батальйону, якогось капітана Ахмистова. Незабаром він буде у вас. Через двори, крізь проломи в стінах пробираємося на Фрідріхштрассе. І мені приємно думати, що дядьки-полтавці, як просив мене Сухов, нарешті в безпеці: з артилерійського забезпечення їх напевне відправлять додому! Хоч один заповіт старшого лейтенанта Сухова виконаю. Отак думаю собі, ведучи групу в клетіт бою. А що буде з нами, один Бог святий знає.

У першому ж дворі дев'ятиповерхового будинку, що виходить фасадом на Фрідріхштрассе, нас обстріляють з протилежного боку вулиці. А в самому будинку точиться бій. Нашу з'яву



зустрінуть радісними вигуками, навіть обіймами. Після них нам вручать кирки-мотиги, бо від них у всіх тут понабивано криваві мозолі. І «штурм» почеться. Доки пробивається монолітна стіна цегляної кладки, сапери без толових шашок та вогнететники без роботи сплять тут же, під колонами великого магазину музичних інструментів поміж інкрустованими акордеонами, що в безладді валяються по всій підлозі. По них ходять, по них топчуться, ви-кликаючи несамовиті, немислимі звуки. На них сплять, поклавши під голови, як подушки. Дим стелиться підлогою, пробиваючись через отвори вже взятих з бою кімнат. Але на нього ніхто не звертає уваги. Ми длубаємо стіну, а в широкі вітрини за бемськими скляними вікнами видно, як палають на вулиці танки, як суцільним потоком летять трасуючі кулі й снаряди. У все це важко повірити, навіть дивлячись зблизька. Ми наче перебуваємо у сні або в маренні.

2.

І раптом з вулиці ввалюється танкіст у шлемофоні та кирзовому комбінезоні:

— Есесівці прорвались через Тіргартен із рейхстагу! Хто тут командир? За мною! Їх треба перехопити на тому боці вулиці! Не дати закріпитися в будинках!

Кидаю кирку-мотику, хапаю автомат:

— Титов, Акимов, Блинников, Корницький! За мною! — кричу, не чую свого голосу за канонадою, але хлопці чують — хапають зброю, біжать за мною. Поміж палаючими танками та бронетранспортерами перебігаємо вулицю і в першому ж дворі натикаємося на капітана Коханова та іншого капітана, незнайомого, з монгольським широким обличчям. Видно, він добре напідпитку. А поряд з ними... Манько.

— Як? Чому ви тут? — кричу не своїм голосом. — А де ж коні, повозка, міномети, міни?

— Все в спрягу, — спокійно скаже Манько, всміхаючись. — Додому мене не пустили — завернули оглоблі: ще молодий, мовляв, ще повоюєш. От і прибув у ваше розпорядження. Капітан ось, спасибі їм, привели до вас. А то шукай вітра в полі. Та в якому там полі? — поправляє себе незвично балакучий сьогодні Манько. — В полі видно все навкруги, а тут — одне бескеття: гори каміння, арматури, битої цегли! Хіба ж втямиш, кудюю йти? Ну, та тепер мені вже нічого не страшно: своїм кругом, як не є. А це багато значить.

— Ну, тоді за мною! Тільки не відставати!



— Сержанте! — гукає мені Коханов. — Дворами ведіть до отого будинку. Там штаб полку вашого. І розвідка. Разом займете оборону!

Біжимо, біжимо, біжимо... А я все думаю: що трапалося з Маньком? Чому його повернули? Відправлений у тил разом із Холодом здавати міномети, він повертається на передній край уже не їздовим, а бійцем штурмової групи. Який дурень вигадав це? Та ще в самому кінці війни?!

Виявляється, буквально місяця не вистачило йому, щоб відправитися на свою Полтавщину — до жінки, до дітей, до своєї хати, у рідне село, на польові роботи, за якими він так стужився! Народився б не в січні 1900-го, а в грудні 1899-го, то й поїхав би додому згідно з новим Указом Верховної Ради. А так...

Військові писарі невідкупні: краще в штабі досидіти до кінця війни, ніж на передовій землю носом рити! Це зараз Манько, може, відкупився б, як усі відкупляються від служби у війську, в кого гроші є. А на фронті, в нашій армії, хабарі не водилися. Та й якого ж хабара дасть рядовий? Та ще їздовий? Може, батіг? Але його Манько напевне здав разом з кіньми.

От його й вертають на передову, якої він фактично й не бачив, перебуваючи з кіньми й повозкою весь час у тилу. А тут починається бій з усіх боїв — ближній! Есесівці встигають захопити щойно відвойований у них будинок по правому боці Фрідріхштрассе, прорвавшись із рейхстагу через Тіргартен. Захоплюють два перших поверхи, а на горішніх обороняється штаб полку на чолі з підполковником Андреевим. І моя група має виручити їх.

Перебігаємо двір, щоб увірватися з чорного ходу, звідки есесівці не чекають нас. Але знову потрапляємо під обстріл з протилежного боку вулиці: там затаїлися автоматники, а може й снайпери, і вицілюють нас, мов куріпок. А їх нічим не візьмеш: спробуй розібратися, звідки, з якого із дев'яти поверхів ведуть вогонь?!

Вся група, на ходу відстрілюючись, рветься в під'їзд, а Манько, як на гріх, зашпортується своїми чоботищами за кам'яний уламок, відстає від групи — куди йому, сорокап'ятилітньому, вгнатися за нами, двадцятилітніми?! Ну, його й зрубають снайпери.

3.

Упаде наш вусатий, кароокій, могутній Манько, мов зрубаний ясен, посеред двору, вхопиться за груди, брязнувши карабіном об асфальт, а сам грякнеться з усіх чотирьох, заволає не своїм гласом:

— Ой, пече ж мені! Ой, пече! Допоможі-і-ть!



Санітари кинуться до нього, підхоплять попід руки, бігом потягнуть за ріг будинку, притулять до стіни. Манько битиметься в їхніх руках, корчитиметься на асфальті, гамселитиме металевими підковами чоботищ сорок п'ятого розміру, аж іскри з-під підкованих підборів бризкають!

Та все оглядається навкруги, ніби когось загубив:

— Сержанте! — кричатиме Манько, ловлячи мене знетямленим поглядом через голови й спини санітарів збожеволілими, побілілими від болю очима. — Пече мені в грудях! Ой, пече ж нестерпно! Зроби ж що-небудь! Врятуй мене!

Корницький, Титов, Блишников та Акимов тим часом увірвуться в під'їзд, попередньо вгативши туди фаустпатроном. А я вертаюся і схиляюся над Маньком, бо до нього вже не підійдуть ні Сухов, ні Хуратов, ні Авер'янов. Їх уже немає з нами і не буде ніколи...

І роти мінометної нема, і підводи, без якої Манька донедавна — ніяк не можна було уявити! А тепер лишається штурмова група, якою командую віднині я. 101-й гвардійський полк увесь поляже в ближнім бою на цій головній берлінській вулиці. Але нашу невелику штурмову групу чомусь не виводять із бою, а вимагають: «Вперед!», «Вперед!»

Схиляюся над палаючим Маньком. Він увесь горить, тремтить, очі його палають, гарячково блищать, витріщені зі страху чи від болю. Бачу, як він мучиться і страждає:

— Ой, не можна терпіти, так пече! Поможі мені, Шу-роч-ко! — б'ється в руках санітарів Манько, не зводячи з мене знетямленого погляду. — Спаси! Врятуй мене, синочку! — кричить по-сільському безпорадно й беззахисно.

Солдати й офіцери на війні гинуть мовчки, хоч би що з ними трапилося. А тут і на мене війне селом, і я, погладивши Манька по мокрій від сліз щоці, скажу йому теж по-сільському:

— Потерпіть, дядьку...

— Нема сил терпіти! — заперечливо хитає головою, не зводячи з мене божевільного погляду. — Я зараз умру, так пече мені! Ну, зроби ж щось!

Світ у мене мерхне перед очима — нестерпно жаль красеня Манька, соромно своєї безпорадності...

І досі чую розпачливий, несамовитий крик на головній берлінській вулиці нашого полтавця — красеня Манька, що й справді годився тоді мені в батьки.



Але ще моторошніше стане від несподіваної тиші, в яку раптом провалиться Манько, ніби у воду пірне: кричатиме-кричатиме — і раптом замовкне!

— Готовий, — скаже мені молодий санітар, тримаючи Манька за пульс та не зводячи з мене перепудженого погляду. Так само розпачливого, як і в Манька.

Він теж ніби сподівається, що я щось поправлю, перемінію, переінакшу. Жаль, безсилля, розпач і гнів охоплюють мене, і я, не тямлячи себе, несподівано закричу:

— Ти чого дивишся? Чого чекаєш від мене?! Хіба я — Бог, щоб рятувати від смерті!

— А я — що? — стенає плечима зляканий санітар. — Я—нічого. Хотів доповісти, що бійця вже не стало... — впускає Манькову безсилу руку й підводиться.

— Сам бачу, — кажу йому, засоромившись свого вибуху. — Забери його документи і здай... В медсанбат чи куди ви здаєте документи загиблих? І перевірь гарненько, чи не дихає.

— Ні-а, — так само пильно дивиться мені у вічі санітар. — Три кулі. І всі в груди. Навиліт. Який із нього жилець? Просто здоровий дядько, як світ. Мав би гиннути зразу. А він, бачте... Здоровий, як лев! Похоронники матимуть з ним мороку! Що й могилу добрячу копати, а що й нести отакого здорованя. Вони й документи заберуть. І здадуть куди треба.

Манько лежить навznak, і груди його високо здіймаються над асфальтом. Набагато вище, ніж голова. Тільки вуса неприродно чорніють і здаються геть непотрібними і чужими на його вродливому обличчі. Зайвими видаються на війні, немов прилаштованими для якогось аматорського спектаклю. Ніби хтось нерозумний нав'язав їх на якийсь час нашому красеню Манькові, і тепер він залишиться з ними навіки...

Через кілька хвилин і мене майже вб'ють у тому ж самому будинку на вулиці Фрідріхштрассе, звідки ми вибиватимемо есесівців. А їх завжди і скрізь вибивати нелегко.

Це станеться надвечір. Тільки мене не покинуть, як ми покинемо на берлінській вулиці мертвого Манька. А нестимуть і тягтимуть неприємного через палаючий Берлін до медсанбату. Ті ж самі, що несли й Сухова: Вася Акимов, Володя Титов, Митя Корницький. І ще якийсь довготелесий санітар із западенців, судячи з вимови.

Але це буде за кілька хвилин — у ближнім бою ціла вічність...

*Конча-Озерна,
19 липня 2010 року.*



РОЗДІЛ П'ЯТНАДЦЯТИЙ

ВАЛЬКІРІ НЕ ПРИЛЕТЯТЬ

1.

101-й гвардійський полк за один день прорве три лінії оборони німців за Віслою й осідлає шосе на Лодзь. І коли ми, мінометники, із своїми «самоварами» на плечах, доженемо піхоту, наш командир батареї старший лейтенант Сухов сидітиме на високому кам'яному мурі міського цвинтаря містечка Гловачув в розстебнутій шкірянці й збитій на потилицю кубанці і щось весело розповідатиме офіцерам батальйону.

Помітивши нас, раптом спохмурніє, легко сплигне з високого муру.

— Ходімо, — скаже мені. — Покажу, де лежить Лучин, — і, не оглядаючись, рушить назад, через німецькі траншеї і нейтральну смугу, до нашого покинутого переднього краю.

Трупи, трупи — на кожному кроці, по всій нейтральній смузі. Наші. В сірих шинелях та бушлатах, в обмотках і черевиках, в основному — американських. Між ними шастають санітари з сумками через плече, шукаючи поранених, доки не стемніло.

— Швидше, швидше! — Квапить мене Сухов, перестрибуючи через убитих. — Треба зараз же повернутися! Штаб дивізії ставитиме нашому полку бойове завдання на ніч. І мені треба обов'язково бути при цьому.

Зупинившись над порожніми, ніби чужими траншеями скаже:

— Ось він...

Начальник штабу батальйону капітан Лучин, красень-москвич, мій ровесник, лежить на дні траншеї, скоцюрблений і маленький, коли дивишся на нього зверху, й нещасний. Забутий усіма навіки.

— Заберу його планшет, документи й нагороди, — Сухов сплигне на дно траншеї, схилиться над Лучиним. — Вже й заходь, — озветься, мов із могили. — Швидко...



В Гловачув повернемося в синіючі сутінки, і Сухов тут же відправить свого ординарця Корницького в штаб полку здавати документи капітана Лучина, якого любила вся дивізія за дотепність, виправку і вроду. Без нього важко тепер уявити наш батальйон.

А генерали зберуться тут же, у вузькій траншеї чи в ході сполучення, розгорнуть карти, намічаючи нові маршрути дивізіям, полкам і батальйонам. Курять над картами, суворі і зосереджені, і до них не підступишся без діла. Але всім нам судиться одна доля, один успіх чи смерть. Особливо яскраво це відчувається під час атаки і наступу.

2.

А на плацдармі за Одером, ще до нашого наступу 16 квітня, вже цвістимуть сади. Кожна гілочка, зрана кулею, й та цвіте! Під розбитими будинками, понад дорогами і в садах. А ми на світланку йдемо асфальтом автостради, облаштувавши за ніч запасні позиції. З них будемо вести артпідготовку у загальному артилерійському наступі.

Небо ясне, як в дитинстві, і сади цвітуть, аж дух забиває!

А ми йдемо асфальтом, якого багатьом з нас ще не довелося й бачити. Йдемо: цок-цок! – цок-цок! – кованими каблуками по асфальту. А старший лейтенант Сухов, такий же молодий, як і ми:

– Корницький! – гукає свого ординарця, заряджаючого моєї першої мінометної обслуги, і сміється. – Корницький, розкажи, як ти в містечку Коло поцілував Терезу, – а сам сміється. – Розкажи нам про свою любов у Польщі! – а сам сміється. – Ну, розкажи!

Асфальт чистий – по ньому ніхто в цій смузі не їздить. Тільки припорошений пелюстками вишневого цвіту, що вже починає облітати.

– Ну, розкажи, Корницький, як ти поцілував Терезу в темряві і схопив ляпаса! – сміється Сухов весело й радісно. На душі в нього, мабуть, весна.

Шапка на потилиці, з-під неї вибивається чуб, і на ньому сріблиться нічна роса. А шкірянка розстебнута, і зелена діагоналева гімнастерка ладно облягає хлопчачу постать, зворушливо струнку і тоненьку під широким офіцерським ременем.

Сухов так заразливо сміється, що й ми всі, як один, нічого не знаючи про ту пригоду в містечку Коло, а тільки передчуваючи щось смішне, регочемо, як дурні! А може, ми нічого й не передчуваємо? Може, нам просто радісно від того, що успішно закінчили тяжку нічну роботу, що так сонячно й тихо у світі? І таке ясне небо



над нами? І так буйно й розкішно цвітуть сади, як у нас на Україні? А головне – Сухов із нами! А нам тільки по дев'ятнадцять-двадцять. Хто його знає, чого ми сміємося?

І раптом несподівано й беззвучно вигулькує із-за сусіднього дерева «Юнкерс-87» – пікірувальник «Fluqer –Schtukas» із хижо висунутим шасі та захисними щитками над колесами. Вилітає і – просто по нас:

– Р-р-р-р-р! – з скорострільного крупнокаліберного кулемета.

Нас усіх так і змете з траси! А Сухов вихоплює свій пістолет «ТТ» і – бах-бах-бах! – «Юнкерсові» в лоб. «Юнкерс» хитне крильми, а тоді раз! – закладе неймовірно крутий віраж, розвернеться і заходить знову. Пілот, мабуть, розсердиться, що ми йдемо німецькою землею та неїждженим у цій зоні асфальтом, як у себе вдома, серед квітучих садів, серед війни, серед руїн. І сади цвітуть мовби спеціально для нас! А це ж його сади і його земля! Чорт його знає, що він подумає? Але розвертається і знову: «Р-р-р-р-р!». У нього немає бомб – всі, мабуть, викине на наші війська десь за Одером. А то б він і бомбу кинув на нас, щоб зіпсувати нам весінній настрій, а може й стерти всіх з лица землі.

Ми й цього разу миттю попадаємо в кювети, наче нас вітром здує! А Сухов стоїть посеред автостради. І – «Бах-бах-бах!» – в цього нахабу. «Бах-бах!» – а сам сміється. І ми, лежачи в кюветах, сміємося разом з ним. Підводимося, ідемо далі і сміємось. Бо з нами Сухов – неушкоджений, з пістолетом в руці. А «Юнкерс» віддаляється – летить над самою землею! Сердитий, злий і безсилий.

А Сухов знову, вклавши пістолет у кобуру:

– Корницький! – гукає, сміючись. – Розкажи, як ти поцілував Терезу!

Що не кажіть, а весело було нам отак іти по німецькій землі, серед квітучих садів. Радісно було йти і нікого не вбивати.

3.

Дванадцятий день рвемося з боями від Кюстріна в тому останньому весінньому наступі і не спимо ні вдень, ні в ночі – все бої та бої, та марші, та атаки. Та контратаки приречених на поразку і загибель фашистських частин. А дримаємо то десь під деревом під час затишшя, то в якомусь підвалі, як одіб'ємо контратаку. А потім знову вперед і вперед – по лісах, по гаях, по садах-садочках чудової дачної зони Берліна.



Все бої та бої. Та окопи, з яких доводиться вискакувати, так і не довершивши. Щоб йти знову вперед. Якось вночі наш полк на марші завернуть на рокадну автостраду, щоб вийти до Темпельгофського аеродрому в передмісті Берліна.

Бійці і командири так потомляться і виб'ються із сну, що, коли начальник штабу полку молодий і високий майор Кавун зайде перед світом в освітлену електрикою будку шляхового майстра, щоб звірити маршрут по карті, – весь полк вляжеться покотом на зеленій траві узбіччя автостради, «приймавши вправо» за відданою командою, і в одну мить засне!

Двадцятидволітній майор Кавун – високий, дужий і терплячий – теж вронить чубату голову на розстелену карту і, подитячому солодко зітхнувши, провалиться в сон.

– Майоре Кавун! – гукне йому командир полку Андреев, прискакавши з штабу дивізії. – Що ж ти наробив, майоре? Що ж ти, голубе мій, увесь полк вклав спати на автостраді?

А Кавун стоїть перед ним в тонко затягнутій ременем гімнастерці, застебнутій на всі гудзики, і не може розплющити очі. Стоїть і хитається, готовий ось-ось упасти своєму командирові полку під ноги. Тільки не з каяттям за недогляд, а з недоспаними ночами своєї воєнної юності, принесеними сюди, під Берлін, від Волги, Дону й Дніпра у наступах, відступах, оточеннях і виходах та проривах з оточень..

– Ех ти, Кавуне-Кавуне, – скаже йому незлобиво і тихо підполковник Андреев. – Прокинься ж нарешті! Ну, будь же мужчиною, бойовим офіцером, майоре Кавун!

А майор Кавун хитається перед ним, борючись зі сном, – видряпується з нього, як у дитинстві вивільнявся з маминих обіймів, і кучерява голова його хилиться вниз, і він ніяк не може втримати її, щоб стати струнко перед командиром полку. А той дивиться на нього поблажливо й іронічно.

Потім вони вийдуть з шляхової будки на свіже повітря і рушать між рядами послуних бійців і командирів. А за ними по п'ятах ітимає кінь Андреева і обнюхуватиме сплячих воїнів, що розметаються під чужим небом біля чужої автостради. І навіть доторки вологих кінських губів і ніздрів не можуть вирвати їх з міцних обіймів молодечого сну.

Над автострадою прокльовується світанок, і обличчя сплячих починають світитися над чужим шляхом. І командир полку, дивлячись на своїх бійців, думатиме про них щось сокровенне і ніжне, бо і його обличчя світитиметься ще яскравіше за їхні. Батьків-



ською ласкою і батьківським жалем та співчуттям світиться воно. І довго-довго стоятиме він над своїми солдатами й офіцерами. А потім приглушено скаже Кавунові:

– Хай ще трохи посплять. Тільки зброю прикрийте плащ-палатками та плащ-накидками. Щоб не блищала на сонці та не впадала в око німецьким пілотам.

– Літаків не буде! – Впевнено скаже Кавун. – Немає вже в них літаків...

– Може, й не буде, – погодиться Андреев. – А кухні чекатимуть вас у містечку. Це отам, за лісом, на третьому кілометрі. І я вас ждатиму там.

Де вони тільки не ждали нас, наші командири! І куди тільки не водили нас за своїми топографічними картами-двоверстками, що зеленіють нам з даліни фронтних воєнних літ! Так само, як зоріють і досі прапори наших полків і дивізій...

А тільки ж і цього нікому вже не розкажеш.

Та навряд чи хто й слухатиме тебе за телевізійними блокбастерами, бойовиками з морями невідомо за що пролітої крові. З гвалтуванням, убивствами й тортурами крупним планом, з сексом у підворотнях та брудних привокзальних клозетах – що в «антироманах», те і в кіно. Наче на людський глум. Або щоб убити людину в людині.

Назавжди!

4.

Ліс, у який втягнеться після ранкового сну на автостраді наш полк, виявиться чистеньким підліском в широкій улоговині з білою двоповерховою конторою спиртзаводу в центрі, під знаменитим готичним черепичним дахом. А по піднятих амфітеатром краях зеленої улоговини – одноповерхові похмурі виробничі бараки і довгі складські будівлі, які у нас на Україні називають клунями. Улоговина ніби сховалася од війни – мирна й тиха.

І день якраз видається прихмареним, м'яким, задумливим. У зволоженому після ночі повітрі виразніше запахне квітучими абрикосами й вишнями. І повітря насичене ніжними пахощами весіннього квітання.

Полк відпочиватиме після безперервних проривів та маршів, а всіх офіцерів десь об одинадцятій ранку скличуть у штаб дивізії, розташованому в конторі, ставити нові бойові завдання, оголошувати накази частинам і підрозділам. У всіх відберуть топографічні польові карти-двоверстки і замість них роздадуть довгоочікувані



плани Берліна – кожному полку й батальйону на них відведено окремий район для штурму і взяття.

З тими розгорнутими планами в руках чи вже і в планшетах офіцери великою групою згрудяться перед конторою, обговорюючи нові райони бойових дій. Нетерпляче вивчають характер місцевості – самі розвалища після бомбардувань Берліна авіацією наших союзників.

– Вулиці й провулки тут, на планах, заштриховані, – пояснюватиме своїм офіцерам майор Кавун. – Значить, будинків не існує. Немає й вулиць та провулків у звичному для нас розумінні. А є тільки нагромадження битої цегли, арматури, цілі гори всякого сміття й мотлоху. Орієнтуватися на місцевості буде дуже важко – прошу це врахувати!

Не встигне він закінчити свою інформацію, як зовсім близько гримне потужна черга «MQ-42»! Одна, а за нею друга, третя! І офіцерів ураганом куль змете з площі перед конторою – всі попадають мертвими, немов скошені! І першим, змахнувши довгими й тонкими руками, грякнеться об землю найвищий за всіх майор Кавун.

З штабу дивізії тієї ж миті вискочать розвідники в маскхалатах і з автоматами – вони озирнуться, визначать, звідки стріляють, і, зорієнтувавшись по трасуючих кулях, вихором метнуться до одного з бараків на узвишші. Саме звідти озветься чергою ще раз кулемет, добиваючи поранених. А з контори вирвуться, мов ураган, старші офіцери, стріляючи з автоматів і пістолетів туди ж, в сторону барака. І з нього полетять уламки шиферу, шматки розтрощених дошок, а над покрівлею хмарою здійметься пил.

Все це мені видно, як на долоні, – саме примощуся під деревом на узвишші писати Галі листа. Під прикриттям вогню вискочить на ганок і однорукий командир дивізії полковник Смолин у розстебнутій шинелі, з «ТТ» у правій здоровій руці. Отак само, в розстебнутій і розвіяній вітром шинелі, він зупинятиме на плацдармі під Кітцем сотий полк, охоплений панікою після дванадцятої за день контратаки групи армій «Вісла», якою командуватиме Генріх Гімлер. Рехсфюрер немилосердно гнати́ме на наші кулемети й міномети своїх підлеглих, щоб скинути нас в Одер.

– Сталінградці! – кричатиме тоді Смолин. – Від кого тікаєте, туди-розтуди! Де ж ваша сталінградська гордість і слава? – і стрілятиме з пістолета вгору, зупиняючи панікерів перед нашою батареєю. І ми, вискочивши з вогневої, допомагатимемо йому й дивізійним розвідникам вгамовувати панікерів.



Тепер він не кричить. Тепер він в потрясінні стоїть над полеглими офіцерами, дивиться на них, зрізаних близьким й прицільним вогнем кулемета «MQ-42». Забуде і про свій пістолет, і про все на світі. Обходить їх, розметаних по всій площі. Вони лежать в неприродних позах там, де кого вцілить куля. Перед ним убиті його вірні соратники по Сталінградській битві. Комдив не може відірвати погляд від моторошного видовища.

Розвідники тим часом у слухове вікно викидають кулемет з довгою стрічкою. Потім білявого хлопця років чотирнадцяти-п'ятнадцяти, але вже в попелястій льотній уніформі з трьома срібними птичками в червоних петлицях. Хлопець підтримує закривавленою лівою рукою вибите око. Воно теліпається на нервах, сухожиллях чи кровоносних судинах. А правою затискує носа, з якого теж цибенить кров.

За ним розвідники викидають, мов великий лантух, старого фолькштурмівця в солдатській зім'ятій уніформі, у насунутій на вуха пілотці, у величезних, мабуть, сорок п'ятого розміру, чоботях. І нарешті – бравого тридцятилітнього фельдфебеля СС, неушкодженого і акуратно одягненого. Тільки чомусь простоволосого, без пілотки. А вслід і самі розвідники по-кошачому легко вистрибують з того самого слухового вікна.

Коли я підбіжу до полонених, старшина-розвідник з трьома орденами слави пояснюватиме тим, що оточать смертників:

– Стріляло, братці, оце щеня! Фельдфебель-есесівець подаватиме йому стрічку. Коли я першим увірвуся на горище, воно саме добивало пораниених і тих, хто намагався втекти. А коли відірву його від кулемета, тут же вигукне по-нашому: «Мшуся вам за свого батька-аса, збитого над Смоленськом!» Спеціально, мабуть, вивчить цю фразу для такого случаю. Видать, спеціально готувався до цього! – Старшина сплюне з огидою і витре закривавлену долоню об маскхалат.

– А око? Хто йому вибив око? – питаю несподівано для себе.

Старшина скоса гляне на мене, а відповіді не встигне: в цей час зчиниться гвалт, крики й плачі! На нас хлинуть з усіх сторін, як вода, що прорве греблю, старі розпатлані жінки в темних одягах, з розпущеним сивим волоссям, молоді дівчата в легеньких весінніх сукенках і хусточках:

– Улю-лю-лю! Доннер-веттер! – крутими схилами підвищеного амфітеатру скочуються в улоговину і кричать на бігу понімецьки, не вгаваючи. – Віддайте нам нашого хлопчика!



– Сій! – Кидається їм назустріч і строчить з автомата старшина. – Замри і ляж! – дає він ще одну чергу понад самими головами.

А за ним інші розвідники, стріляючи, кидаються навперейми збожеволілому жіночому натовпові. Жінки, перелякавшись, зупиняться враз, мов укопані. А потім так само раптово, як і з'являться, наче ноги вломлять – крутнуться й кинуться перелякано дертися назад крутими схилами, голосячи й щось приказуючи. І мені стане моторошно.

Все життя ношу це видовище в душі й пам'яті! А нікому ж про нього й слова не промовлю й по сьогодні! Й досі не вірю в те, що станеться в тому тихому лісі. І не втямлю, що це було і як могло таке статися?!

Аж тут підлітає на трофейному мотоциклі «Цундап» з кулеметною люлькою начальник дивізійної розвідки капітан Чумак з двома портупєями на маскхалаті, двома пістолетами на ремені та сонцезахисними окулярами на гоночному шоломі:

– Розвідка! За мною! Німці контратакують від Зеєловських висот!

Розвідники миттю обліплять могутній мотоцикл і щезнуть із своїм капітаном Чумаком, наче їх тут і не було. Стане тихо й по-рожньо на площі.

А перед баракком, з якого вони стріляли і з якого будуть викинуті розвідниками з слухового вікна разом з кулеметом, стоять троє дуже різних, абсолютно несумісних німців. І навколо них, як мені здасться першої миті, – анікогісінько! Але я помилюся: з найближчого ганку повільно підведеться вродливий юнак, що досі сидів мочки і нерухомо, весь у гарно видубленій шкірі: чорний шкіряний піджак, шкіряні брюки, такі ж чорні шеврові чоботи. Простоволосий, без жодних воєнних відзнак. Весь чорний у тій гарно видубленій шкірі, мов мара!

Підійде впритул до старого, широкого в кості фолькштурмівця з великими, роздавленими тяжкою селянською працею руками, вийме з кишені «Вальтер» і, підвівши його врівень із зморшкуватим лобом старого, натисне курок:

–Клац!– осічка.

Старий фолькштурмівець упаде перед ним на коліна, молитовно притисне величезні, мов клешні, руки до грудей:

–Mein Got! Ich schiesse nicht! – скрикне не своїм гласом. – Schisse nicht? Mein Got!



Той, у шкірянці, роздумливо пересмикне затвор, викине патрон, що дав осічку, і знову приставить «Вальтер» майже до зморшкуватого лоба:

– Клац! – осічка!

– Не смійте більше стріляти в нього! – крикну в нестямі і схоплю стрільця за руку. – Заведено ж прощати того, в кого зброя відмовляється стріляти!

На мій крик він не обернеться, не зреагує, а руку вирве з моєї різко, з великою силою, з гнівом чи навіть з огидою.

У мене закрадеться підозра: чи він не глухонімий?

«Вальтер» і третій раз дасть осічку! Аж за четвертим пострілом, майже в упор, куля з страшною силою перекине старого німця навзпак – так що зігнуті ноги, на яких він стояв навколішки перед своїм убивцею, підломляться, і він складеться вдвоє, мов складний ніж. Та так і залякне: не то сидячи, не то лежачи у своїй несподіваній і жахливій смерті.

А мовчун тільки змахне пістолетом есесівцю, як той з готовністю, ніби тільки й чекав сигналу, підбіжить і стане боком до стрільця. Але стрілець повільно підійде до нього впритул, візьме за чуба, поверне йому голову обличчям до себе і вистрелить йому межі очі! Бризки крові й мозку вилетять з есесівського обличчя на шкірянку стрільцеві, але не втримаються на її глянцевої поверхні і скотяться вниз.

Стрілець з розвороту, не цілячись, розстріляє й хлопця, що тримає дитячою рукою око, вибите тоді, як викидатимуть його з кулеметом «MG-42» у слухове вікно.

Кат спокійно покине страшне місце розстрілу, не проронивши й слова! І що дивно: попрямує не до штабу дивізії, а повільно піде в протилежному напрямку, долаючи крутий схил амфітеатру, підніметься з улоговини й щезне за його гребенем.

Мені й досі здається, що то був німий. Але хто він? Чому саме він розстріляє захоплених у полон убивць офіцерів нашого полку? Хто йому наказав убити їх без допиту й розслідування? Це лишиться таємницею до кінця мого життя. А тоді, дивлячись йому вслід, згадаю біблійне: «Посланий!»

Але посланий ким? Богом чи дияволом? Боги давно відвернулись від нас. А диявол грається з нами в піжмурки? Посилає отаких добровільних розстрільників на всі випадки: і у війну, і в мирний час? Бо скільки б їх не було, отаких випадків – судових вироків, а чи самосудів, як оце зараз, – а катів, як не дивно, завжди вистачає!



І вони розстріляють кожного з нас за милу душу! Є привід чи немає його...

Постою ото в самотині над постріляними німцями. З них тільки фельдфебель СС, і мертвий лишається справжнім ворогом. А на старого селянина й біленького хлопчика важко дивитися без співчуття.

Нарешті одвернусь від мертвих німців і попрямую до розстріляних наших офіцерів. Багатьох знаю особисто. І не лише по семимісячній обороні за Віслою, де люди стають такими ж рідними, як сусіди в селі. А й по виступах в імпровізованих концертах художньої самодіяльності. З видатним баяністом, командиром 5-ої роти старшим лейтенантом Абрамовим і начальницею санітарної роти нашого полку, старшим лейтенантом медслужби разом виступатиму не раз. Вони співатимуть дуетом в супроводі баяна Абрамова «Позаростали стежки-дорожки...», а я читатиму на пам'ять оповідання Чехова чи Коцюбинського. А з бойових позицій 7-ої роти капітана Ценних постійно вестимемо спостереження за противником.

Були вони, як кажуть в народі, нерозлийвода – дружили ще з Дніпра, а може й з Курської дуги. І тепер лежать рядочком з отими берлінськими топографічними планами в руках. Меншенький і стрункіший Абрамов і колись високий, а тепер довгий, як верста, білявий капітан Ценних, що вражав усіх блакитними очима і могутнім басом. Вічність вже поклала на їхні обличчя свою строгу печать, і вони видаються мені зараз набагато значнішими, ніж були досі. Все побутове облетить з них, як листя восени облітає з дерев, і залишиться тільки їхня сутність, індивідуальність і неповторність.

Капітан Ганопольський з Вінниці – командир мінометної роти сусіднього 102-го полку – теж лежить навзак біля них. На плацдармах за Віслою й Одером часто відвідуватиме нашу вогневу, зв'язуючи відомості про вогневі точки противника із спостереженнями Хуратова та Сухова. Здавна, ще з Сталінграда, дружитиме з ними. І напевне знав усіх у нашому полку, як ми всі знали й любили його.

Кучерявий, високий і статний, він красується й зараз серед усіх своєю смаглявою вродою й інтелігентністю. З його очей, з лица, з усієї статури струмувала життєрадісність. Лицарською статечністю віяло від усієї його доладної статури. А з вуст не сходила привітна усмішка, трохи іронічна і лукава, бо великий мастак був цей Ганопольський на дотепи, гумор і свіжі анекдоти. Зда-



валось, війна зовсім не торкнулась його, і він буде жити вічно із своєю веселою натурою.

Тепер всі вони лежать мертві на площі перед білою двоповерховою конторою, що на короткий час стане штабом дивізії. І в смерті – молоді й красиві! І полковник Смолин ходить поміж ними, мертвими, скинувши папаху, ніби прощається, все ще не вірячи, що їх уже в нього забрано навіки. Ходить в супроводі начальника штабу дивізії майора Підрубенка і, зупинившись над Абрамовим, скаже тихенько, немов сам до себе:

– Так, товаришу старший лейтенанте, «Позарастали стежки-дорожки...» Навіки. Назавжди... І ніякі Валькірії не прилетять і не зцілять вас! – Він ударить об полу шинелі здоровою рукою із затиснутою в ній папахою, підвівши вгору ліве плече з протезом замість лівої руки. І я тільки зараз помічу, який він старий і вивоюваний!

– Так точно, – погодиться майор Підрубенко. – Валькірії не прилетять, бо вони ж з германського епосу «Нібелунги». То яке їм діло до наших постріляних офіцерів? Але що ж ми робитимемо без них? – кивне на вбитих. – Обезглавив усі батальйони і роти нашого 101-го гвардійського божевільний отрок!

– Він не божевільний, – роздумливо заперечить полковник. – Таким жорстоким з юності його зробила війна. І помста за батька. Це треба розуміти, якщо не простити.

Важко зітхнувши, він стомлено опуститься на лаву перед конторою, покладе на коліна папаху.

– Пишіть рапорт, майоре.

– Кому й про що?

– Та вже ж не про те, що Валькірії не прилетять, – гірко всміхнеться полковник. – А про те, як ми підставили під кулеметний вогонь у мирній обстановці майже всіх офіцерів 101-го гвардійського полку! – підвищує голос. А потім зривається на крик: – Батальйони й роти перед Зееловськими висотами лишилися без командирів! Не вберегли таких золотих хлопців! Мені немає й не буде прощення! – зірвавшись на ноги, вдарить папахою об землю. А потім нагнеться, підніме, затулить нею обличчя й, важко здригаючись, зарідає, тіпаючись, мов у лихоманці. Я оторопію, почувши його несамовитий і розпачливий крик.

Від того крику луна рознесеться по всій улоговині. І замре між квітучими абрикосами й вишнями.

І тут майор Підрубенко помітить мене:

– Сержанте! Ані руш! – Гаркне він і попрямує до мене. – Як ви тут опинились? Ми ж виставили навколо улоговини по всьо-



му параметру охорону! Чому не в розташуванні підрозділу? – І, оглянувшись на комдива і стишивши голос: – Щоб мені ні слова про... Ну, про те, що бачили тут. Ясно? – І знову на весь зичний командирський голос: – Кру-гом! В розташування підрозділу кроком – руш!

Крутнись через ліве плече і, несподівано для себе, зарідаю й сам уголос. І кроки мої різко лунатимуть асфальтом перед конто-рою і над розстріляними нашими офіцерами.

Тільки я їх за своїми риданнями не чутиму.

5.

Дачною зоною Берліна, яка облягає його радіусом 60 кіломе-трів, вночі бігтиму в штаб батальйону з терміновим донесенням командира роти старшого лейтенанта Сухова, коли раптом в за-мкненому будинками дворі, обрамленому по параметру квітучи-ми шпалерами бузку, почую над головою тихий і вкрадливий рокіт нашого «кукурузника» – нічного бомбардувальника з авіа-дивізії. Рокіт нагадує шум шевської машинки «Singer» моєї бабусі Гапки, що обшивала нас усіх.

Літачок-біплан навіть бачу у відсвітах пожеж, що палають над усіма містами й містечками конаючої Німеччини. Бачу, як він похитнеться, і з нього скинуть вручну невеличку авіабомбу, і вона шугоне прямо на подвір'я, теж освітлена в польоті.

Я ледве встигну метнутися в розчинений під'їзд! І саме цієї миті рвоне так, що вуха мені позакладає, оглушить та засліпить спалахом близького вибуху, накриє пилом і їдким димом. А прий-шовши до тями, одразу ж почую стогін чи виття багатьох роз-пачливих голосів у другому крилі цього ж самого довжелезного будинку.

Вискочу з під'їзду і шугону туди навмання, стрімголов, щоб надати комусь допомогу. Але кругом ні душі! Крики і зойки ли-нуть з-під землі, із бузкових заростей.

Пригнувшись, шасну під них, і в їхній гущавині побачу при-самій-самісінькій землі освітлені електрикою продовгуваті під-вальні віконця. Упаду на землю перед таким віконцем і з жахом побачу в ньому обрушену стелю! Нею привалено масу людей!

А з-під тієї брили, у вузесеньку щілину, зирять на мене з жа-хом і відчаєм придушені бетонним перекриттям жінки, діти, старі баби й діди!

У них вилазять з орбіт очі, синіють обличчя, висовуються з ротів язики! Вони ледь ворущать скрученими й розчавленими ру-



ками й пальцями, шукаючи рятунку. Моторошно й страшно зирять на мене з благанням і каяттям, і я сам заплющую очі, щоб не бачити їх.

Крики й стогони їхні дедалі тихшають, а вони так само благально дивляться на мене!

Я ж нічим не можу їм допомогти! Лежу пластом на теплій квітневій землі і плачу від їхніх страждань і від свого власного безсилля. І хоч пахне квітучим бузком і весінніми вітрами, Німеччина здається мені суцільним кладовищем! Цвинтарем, у якому можна тільки вмирати за заподіяне людству лихо. А життя ніби й зовсім тікає й тікає з неї!

Пальці привалених на смерть перестають ворухитися, очі їхні заплющуються, крики переходять в стогони, а потім і зовсім затихають. І я підводжуся із стражденної німецької землі, позбувшись помсти і ненависті – мені невимовно жаль цих людей!

Пробираюся руйновищами у відсвітах пожежі до штабу батальйону, а очі їхні дивляться мені вслід, переслідують мене! Їхні очі, крики і стогони все життя снитимуться мені! Та не покидають і досі. І вже не покинуть до кінця моїх днів!

*Конча-Озерна,
5 серпня 2010 року*



РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

ЕЛЬЗА

Чим ближче до міської смуги Берліна, тим більше людей набивається в підвали. Мене викликають до командира полку Андреева:

– Нашого перекладача вбито. Можете перекласти фразу Сталіна про те, що гітлери приходять і відходять...

– Так точно! Можу.

– Тоді ходімо в підвал. Перелякані люди набилися там, мов оселедці в бочці. Я звернуся до них нашою мовою, а ви перекладете. І все!

В підвалі темрява після сліпучого сонця. Чути лише дихання й шарудіння людей.

– «Гітлери приходять і відходять, – по-командирськи гучно кине в темряву підполковник Андреев, – а народ німецький, держава німецька залишаються!»

Як тільки я перекладу цю фразу, в підвалі зчиняться радісні вигуки, і до нас посунуть старі бабусі й неголені діди. А далі несміливо, перелякано оглядаючись, з'являться й молоді жінки, й дівчата в якомусь несусвітному дранті, з намазаними сажею обличчями, щоб виглядати старими, неохайними й одворотними. Всі вони виходитимуть з темних кутків, мружачись од світла, що падає з розчинених дверей.

Обступлять не підполковника Андреева, а мене: тиснуть мені руки, обережно торкаються до моїх плечей. Деякі цілують навіть мої чоботи, ніби я своїм перекладом сталінської фрази поверну їх з могили на світ божий!

А одна жінка в темній вовняній хустці, у важкому драповому чоловічому пальті, мало не до п'ят, падатиме мені на груди, мов підкошена, з риданнями і словами вдячності.

– Ходімо, сержанте! – скомандує підполковник, – Нам треба вибиратися на рокаду, щоб втрапити на Темпельгофський аеродром і захопити його з ходу!



Я кинуся вслід за командиром полку, але жінка міцно триматиме за руку і раптом обніме й поцілує мене, схлипнувши. А потім заригає вголос і вибіжить за мною з підвалу на поверхню, під ласкаве квітневе сонце. Обличчя її змарніле й змучене. Але врода й інтелігентність виразно сяє з нього на сонячному світлі і сліпить мене. Хустка з неї злетить під подувом вітру, розстебнуте пальто саме впаде з її плечей. І відкриється біла-біла кофта під ним, туго напнута пружними грудьми. А вона все ще тримає мене за руку і благає, ридаючи:

– Gehe nicht nach Berlin! Dort zu fill Tropfen! Dort ist Fojer! Dort ist Tod! – і обнімає мене за шию, горне до себе, мов дитину. А далі лепече щось швидко-швидко! Так, що я не все й розберу. Все вмовляє не йти на Берлін, мов маленького на прогулянку.

Вона й справді старша за мене, їй, мабуть, років 36–40. А мені лише 21, тільки повернуло на 22-й.

– Що вона від вас хоче, сержанте? – дивується Андреев, якому ординарець подасть повід красивої, мов сон, молоденької гнідої кобили. Ледь торкнувшись стремена, підполковник Андреев легко й спритно кине своє треноване й худорляве тіло в сідло, осадить танцюючу під ним кобилу і, перегинаючись із сідла, допитуватиметься: – Що вона хоче, сержанте? – кобила, танцюючи, задкуватиме все далі й далі, а командир полку сердито гримає: – Що їй треба від вас? Що треба?

– Не радить йти на Берлін. Бо там, мовляв, вогонь, смерть, дуже багато військ. І мене там уб'ють.

– Чим же ви їй так приглянулись, гвардії сержанте?

– Мабуть, тим, що гарно й зрозуміло переклав ваше цитування товариша Сталіна?

– Не тільки, сержанте, – роздумливо мовить підполковник і, уважно дивлячись на мене, наїздитиме знервованою молоденькою кобилою на мої чоботи. – Не тільки... Хіба ж їх розгадаєш, цих жінок?

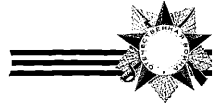
Але цього разу жінка звертається не до мене, а до підполковника Андреева:

– Ich bin Elza. Mein Fater und mein liebe Hans mordertschi! Ihr, – показує пальцем на мене, – auhc Tod nach Berlin.

– Що вона каже? – питає мене Андреев, перегинаючись із сідла.

– Пророкує мені смерть у Берліні. Просить вас не посилати мене на штурм.

– Ти диви, яка жаліслива! – враз спохмурніє Андреев. – Не слухайте, сержанте, бабські теревені! Виводьте свою штурмову групу на рокаду. Там десь Сухов чекає вас.



Підполковник крикне через ліве плече: « Не баріться, сержанте!» І за ним полетить в надвечір'я лункий тупіт кінських копит по чужому асфальту.

А розпатлана весіннім вітром жінка знову настигне мене, вхопить за руку:

– Не рушай у Берлін! – знавісніло кричатиме, мов на пожежу.
– Там тебе вб'ють! Я бачу знак, печать на твоєму обличчі! – Вона обніматиме й цілуватиме мене, як сина, промовляючи благання й застереження. Чужа жона! Громадянка ворожої країни!

Квітневий вітерець зриватиме слова з її вуст і хльоскатиме ними мені у вуха і серце набатом тривоги й ніжності, що не забувається й понині...

Це станеться під вечір 27 квітня. А 28-го ми братимемо штурмом штаб ВМС Німеччини на Фрідріхштрассе, зайнятий есесівцями із заблокованими в ньому підполковником Андреевим і майором Підрубенком – начальником штабу дивізії, що саме в лиху годину навідає наш 101-й гвардійський полк. І мене й справді там уб'ють...

А я й через 67 років чую її розпачливе благання не йти на Берлін і схвильоване до краю попередження про небезпеку смерті з вуст чужої людини – жінки поверженої Німеччини! Її схвильоване дихання чую на своїх губах, у своїх ніздрях, донесене весіннім вітерцем, як талісман від усіх напастей і смертей. Й досі чую той схвильований голос, сповнений тривоги за мене, і почуваю себе й досі безсмертним – стільки в тому голосі бриніло тоді тривоги й ніжності до мене, пришельця хтозна з якої даліни на її землю!

І до мене підсвідомо, серед війни і ненависті, долине біблійна мудрість: «Всі люди – браття! Створені Богом для взаємної любові й добра! А не для війн і вбивств!»

Але воєнна дійсність і обов'язок зірвуть цей паросточок мудрості, і він тут же відлетить від мене вслід за легеньким і ласкавим подувом найніжнішого квітневого вітерця.

Так люди, самі того не усвідомлюючи, розстаються з Мудрістю Біблії заради скороминучих обов'язків і потреб, обкрадаючи самих себе і зраджуючи свою Долю і Судьбу. Забуваючи, що писали її Великі Мудреці з досвіду людства! «Во віки віків!» Амінь.

*Конча-Озерна,
21 квітня 2011 року*



РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ НА ФРІДРІХШТРАССЕ. 28 КВІТНЯ 1945 РОКУ

*А якщо впадеш ти на чужому полі,
прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання серце залоскочуть...*

Василь СИМОНЕНКО

1.

— Владелец, Владелец! — і досі чую голос смертельно втомленого радиста-росіянина. — Владелец, Владелец! — викликає він уже третю годину підряд штаб полку, доки ми кирками-мотигами проломлюємо стіну якогось універмагу, щоб увірватися через пролом і захопити наступну кімнату — це єдиний шлях і єдиний засіб просунутися хоч трохи вперед. Бо на вулицю не виткнути носа! На вулиці суцільна повільна кинджального вогню від рейхстагу: 88-мм тяжкої зенітної і 105-мм протитанкові гармати б'ють без угаву, і танки горять, і асфальт плавиться, і дим затоплює вулицю і будинки.

— Владелец, Владелец! Я Холодний — прием! — повторює радист дивні позивні, а відповіді немає, і портбери горять, мов смолоскипи, і дихати нічим, а клята стіна ніяк не піддається. Проломити її й тоді було важко. А зараз це здається й зовсім неможливим і неймовірним! На війні люди завжди роблять щось неймовірне та неможливе і ніколи не хизуються цим. Бо вважають ці надзусилля буднями війни.

— Владелец, Владелец! — повторює молоденький радист уперто. Ніби механічно повторює він ці дивні слова, а стіна товста і міцна, як кістка, а саперів не вистачає, і кизиллові руків'я киркомотиг, на що вже міцні, а розлітаються в друзки.



— Владелец, Владелец... — благає когось радист. — Я Холодний. Прием...

Стіну все-таки ми проломимо, пустимо в отвір вогнеметний струмінь, щоб спалити фашистів, якщо вони там є. А радист теж притягне вслід за нами свою рацію, сяде з нею в глухому кутку, викине антену в розбите вікно і знову:

— Владелец, Владелец! Я Холодний. Прием.

Рація мовчить. А ми беремо одну за одною палаючі кімнати. І в диму та полум'ї стаємо схожі на дияволів. Чи на витязів, які не горять.

І тут долинає звістка, що штаб полку потрапляє в пастку: есесівці прорвуться з парку Тіргартен в наш тил і займуть два нижні поверхи того будинку, в якому штаб нашого полку, і поведуть бій на сходах. Атака незвичайна — знизу вгору, в поверху на поверх, наче есесівці вибираються в небо із своєї конаючої столиці.

— Владелец, Владелец! Я Холодний! Прием, — благає молоденький радист.

А в штабі полку нікому відгукнутись, бо й рацію доведеться кинути: автомат у руках ще одного офіцера в тому бою дорожчий за рацію.

Боронять прапор, штабні документи і нагороди. Бороняться самі. Командир полку, начштабу та шість його помічників. Зайнявши кругову оборону на третьому поверсі, ждуть виручки. Про це нам повідомить, прибігши з вулиці, капітан Ахмистов, що замінить нашого тихого і скромного комбата Гробового, розстріляного з кулемета в тій улоговині біля контори спиртзаводу. Прибіжить закіптюжений, крикливий, сердитий.

— Командира штурмової групи до мене! — гукне ніби на плацу і для чогось вийме з планшета топографічний план Берліна. — Отут, — покаже він, ткнувши пальцем у план.

— На протилежному боці? — спитаю його. — Так тут же видно все й так! З вітрини.

Вітрина універмагу серед цього вогненного пекла, як не дивно, лишається ціла. Велика, на всю стіну! В ній вміщається панорама війни: п'ять чи шість палаючих танків, три палаючі дев'ятиповерхові будинки протилежної сторони Фрідріхштрассе. Вони димлять, вергають із своїх вікон вогонь і дим — нагадують три лінкори, що ведуть вогонь з бортових гармат під час морсько-го бою.

В цю панораму влетить і ескадрилья наших «Петлякових». Вони летять в ясному й чистому небі над темними ди-



мами боїв і пожеж. Такі, знаєте, елегантні, швидкі, красиві пікіруючі бомбардувальники. Їм хоч би що – летять собі над бойовищем!

А я мушу із своєю штурмовою групою подолати широченну вулицю в самій гущі й клекоті цього бойовища під вогнем противника. Перебігти широченну вулицю Фрідріхштрассе, на якій навіть танки горять всі до одного, скільки б їх не з'явилося. Їхню броню прошивають наскрізь 88-мм зенітні гармати, які вже тоді збивали американські «Літаючі фортеці» на висоті 20 000 метрів! А ми й через десять років, у 55-му, на такій висоті не дістанемо нахабу Пауерса з його «У-2» навіть снарядами наймогутніших наших зеніток. А зіб'ємо тільки ракетою.

– В отому будинку штаб полку, – показує Ахмистов, стоячи перед вітриною, немов перед екраном живого, ніколи не баченого фільму. – Перед тим будинком саме горять танки. Це й буде вам прикриття. Ясно?

Танки горять позаду, майже в кінці кварталу, який ми подолаємо, проламуючи стіни. А в цей час з гуркотом і тріском рухне наш палаючий будинок і поховає під камінням і цеглою всі наші проломи. Так що назад шляху немає. Нема його й уперед, бо наступну стіну все ще не вдається проламати. Кімната палахкотить: горять меблі й підлога, магазинні стійки і штори на вікнах. А товстій стіні немає ні кінця, ні краю. І наші хлопці падають від втоми. Але довбають і довбають! Ці відчайдушні каменярі великого берлінського штурму.

– Перебігайте вулицю тут! – наказує Ахмистов, закриваючи обличчя від вогню. – Вперед! – кричить він, ніби піднімає батальйон під вогнем противника на рівнині.

– Штурмова група, за мною! – віддаю команду і оглядаю востаннє свою братву.

Нас всього семеро. Шинелі скинемо і, гарненько згорнувши, акуратно складемо їх під колоною, ніби збираємося колись вернутись за ними. Автомати – на груди, клацнемо затворами, поправимо кріплення касок на підборіддях. І – до дверей.

Вася Акимов, спокійний, невисокий хлопець з Кам'янки-на Дніпрі, першим підбіжить до дверей і вдарить по них з усієї сили ногою. Двері розчиняться, і з них зараз же полетять цурпалля, і вони стануть колючі від пробойн.

– Розривними, гадюка, лупить! – Очі його потемніють. – Димову б пашку кинути...

Ахмистов знову вихоплює пістолет:



— Ніяких розмов! Уперед! Де командир штурмової групи?! — кричить несамовито, хоч я стою поряд. Вперед! — вимахує пістолетом перед моїм обличчям. — Негайно вперед!

Стрибаю на підмурок вітрини, автоматом, плечем і каскою з усієї сили б'ю по вітрині. Бемське скло лопається, мов перший лід на ставку в Ново-Олександрівці, і я опиняюсь на вулиці Фрідріхштрассе. Як же далеко вона від мого села і нашої хати над ставом!

Не відчую чомусь її під ногами, цю знамениту вулицю Фрідріхштрассе. Рвонувшись з місця в кар'єр, лечу, ніби й не торкаючись бруку! А з вікон усіх дев'яти поверхів — з кожного летить в мене смерть. Тисячі смертей! Я не оглянуса. Бо знаю: мої товариші, як завжди в атаці, біжать за мною. Але перебіжать вулицю не всі. Толя Блинников з Тули, вцілений кулею, як тільки стрибне з вітрини, лежить тепер під стіною нерухомо. Ничком лежить він. Наче в степу, як ото пасеш коней, а тоді ляжеш, покладеш голову на руки і задрімаєш.

А на осьовій лінії — по ній з Цоссена щодня їздить на доповідь Гітлеру про обстановку на фронтах начальник Генерального штабу Кребс — лежить ще хтось, великий і незнайомий. Він підведе голову, і ми пізнаємо монгольське обличчя Ахмистова.

— Ага, значить, і він рвонув за нами, — скаже Вася Акимов. — Треба б витягти його.

— Ми самі не виберемося з цього пекла, — скаже Юнусов.

— Не припиняйте вогню! — крикну їм. — Бо ще не всі наші перебігли вулицю! — І сам даю чергу.

— Бра-а-тці! — закричить Ахмистов, підвівши голову, і спробує повзти. Асфальт навколо нього одразу побіліє від куль.

— А-а-а! — кричатиме він на цій берлінській немилосердній вулиці, але далекі гори Бурятії не почують крику свого сина. І вже ніколи не побачать його.

Тільки зараз, коли вже нічого не можна поправити, полетять з вікон гранати і димові шашки — нарешті наші зможуть це зробити, добувши їх невідомо де.

А бійців тепер побільшає, бо під прикриттям димової завіси вулицю перебіжать всі, хто був на тій стороні. Нижній поверх догорає і має ось-ось завалитися зовсім. Перебіжить із своєю рацією за плечима й молоденький радист. Приземлиться з нею в кутку, викине антену і знову:

— Владелец! Владелец! Я Холодный! Прием!



– Сержант! Не гайте ні миті! – крикне мені капітан Коханов, невідомо звідки взявшись. – Там прапор! Там командир полку! І начштабу дивізії. Вперед! – Вихоплює пістолет з наміром бігти разом з нами на виручку.

– Товаришу капітан! – Скажу йому тихо, щоб хлопці не чули. – Куди оце ви із своєю пукалкою проти «MG-42» та «Schmeisera»? А полк залишиться зовсім без офіцерів. На вас же вся надія! І вся, яка не є, відповідальність! – Потиснувши йому руку, кинуся за своїми.

– З вулиці будинок не взяти! – Крикне капітан Коханов нам услід. – Обійдіть його з двору! Та обережно там! Не нарівіться! З есесівцями ж не жартують.

– За мною! – крикну своїм хлопцям. – Перебігати по троє! Поранених підбирає наступна група. Вперед! – круто звертаю праворуч. Акимов – ліворуч. Володя Титов – прямо. З під'їзду по нас таки встигнуть вистрілити. Титов туди фаустпатроном – шурх! І вже в диму й полум'ї атакуємо під'їзд. Першим вривається в нього Вася Акимов.

У вируванні диму й пилюки парадні білі мармурові сходи величаво погойдуються на верхній арматурі, бо підніжжя їхне виб'є фаустпатроном Володя Титов. З подивом ступаємо на червону килимову доріжку із зеленими обляміvkами по краях. Виявляється, що цей будинок – штаб Військово-морських сил Німеччини. Гітлер тримав його не в Бремені, Гамбурзі чи Фалькензее, де будувалися знамениті лінкори «Бісмарк», «Гнейзенау» та «Тірпіц», а в Берліні, в себе під рукою.

2.

На сходах тихо. На площадці другого поверху – теж тихо. Тільки на третьому нас обстріляють з кулемета. І постріли в замкненому просторі лунатимуть, мов у бочці, приглушено, але оглушливо. Особливо могутні «MG-42» – від їхніх несамовитих черг, здається, ось-ось розлетиться весь будинок на шмаття. Диркне неподалік автомат «Шмайсер». А потім – фру-у-у! – ще одна скажена черга з кулемета «MG-42».

У відсвітах куль і стрілянини помічу двері якоїсь кімнати. Переждавши чергу під стіною, стрибну на них, як стрибав колись на м'яч, стоячи на воротах шкільної футбольної команди. Вдарюсь плечем, автоматом і каскою об двері, і вони з гуркотом, мало не зриваючись із петель, розчиняться в середину, в кімнату. Але я не побачу кімнати, а тільки стелю, потім стіни, і мені здасться, що



кімната шугоне вгору, потім різко крутнеться ліворуч і, стрімко падаючи вниз, вцілить мене підлогою в обличчя.

Брязь! — засвітяться в очах свічки чи спалахне електрозварка. Щось немилосердно запече в груді і в шию. А потім припиниться так само раптово, як і почалося. І коли припиниться, я здогадаюсь, що лежу ницьма на підлозі і що автомат мій строчить піді мною, а стріляні гільзи обпікають мені шию і груді, бо я ж лежу на ньому!

І, як тільки я це усвідомлю, щось праворуч від мене впаде, глухо гупнувши об підлогу. А частина його покотиться до батареї центрального опалення. Вдарившись із дзенькотом об неї, конвульсивними колами, по спіралі, покотиться до мене, мов м'яч з мого шкільного дитинства, й перевернеться. Я нарешті втямлю, що це не м'яч, а німецька каска. Потім з неймовірним зусиллям поверну голову в той куток і побачу есесівця, що лежить на спині, неприродно підвернувши під себе руку з автоматом.

Він лежить головою до мене, довгий, плечистий, розстеливши по підлозі біле, мов сметана, густе волосся. Впадина зверненого до мене ока його швидко темніє і — збільшується, збільшується, наповнюючись кров'ю! Потім кров переливається через очну западину і темною широкою смугою заливає есесівцю щоку, а далі тече по підлозі, повільно наближаючись до мене.

У відсвітах величезної берлінської пожежі, що падають з вікна, видно, як у цій крові танцюють криваві відблиски. І я з жахом і огидою намагаюся якомога швидше відсунутися від неї подальше, щоб чужа кров не торкнулась мене! Щоб я не підплив нею!

І тільки тут, віджавшись від підлоги, я побачу, що права нога моя теж лежить піді мною! Перша думка: чобіт злетів з ноги при тому відчайдушному стрибку. Але мої ж чоботи припадисті, а підйом у мене високий — так що я ледве взуваю їх! І маскхалат над чоботом, коліно, стегно й все інше — моє. Але як же все це опинилося піді мною? І що дивно — мені зовсім не боляче! І нога, коли перевертаюся на бік, не відділяється від мене. І отут, тільки зараз, відчую, що весь підплив власною кров'ю. А тут ще й чужа, ворожа, наближається до мене!

Здригнувшись від огиди чи остраху, рвонуся від чужої крові і поповзу з цієї страшної кімнати! Повзу і все ще не відчуваю болю. Тільки там, де увійшли, мабуть, есесівські кулі, щось починає нестерпно пекти. Немилосердно пече воно чимдалі дужче!

А в коридорі гримлять постріли і черги, чується лайка німецька і наш руський мат. Але це не зупиняє, і ніяка сила не зму-



сить мене лишитися в одній кімнаті з есесівцем, якого я вбив випадково, навіть сам не знаю як: в ближнім бою це робиться майже автоматично, інстинктивно і підсвідомо. Чи навіть позасвідомо. Такий характер ближнього бою, де діють наосліп, не маючи й миті на роздуми. Тому в ближньому бою вціліє тільки той, хто має блискавичну реакцію і добре натренований.

Через мене стрибають, спотикаються об мене й падають у темряві. А падаючи, матюкаються і ні на мить не спиняються – всі кудись біжать! І мені хочеться крикнути, щоб вони знали, що я тут. Але згадавши, як кричали Манько та Ахмистов, стримаюся і поповзу подалі від кімнати, де лежить вбитий есесівець. А хлопцям, моїм товаришам, у ближньому бою не до мене. Я це розумію і мирюся з їхньою байдужістю до мого поклику без образи, як з чимось неминучим і зрозумілим.

Доповзши до якогось вестибюля, відчую, що стіни розсунуться й утворять навколо мене порожнечу. І побачу по всьому параметру цього простору тріпотливо освітлені пожежею суцільні ряди вікон. В них так яскраво відбиваються відблиски пожеж, наче вікна самі горять червоним полум'ям. В моєму крилі будинку зовсім світло і тихо-тихо!

Бій лунає десь у протилежному кінці поверху. І, доповзши до якихось меблів, обмацую м'яке й пружинисте крісло чи фотель та, вхопившись за нього, намагаюсь підвестися й стати на ноги. Адже не раз доводилось бачити в кіно, як з простреленими грудьми його герої підводилися і йшли. Та навіть бігли!

Але самому мені, пораненому в стегно і в таз трьома кулями (про це я дізнаюся пізніше) підвестися не вдасться: тільки спробую підтягнутися на руках, як страшний біль пропече мене всього наскрізь, і я провалюся у якусь темну й глибоку яму. Яма буде широка й довга, без кінця і краю, і – темна-темна! Хоч в око стрель...

А потім мене перев'язуватимуть у якомусь підвалі артилерійські офіцери в погонах з двома просвітами і в картузах з чорними оксамитовими околицями. А Вася Акимов, якимсь чином розшукавши мене, стоятиме наді мною і плакатиме.

– Йди, Васю, йди! – Благаю його, ледве відтягуючи голос. – Повертайся до своїх...

А він тільки сльози втирає й мовчить. І потім добре помагатиме санітарові нести мене, міцно тримаючи за перекинуту через плече безвольну й слабу мою руку. А санітар, на голову вищий за мене й за Васю, задихається зовсім, бо моя друга рука, перекинута через його високе плече, сповзає й впирається зігнутих ліктем у



ремінь його карабіна, який буквально задавлює його, розвернувшись упоперек, впинається затвором йому в горло, так що санітар утримує його обома руками, щоб не задихнутися. Цей здоровило не тримає мене за руку, і я все більше висну на ремені його карабіна зігнутою в лікті своєю безсилою рукою, буквально задавлюючи його.

А тут ще й доводиться продиратися через проломи у залишках стін. Перед таким проломом ми зупинимося, і я, непритомніючи, повисну на моєму вірному навідникові Васи Акимову. І прошепочу санітарові, ледве ворушачи губами: «Та закинь же ти ремінь карабіна на плече, а не на шию! Хто ж тебе вчив так носити зброю?» Він послухає мене й тягтиме далі вправніше.

Один пролом виявиться зовсім тісним. У ньому ледве вміщається протитанкова 76-мм гармата. Обслуга посторониться, і мене потягнуть в той малий отвір.

Тягнути по-пластунськи їм вкрай незручно й тяжко. А тут, як на гріх, моя перебита нога міцно застрягне між станиною й стіною. Артилерист ліниво лягатиметься з санітарами:

— Та хіба ж так тягнуть пораненого?

— Спробував би сам потягнути такого гевала по розвалищах, знав би тоді! — огризається санітар, судячи з вимови, гуцул.

Артилерист пробує підняти загнану пострілами в землю станину гармати. Це йому ніяк не вдається, і він гнівається ще дужче:

— Та здайте ж назад, йолопи!

— Шляг би ті трафив! — відлаюється гуцул. — Що це тобі, машина? Хлоп до того розслаблений, гейби його з вати зроблено, а не з кісток і м'язів.

— Ти мені баки не забивай! — Лається артилерист. — А то як пальну з оцієї гармати!

— Батька в лоб, дурню, — огризається завзятий гуцул.

Все це чуєш мовби уві сні. Так, наче тебе тут і немає. А нога залишається поміж станиною і проваленою стіною, як оця гармата, що стоятиме на позиції, доки й Берлін візьмуть. І я знову знепритомнію. Тільки й устигну з острахом подумати, що лежати мені тут, у розвалищах, довічно. А рідний степ тільки мрітиме і журитиметься вже без мене. Як журиться за нашим селом і зараз, виглядаючи мене...

3.

Я замерзаю. Руки вже не слухаються й не гнуться. А ноги в мене ніби вже й зовсім нема. І голова не підводиться. Прислухав-



шишь, чую, що хтось біля мене стогне. Затримаю дихання – стогін враз припиниться. «Це я стогну!» – здогадаюсь нарешті. А мені ще ніколи не доводилось стогнати. Навіть у тифозній агонії минулої весни. І я подумаю: «Це – кінець!» Навколо така темрява – що заплющиш очі, що розплющиш їх, – все одно нічого не видно. Але щось ледь-ледь світліше все-таки помічаю. Якась тонесенька і кволла смужечка вдалині. Напружую зір і слух, але з грудей вивирається стогін і не дозволяє як слід прислухатися. Намагаюся стримати його і чую якась приглушене ляскання, наче хтось взято б'є картами об стіл. Але що за відчайдушні картярі можуть бути в такому берлінському пеклі? Набираю побільше повітря у груди і гукаю: «Ей, хто там?»

Ніяка сила! Жоден звук не порушує тиші, в якій чуються далекі ляскання карт. Повільно, а потім прискорено ляпають карти, все швидше та швидше. І раптом: сміх здорових молодих людей, яким в цю хвилину ніщо не загрожує: «Наша взяла! Ура-а-а!»

– Ей, хто там? Поможіть! – з усієї сили кричу, відчуваючи, що зараз помру.

Тоненька смужка світла поширшає, і я помічу кроків за десять отвір – але відстань ця для мене нездоланна! Навіть з десяти кроків не можу докричатись.

– Ей, люди! – напружуюсь до останку, видобувши всі сили.

– Ляп, ляп, – чується звідти.

І короткі перемовляння, і тихе поляцування карт, які зненавиджу на все життя! Завжди, у найпривітніших вітальнях, нагадують вони мені й зараз той похмурий берлінський підвал, у якому я тоді умирав. А що смерть близько, відчуваю усім еством і знаю, що все закінчиться через кілька хвилин.

На половині відстані до освітленого отвору, помічаю кілька наших автоматів з круглими дисками. Стоять собі рядочком. Такий, знаєте, мирний рядочок, що в ньому навіть важко уявити чи хоча б запідозрити смерть.

– Ей, хто там? – знову кричу, сподіваючись, що вони прислухаються і почують мій поклик і моє благання.

Але вони грають в карти. Вони, мабуть, завзяті картярі. Грають, мабуть, на німецькі годинники або на крихітні пістолети, яких тоді у кожного з нас водилось чимало. Або ще на щось грають вони в цю непевну пору і почути мене не можуть. Чи й не хочуть. Люди тому й не чують або не розуміють один одного, що не хочуть чути і розуміти. Тоді, в тому підвалі, я зроблю для себе це відкриття навіки! Тим більш не забуваю його й сьогодні.



«Буду повзти, — вирішую.— Буду повзти до тих автоматів!» Намагатимуся тільки не рухати ногами. Бо біль одразу пронизує ніби ножами, і я можу знов знепритомніти. І тоді — кінець! Ось уже від простягнутої руки до ременя найближчого автомата лишається кілька сантиметрів. Але сил більш немає. А картярі грають собі, перегукуються і сміються.

Відлежавшись якийсь час, я ще трохи підтягуюся і середнім, найдовшим пальцем дістаю ременя і смикаю до себе. З брязкотом і гуркотом гірського обвалу падає автомат ППШ на цементну підлогу, і там, де грають в карти, все раптом стихає. А через секунду вискакують з отвору, давлячись і ледве протискаючись в нього, якісь чубаті хлопці в маскхалатах, стоять, вражені і розгублені, освітлюючи мене кишеньковими ліхтарями.

4.

— Що ж ви, туди вашу-розгуди... — скажу, боячись розплакати від образи і від свого безсилля і беспорядності. — Я стільки гукаю вас...

А вони стоять наді мною мовчки, винувато дивляться на мене. Якись наші хлопці, що дійшли до Берліна не асфальтами і доїхали не поїздами, — мої бойові друзі, фронтові побратими, яким тільки й випало трохи на війні пограти в карти.

Їхні теплі й обережні руки піднімають мене, одірвавши від мокрого й холодного, вбивчого цементу, і щось м'яке і сухеньке підкладають під мене і опускають на щось по-домашньому затишне і ніжне, чого наче й на світі ще ніколи не було! А це — звичайна червона німецька перина, перенесена із якоїсь спальні сюди, в підземелля. І вона здається мені раєм після лежання на каміннях, на мокрому цементі і на розвалищах палаючого Берліна. Ще однією периною мене вкривають зверху. Принесуть хліба й консервів. І дволітрову банку майже свіжих законсервованих вишень, яку я одразу ж вип'ю одним духом, гамуючи страшну, нелюдську спрагу від втрати крові.

— Де ти взявся? — весело питає мене молоденький білявий розвідник.

— Підкинули санітари, — скаже старшина з автоматом за плечима. — Знають, що розвідники поранених не кидають, от і підкинули, стомившись тягти до санроти.

Цей, мабуть, і в карти грав, не скидаючи автомата. Я знаю таких хазяйновитих старшин-розвідників, що ніколи й ніде не розлучаються із зброєю й ретельно виконують всі вимоги військово-



вого статуту. З таких потім добрі будуть бригадири в колгоспах, трактористи і комбайнери. А на заводах — токарі і фрезерувальники високого класу й розряду. Ці суворі і завжди зосереджені люди, що ніколи не забувають суворих законів війни. Наче вони й народилися спеціально для неї.

— Підкинули нам, щоб самим не тягались, — продовжує старшина. — Цей випадок не перший. Ти їх знаєш, сержант? Постріляв би гадів за те, що покинули тебе.

— Не знаю, — скажу йому, втративши бажання будь-кого вбивати чи стріляти.

Настрілявся уже. «По саму зав'язку!» — сказали б дядьки в нашому селі.

— А де тебе поранили? — допитується той білявий хлопчина, схожий на нашого Ваню Томашова — улюбленця дивізії, мого загиблого друга по нічному пошукові.

— На Фрідріхштрассе...

— А з якого полку? — не вгаває розвідник.

— Сто першого гвардійського,

— О! Так ти з нашої дивізії, браток! — радіє хлопчина, ще молодший за Ваню.

— Не приставай до людини, — скаже знову старшина, — Хіба не бачиш? Йому зараз не до розмов і не до твоїх розпитувань.

— Так треба ж дізнатися, куди його відправляти? В яку санроту?

— Санротою тут не обійдеться. Його, мабуть, отакого, і в санбаті не приймуть, — скаже досвідчений старшина наді мною, наче мене тут і немає. — Відправлять у армійський, а може, й у фронтовий госпіталь. Я вже бачу. Знаю по собі: не раз був поранений. Гайда, хлопці! Капітан Чумак давно нас чекає. А ти, сержанте, полежи тут. Ми зараз розшукаємо твою санроту, й пришлемо за тобою підводу.

Виявляється, це і є наша дивізійна розвідка. І той самий старшина, що викидав фашистських кулеметників з горища спиртзаводу в тій трагічній улоговині.

5.

Потім мене везтиме своєю підводою наш Холод. По брукові берлінських вулиць, побитих снарядами, везтиме він мене, витрясаючи з мене залишки життя, що ледь жевріє. Вірю і не вірю: чи це й справді він? А розпитати сил немає — болить все тіло ще дужче. І побачити його не можу, бо лежу й досі, від самої миті поранення,



ниць. А голову повернути не сила. Та й кожен рух завдає нестерпного болю.

А що це не хтось інший, а наш Холод, мені підказує його улюблена пісня, яку він у вільні хвилини все співав сам собі на батареї. Не зважаючи на вибої та на каміння, що час від часу потрапляють під колеса, надтріснутим старечим голосом співає й зараз, везучи мене палаючим Берліном, наш їздовий, що тепер, мабуть, своєю полтавською підводою обслуговує санроту:

А всі ж гори-ги зе-ге-ле-ге-ні-гі-ю-гуть...

І хоч як мені боляче на кожному вибої, а тим більше – від каменя, що потрапить під колесо, я чую, що Холод, співаючи, плаче. Можливо, боронячись від моїх криків і стогону. А, може, плаче, жаліючи мене, так тяжко пораненого. Й себе, що так далеко заїхав від рідного дому, від родини та дружини і від ласкавої Ворскли?

Де ба-га-га-ті ого-рю-гу-гуть-сі-гі-ють...

Десь іще клекотить війна. Ще стріляють гармати, б'ють довгими чергами кулемети. А ранок теплий-теплий! І ясний, мов дитяча усмішка. Аж не віриться, що зовсім поряд клекоче війна. І все, що є війна, лишається для мене за плечима. І все віддаляється та віддаляється. Мабуть, уже назавжди.

Але ні полегшення, ні радості від цього я не відчуваю. І не тому, що я ще не знаю і не можу знати, як від ран помирають частіше, ніж від сліпої кулі. А рани в мене страшні – майже смертельні. А Холод співає наді мною і плаче, мабуть, за всіма: і за Суховим, і за Маньком, і за Блинниковим. І напевне – за своєю далекою Полтавщиною, за Ворсклою, за жінкою і родиною:

Ті-лі-ки-ги-ж о-го-од-на-га-ж го-го-ра-га ж чо-го-рна-га,
Де-ге-ж ора-га-ла га- ж бі-гі-дна-га ж вдо-го-го-ва-а...

І я то непритомнію на особливо труському вибої, то дослухаюсь до його співу. Бо так само співала й моя бабуся Гапка, що 1910 року лишилась вдовою з трьома дітьми. І так ми їдемо, як мені здається через мої непритомності, довго-довго!

А потім підвода зупиняється. І підвівши голову з пахучого сіна, бачу намет з червоним хрестом в білому колі. Бачу й нашого Холода: він, злізши з підводи, стоїть з батіжком біля самого мого обличчя. Схиляється й цілує мене в щоку колючими неголеними



губами і чомусь шепоче, ніби по секрету, щоб ніхто не почув: «Нічого, синашу, нічого... Намучишся з цими ранами добряче, зате будеш жити. Тепер уже напевне житимеш і повернешся домолодої своєї жінки, до крихітної доні, якої ще й не бачив...» – а сльози все ще бринять у його очах і чуються в голосі.

І враз відсторонюється, строгішає, навіть випростується й тримає руки «по швах».

З намета вибігає чорнява й вродлива лікарка – старший лейтенант, командир нашої санроти 101-го гвардійського полка. Ми всі її любимо за те, що в обороні за Віслою гарно співала в концертах самодіяльності дуєтом з командиром 5-ої стрілецької роти старшим лейтенантом Абрамовим під його баян ліричну пісню «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки. Позарастали мохом-травою, где мы ходили, милый, с тобою...»

Вибігає і, тільки глянувши на мене, хапається обома долонями за обличчя:

– Сержант Сизоненко? Боже мій! Що ж з вами зробили? І – до Холода:

– Везіть його зараз же в медсанбат! Тут дорогу сапери очистили від каміння!

– І знову до мене: – Потерпіть! Звідти вас відправлять у фронтовий госпіталь в Франкфурт-на-Одері. Я зараз оформлю документи і зателефоную туди!

– Крутнеться на своїх брезентових чобітках і, так само тримаючись обома руками за обличчя, побіжить в намет, приказуючи на кожному кроці:

– О, Господи! О, боже ж мій! – і це вже остаточно засвідчить, що поранення моє страшне і стан мій майже безнадійний.

*Конча-Озерна,
липень 2010 року*



РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ

ТОДІ ЛІЧИТЬ МИ СТАНЕМ РАНИ...

1.

Величезний, мов ангар, високий-високий операційний зал, яскраво освітлений кількома люстрами. Біло-біло і порожньо. Тільки іскряться і виблискують нікельовані хірургічні інструменти за голубуватим склом прозорих шаф і на столах біля мого операційного столу, на якому я лежу... навznak? Ні, я лежу ниць. А неймовірно високу стелю бачу в скляній поверхні приставного столика, на якому оті інструменти. Мене тепер втягує всього, з усім жужмом, несамовитий біль в тазо-стегновому суглобі, немов якась центрифуга розкручує і ось-ось знову вихопить з цього перевернутого світу, в який я щойно вигулькнув з того, де чорти, кажуть, смолу в котлах варять для таких грішників, як я.

Ні звуку, ні шереху – тиша, аж у вухах дзвенить! І навколо – ні лялечки. Не знаю, скільки я отак лежав досі, скільки лежу тепер. Час і простір ніби й зовсім не існують для мене. Не існую і я сам, весь перетворившись на біль. Цей біль шматує мені душу, а не тільки тіло. Він не припиняється ні на мить. Я не знаю, як вибрався з непритомності, у яку біль запроторив мене хтозна й коли і наміряється забрати й зараз. Бо я перебуваю на самісінькому краєчку відведеного мені часу чи простору – він тремтить і міниться, готовий пурхнути і відлетіти від мене назавжди. Через отой нестерпний біль і пекельний вогонь, що не вміщаються в ранах, а розлилися і продовжують розливатися всім тілом, пронизуючи його наскрізь, до кісток, до мозку, до серця! Все там на ранах зсохлося і далі зсихається, скоцюрблюється, стягуючи рани й вгризаючись у них. І в мене вже немає сили зносити цей біль і вогонь, немає сили ні закрити, ні застогнати, ні покликати когось.

Тепер я пригадую, немов у маренні чи у напівзабутті, як мене тягнуть палаючими вулицями Берліна мої товариші гупої ночі, а я висну на їхніх руках мокрим лантухом. У якомусь підвалі



наді мною схиляються вже й не наші хлопці-мінометники, а якісь офіцери в шинелях з майорськими погонами, на яких бачу емблеми артилерійські і танкістські. Вони квапливо перев'язують мене, заважаючи один одному, і руки їхні в крові. «А де ж Вася Акимов? Де Володя Титов? Де Корницький?» — злякано думаю. І все тремтить і переливається — можливо, це тремтить полум'я над окопною плошкою, при якій мене рятують зовсім чужі люди, та ще у таких високих званнях. І я впадаю в розпач і від болю, і від подиву, і від вдячності. А один майор в артилерійському кашкеті з чорним бархатистим околишем підморгує, обмотуючи мене широким бинтом: «Терпи, козаче! Отаманом будеш!»

Під той підбадьорливий, але дуже недоречний для мене бадьорий голос я знову провалююся в чорну безодню непритомності. Але й там ці офіцери лишаються зі мною, зосереджені, стривожені і сумні. Наче наміряються ще щось робити зі мною, та не знають як.

Аж тут чую нарешті дивні звуки: «Цок, цок, цок!» — по паркету і просто до мене з тої пекельної імли вогненного болю наближається, наближається щось тремтливе, невловне, вислизуюче з моєї свідомості й сприйняття і нарешті зупиняється, обійшовши з голови, у мене в ногах. І я нарешті бачу високу, струнку, білолицю і чорнобриву дівчину чи молоду жінку, всю в білому: білий халат, біла шапочка з червоним хрестом, білі гумові хірургічні рукавички на тендітних руках...

Стоїть наді мною, мовчить, уважно розглядає, очевидно, пов'язку на моїх страшних ранах, перш ніж щось з нею робити. «Не дай Боже, — думаю собі, — зриватиме бинти, індивідуальні пакети, вату й серветки, якими оті офіцери в підземеллі зупиняли мені кровотечу».

Ніби на підтвердження моєї перестороги вона бере із скляного столика довгі й криві ножиці, холодить моє розпашіле тіло їхніми обережними, але неблаганними доторками — ріже, ріже, ріже. А я дивлюся на її стрункі ноги, взуті в лаковані лодочки. «Де вона взяла їх на війні?» — знову думаю собі, а сам напружуюсь в очікуванні і боязні ще більшого, ще пекучішого болю.

— Змочить, — кажу їй.

Припиняє чикрижити ножицями, схиляється до мене:

— Не чую! — після повної тиші здається, що вона кричить надто гучно, не вдоволено й сердито. Бічним зором ловлю її вродливе обличчя — воно привітне, лише стомлене і навіть бліде. — Говоріть виразніше, — схиляється майже до мого вуха.



– Змочіть мені рани, – прошу, ледь чуючи себе, бо голосу в мене нема – пропав голос, витік із мене разом із кров'ю. – У вас же розчини чи мазі якісь є, щоб розм'якшити пов'язку. Вона ріже мене ножами, стягує рани так, що вони аж печуть! Нестерпно печуть, нестерпно!!!

– Звичайно, є, – каже вона, вправно й швидко прив'язуючи мене спеціальними ременями до операційного столу. – Ось я зараз...

Іде в глибину операційної, маленька і біла на тлі її величезних розмірів, схожа на янгола, що колись, у далекому дитинстві, летів над Матір'ю Божою в срібнім окладі бабусиної Гапкиної ікони, та нікуди не міг долетіти, бо батько, приходячи з роботи, раз-у-раз знімав ту ікону і виносив у комору.

Тепер мій Білий Янгол вертається до мене з віддаленого кутка операційної, постукуючи каблучками модельних туфельок і натираючи рукавички ваткою. По запаху я здогадуюся, що це спирт, що вона й не думає виконувати свою обіцянку, а просто дезинфікує руки перед тим, як зірвати мою пекельну пов'язку.

– Та змочіть же чим-небудь! – кричу з усієї сили, а вичавлюю із себе лише кволий стогін. – Так болить і пече, що я знову...

– Ніяких змочувань! – обриває вона сердито, підвищивши голос, мов на малого. – Знаєте, скільки там інфекції, мікробів, усякої іншої чортівні, доки вас тягли по згарищах та руїнах? – заходить з правого боку, схиляється до пораненої ноги, довго приміряється до зашкарублої пов'язки, закусює губу красивими, білими, як сніг, зубами. – Зараз буде дуже боляче!

– Та вже ж і так нікуди! – знову кричу їй.

– Напружтеся й стисніть зуби, щоб не відкусити язик! – наказує вона. І сама собі командує: – Раз!!!

В очах у мене спалахують сліпучі блискавки, на голову вергаються громи, а біль моторошним, блідо-синім смертельним спалахом пронизує мені мозок і серце, і я провалююсь знову в знайому, густу й липку темінь, з якої ото виринув на якусь хвилину.

2.

Опритомнівши, бачу нарешті високу стелю прямо над собою. Бо лежу вже не на животі, як досі, а на спині. І головне – зовсім не відчуваю болю! Що ж зі мною сталося за час тривалої непритомності? В ногах у мене зосереджено вовтузяться в повній тиші двоє білих-білих мужчин: білі халати, білі шапочки, натягнуті на



самі брови, білі маски до самісіньких очей. У вузьких щілинах палахкотять напружені погляди.

Один з них тримає обома руками мою поранену ногу, а другий із певним зусиллям, але обережно й повільно крутить якийсь коловорот, від чого мене немилосердно підтягає до себе, але ніяк не підтягне: між ногами в мене стирчить нікельований, сяючий стержень, сантиметрів 10 в діаметрі, товстий і непохитний. Він міцно впирається мені в проміжність, але я абсолютно не відчуваю навіть його дотику. І перевівши погляд на отой коловорот, який повільно, але безперервно крутить мовчазний лікар, помічаю ступню своєї правої пораненої ноги, міцно пристібнуту широкими ремінними петлями до металевій деталі у формі товстої й ребристої підошви. Ото ж ту «підошву» й накручує велетенським гвинтом до себе мовчазний лікар чи санітар, витягаючи з мене всю поранену ногу, як на дибі!

– Що ви робите? – здивовано питаю мовчазних лікарів, зовсім не відчуваючи не лише болю, а й дотиків до тієї напевне холодної і ребристої «підошви».

Вони мовчки продовжують свою роботу, не звертаючи на мене уваги. Потім той, що тримає мою ногу, очевидно контролюючи весь процес, полегшено випростовується і каже напарникові:

– Все! Можна гіпсувати, – і, підійшовши ближче, схиляється наді мною, пильно дивиться мені у вічі, прикладає прохолодну й слизьку гумову печатку до моєї щоки, питає:

– Як себе почуває наш пацієнт?

– Нарешті позбувся болю. Але що це ви робите з моєю ногою?

– Витягаємо, – каже він спокійно і навіть розважливо. – Розумієте: у вас перебита кулею шийка стегна. Інші дві кулі, очевидно, розривні, пробрили вам таз і роздробили на вильоті сидальні кості з правого боку. А м'язи, звільнені від кістяка, мають здатність скорочуватися. Ну, отака їхня функціональна властивість. То ми витягаємо вашу ногу на нормальну довжину, щоб гіпсом зафіксувати її і дати можливість нормально зростися кісткам – заповнити в них гранулами вибиті кулями фрагменти. Вам зрозуміла моя лекція з остології? – іронічно всміхається він.

– А чому я не відчуваю болю?



— Бо ми зробили вам спинно-мозговий укол. Своєрідне введення наркозу, можна сказати: місцева анестезія. При ній відключається нервова система всієї нижньої частини вашого організму на час оцієї й інших операцій, які ми вже провели, доки ви були в непритомному стані. Тепер лишається гарно і міцно накласти гіпс, щоб зафіксувати вашу ногу саме в такому положенні, якого ми домоглися завдяки установці професора Юдіна. До його винаходу гинули майже всі пацієнти з отаким пораненням, як у вас.

— Значить, у мене тяжке поранення?

— Дуже тяжке! Три кулі! Ви, як мовиться, народилися в сорочці: ні головні нерви, ні сухожилля, ні головні артерії й вени у вас не перебиті кулями. Зовсім не постраждали. Є надія врятувати вам ногу. І що головне – повернути їй всі функції в повному обсязі.

Доки професор пояснює характер мого поранення і моє становище, двоє санітарів приносять чан з розчинним гіпсом і під орудою того лікаря, що крутив гвинт, витягуючи мою поранену ногу, починають гіпсування. Професор зараз же приєднається до них і весь час квапитиме: «Швидше, хлопці! Доки не минула дія уколу, а гіпс не захолов і не загус!»

І саме в цей тихий час з брязкотом і гуркотом розчиняються обидві половинки дверей, в операційну влітає та сама медсестра, що зривала мені першу, найбільючішу пов'язку, в тих самих туфельках на високих каблучках, і, порухавши три сходинки, впаде на коліна, здійме руки до стелі (а здасться – до самого неба!), крикне:

— Наші Берлін взяли-и-и! – і заригає вголос, закривши обличчя руками.

В операційній зчиниться лемент! Мене всі дружно покинуть – професор білими від рідкого гіпсу руками обніме сестру, забруднивши її білосніжний халат, плечі і шию, нестямно цілуватиме їй обличчя, губи, очі. Інші плакатимуть, стрибатимуть і кричатимуть «Ура!» А я лежатиму на тій страшній витяжці, весь у рідкому й теплому гіпсі від грудей до пальців ноги, що все ще міцно прикріплена до ребристої «підшови», схожої на тортурну дибку, і вперше заплачу навзрид. Вже не від болю, а від щастя.



3.

Мене вже закінчуватимуть гіпсувати, коли в операційну увірветься молоденький лейтенант:

— Товаришу професор Вирубов! Командуючий наказує вам рівно через годину бути в нього! Форма парадна! – Збуджено-радісний, він весь сяє урочистістю, якої не годен вгамувати. Але, затримавшись на мить, підморгне професорові: – Яка знайдеться форма, у такій і з'являйтесь. Тільки щоб в ажурі!

За якоїсь півгодини мене знімуть зі станка Юдіна й покладуть тут же, в операційній, на дерев'яний жорсткий тапчан. Біль починає невблаганно повертатися – якийсь ще пекучіший і гостріший, ніж досі. І я тепер не знаю, кого ж благати, щоб його хоч трохи вгамували?

А за вікнами операційної лунає стрілянина серед глупої ночі, спалахують у небі ракети, сповіщаючи, що Берлін нарешті наш! Нікого-нікогісінько в операційній немає. А мені здається, що вже й не буде. Що всі покинули мене й забули за цією великою радістю, що охоплює всіх – від рядового бійця і санітара до самого суворого Маршала Жукова! То яке кому діло до якогось пораненого сержанта?!

Але не встигну я отак осоружно подумати, як в операційну швидко зайде той самий професор Вирубов у парадній формі генерал-майора з широкими червоними лампасами на синіх брюках навипуск, із золотими широкими погонами на новесенькому кітелі з тонкого англійського сукна кольору хакі – високий, стрункий, ще зовсім молодий. Потім мені скажуть, що йому всього 32 роки, але у високій чорній шевелюрі, розчесаній на пробор після душа, вже зрідка пробивається тонкими нитями сивина, а скроні й геть благородно срібляться, надаючи його вроді аристократизму й шляхетності.

При такому параді, він вразить мене мужньою красою. І я остаточно переконаюся, що ота вродлива медсестра закохана в нього, може, ще й більше, ніж він у неї. Бо навіть при такій фарсмажорній і радісній звістці, як взяття Берліна, так несамовито й жагуче цілувати вродливу молоду жінку чи дівчину може тільки мужчина, який володарює над нею і любить її безтямно! І мені стане радісно за них, так що й біль ніби вгамується.

Але Вирубов, виявляється, саме тому й зайшов до мене в операційну перед візитом до Командуючого, щоб попередити про ті випробування, які ще тільки чекають на мене в майбутньому! Він мовчки й швидко налле повен фужер спирту, візьме



в другу руку графин з водою і, підійшовши до мене впритул, скаже:

— Вам буде дуже боляче. Дуже! Тому зараз же ви вип'єте з моїх рук оцей фужер спирту, я його заллю з графина водою – його і вас! Зате він притупить біль, і ви заснете, сп'янівши. Ну! – він кивне молоденьким хлопчикам-санітарам, що носять в цьому госпіталі поранених, і вони підведуть мені голову, майже посадять. А професор Вирубов вправно увіллє мені в рот палючий і майже сухий спирт, ще вправніше залле мені в рот півграфина води і при цьому кричатиме:

— Тільки не дихати! Не дихати! – і поставивши на скляний столик з інструментами графин і фужер, витре салфеткою мені обличчя і шию – вони будуть залиті і спиртом, і водою. – Тепер – спати! Це єдиний рятуюнок для вас. І пам'ятайте: що б з вами не трапилося, ніколи не дозволяйте вводити вам морфій чи понтапон, де б ви не були! Хоча... Я вас заберу з собою в санітарний поїзд Центрального клінічного науково-дослідного госпітала Червоної Армії, з яким я прибув по перешитій широкій колії до Франкфурта-на-Одері за найтяжчими пораненими учасниками штурму Берліна за розпорядженням самого товариша Сталіна!

Він пройдеться вздовж мого тапчана, нагеться до мого обличчя:

— Скажіть спасибі начальниці санроти вашого 101-го гвардійського: в анамнезі вона вкаже, що Ви – десятикласник, що в «Красной звезде» опубліковано ваше оповідання, а головний редактор газети генерал-майор Таленський пришле вам у полк особистого листа. Ці відомості не є обов'язкові для таких первісних документів про поранення, як анамнез. Але ж яка розумна ота жінка – старший лейтенант, командир вашої полкової санроти! Я докладу всіх зусиль і вміння, щоб врятувати вам ногу! Можна сказати: виняткових зусиль – не часто ж трапляються пацієнти, які друкуються в «Красной звезде»! Так що будемо жити, сержанте! – він потисне мені руку і, глянувши на годинник, швидко покине операційну.

А муки й страждання від тяжкого, майже смертельного, поранення, а потім від дев'яти операцій під загальним наркозом залишаться зі мною майже на два роки! На моє щастя – все це відбуватиметься під наглядом професора Вирубова і консультаціями самого Головного хірурга Червоної Армії, Президента Академії медичних наук СРСР Генерала Армії Бурденка. Він під час загального сепсиса, що підстереже мене, наполягатиме на ампутації,



але Вирубов стоятиме на своєму і таки збереже і навіть вилікує мою безнадійну ногу.

Як же я можу забути цих людей? І столицю моєї Великої Батьківщини – Радянського Союзу – Москву, що подарує мені фактично друге життя!?

Такі речі стають твоєю долею і не забуваються до самої смерті!

4.

Не знав я тоді, та й не міг знати, що такі болі й тортури судяться мені на два роки госпітальних поневірянь. Та й супроводжують вони мене через усе життя. Коли вже нікого-нікого: ні командирів, ні друзів, ні батьків, ні сестер, ні шкільних друзів, ні дружини, ні літературних ровесників.

*Життя стужив, і друзів пережив,
І помирав зажурено і просто...*

Це – Ліна. Про Мікеланджело. Не знаю, як можна отак написати в молодості? Замолоду. Так пишуть про геніїв тільки генії.

Віддаленіло. Відгуло. Завихрилося за вітрами часу. Все на світі: і війна, і марші по бездоріжжю, і лихі та добрі люди, й поранення, і поневіряння та несправедливості. Але нічого не забувається. Нічого!

Особливо пам'ятаються загиблі друзі і командири, їхні смерті у тебе на очах. І хоч на столі в мене – лише фото двадцятилітнього Сухова в безсмертній гімнастерці з підкомірцем, який у нього завжди був білий та свіжий стараннями старого башкира Юнусова, що доглядав їх обох з Хуратовим, як малих дітей, у «повсякденних» погонах, з портупеею та пряжкою на ній, з орденами Червоної Зірки та Вітчизняної війни, з гвардійським значком під ними, з лівою кишенею, з якої вийняв він Галиного листа при останній нашій зустрічі в отому передвечірньому лісі, – все мені здається, мариться, уявляється й понині весь наш гвардійський 101-й полк, Вісла і Одер, Зееловські висоти і Темпельгофський аеродром, де Сухова вбито. Задимлений і розбитий Берлін, взятий нами такою кров'ю, такими подвигами і втратами! І всі-всі, кого я там знав і любив, з ким разом воював і ділив фронтові злигодні, – всі вони ніби стоять і досі за Суховим, у глибині його фотографії, що дісталася мені від нашої Наді, малесенька, як ото для паспорта чи якогось, зокрема офіцерського, посвідчення...



Старий і добрий єврей Давидзон — великий фотограф від Бога — власноручно виготовить із крихітного фронтового відбитка прекрасний портрет нашого незабутнього Миші Сухова. Дивлюся на його ще зовсім дитяче обличчя, ще не сформоване, з розпливчатими рисами, але вже тверде й мужнє, на його буйний чуб, збитий у товстий школярський чубчик, що рідко розчісувався на війні, — усе під пілоткою та під шапкою-вусанкою! Коли там його розчісувати в боях чи на маршах, в атаках та наступах, при форсуванні рік, коли ще й підводи з мінами та кіньми треба якось переправляти на тісних і гамірних переправах.

Дивлюся й не можу надивитися. На нього самого і на тих, хто ніби зачаївся отам, за його плечима, в отому чорному тлі, що нагадує Чорну Діру Всесвіту, в яку втягуються цілі галактики, спресовуються і стають крихтою ущільненості й неймовірної ваги всесвітньої матерії. Чи не отак і наш 101-й гвардійський, полігши на Фрідріхштрассе, як полягли інші полки й дивізії, армії і фронти, став спресованою часткою Слави і Подвигу, вагу яких не виміряти й космічними пристроями?!

І досі не віриться, що їх немає і вже ніколи не буде — ні рідного полку, ні дивізії, ні армії, ні батальйону, ні роти, ні когось із командирів: або вбиті, або померли від старості, бо всі ж були старші за тебе! А тепер уже не стало й самої Червоної чи Радянської Армії, вкритої славою переможниці вермахту і фашизму. А якісь ублюдки й покидьки ще сміють іронізувати над її славою і подвигами?! Немає й Великої Держави — СРСР, що вистояв у найтяжчий період без підтримки союзників-хитрунів перед фашистською навалою.

Гірко, тяжко й боляче думати про це. Але хоч би що говорили, писали, хоч би як оббріхували нас, ми знаємо й пам'ятаємо і свою Державу, і Армію свою, і своїх бойових друзів та командирів. Знаємо й ціну нашої Перемоги. Знає їй ціну й Історія, яку не переробиш, і не перепишеш, і не переінакшиш. А всі ці глобальні, стратегічні поняття втілюються для тебе в образи твоїх друзів і командирів, генералів і маршалів, командуючих арміями і фронтами, полководців Великої Вітчизняної війни.

5.

«Все минає», — скаже навіки іудейський цар Давид.



«Нічого не минає безслідно», — додасть його син Соломон-Премудрий. Він же й Еклезіаст у Біблії з його «Піснею пісень» та іншими незрівнянними й незабутніми афоризмами.

Обидва вони праві перед лицем історії і людства. Але ми й без них знаємо: нічого не можна викинути з історії! Спаллюжити, оббрехати на якийсь час із кон'юнктурних міркувань, щоб комусь догодити всесильному?

Дарма! Всесильні стануть безсилими, а найбагатші помруть. Історія ж залишиться навіки! Її не перепишеш і не сфальсифікуєш назавжди.

Саме вона й стоїть на моєму столі — Історія! В образі двадцятилітнього старшого лейтенанта Сухова. І ніхто — ні Держави, ні Час, ні ідеології, ні сонмище пасквілянтів не в змоззі змінити його образу, його постаті, його обличчя, його суті — суті Захисника Вітчизни і Людства від фашизму!

Про нього хочеться сказати словами Андрія Малишка:

*О, мій русявий Прометею,
Загублений в ночах війни...*

А ще — і це, мабуть, найголовніше! — за ним, уродженцем «деревни Варварино Мокшанского района Пензенской области» — вгадується і стоїть Росія!

Стоїть і не проходить! Рідна сестра України! І хай там біснуються оплачені траншами і нагородами Держдепу США, ЦРУ й української діаспори з числа колишніх «дивізійників», як вони себе нейтрально називають, а насправді вояків 14 дивізії СС «Галичина», каральних батальйонів «Нахтігаль» («Соловей») і «Роланд», які після розгрому Червоною Армією «перетекли» в УПА, — хай вони та їхні хазяї біснуються в ненависті до Росії, а народів-братів, що постали з однієї коліски — Київської Русі, нікому й ніколи не роз'єднати!

Запам'ятайте це, загумінкові хуторяни, й дітям своїм перекажіть! Бо Україну вам ніколи не загнати в криївки і схрони! Як і в призьбу крайньої хати, щоб звідти через тин давати дулі великому сусідові-брату! Ми загинемо в цьому жорстокому, зглобалізованому світі без російського газу і нафти, без нашого братерського співробітництва. Бо «дядько Сем» уміє руки, як тільки ми замерзатимемо в нетоплених містах і селах. Ще й сміятиметься над нами, що ми такі дурні і слухняні, виконуючи його настанови про ізоляцію Росії від решти цивілізованого світу — саме ворожнечею наших братніх народів.



З люті й ненависті ні храму, ні собору, ні будинку не збудуєш!
«Бо тільки нею, тільки Любов'ю держиться і живиться світ!» –
написав один з великих синів Росії – Тургенєв.

Не забуваймо цієї простої, ясної і правдивої Істини!

*Конча-Озерна,
21 серпня 2010 року*



РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ

... ТОВАРИШІВ ЛІЧИТИ

У муках і стражданнях після важкого поранення вони всі приходять до мене безсонними ночами, і я соромлюся при них стогнати. Не завдаватиму зайвих клопотів ні нянечкам, ні сестрам, ні лікарям.

Приходять і зараз, коли важко зносити наругу й брехню. Стоять, і дивляться на мене, і мовчать, суворі й неприступні, як сама Правда.

А поміж ними, покурюючи люльку, походить Михайло Олександрович Шолохов — Великий Письменник ХХ століття. І не тільки Двадцятого. Автор найкращого роману в світовій літературі! Теж оббріханий, як усі ми. Як Велика наша Держава, підло зраджена Генеральними Секретарями й Президентами. Заново звинувачений Солженіциним у плагіаті після Нобелівської премії. Пострибає-пострибає цей бородатий цап, щоб доплигнути до Генія й заступити його, оббрехавши, та й вгмониться. Шолохов залишається Шолоховим на віки вічні, а Солженіцин — Солженіциним, а також тим, що чується в корені його прізвища.

Ходить-походить поміж моїх бойових друзів й командирів і гордий, високий, вродливий Олександр Твардовський, що ділив з нами все і написав про нас і всіх інших бійців і командирів по гарячих слідах чи не найкраще:

*Переправа, переправа, берег левий, берег правий,
Снег шершавий, кромка льда...
Кому подвиг, кому слава. Кому темная вода —
Ни приметы, ни следа!*

І у вірші «Когда окончилась война» підсумок-реквієм:

*Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числится в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...*



І наш незабутній і полум'яний Андрій Малишко й досі журиться разом із нами:

*Немало ми воювали, стоптали чобіт рудих.
І якщо вбитих згадати, то я заплачу по них.
А якщо живих згадати, — хай заніміє плач!
Друзі ідуть полками. І я серед них — сурмач.*

І Симонов, теж із люлькою, походжає поміж ними, питає роздумливо:

*Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?
Когда шли осенние, злые дожди...
Как крижки песли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.*

*Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась!*

Ніколи не був близьким з Олександром Межировим, який нещодавно тихо вмер у Нью-Йорку. А вірш його «Коммунисты, вперед!» залишився тут, на Батьківщині, назавжди:

І я не можу забути його. Не можу й не навести тут:

*Летним утром граната упала в траву,
возле Львова застава во рву залегла,
Мессершмитты плеснули бензин в синеву, —
и не встать под огнем у шестого кола.*

*Жгли мосты на дорогах от Бреста к Москве,
шли солдаты, от беженцев глаз отводя.
А на башнях закопанных в пашню КВ
высыхали тяжелые капли дождя.*

*И без кожуха из сталинградских квартир
был «максим», и Родимцев ощупывал лед.
И тогда еле слышно сказал командир:
«Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!*

І я знаю, що всі вони в мене є! Як Шевченко. Як Франко. Як Коцюбинський. Як Леся Українка, як Довженко і Олесь Гончар, що б про них не писали «сучасно мислячі вчені».

А в Москві є Юрій Бондарєв — ровесник мій і Сухова, представник отої когорти безвусих лейтенантів 41-го, великий росій-



ський письменник та мій друг. Написав потрясаючий сучасний роман «Бермудський трикутник» про ельцинський дежавний бандитизм, про розстріл законно обраного парламенту Росії, про тортури і хамство сучасних «временщиків» та нищення наукової й художньої інтелігенції. Читаючи його листи і романи, ніби повертаюся у нашу Велику Вітчизняну війну: вона ще триває, і я стаю з Юрієм пліч-о-пліч, як і тоді, на фронті...

Де ви, милі мої, далекі та незабутні? Я з вами, з вами! І досі...

*Феофанія – Київ – Конча-Озерна,
1984 - 2004 рр.*



МЕРТВИМ НЕ БОЛЯЧЕ?

ЕПІЛОГ

*«Взгляни на братъев, избивающих
друг друга!
Я хочу говорить о печали...»*

Экклезиаст

«Літературна Україна» давно стала своєрідним «Дацзи-бао» антирадянщини та русофобії. Особливо за «помаранчевої революції» та нинішнього «В.о. головного редактора». В народі сказали б: «Пустилася берега» в люті й фальсифікації Радянського періоду нашої історії. А вона ж таки наша – іншої в нас не було. Якщо не брати до уваги ідеологічну маячню про якусь віртуальну Україну, яка «не брала участі в Другій світовій війні, а була «фантомом», жертвою двох імперій, що билися на її просторах». Ця віртуальна Україна існувала лише в уяві бандерівсько-мельниківських прислужників фашизму. Але існує і зараз у їхніх послідовників, які запевняють і досі у своїй люті й ненависті, що Радянської України «не існувало»?!. Бо вони її не визнають. Новоявлені «емпіріокритицисти»: «Світ існує доти, доки я його бачу!»

Це ж стосується і ненависті до Великої Вітчизняної війни, до мільйонів наших співвітчизників – живих і загиблих у битвах з фашистською Німеччиною, до славетних наших полководців. Серед яких немало українців. А Ватутіна, котрий щойно звільнив Київ і врятував його жителів від гітлерівських вішателів, убили із засади «упівці» – бандерівські посіпаки. Мов би «борючись за Україну»? А видатного аса не тільки Великої Вітчизняної, а й усєї Другої світової війни – Івана Кожедуба й досі вважають «чужим»? Свого брата – українця! Бо й досі ж немає йому, тричі Героєві Радянського Союзу, пам'ятника ні в Києві, ні в Україні.



«Помаранчеві» ж послідовники Бандери, що правили Україною останніх п'ять років, вважали його лютим ворогом! То що ж це за люди? Що за українці?

Минулого року 9 травня, в День Перемоги, «В.о. головного редактора» під самісіньким логотипом «ЛУ» вмістив панегірик ОУН-УПА. А на решті шести шпальтах навіть не промелькнуло слово «Перемога»?! Не згадалися подвиги українського народу на фронтах Великої Вітчизняної, страждання воєнного лихоліття, втрати, скорбота по убієнних на полях битв! Тим самим «ЛУ» протиставила і продовжує протиставляти себе українському народові: вдовам, сиротам, сім'ям загиблих, їхній пам'яті про родичів, що полягли у битві з фашизмом. А також протиставляє себе усім живим, чудом уцілілим воїнам Великої Вітчизняної. Що це? Зухвалість чи крайній цинізм? Чи спроба окупувати маленькою Галичиною – Велику Шевченкову Україну, нав'язати їй свою антилюдську націоналістичну ідеологію, католицьку віру і чужий їй менталітет? Але ж... цього ніколи не буде! Запам'ятайте! І перекажіть Вашим ідеологічним наставникам!

Чи Вам, пане «В.о.» та іже з Вами, на народ (як на бидло, по-Вашому) наплювати? Наче він не Ваш. А може, він Вам ворожий? Тоді замініть український народ на якийсь інший, якщо зможете! А якщо ні, то самі йдіть геть з «цієї країни». Бо вона Вам чужа. Чи Ви маєте якусь іншу батьківщину?

Особливо обурює ненависть до Великої Вітчизняної війни, постійне її оббріхування і фальсифікація. Ось і в останньому №14 «ЛУ» за 22 квітня – на першій сторінці – вміщено під заголовком «Імперська трансформація» роздуми Миколи Петренка «То на якій війні ми воювали?» Не знає, бідолаха! Чи, як кажуть «Злодії в Законі», «Косит под дурака»?

Знає, добре знає! Але брудним квачем наклепу мітить її, як колись давно по глухих селах кваццали дьогтем ворота гулящій, розбещеній дівці на глум і наругу. Хоч і запевняє, що брав участь саме у Великій Вітчизняній «...від другого дня до її завершення». А кількома абзацами нижче уточнює: «...від нашої бойової одиниці лишилося саме ошмаття. Попереду... – окупація, німецькі табори – концентраційні, трудові».

Оце так він «воював» – «від другого дня до її завершення». Тому, мабуть, і вважає Велику Вітчизняну... – «імперіалістичною»!? Бо, переслідуючи армію фашистських загарбників і окупантів, перейшла власний кордон, щоб добити, як тоді писали газети, «фашистського звіра в його лігві і визволити народи Європи



від фашистського поневолення й винищення». Ось за цей благородний намір колишній «вояка» ліпить Великій Вітчизняній, «прозрівши», ярлик «імперіалістичної».

Навіть про визволення Західної України та возз'єднання споконвічних українських земель в одній країні тлумачить по-своєму: «17 вересня польсько-радянський кордон перетнули червонопрапорні полки – у якій війні вони брали участь?» Сам же й відповідає: «Аж ніяк не у Вітчизняній! У Другій світовій, імперіалістичній за характером: загарбання чужої території». А що Варшаву німецькі війська взяли на чотирнадцятий день, що Ридз-Смігли, «головнокомандуючий» польської армії, та уряд покинули Польщу напризволяще і втекли в Румунію, прихопивши золотий запас країни. А «всхіднім кресам», як кажуть поляки, загрожувала німецька окупація, – все це Миколу Петренка не турбує. Може, він і має рацію? Треба було залишити Галичину в лабетах Гітлера? Та в складі повоєнної Польщі? Не мали б клопоту тепер з «українським П'ємонтом»? Але Сталін та уряди України і Радянського Союзу міркували інакше: вони визволили західних українців та білорусів і повернули у лоно їхніх автохтонних народів, від яких вони були насильницьки відірвані. Яка ж це «імперіалістична війна»? Але пан письменник твердять своє, найбезглуздіше!

І ні тобі совісті, ні честі! Одна піна скаженої ненависті! Хоча... Співається ж в Гімні України: «Будем, браття, панувати у своїй сторонці»? А там – хоч вовк траву їж! «Яке нам діло до страждань наших братів у чужих землях?» – можна й так міркувати. От Микола Петренко й міркує саме так про визвольний похід Червоної Армії у вересні 1939 року.

А стратегічний намір – остаточний розгром агресора у Великій Вітчизняній війні – його, очевидно, не цікавить. Або лежить за межами його розуміння? Тоді й претензій до нього немає – які ж можуть бути претензії, якщо людина не розуміє елементарних речей? Чи придурюється, що не розуміє.

Навіть на Радянську літературу із «Газети письменників України» ллється з номера в номер такий бруд, ніби й не з неї вийшли ми всі. Вона ж існувала і розвивалася впродовж цілих 70 (сімдесяти!) років ХХ століття! Чи її теж «не було»? То звідки ж ми всі з'явилися, як не з неї – з Радянської літератури, яку Ви проклинаєте, не знати, за що?

Як і наклеп М.Петренка на Велику Вітчизняну війну, обурює «Лист до редакції» Михайла Іванченка «А хто захищатиме душу?!», теж вміщений на першій сторінці «ЛУ» №14 за 22 квіт-



ня, і я взявся за перо, щоб висловити свій протест, викласти альтернативне судження на ті ж самі теми, хоч я давно вже відмовився від участі в дискусіях на сторінках «Літературної України» через її нинішнє ідеологічне спрямування. Як відмовилися від співробітництва з нею покійний Павло Загребельний та, Слава Богу, ще жива Ліна Костенко.

Михайло Іванченко у своєму листі цілком слушно твердить:

«...перебудова обернулася руйнуванням. Україна бідніла, немов після німецької окупації. Живі класики й молоді письменники відвернулися від «боротьби за інтереси трудящих», збочили на путівці позиченої цивілізації. Захопилися дослідженням фізіології гоміків та «лесбі», технологією злочинств, подвигами новоспечених пройдисвітів... Народну пісню загнано в гетто, українську вдачу заступив менталітет люмпена і хижака».

З його болісними й гіркими роздумами не лише погоджуєшся, а й розділяєш їх сповна! Я й сам не раз писав про те, як насаджуванням прагматизму, споживацтва, грошолобства й бездуховності вбивають людину в людині сучасні «глашагаї» – «помаранчеві» керманічі, ідеологи, політологи й інша чортівня, що зве себе не інакше, як «елітою». Волав про це в багатьох газетних і журнальних публікаціях, а також у книгах «Не вбиваймо своїх Пророків!» та «Гамбурзький рахунок». Тому підтримую його тривоги за сучасний стан України та занепад її духовності, моралі, культури й літератури.

А обурила мене інвектива М.Іванченка на адресу Радянської літератури: «Зі «світлого минулого» у світлішу сучасність вона (література – О.С.) перетягнула баржу з баластом комунографоманів і досі славить їхню макулатуру».

Тому й питаю через «Газету письменників України»: «Це ж кого Ви, пане письменнику, зараховуєте в «баласт» і в «графомани»? Довженка, Тичину, Рильського, Головка, Яновського, Сосюру, Малишка, Гончара, Стельмаха, Мисика? Може, Загребельного, Земляка, Чендея, братів Тютюнників, Вінграновського, Гуцала, Симоненка, Дрозда, Віктора Близнеця?» І Вам не боляно брати на себе тяжку відповідальність за цю обмову? За обмову мертвих, про яких, за народним звичаєм: «Або – нічого! Або – тільки хороше!»? І тут мимоволі пригадується біблійне:

«А ТИ ХТО? КОТРИЙ ОСУДЖУЄШ ІНШИХ?»

Що видатного зробили Ви в літературі, щоб отак зверхньо паплюжити славетних попередників? Щось не доводилось чути про Ваші літературні успіхи. Навіть ім'я Ваше досі невідоме, скажімо,



за Жмеринкою чи Бердичевом. А топчетесь по таких яскравих талантах, без яких українську літературу й уявити неможливо!

Напишіть хоча б «Подвійне коло», як написав Яновський заспів до знаменитих «Вершників». Та видайтеся кількома виданнями в Парижі, як видавався неодноразово його роман! Але й тоді отак принизливо і люто писати про геніїв чи варто?

Замисліться над своїм вчинком! Треба ж нарешті відповідати за свої твердження! Та й в душу собі загляньте: чи є в ній совість, сумління, відповідальність та гідність людська, щоб отак, «одним махом – сімох побивахом!» Та ще й мертвих. А з чим же ми лишимося без цих Талантів? З Вашим, вибачте, доробком, про який поки що ні слуху, ні духу? Он як легко і хвацько вимахуєте голову! А чи завоювали Ви це право своїми досягненнями в літературі? Адже рано чи пізно, повторюю, за це доведеться віповідати! Хоча б перед своїм письменницьким сумлінням.

МЕРТВИМ, ЗВИЧАЙНО, НЕ БОЛЯЧЕ.

Але втіха від цього мала: боляче живим, коли принижують і таврують тих, кого вони любили і шанували все свідоме життя, як свою душу! Як своїх предтеч і вчителів! Навіть і зараз шанують і люблять так само. А багатьом з них навіть поклоняються й досі. Яке ж Ви маєте право паплюжити їх, наших кумирів і вчителів?! Чи Вам наплювати й на нас – живих Ваших колег? Доки ж пануватиме отаке бузувірство й варварство в нашому літературному процесі, у самій Спільці, в письменницькій газеті та в нашому середовищі?! Яке навряд чи й правомірно називати письменницьким: тільки вандали отак блюзнірськи ставляться до своїх предтеч і попередників!

Хочеться спитати й Вас, шановний добродію Вікторе Грабовський: у що ж Ви перетворюєте, та вже й перетворили, «Газету письменників України»? Чи не в зборище антирадянщиків-ревізіоністів, нездатних продовжити й розвивати художні традиції рідної української літератури? І через своє безсилля готових обпльовувати всіх талановитіших за себе! Паплюжити й розвінчувати все, що надбано попередниками, прикриваючись політичними звинуваченнями й інсинуаціями, які не мають ані найменшого відношення до літератури!

І ще одне. Перед 65-літтям Перемоги над фашистською Німеччиною «ЛУ» в одному з попередніх чисел відкриває світові приголомшливу новину: головним ворогом Гітлера, виявляється, були не Сталін, не Черчилль і не Рузвельт; не Червона Армія та її полководці Тимошенко, Жуков, Василевський, Рокосовський,



Конєв, Єременко, Ватутін, Малиновський, Черняхівський, Гречко, Черевиченко; не армії Союзників на чолі з Ейзенхауером, де Голлем та фельдмаршалом Монтгомері, а... Степан Бандера?! Котрий, як і Мельник, перебував на утриманні відомства Гейдріха – Гімmlера, був платним агентом Абвера адмірала Канаріса! Це ж його в кінці війни, в березні чи навіть у квітні 1945-го, врятував за наказом Гімmlера і самого Гітлера відчайдушний терорист Отто Скорцені, вивізни в останню хвилину з Кракова – буквально з-під носа у смерша!

Для подальшої підривної роботи проти Радянського Союзу.

Чи Ви хоч задумуетесь над тим, що друкуєте? Чи аби тільки більше злоби, люті, ненависті до «совецького минулого» і брехні? А східну народну мудрість, наведену Расулом Гамзатовим у романі «Мій Дагестан», забули? То я нагадаю Вам:

«ЯКЩО ТИ ВИСТРІЛИШ У СВОЄ МИНУЛЕ З ПІСТОЛЕТА, ТО ВОНО ВГАТИТЬ У ТЕБЕ З ГАРМАТИ!»

Та ніяка мудрість, очевидно, Вас уже не переконає! Ви до того засліплені ненавистю до Радянської влади, до Росії, до Великої Вітчизняної війни та її мертвих і живих воїнів, ніби шойно вилізли з криївки чи зі схрону з «гвером», щоб розстріляти наше славне, тяжке й гірке минуле й лишитися в пустелі ненависті й люті до другого пришестя. Хоч гармати коти, а фальсифікувати наше минуле Ви вже не перестанете! Дуже далеко зайшли у своїх наклепах! І на історію України Радянського періоду, і на нашу Перемогу, і навіть на літературу «совецького», як Ви пишете, періоду. Забракне теми? Чи немає ради проти цієї пошесті? Ніби проти чуми, холери, раку, СНІДу. Чи від туберкульозу, від якого загинув недавно найближчий і найдавніший мій друг – Павло Загребельний. А на ненависті ж нічого не побудуєш! Тим більш – Літературу. Ви ж розумна людина – знаєте це не гірше за мене! Проте нагадаю:

ПАПЛЮЖАЧИ МИНУЛЕ, ВИ ПОЗБАВЛЯЄТЕ СВОЮ ВІТЧИЗНУ МАЙБУТТЯ!

Сподіваюсь, Ви знаєте цю істину. Її проголосили древні біблійні мудреці.

Отож, чи не пора змінити ненависть на толерантність та об'єктивність? Спробуйте! І Ви побачите, як стане світло і ясно у світі, коли Ви позбудетесь заданої вам даллесами та бжезинськими, бандерами та мельниками ненависті. Як розвіється мракобісся наклепів, фальсифікації історії, прокляття Радянського минулого, що не обмежувалося ні «гулагами», ані «голодомора-



ми» та суцільними розстрілами й сандормохами. Переважали набагато світліші, щасливіші прояви справжнього (а не вигаданого й сфальсифікованого ненависниками у своїх тлумаченнях) нашого Радянського життя! З вільною радісною працею, з творчістю і Любов'ю, з народженням дітей і пісень, з написанням і виданням нових книг, з постановкою нових опер і спектаклів, з виходом на екрани нових прекрасних фільмів! Не гуляли вітри по спустошених павільйонах умерлих кіностудій. Не розвалювалися по селах закриті бібліотеки і клуби. А міські кінотеатри не ставали ні пристановищами ігорних автоматів, ні торговими установами, ні таємними притонами для демонстрації відвертого й жорстокого «порно».

Безробіттям, всезагальним жебрацтвом і поголовною бідністю, безправ'ям робочої людини у ньому й не смерділо, як зараз!

Що не кажіть, як не злобствуйте, а Україна саме за Радянської влади досягла в своєму розвитку апогея – найвищих досягнень за всю свою історію – в економіці, науці, культурі, в освоєнні і впровадженні у виробництво новітніх технологій. Займала Десяте (!) місце серед найрозвиненіших країн світу! А тепер, добродію? Де вона тепер? Поруч із Зімбабве чи Гондурасом? Тобто серед країн так званого третього світу? Та й то – на останніх позиціях? І хто ж її довів до такого стану? Не знаєте? Чи важко й небезпечно визнати? Тоді скажіть своїм читачам: що збудовано в Україні за 20 років?

Можна скільки завгодно галасувати, нагнітаючи ненависть до Радянського періоду нашої історії, та не гріх і зупинитися, поглянути в очі дійсності: Бушів – і старшого, й молодшого – давно немає в Білому Домі. Немає там і лютого антирадянщика і русофоба Збігнева Бжезинського – цього біглого полячишки, що контролює виконання Плану Аллена Даллеса «для СРСР». Та й для всього іншого світу. Заради возвеличення США і розквіту «Золотого мільярда» за рахунок решти людства. А Ви все запопадливо виконуєте його настанови. Доки? Прокиньтесь, нарешті!

Півень давно вже пропіяв втретє, і Петро відхрестився від Ісуса-Єшуа-Геноцрі, а Ви й досі співаєте (чи й танцюєте?) під дуду любого Вам Збігнева Бжезинського! Забули тяжке каяття відступника Петра, якого все одно повісять за імператорства Нерона?

Дивно... Пора б уже й прозріти. «БРЕХНЕЮ (на свою історію – О.С.), – каже наш народ, – СВІТ ПЕРЕЙДЕШ, ТА НАЗАД НЕ ВЕРНЕШСЯ!»



Чи не пора замислитися над цим прислів'ям? Чи Вам «УЖЕ І ЧОРТ – НЕ БРАТ?», – як знову ж таки каже наш народ. Тоді мені жаль Вас!

«Ой, жаль-жаль!» – співається в українській народній пісні. Чули чи не чули? А в народних піснях – уся народна мудрість, поезія і Правда! А не в настановах, від кого б вони не надходили, як би високо й щедро не оплачувалися. Майте це на увазі, добродію Грабовський! Раджу Вам: облегшіть свою душу, звільнивши її від ненависті і злості!

Побачите, як Вам розпросториться світ. І як в ньому заголубіють Небеса і засяє Сонце! Зацвітуть сади, зазеленіють луки, ліси і ниви, попливуть в блакиті білі хмари! Як писав колись незабутній інтелігентний Рильський:

«Ген, поля жовтіють. І синіє небо.

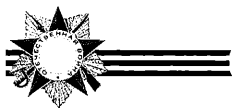
Плугатар у полі ледве маячить...»

Яка краса, колего Грабовський! І яка лірика! І ніякої тобі ненависті! Жили ж без неї письменники і поети! І писали краще за нас. Чи не так? Спробуймо й ми обійтися без люті й ненависті – може, й ми станемо більш достойнішими звання письменників, ніж зараз?

*Конча-Озерна,
24 квітня 2010 року*

**НОВЕЛИ
ЕТЮДИ
ЕСЕ**

цих окаяних літ



ОЙ ДІД-ЛАДО

Новела

Пам'яті моєї дружини

1.

Старий Ладо, не нагинаючись, вивільнить ноги з кріплень і полегшено ступить з широких лиж на сніг. Він довго стоятиме перед порогом своєї лісової сторожки, звідки ще досвіту вибереться в пущу по першому снігу подивитись, що робиться в його угіддях: останнім часом підупаде на ноги й рідко вибиратиметься пішки в обходи, а на лижах ковзатися легше. Переваляючись з ноги на ногу та підпираючись палицями, він обійде свій лісовий кордон з північного сходу і жахнеться: багато будівельного лісу вигублено за час його хвороби. Дерев валитимуть вночі бензопилами «Урал» і «Дружба» – він чутиме це із своєї сторожки, але звестися, нездужаючи, не зможе.

Навіть бачитиме з вікна, як при світлі фар вантажитимуть корабельні сосни, звільнені від гілок, на автомашини з довжелезними причепами і везтимуть, куди заманеться: хоч у Білорусію, хоч у Литву чи Росію. Там є свої ліси, але їх бережуть дужче, ніж в Україні. А крадуть у нас в цю глуху зимову пору.

І ніхто тих злодіїв не перевіряє на дорогах, не затримує на «прозорих» кордонах, не шукає та не конфіскує краденого лісу, бо держави наче й нема чи раптово не стане. Всім до всього зараз байдуже. Мов на вокзалі.

А в Ладо, коли спробує самотужки видворити порубників-браконьєрів, стрілятимуть з дробовика, поранять у шию не дуже крупним, на його щастя, шротом. І він після цієї сутички не вступатиме більш у перетрактації з ними. Бо ліс – це тобі не Ліга Націй, не ООН. Не парламентська чи президентська резиденції. Хоч тепер і президентів у їхніх власних палацах вбивають нерідко. Як убили, наприклад, Альєнде головорізи Піночета. Чи як отруїли Абдель Насера агенти ЦРУ та «Моссада».



У лісі ж, та ще в такому глухому й занесеному снігом, як зараз, убити людину – все одно, що раз плюнути. Ніхто не знатиме й не шукатиме аж до весни. А до весни що зостанеться? «Трава виросте...» – казав дід Єрошка в «Козаках» Толстого. І краще вже не скажеш.

Широкою диктовою лопатою Ладо повідкидає сніг від порога, згребе його з височенького ганку й заходиться прогортати доріжку до сажу, де рохкають з весни двоє поросят, що оцій порі вже стали добрими підсвинками. Саме ж під Різдво й Новий рік їх заколють на втіху дітям та онукам. Дешиця лишиться й самим – кров'яночка, сальце з проріззю та порібряне на борщі, які так вдало варить вже ось півстоліття його тиха та лагідна дружина.

Зараз вона другий тиждень гостює в дітей. І самотність на лісовому кордоні видається старому Ладо сушкою карою в довгі листопадові ночі. За свої експедиційні мандри навчився їсти зварити і коржа на кислякові спекти, однак те порання біля горщиків і плити здається йому знаком біди, нагадуванням про старість, про можливий кінець одного з них: коли живеш у закутку, забутому Богом і людьми, на межі трьох земель, сама думка залишитися колись в самотині викликає жах. Про це найчастіше думається ночами.

А під вечір Ладо дістане свої ваги й пристрої, зарядить більше набоїв крупною узгодженою картечню, бо вовки все частіш подають голоси з порослого терновищем яру. На кордон вони навідуються рідко – що правда, то правда. Існує непорушний вовчий закон – не полювати біля лігва, менше лишати слідів. А це впадуть на голу землю ранні морози, по навколишніх дачних виселках та садово-городніх кооперативах спорожніють літні будиночки й дачі. Хазяї, напташивши городньо-садового та лісового добра, поховуються по теплих міських квартирах, а собак покидають: не везти ж дворняг до міста? Породистих вівчарок, ротвейлерів, доберман-пінчерів, звичайно, позабирають, вигулявши за літо, бо й ціни їм не складуть. А дворняг розведуть цілі псарні – під осінь навіть весняні щенята стають дорослими. Без хазяїв, голодні й злі, усі вони довго гризуться, рвуть одне одного, аж шерсть з них летить, а потім збиваються в численні зграї й спустошують ліси, полюючи на дичину, риють землю на лузі й добувають навіть мишей.

Не потикаються тільки в порослі терном яруги – бояться вовків, бо зустріч навіть з однією вmaterнілою парою, та ще з приплотом, не віщує їм нічого доброго. Вовки ж тримаються парою

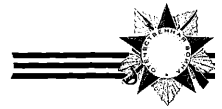
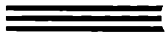


недовго: тільки в шлюбну пору та доки вовчиця годує вовчєнят молоком. Потім до них приєднуються годовалі переярки, старі вовки-одинаки, що з тих чи інших причин не вибороли чи втратили вовчиць. І тоді горе всякому, хто стане на шляху такої злютованої й безжальної зграї, що несе нищення й смерть всьому живому. Навіть ведмідь не встоїть проти вовчої зграї й уникає зустрічі з нею.

Ладо прокидає стежку до стайні і думає про те, що бродячі собаки нароблять лиха: не так, може, вдало полюють, як розганяють козуль, кабанів, лосів та оленів, і вовки починають вити неспроста, принохуючись до його сажу й хліва: поживу шукати далеко, та вовчиць з малими вовчєнятами надовго не покинеш. От вони й принохуюються, зазіхають на його підсвинків, на коня і корову. По чорнотропу мало що збагнеш у вовчій та собачій міграції, а на снігу видно все, мов на власній долоні. Йому, вченому-ліснику, орнітологу та анімалістові, досвідченому егерю яскраво відкрилась жорстока й неблаганна книга лісового життя.

Із злочинним розвалом Радянського Союзу Ладо зрозуміє, що все йде до краху, і найперше наука. Тому залишить дітям свою академічну квартиру в центрі міста й згодиться зайняти місце лісничого, з якого «емігрує» у рідні Брянські ліси його попередник – уродженець тих місць: з початком перебудови явище міграції поширяться й в Україну, де поки що панує спокій.

Саме тут, на цьому кордоні, молодий Ладо починав ще до війни свою аспірантську практику. Тому переїзд в цей майже незайманий край України – ніби мандрівка в молодість, хоч туди ще нікому й ніколи не вдається повернутись. Його вабить і водночас лякає омріяна й незрівнянна лісова тиша, самотність, чарівна природа в усі пори року, близькість звірів і птахів, безліч грибів, горіхів, ягід і ліщини. Тут він спочиває від набридлих за довге життя міських звуків і скреготу, житейського гармидеру, людського тлуму й гамору. А дружина – вірна й незмінна супутниця в експедиціях – весь час плакатиме у цій глушині за дітьми та онуками, за містом, у якому народилася й зросла. Вона його ні на що не може поміняти. Навіть на лісову красу, розкіш і приваби. На Амазонці вона плакатиме за Дніпром, а в Ріо-де-Жанейро за Києвом. Зараз вона тікає в Київ при першій-ліпшій нагоді, і ніякі відстані й складнощі з транспортом не можуть їй завадити. Її втечі раняють йому душу, бо й зараз зносити розлуку з нею так само тяжко, як замолоду. А може, ще й тяжче. Тому й видається вимушене порання на



кухні знаком біди, прикметою недалекої вже довічної розлуки, якої не оминеш, від якої не ухилишся.

2.

Вночі вовки витимуть уже зовсім поруч з кордоном – винюють дихання корови й коня, чують рохкання й кувікання підсвинків, ловлять його дух – дух старого досвідченого мисливця, бойовий запах його славетного вінчестера – найкращої в світі мисливської зброї, здатної могутнім ударом важкої кулі зупинити атакуючого, засліпленого люттю носорога чи нападаючого слона, з широко розставленими велетенськими вухами й піднятим хоботом та налаштованими на знищення бивнями. Він їх валив, підпускаючи на тридцять кроків, у Серенгетті, в порослому лісами кратері згаслого вулкана Нгоро-Нгоро. В африканській савані він бив наповал левів та леопардів, і тепер ніхто йому не повірить, якби він і розповів про це. Але він нікому про це не розповідає, бо й сам мало вже вірить у те, що було в сорокових роках, після війни, так давно, наче в іншому світі, за іншої цивілізації, що вимерла, майже нічого не лишивши по собі. Мов Атлантида.

Тепер Ладо вже постаріє – перевалить далеко за сімдесят. Але він ще міцний, жиливий і м'язистий, немов дуб-окоренок, викинутий з dna ріки на берег весінньою повінню. Спеціалісти-червонодеревники називають такий дуб мореним – він темний, мов прокопчена риба, стужавілий від багатолітнього перебування у воді або в мулі, такий твердий, що ніяка сокира його не бере. А дідові Ладо берегом є ліс, куди його, мов якийсь непотріб, викинула з академічного міста перебудова. Але він не жалкує за цим, бо присвятив лісові все життя і в місті відчуває себе не жителем, а блукачем, котрий зупиняється тут ненадовго, щоб знову вирушити ще в дальші мандрі. Тепер їздити нікуди і ні за чим. А досі він досліджував ліси Африки й Південної Америки, сельву Амазонки, Конго й Голубого Нілу, ріки Південно-Східної Азії, джунглі Індії та В'єтнаму, Камбоджі й Бірми.

Та найулюбленішими в світі лишаються для нього рідні порубіжні українські ліси Волині, Чернігівщини, Слобожанщини і Полтавщини з широкими луками над тихими ясноводими ріками Пслон, Ворсклою, Сулою, Прип'яттю, Десною, Дніпром. Але за дальніми мандрами заради науки йому мало доводилося пожити в заповідних рідних місцях, про що мріялось замолоду, та так і не збулося.



З експедицій він повертався забородатілий, неголений і нестрижений, з волоссям до пліч, неймовірно засмаглий і здичавілий, і лукаві малолітні бешкетники з сусідніх будинків кепкували з нього: «Ой, дід-Ладо!» – виспівували йому під вікнами, ще зовсім молодому, щоб не казати – юному. Взявшись за руки й утворивши дві вервечки, водили своерідний старовинний танок з приспіваними:

«А ми просо сіяли, сіяли», – гукала одна вервечка, наступаючи.

«А ми просо витопчем, витопчем», – нахвалялася, погрожуючи, інша.

А потім, перемішавшись і побравшись за руки, підступають тісною шеренгою під самі розчинені вікна його кабінету, приспівуючи:

«Ой дід-Ладо, витопчем, витопчем!

Ой, дід-Ладо, витопчем, витопчем!»

– Не топчїть, не топчїть! – гукав їм Ладо, перегнувшись через лутку вікна. – Без вас є кому витоптувати. Скоро всю землю витопчуть, – він кидав дїтлахам цукерки в барвистих обгортках, привезенї здалеку.

Заради екзотичних гостинців та ще й з наміром подразнити його й затївалися ті приспївки, але вони тїшили його духом рїдної землі, її правїчною історїєю: дїтей тоді ще вчили фольклору в дитсадках, навїть у дитячих яслах, не кажучи вже про школу. Тепер усе заповонили рок, ламбада, низький та високий брейк, хевї-метал, твіст, – аби тїльки не наше. Не українське і навїть не слов'янське.

За свої мандри й експедиції він надивиться, як вигорають і вивїтрюються африканські савани, вирубуються ліси Південної Африки, гинуть від кислотних дощів альпїйські й рївнинні ліси Європи, гниють джунглі Індїї та Південно-Східної Азїї. А винуватців нїби й немає. Щоправда, в'єтнамські джунглі випалють на палом та уб'ють червоно-брунатними отрутами з вертольотів американці під час тїєї ганебної вїйни. Але хто тепер про те згадує? Все, що робить насаджувач «нового ладу» у свїті, не підлягає не те що осуду. Навїть не обговорюється – зась! У кого сила, у того правда. У цьому суть і нової демократїї, і нового ладу. А тепер і рїдні ліси над Прип'яттю знищили й отруїли навїки радїонуклідами Чорнобиля, а решту безкарно й безоглядно дорубують, бо нїчим кріпити вугляні виробки на шахтах Донбасу. Та й довгоруки браконьєри не дрїмають.



Усе життя він прагнув захистити й зберегти ліси і ріки, над якими вони росли, і здавався диваком навіть міським дітлахам, що дотепно назвали його «Ой дід-Ладо» ще замолоду, та так воно й прилипне до нього на все життя, це миле ім'я з улюбленої дитячої приспівки – ровесниці його народу, якому вічно не вистає то державності, то достатку й благополуччя на такій багатій і рідкісно щедрій землі. І клімат м'який та помірний, і чорноземи просто-таки унікальні, що в колишньому Дикому Полі на півдні почнуть оброблятися лише з кінця дев'ятнадцятого століття. Народ любить землю і працює на ній. А щастя як не було, так і немає. Дивина...

3.

Що вовки внадяться до нього на кордон, цілком природно: вони ретельно обстежують і тримають під постійним контролем всі угіддя довкола лігва. А от коли він побачить уранці, що оточений з усіх усюд безперервною й замкнутою лавою бродячих псів, стривожиться по-справжньому: вовки бояться людей і нападають при сказі або у безвиході, собаки ж до людей звикли і кидатися на перехожих зграєю – для них діло звичне. Бродячі собаки лежать в снігах майже правильним колом, узявши сторожку, саж і стайню в облогу, і стежать за кожним його рухом, за перебіжками й метушнею великого й кудлатого чорного пса Рогдая та вгодованої і випеченої суки Ерні. Рябі, руді, білі й чорні, кудлаті й гладенькі, більші й менші – аж в очах від них рябіє! Могутній Роздай, що лишиться від попереднього лісничого, клекоче горлом, погрозово й люто здиблює цупкий загривок, світить з чорної пащі білими іклами. Стривожений і знервований таким незвичним сусідством, він без зупину бігає навколо хати, саж і стайні, на кожному причілку щораз піднімає задню ногу й мітить свої володіння: «Це моє! Не руш!».

Руда, сита й лискуча Ерна спокійно дримає біля ганку, не звертаючи на заброд уваги: за собачими звичаями сука і наодинці, і в тічці – недоторканна. Тому інстинкт її, як і вона сама, дримає. А неспокій могутнього Рогдая – її володаря й обранця – здається метушливим і навіть принизливим. І в її очах, і на гадку старого Ладо.

– Рогдаю, – гукає до нього Ладо якомога ласкавіше. – Заспокойся. Нічого вони нам не зроблять.



Пес зупиниться перед ним. Стоячи боком, поверне велику й хижу голову вовкодава, люто й презирливо гляне на нього й покаже ікла:

«Гр-р-рнг-грр-нг-нг», – заклекоче у нього в горлі лють.

– От тобі й маєш, – здивується Ладо. – Чому злишся на мене? Не довіряєш? Гадаєш, я їх сюди принадив? Чужий ти, значить, був, чужим і залишився. Собача душа, як і людська, не прозора – темно в ній, темно. – Ладо зайде в хату, зарядить вінчестер узгодженою картеччю.

Коли він повернеться на ганок, собача облога вийде з узлісся й наблизиться до лісового кордону, а маленька рябенька сучка, біла, з коричневими вухами, з такими ж латками на спині та по боках, пролізе під нижню жердину огорожувальної ліси і поповзе до Рогдая. І коли він, вловивши заклично-непереможний запах, лизне її й інстинктивно кинеться на неї, забувши про небезпеку і про все на світі, вона крутнеться, мов дзиґа, вивернеться з цупких його лап і, підкидаючи зад і капловуху голову, рвоне назад до облоги.

Рогдай вихором майне за нею. І, коли вона шугне під ту саму нижню лісу, перелетить через високу огорожу, щоб допасти до неї, в ту саму мить, коли він тільки приземлиться, на нього налетить, навалиться смердючий і лементуючий клубок голодних і лютих псів. Рик, гавкіт, гарчання і грізний клекіт здіймуться на місці смертельної колотнечі. У сніжній пелені миготять голови, роззявлені пащі, напружені собачі тіла, хвости й вуха, з яких летітимуть криваві шмаття і шерсть, – все клекотить, біситься, рве, шматує, огризається. І раптом, розпанахуючи псячий вереск, лютий гавкіт, чорною блискавкою метнеться в гущавину звалки вовча наструнена тіль, протаранить, мов торпеда, збитий і переплетений клубок собачих тіл, мертвою хваткою вчепиться в горлянку Рогдая, розриваючи її одним-єдиним блискавичним рухом, і кине могутнього пса під огорожу, немов порожній лантух. Ошелешені й перелякані собаки розскачуться, кинуться врозтіч, наче їх і не було.

Вовк ще постоїть над убитим Рогдаєм, вхопить його іклами за карк, закине собі на спину і потрюхикає до недалекого терновища у яру.

Ладо й вистрілити не встигне, так блискавично все станеться на його очах. Не стріляти ж тоді, коли зчиниться гризотня і пси наваляться на Рогдая! До вовка ж, коли він потрюхикав у яр, відстань велика – понад сто метрів. Ніякою картеччю не дістанеш.



Стріляти ж для остраху марно. З тривалого й гіркого досвіду Ладо знає: вовк впольовані здобичі не кине.

А собаки як здиміють – жодного не лишиться. І за цілий день не з'являться хоча б віддалік. Однак, невиразна тривога ятрить душу старому мисливцю.

Ладо обійде увесь кордон на лижах понад огорожею, тримаючи вінчестер наготові. Але тиша і темрява оповиють ліс, і він з жахом тільки зараз подумає: «А якби ж оце дружина здумала повернутися? Бродячі пси розірвали б її!» Він усвідомлює, що після такого раптового нічного снігопаду автобус не вибереться у цей далекий та глухий кут, але серце його закалатає, а руки огидно затремтять: від здичавілих голодних псів навряд чи й він, вдатний стрілець, зумів би захистити дружину.

4.

Доки ще не спочило, Ладо нагодував припишклих підсвинків, що оце тільки й почали обережненько рохкати, коли він зайшов до них у саж із вареною картоплею, приправленою дертю й макухою. Саж був теплий та міцний, на добрий метр вкопаний у землю, доладно складений із соснового кругляка, мовби навіки. З кругляка був і накат на покрівлі, для утеплення та надійності оббитий пофарбованою в зелене бляхою. З міцніших та товщих вінців збудовано й стайню з двоскатною покрівлею, встеленою товстим індустріальним шифером – лісівник з діда-прадіда, брянєць знав, як будуватися, щоб уберегти живність поблизу вовчого лігва. Та ще, мабуть, і не одного: яр, порослий терном і шипшиною, тягнувся лісом, а ліс дрімучий, реліктовий – розлігся на три сторони світу, охоплюючи середньоросійську рівнину, наші Волинь та Чернігівщину, усе білоруське болотисте полісся. Мало таких лісів лишилося на планеті – старий Ладо знає це достеменно. Вкопаний у землю саж добре тримає тепло і в найбільші морози. До того ж, він набитий теплою пшеничною соломою, в яку підсвинки зариваються на ніч, гріючи боки один одному. Наївшись від пуза, вони відвалляться від корита, помиють рильця-писки в іншому кориті з водою, трохи пововтузяться перед хазяїном, штовхаючи одне одного під шиї, та й підуть в дальній од дверей найтепліший закуток, де найтовще настелено соломи, і заринуться в неї на всю ніч.

У стайні, куди Ладо занесе вівса добромудому гнідому коневі й наб'є потім йому і корові ясла пахучим сіном з лісової галявини, теж тепло, безпечно й надійно: стоїть вона на фундаменті з буту–



дрібного гранітного каміння, залитого розчином високоякісного цементу. Такого фундаменту не підриєш, будь ти хоч царем усіх вовків. Як під хату-п'ятистінку, так і під стайню лісівник-брянець не шкодував будівельних матеріалів – вибирав найліпші, бо й гроші у нього, мабуть, водилися.

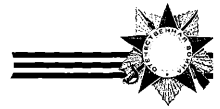
Гнідий тицятиметься мордою в груди дідові Ладо, оксамитовими губами торкатиметься його колючої давно неголеної щоки, і по лискучих ситих боках, по довгій шиї під гривною ще й досі перебігатиме тремтіння від недавньої собачої гризотняви, гавкоту й облоги, а особливо – від вовчого духу: коні здалеку чують вовка і дуже бояться. Тому Гнідий, лунко переступаючи міцними копитами по дощатому настилу, тягнутиметься до Ладо й тоді, коли старий пораяється біля корови, вигрібаючи з-під неї нагрушені з ясел з'їди, перетоптану ратицями підстилку з рідким та ще теплим коров'яком. На відміну від коня, корова спокійна, ніяк не реагуватиме ні на цілоденний собачий гавкіт і гризотню, ні вовчого духу не чує. Дивні це створіння! Згадайте, як вони поводяться на автостадах: аніякісінької уваги на пролітаючі машини, надто ж на ті, що наїздять на них.

Ладо, кречучи й довго та незграбно вовтузячись на малесенькому стільчику, подоїть корову, напоїть з відра пійлом і не мало таки здивується: кінь води не схоче, хоч не пив увесь день. Мабуть, ще не може заспокоїтися від незвичних подій дня, нервує й зараз, дослухаючись до вовчого виття. «Доведеться напоїти пізніше», – подумає Ладо з полегкістю від того, що виконає наймаруднішу роботу – подоє корову!

«А напоїти коня можна й поночі, – міркує він, щільно причиняючи масивні двері з дошки-шістдесятки, струганої в фальц. – Напувати коня – діло козаче, славне й почесне. Скільки про це в піснях співається! Бо кінь – це тобі не корова, не віл, не мул, не осел. Гордість, слава, краса споконвіку – ось що таке кінь! Хоч ми вже й забули про це. Нещасні нащадки запорожців».

Він засуне міцний, кутий у сільській кузні його попередником засув, начепить і замкне амбарний замок. Часи настали такі, що й на лісовому кордоні доводиться замикати худобу добряче – і від справжніх вовків, і від двоногих, що не зупиняються зараз ні перед чим. Але все в господарстві непохитне, мало не крицеве – можна не турбуватись ні за коня, ні за корову, ні за підсвинків.

І тут Ладо з острахом і відразою згадає загибель Рогдая і тільки в цю мить по-справжньому відчує, як йому в отакі довгі й глухі ночі не вистачатиме тут сміливого й могутнього пса, до якого вже звук.



З майже повним відром молока він постоїть на ганку, прислухаючись, чи не озветься вовк. Потім оглянеться на західний пруг лісу. Він чітко малюється на чистому й прозорому небі. За ним згасає вечірня заграва. А на зміну їй діамантово й тремтливо розгоряються зорі далеких сузір'їв, загадково й гордовито мерехтять над темними вершечками дерев. Великий віз розкинеться над просторим лісовим кордоном – знайомий з дитинства і милий до самої старості. Немов збирається одвезти Ладо далеко-далеко, звідки немає вороття. Згадається Шевченкове: «та й заходиться риштувать вози в далекую дорогу, на той світ, друже мій, до бога....», – і серце здригнеться від реального й неблаганного передчуття, що владно охоплює його щоразу, як тільки він згадає про свій вік.

А вік, як відомо, не згадують – про нього й не забувають ніколи: сам про себе нагадує щомиті. Особливо в такій здраглій тиші лісової хащі на дні застиглої зимової темряви. Ладо відчує, що йому хочеться плакати: діти далеко й давно почужішали в своїх клопотах, друзі-ровесники повмирали, наука, якій він служив вірою й правдою все життя, викинута на смітник ринковим бедламом, нікому вже не потрібна.

І коли з яру долине моторошне, смертно-тужливе виття старого вовка, Ладо й сам ледве втримається, щоб не завити ще тужливіше, але в цей час під ноги йому злякано кинеться тремтяча й беззахисна Ерна. Ще дужче заб'ється вона у нього в ногах, коли старому вовцюзі відгукнуться молодші й переярки, а завершить цю моторошну, сповнену жалоби і скарги розпачливу пісню вовчиця справжнім плачем і риданням. «Мабуть-таки світ западеться, – подумає старий Ладо, – аніж змарнується в його благополуччі одвічна вовча туга й скорбота. Щось воно та мусить статися».

Він одчинить сїни і впустить Ерну до хати: без Рогдая вона лишиться самотньою й геть безпорадною на велетенському й відкритому з усіх сторін подвір'ї серед темної пущі та при вовчому безпосередньому сусідстві.

«З'їдять прокляті!» – подумає Ладо з гіркотою й зачинить двері на засув.

5.

Уночі Ладо майже не спав – це було задавлене безсоння, яким він замолоду успішно користувався, заощаджуючи час для основної наукової праці: складав звіти численних експедицій та відряджень, читав і рецензував дисертації аспірантів і докторантів.



Це були найдоброзичливіші його рецензії: безсоння поглиблювало розуміння намірів і прагнень молодших колег, пом'якшувало враження від їхніх прорахунків і навіть від хибних уявлень ровесників, що припізніло пробивалися в доктори наук. Усіх, кого він читав і рецензував безсонними ночами, мимоволі зараховував до своїх спільників у науці, охоче бесідував з ними перед захистом, щоб усунути в їхніх дисертаціях поверховість суджень, поглибити й обґрунтувати висновки, а на захисті вступав у гарячі суперечки з опонентами, вміло й настійливо захищав своїх підопічних.

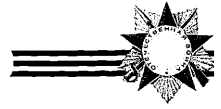
За це, очевидно, й любили його молоді вчені, і може, саме вони, а не дітлахи з його двору, ласкаво прозвали «Ой, дід-Ладо». Походження прізвиськ ще важче встановити, ніж походження імен: «Авраам роди Ісаака, Ісаак роди Якова...» – спробуй навіть у Біблії розібратися, хто кого родив! А він своїми рецензіями, лекціями і досвідом, яким щедро ділився з молоддю, сприяв народженню нових імен у науці, помагав ставати на ноги здібним людям і мав ким гордитися.

Але тепер все те відлетіло, відгуло, вчених відтіснили на узбіччя життя виплодки дикого ринку: поперли на вулиці, в кіоски і ятки, навіть в установи замордатілі хами й ненажери, у яких не лише тіла – навіть голови потовщали й обросли салом, як у його підсвинків. Він і сам тепер, всесвітньо відомий вчений, опинився в дрімучих лісах на старість віч-на-віч з вовками та бродячими псами, чужими й відворотними, як сама смерть. І життя його – довге, тяжке, сповнене трудів, мандрів і відкриттів – здається прожитим марно...

Якби знав про повну непотрібність державі і людям, коли настає час підбивати підсумки, то навряд чи й згодився б так довго жити і так тяжко й невсипучо працювати. Часи настали дивні, облудні й брехливі, ніби перевернуті. Що б не сталося, які б злочини проти людей і цілих націй не чинилися, а винних немає. От немає й край!

«Мабуть, тому, – думає Ладо, – що всім правлять, тлумачать закони й приймають рішення, дають оцінки подіям, речам і людям найбільші і найперші винуватці, а то й прямі злочинці. Що в Росії, що в Грузії, що в Нагірному Карабаху, те і в Югославії.»

Втомившись від печальних роздумів і здогадок, він почав передсвітом дрімати й крізь сон чув, як, порипуючи примерзлим снігом, його кордон знову оточують бродячі собаки, беручи в кільце саж з підсвинками, стайню з конем та коровою, а деякі знахабнілі до краю, поперли навіть на ганок сторожки і заходилися шкребтися в двері. Вже й гризтися почали, вловивши дух Ерні. А



дали зчинили гвалт і гавкіт, перемішаний з погрозливым гарчанням, скавулінням та зойками від укусів.

І раптом, покриваючи всі звуки, пролунало й полинуло в безвість, до передсвітанкових зір з діамантовими мерехтіннями і переливами відчайне моторошне виття старого вовка. Собаки враз стихли, підібгали хвости й шугонули врзтіч, як і тоді, при загибелі Рогдая. Світало помітніше, і Ладо виразно бачив усе через віконце над столом, навпроти ліжка.

Вовче виття, протяжне й тужливе, обірвалося раптово й погрозливо, і старий мисливець забгнув, що на світанні вовк більш не витиме. Знали це, мабуть, і бродячі собаки: перегода знову посунули звідусюди на його кордон. Підлі боягузи, вони знову стали нахабними й лютими, випручувались з жаху, який навівало на них погрозливе й моторошне вовче виття.

Цього разу у все яснішому світанковому сяйві вони обступали його на цілий божий день, бо вовки рідко кидають барліг вдень і витимуть тільки з настанням ночі. А сам Ладо за довге своє життя вити по-вовчому не навчився і заздрих тим, хто опанував цей складний засіб вабити вовків. Зате він навчився влучно стріляти. Хоч кулею-жаканом, хоч дрібним шротом – йому все одно. Аби здобич була на підходящій відстані.

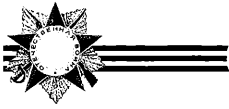
Легко й спритно, як для свого віку, Ладо нагнувся й вихопив з-під ліжка заряджений вінчестер і, піднявши фрамугу, вдарив по бродячих псах, що юрмились на ганку, гризучись, принохуючись до шпарини у дверях. Їх змело всіх до одного могутнім зарядом вовчої картечі у сніжному вихорі, здійсненому нею. Він добивав тих, що вовтузилися ще й скавучали в снігу, а на зміну зметеним з ганку й добитим, не тямлячи, що сталося, налітали на порожній ганок інші розлучені пси, гавкаючи й гризучись між собою.

Ладо за кожним пострілом змітав і їх. Бив і тих, що гризлися біля сажу і стайні, ловлячи запах і дихання тварин – теплої й близької поживи. Він все заряджав вінчестер і бив та бив, а вони все набігали, бо собаки не бояться людей, а деякі – навіть пострілів.

Ерна забилася в найдавший та найглухіший куток і лежала, мов мертва, оглушена стріляниною в кімнаті, скавулінням та зойками собак на подвір'ї. Її нерви і ласкава вдача не витримували такого жаху.

А Ладо бив та й бив, вірячи, що виб'є бродячих псів до одного: набоїв у нього було багато ...

*Конча-Озерна,
грудень 2002 рік*



А МИ ПРОСО СІЯЛИ, СІЯЛИ...

Новела

Доньці Людмилі

Ранком, зібравшись на базар, дружина гукне на другий поверх:

— Їдьмо!

— «А ми просо сіяли, сіяли...» – проспівач «Ой дід-Ладо», одірвавшись від роботи і вийшовши з-за столу на сходи.

Він любить ці поїздки: щоразу ніби повертаєшся в рідне село з надією зустріти там людей свого дитинства, які потроху забуваються. Або вмирають, не лишивши й згадки про себе, осиротивши твою душу навіки.

Породиста сука Ерна радісно стрибне йому на груди, передчасно радіючи, що і її візьмуть з собою. А дружина сяде на стілець у порозі, підніме на нього зажурені очі – такі любі з дитинства. Тихо скаже, мов пожаліється:

– Так недобре мені з самого досвітку..

– Голова? – стривожиться Ладо.

– Болить... – І губи в неї затремтять, а в очі зблисне й затремтить сльоза. Потім підведеться, погладить по щоці, мов маленького. – Не знаю, як ти житимеш без мене? – і заплаче, схлипнувши, тяжко та гірко.

– Облиш! – розгнівається Ладо, тамуючи страх за неї і подавляючи ніжність. – Сідай до столу, помірємо тиск.

Слухняно присунеться із стільцем, заголить руку. Ще й досі повну й красиву, з бурштиновим полиском літньої засмаги.

«Ой дід-Ладо» нагеться й поцілує тоненьку синю артерію на внутрішньому згині руки. На неї потім поставить мембрану стетоскопа. Це – майже ритуал: він щоразу не втримується й цілує її оголену руку, така вона мила і рідна.



– Сто тридцять п'ять на шістдесят п'ять, – скаже, помірявши. Знову в тебе, гіпотонічки, підвищився тиск. Зараз же з'їж щонебудь і прийми ліки.

Слухняно піде на кухню в супроводі Ерни, що не зводить з неї запитливого й стривоженого погляду, наллє склянку води, вмочить сухарик з хали, ніжний і розсипчастий. А Ладо принесе зі спальні кристепін, коринфар, валокордин – ними вона лікується від за давненого остеохондрозу. Покірно, мов дитина, прийме ліки й винувато всміхнеться:

– Пробач...

Ладо обійме її за податливі плечі, підведе до канапи:

– Полеж.

– В машині посиджу... Іди, виводь. А то спізнаємось.

Цього разу Ерна не побіжить поперед нього до гаража, а вляжеться господині в ногах, покладе їй на коліна свою гладеньку, з полиском, голову і не зводитиме з неї очей, доки вони й не поїдуть. Рватиметься до неї в машину й тоді, коли Ладо відтручуватиме її й зачинятиме за собою ворота. «Відчуває лихо?» – мимоволі подумає Ладо. Але тут же й забуде, сівши за кермо «Opel-Омега». Ерна кидатиметься їм услід, таранячи замкнену хвіртку і розпачливо гавкаючи.

Одбазарувавши, дружина розкладе куплене в холодильник, овочі знесе в льох. Все – сама. Сердиться, як він помагає:

– Не знатиму, де що лежить...

Не приляже й на хвилинку, як з усім упорається: ніколи не відпочиває вдень – все робота й робота, якої ніби й не видно. А їй же ні кінця, ні краю!

Поставивши машину в гараж, пораючись на подвір'ї лісового кордону, Ладо бачитиме у вікно, як вона прасує його сорочки, піжами, простирадла, наволочки. Він кине все, стане в порозі:

– Облиш! Зараз же ляж, відпочинь.

– А хто за мене оце все робитиме? – одна й та ж відповідь, відколи й живуть. Все на її руках. А він того й не помічає. Помітить тільки втомлений і сумний погляд карих очей.

«Бідні наші жінки, – думає Ладо, обходячи свій кордон. – Ні просвітлої годиноньки їм у повсякденній роботі...»

Ліс у червні – буйноцвітний і птахоголосий – сміється до нього і кличе в своє зелене прохолодне царство. А вона так і прасуватиме до самого вечора. О 20-й подивляться «Подробиці». Вони хоч і брехливі, але ж треба знати, що діється в світі та в Україні?



Після «Подобиць» чекатимуть телефільм «Громадянин начальник». В ньому простакуватий зовні, але вельми людяний і розумний слідчий прокуратури «Паша» відстоює справедливість. Навколо ж – і в самій прокуратурі, і в правоохоронних органах, і в урядових установах – користолюбці й корупціонери: за хабарі прикривають грабіжників, рекетирів, навіть убивць.

– Давай подивимося – гарний фільм!

– Знову мордобій, жорстокість, стрілянини. Боюся й ненавиджу! – підведеться й піде.

А в Ладо нічого й не тенькне.

«Нарешті відпочине», – подумає він з полегшенням. Не відаючи, що поночі вона... розсаджує чорнобривці, не встигши розсадити завидна. А це ж постійні нагинання, які їй протипоказані! Але вона ніколи не думала й не дбала про себе – все життя дбає про інших: дітей, онуків. Та й про нього...

Він не довго й затримається біля телевізора, бо слідчого «Пашу» того вечора не показуватимуть: перед Днем Конституції знову попруть на наші телеекрани, як завжди перед святами, кобзони, пугачови, «зайки»-киркорови, задорнови, винокури і петросяни. Смішити, веселити й тішити обивателя: хай радіє вседозволеності, щоб не думав про безробіття і злидні, про розграбовану державу й знищену економіку.

З огидою вимкне біснуватий вертеп, у якому всі безпричинно радіють, веселяться, мов чорти на шабаші відьом. Вийде, а в спальні темно, в холі темно. А надворі – ніч. Дружини ж немає ні у лісництві, ні в просіці, освітленій відблисками згасаючої вечірньої зорі.

– Де ж вона? – занепокоїться Ладо. І пам'ятатиме потім цю огидну й нудотну тривогу все життя.

І раптом, ніби з-під землі, метнеться йому назустріч із темряви і стрибне на груди Ерна, благально повискуючи, вхопить зубами за штани й потягне на грядку з квітами.

– Чому ж ти так довго не виходиш? – долине голос дружини з темної борозни знесилено й безпорадно. А потім майже крикне з невластивою їй вимогливістю: – Підніми мене! – злякано й тужно. – Підніми!

Делікатна від природи, вона ніколи нічого не вимагала, не просила в нього. Боялася зайвий раз потурбувати його. Вражений незвичним тоном, Ладо стрімголов кидається до неї, перечепившись об порожню пластикову пляшку, з якої вона поливала чорнобривці, і в густій темряві помічає підняту з борозни руку.



Падаючи, вона оступиться, щоб не пом'яти пересаджені квіти, і лежить тепер у борозні на лівому боці! На нього вона не лягає вже років п'ятнадцять – одразу ж паморочиться голова.

– Підніми мене! – Ще вимогливіше.

Ладо схилиться над нею, підхопить під пахви, спробує одірвати од землі.

А вона, тремтячи, ще раз видихне йому в обличчя:

– Підніми! – Йй, мабуть, здається, що Ладо, піднявши, вирве її із задумливої п'тьми, в яку її пожбурить інсульт, гахнувши щойно так несподівано й страшно. Хіба ж ми знаємо, що відчувають і як страждають люди в смертну хвилину? Далекі й чужі. А особливо найрідніші та наймиліші?

«Ой дід-Ладо» хапає її за вироблену ручечку, ще раз пробує підняти. Еге-ге! Розслаблена, важка вона, мов камінь. Наче налита свинцем! Насилу одірве від землі плечі, обнявши. Майже посадить її, а підвестися з нею не спроможеться: і вік його, і тяжке поранення, і розгубленість та страх за неї впадуть на нього принизливою й приголомшливою безпорадністю, до якої він ще не звик.

«Полеж... Я зараз... «Швидку»...

– Не треба, – по інерції, як завжди, запротестує, борючись з нудотою. А сама тремтить і не зводить з Ладо розгубленого погляду, так невластивого її сильній та незалежній натурі.

Ерна весь час крутитиметься між ними: то лизне дружину в обличчя, скімлячи, то його руку. А потім вляжеться в неї в ногах і замре, не зводячи погляду з її обличчя.

Викликавши «Швидку» з Урядових дач, Ладо винесе кожух і накриє її, бо з лісу та з лугу тягне прохолодою і пронизливою сирістю ще не встояної весінньої повені.

Підсовує подушку під голову, а її все нудить, все нагальніше й невідворотніше, і рука тремтить все дужче й шукає його руку.

Господи! Скільки він бачив на своєму віку отаких умираць! І на війні, і в експедиціях, і вдома. Бо всі старіють, умирають від ран, від інсультів та інфарктів. І з цим нічого не вдієш, нікуди від горя не дінешся, ніколи до нього не звикнеш. Але оце випадання дружини з життя приголомшить навіть його – солдата, мисливця й мандрівника.

І ніч потемніє ще дужче для бувалого в бувальцях Ладо, темна, аж чорна ніч. І ліс ніби відчужиться й спорожніє. І Великий Дніпровий Луг ніби затаїться в очікуванні ще більшого лиха. І Ерна, ще зранку передчуваючи лихо, тепер замовкне, замре, наче її й нема: собачі душі дуже чутливі до людського горя.



Відколи Ладо почує оте розпачливе: «Підними мене! Підними...» – незвично вимогливе й наказове – одразу ж зрозуміє: її вже в нього нема і ніколи не буде! І доки бігтимо до неї, за оті кілька кроків, яскравіше, ніж за все життя, відкриється йому марнота марнот і дріб'язковість усіх наших житейських пристрастей і переживань перед лицем наглої смерті. Недарма ж древні мудреці заклинали себе і закликали інших:

«Мemento мори!» – «Думай про смерть!» Щоб не розмінювати життя на вольні й не вольні гріхи та дрібниці.

На всю далечинь, аж до шкільної юності, саме зараз відкриється йому її чесність, постійна зібраність, акуратність і невтомна працьовитість. Ніколи ж навіть не сяде, розслабившись, – ні на людях, ні вдома. Не відкинеться на спинку крісла чи стільця, розвалившись, а примоститься на самому краєчку, стрункі свої ноги підбере під стілець, щоб, не дай Боже, не завадити комусь, а спину вигне, мов балерина. Сидить: доладна, ставна, вродлива і скромна. Але й горда, з великим достоїнством. Наче ніхто так і не сидів. Принаймні, Ладо не пам'ятає, щоб отак сиділи кіноактриси чи поетеси. Чи й учені дами...

Щовечора, саме о цій порі подає голос із порослої терном яруги старий вовцога. І Ладо з якимсь містичним жахом чекає його виття. О-о-о, тепер і він завіє-таки разом з ним на мерехтливій зорі й сузір'я, на далекий Сиріус. Світ уже й зараз сиротіє й чужіє без неї... А далі?

Її рятуватимуть аж дві «Швидкі» – з урядових дач і з самого Києва. Доки робитимуть внутрішні вливання, а потім ставитимуть крапельниці, вона весь час тремтітиме, подавляючи нудоту, міцно стискатиме його руку й не зводитиме з нього очей: «Як же так? Чому саме зі мною?»

А завтра прийдуть син та онук. Перший – у відпустку, а другий – успішно завершивши другий курс Інституту Міжнародних відносин. «А мене вже не буде? – питає той погляд. – А я так старалась до їхнього приїзду розсадити чорнобривці!» – І вона все ловить та ловить його руку. А вловивши, не відпускає. І тремтить все дужче, і нудота вивертає їй нутроші, терзає її все частіше й настійливіше – ніякі крапельниці не допомагають. А рука все дужче тремтить і гарячішає.

– Не чіпайте руку! – кричить на Ладо величезний, мов баскетболіст, фельдшер, що ставить крапельницю. – Там же голка!

Ладо мовчить та не зводить з неї очей. Надивляється? Хочє заспокоїти? А вона кличе його поглядом, благає допомоги: «Вря-



туй мене! Не покидай! Лиши з собою. Хай і в цьому осоружному для мене лісі! Аби тільки разом!»

А потім, як дві бригади «Швидкої», пометушившись біля неї й зробивши що треба, винесуть її на ношах і засунуть головою вперед у ще темніший за ніч отвір, фельдшер, що гримав на нього, підійде, скаже:

— А у вас десь летється вода.

«Ой дід-Лудо» здригнеться, мов зі сну, і притьмом кинеться до умивальника під гаражем. Там і справді відкритий кран, і вода тугим струменем б'є в білу металеву раковину.

«Отут її й спостиг інсульт! – Жахнеться Лудо. – Останню пляшку набиратиме, непритомніючи? Закрити кран забуде? Чи не зможе?»

Але... Два водії двох машин «Швидкої» – невже не чують, як летється вода, у повній лісовій тиші при вимкнутих двигунах? Машини ж біля самісінького гаража, біля умивальника! А вони сидять рядочком і курять. В час отакого лиха не відреагувати? Що це – байдужість чи зловтіха? Хто ж тоді ми, господи? Люди чи нелюди?

Він розуміє, що думає зовсім не про те, про що треба в цей страшний час думати. Але й не думати про це не може...

Підбіжить і мовчки полізе у темний отвір ще не закритих дверцят «Швидкої» до дружини. Але фельдшер-здоровань перехопить його за плечі й не пустить, а лікарка суворо:

— Веземо її в реанімаційний блок – туди нікого не пускають!

А від другої «Швидкої» з Урядових дач підійде інша лікарка, візьме його під руку, одведе від машини, в якій лишається його дружина:

— Не побивайтеся – це ж не вперше...

«Швидка», блимнувши стоп-сигналами, щезне за деревами, а Лудо все дивитиметься їй услід.

— Ви чуєте мене? – термосне його за руку Валентина Іванівна. – Ми ж не раз рятували її. Врятують і цього разу. В Феофанії найкраща реанімація. Вірте! Не падайте духом!

В його серці ворухнеться надія: а може, й справді? Він обійде кордон понад огорожею, де колись загинув Рогдай. Тинятиметься лісом, доки й ранкова зоря зажевріє.

Повернеться він на незвично порожнє обійстя і не впізнає його. «А де ж це поділася Ерна?»— здивується він. І ледве знайде її під ганком: вона лежатиме, поклавши голову на витягнуті передні лапи, розпустивши хвіст по землі, а з очей її капатимуть



сльози. На Ладю вона й не оглянеться. І не відреагує на його поклик. Так і нерухомітиме до світанку.

А вдосвіта приїде син. Не обніме й не поцілує, як водиться у них здавна. Посуворішає та ніби аж постаріє. Тільки тихо повідомить:

— Мама померла о четвертій тридцять...

«А ми просо сіяли-сіяли...» – раптом згадається недоречно. І Ладю одвернеться від сина, щоб той не помітив його розпачу і розгублення, і знов понесе Батькові-Лісу свою тугу й печаль, яких ще не знав і досі не звідав. Вони особливо нестерпні зараз, бо він, повіривши Валентині Іванівні, ще й досі сподіватиметься на чудо. Тепер уже сподіватися ні на що...

Він заглиблюватиметься в звичну й рятівну лісову напівтемряву й прохолоду, ніби тікаючи від нестерпного горя. Хоч і знає: від горя нікуди не втечеш!

«А ми просо витопчем-витопчем!» – гнатиметься за ним по п'ятах зухвало і хвалькувато виспіване колись давно-давно під його вікнами дотепною й веселою діворою. А в лісі загусне нестерпна й холодна тиша. Аж у вухах дзвенітиме від неї.

«А ми просо витопчем-витопчем!» – битиметься в його болісній, загостреній пам'яті. Колись ця мила і древня приспівка з рідного фольклору давала йому розраду від ностальгії в найглухіших куточках планети під час експедиційних мандрів у селві Амазонки та в джунглях Південно-Східної Азії, у Африці і в Альпах.

Тепер вона розради йому не принесе більш ніколи. Ні у від'їздах, ні вдома. Але йому не віриться й зараз, що дружини немає і більш ніколи не буде...

А десь далеко-далеко, в нетрях Великого Дніпрового Луга кує комусь літа невтомна і щедра зозуля.

— Не їй... – подумає Ладю. – Вже не їй...

А з дна пам'яті, завдаючи ще більшого болю, зрине геніальний дует Марка Лукича Кропивницького «Де ти бродиш, моя Доле?»:

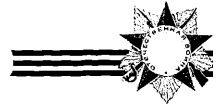
Чи у полі край долини диким маком ти цвітеш,

Чи у лузі на калині ти зозулею куєш...

І ридання стиснуть йому горло.

Не плачте, Ладю! Заради Бога, не плачте...

*Конча-Озерна,
19 квітня 2004 року*



А ЛИСТЯ ПАДАЄ Й ПАДАЄ...

Новела

Доньці Ірині

1.

Заматерілий Вовк, освітлений місячним сяйвом, відкидає на зів'ялу траву Покрови густу чорну тінь. А сам сірий-сірий! Ніби посивів з туги і самоти.

Спросоння Ладо оторопіє: третій місяць вистежує він бувало-го в бувальцях звіра і все марно, а тепер Вовк сам прийде і стане перед ним в тридцяти кроках. Ще й правим боком! Варто тільки вцілити в шию, і тут же йому – кінець! Бо саме ж з правого боку на шиї розташована сонна артерія. Вовки, вливаючись у зграю, підставляють ватагові саме оце смертельне місце, скоряючись до самої своєї смерті. Чи до його власної загибелі.

У вовків усе, як у людей: авторитет, підлеглість, покора, залежність і послух! І Ладо нічому вже не дивується в їхній поведінці. Але щоб отак, з власної волі, підставлявся під постріл до-свідчений Вовк, – такого ще не траплялось і бути не могло. Не та порода!

Через власну місячну тінь Вовк здається удвічі більшим. А з глибокої засідки – ще й високим-високим! Чи не мара? І сам Вовк. І його фантастичні розміри. І гострий погляд продовгуватих, презирливо звужених хижих очей, сповнених лютої ненависті, холодної байдужості і тяжкої втоми від гіркого й неприкаяного вовчого життя.

В душі старого мисливця ворухнеться дивне і несподіване співчуття: адже Вовк, як і він, Ладо, давно вже самотній у їхньому глухому урочищі, в непролазних тернових хащах глибокого яру, що тягнеться з Чернігівщини аж до Брянських, ще дрімучіших, лісів.

Ніч, вщерть залита місячним сяйвом і загуслою тишею, таїть шерхіт багряного й жовтого листя, що зривається з дерев і, по-



вільно ширяючи в тугому прохолодному повітрі, влягається на вологу землю до зими.

Ладо швидше уявляє, аніж чує шерхіт листопаду. А Вовк, він певен, розрізняє звук кожного падаючого листка. Особливо кленового – візерунчатого, лапатоного і цупкого. Та й в'яз, граб чи ясен теж роняють свій лист з тихим шерехом. Хіба тільки дрібненьке й тендітне листячко валиться із струнких білокорих беріз безшеслесно. Невловно навіть для вовчого вуха.

А Вовк вкляк і стоїть нерухомо, ніби чекає пострілу.

Ладо ж, набагато старіший за Вовка, натомившись за день на своєму лісовому кордоні, угріється в засідці і ганебно засне, поклавши руки на п'ятизарядний вінчестер. І прокинеться, наче його підштовхнуть, лише тоді, як з'явиться Вовк. А щоб вистрілити в нього, треба зняти руки зі зброї, вхопити вінчестер за шийку англійського прикладу й прицілитись. Вовк блискавично сезне за першим його рухом! Він це знає з багатолітнього мисливського досвіду. Його охоплює раптова кволість і дивне відчуття спорідненості з Вовком: в першу ж мить, як побачить його так близько, здибиться у пам'яті й душі Ладо і вбивство Вовком Рогдая, і смерть Ладиної дружини, і загибель Ерни...

Ерно, Ерно! Як тебе жаль! Майже так само, як і дружину. Ти ж на моїх очах будеш розтерзана! Добре, що хоч твоя господиня не бачитиме цього жаху. Бо так любила і леліяла тебе з цуценяти! Не забуваєтеся обоє, хоч плач, хоч скач, хоч сиднем сиди отут в осоружній засідці.

– Ану геть! – несподівано для себе, а ще більше для Вовка, гукне Ладо. – Геть звідси! – замахнеться кулаком із незбагненою люттю, що раптом аж затіпає ним.

Вовк здивовано озирнеться на Ладо і, як привид, шасне в яр, наче його тут і не було. Тільки опале листя завихриться за ним по землі. І сполоханою віхолою закружляє те, що досі повільно ширяло в повітрі.

2.

Ерна тяжко переживатиме смерть Ладиної дружини. Не легше, ніж він сам. Бо добра душею і дбайлива господиня вигодує її соскою і весь час дбатиме про неї дужче, ніж про своїх зозулястих курей. Чи навіть про корову. Хоч як бурчатиме на дружину Ладо, щоб не балувала собаку змалечку, вона все одно братиме Ерну на руки, доки та й не виросте.



А виросте і сформується Ерна у таку високопородну, випещену й розкішну суку, що аж прикрасить їхнє лісництво! Опромінить весь ліс досі небаченою тут собачою вродою і породою. Золотаво-руда, висока й довга, гнучка, мов поперечна дворучна пилка, вона й ходитиме якомсь особливо – інохіддю чи що?

Граційно прогнувши ситу й лискучу спину, не йде, а ніби пливе – такі в неї еластичні, безперервні рухи! За кожним кроком не нижчає, а, випростовуючись, вищає. Ніби пританцьовує, невимушено й легко відриваючи ногу від землі, водночас плавно й еластично переступає на іншу, як під музику. І не йде по землі, а ніби граційно лине повітрям. Любо глянути! Та любо й милуватись нею!

А коли Вовк розірве Рогдая, що оберігатиме її, мов меншу сестру, Ерна присмирніє й притихне – все тулитиметься то до господині, то, зрідка, до Ладо. Тремтітиме від вовчого виття. Коли ж нагло умре і дружина Ладо, розсаджуючи перед порогом чорнобривці, Ерна остаточно перебереться ночувати у хату під ліжком, де він тримає зарядженим свій вінчестер. Вона ще дужче боїтиметься вовчого виття, що лунатиме з тернового яру, як тільки зійде вечірня зоря. І самих вовків боїтиметься, бо чує їхній дух здалеку.

Але настане пора статевої зрілості, могутня сила материнства поллється з неї, і люди назвуть це тічкою. Привчена господинею до чистоти й порядку, Ерна, щоб не слідити, перестане заходити в хату – на ніч заб'ється під низенький і тісний ганок і замре там до ранку. Наче її й немає.

Вовки чують запах тічки за п'ять, а то й за десять кілометрів – дужче, ніж собаки. І старий могутній Вовк – убивця Рогдая – внадиться на лісовий кордон. Оббігає і обстежить усі закутки, познайивши вовчим способом: «Це – мое! Не руш!»

А потім пробиратиметься й на огорожене високим парканом подвір'я, легко й спритно долаючи високу огорожу легким зтяжним стрибком. Настійливо підступатиме до ганку все ближче та ближче. Ерна ж лежатиме там, ні жива, ні мертва. Боїтиметься й поворухнутись. Але інстинкт материнства братиме гору над її лякливістю, і вона звикатиме потроху до вовка і його духу. А далі, влягаючись завидна під ганком, навіть чекатиме його появи.

Він підповзатиме до Ерни по-пластунськи, на животі, зливаючись у темряві з чорною землею. Листя, що рясно падатиме з дерев, припалене сонцем, шелестітиме за кожним його рухом. Вовк завмиратиме, важко й часто дихаючи, світитиме із темряви по-



жадливіми очима, немов ліхтарями, і тихесенько скімлитиме, виманюючи її з-під ганку. Ерна ж, ловлячи той поклик, млітиме все дужче. З бажанням і острахом чекатиме: ось-ось він наблизиться до неї! Але під ганок не пролізе навіть його велика лобата голова, не те що могутній, м'язистий, немов кутий із металу, злютований тулуб.

Звабливі й закличні пахощі линуць від Ерни, паморочать Вовкові голову, здіймають у його нутрощах такі могутні інстинкти, що він, забувши все на світі, навіть пересторогу, стрибає на ганок, прямо під приціл Ладо. Бо чує, що Ерна лежить саме тут, під ганком. Вовк кликатиме й благатиме Ерну все настійливіше. Так що й Ладо почує і, підійшовши до вікна, вдивлятиметься крізь підняту фрамугу в темряву на вовчі витівки й вихиляси. Старий і досвідчений мисливець і анімаліст Ладо знає: природа візьме своє. І злука Вовка з Ерною неминуха. Але такого залицання Вовка до суки не довелось бачити навіть йому за свій довгий вік.

Фрамугу, відчинену звечора, Ладо залишить піднятою на всю ніч, щоб чути й бачити: чи не буде Ерні якоїсь біди? Бо вже й вовчиця внадиться вслід за Вовком на їхній лісовий кордон. Він передчуває: це добром не скінчиться!

Вовк стрибе з ганку, перекинеться на спину, заграючи з Ерною, яка, безумовно, бачить його. Білітиме навіть в темряві світлим черевом та червонітиме напруженим перначем, нагло виманюючи її із схованки. І вона не витримає – вискочить, лизне його в заслинену пащу і граційним плавним скоком поведе подалі від будинку, з очей Ладо.

А старий мисливець все одно бачитиме, як Вовцюга плигне на її широку, гладесеньку й випечену спину й допадеться до неї із пароксизмом вовчої задавненої невиситимості!

Вовчиця, несподівано з'явившись саме цієї миті, прослизатиме поміж ними, намагаючись завадити, роз'єднати їх. Та всі її зусилля виявляться марними.

Так вони й викотяться всі троє тугим лементуючим клубком у відчинену хвіртку і сезнуть у гаспидній темряві...

3.

Ерна пропадатиме в лісі цілісінький тиждень, втішаючись з Вовком насолодою, дарованою їм Богом і природою. Стривожений на початку, Ладо потім заспокоїться, згадавши, як часто вовки залучають собак у свої зграї. І майже змириться із втратою Ерни. Бо хіба мало він втрачав на своєму віку?



Але Ерна повернеться. Притишена, схудла й виснажена. І така незвично брудна, ніби її виваляють в болоті. Не дивитиметься на господаря – сором'язливо одводитиме погляд, винувато відвертатиме голову, нагнувши її мало не до землі. Ладо, проте, нагодує її. Бо чимало збережеться за тиждень кислого молока. Та й з приварку дещо зостанеться.

Потім він терпеливо скупає її під краном, намиливши шампунню, що лишиться від дружини. Ерна знесе все смиренно, не пручаючись і не огризаючись. І, висохнувши на сонці, під вечір знову заб'ється під ганок. І вже не заходитиме в хату. Бо вовків боятися перестане – породичається ж з ними! І звикне за час своїх мандрів.

Коли ж, під осінь, Ерна приведе семеро вовчент – і всі сіренькі, жодного жовтенького, як вона сама, – Ладо змайструє простору собачу будку від негоди, настелить в ній соломи, бо ночами вже помітно похолодає. Хай ростуть собі у теплі. Він сподівається приручити вовчент змалечку. «А як виростуть, – думає Ладо, – то ніякі вовки не будуть страшні такому численному виводку!»

4.

Ясної сонячної днини він обстежуватиме Верхній ліс, що круто зводиться над лісництвом, над усім лісовим кордоном, над яром, що густо поріс непролазними терновими хашами. З цього високого узгір'я видно все обійстя і нехитре господарство лісового кордону. Обходячи ліс, він позиратиме на своє обійстя і помітить, як на подвір'я несподівано шасне стара й люта вовчиця, вислідивши, що його на лісництві немає. Вона тут жодного разу не з'являлась, як і Вовк не з'являтиметься відтоді, як заманить і викраде в нього Ерну. На цілий тиждень своїх шлюбних утіх і насолод з такою випещеною красунею.

Ладо оторопіло дивитиметься, як вовчиця сірою торпедою кинеться на Ерну, спробою зіб'є її з ніг і вхопить величезною пащею за тендітний живіт – одним різким і могутнім рухом вирве їй своїми страшними іклами всі нутрощі! Дикий, передсмертний зойк Ерни розірве лісову тишу, і вона одразу ж змовкне, спустивши дух. А вовчиця озвіріло кинеться на беззахисних вовчент і поперегризає їм ніжні горлянки. Всім до одного!

Вражений в саме серце такою небаченою жорстокістю, Ладо гукатиме щосили, стрілятиме з вінчестера в повітря, щоб припинити цю вакханалію. Але вовчиця й вухом не поведе на його марні



крики й постріли – надто далеко він від свого обійстя, щоб чимось завадити їй!

Ладо бігтиме з усієї сили, стрибатиме, захекавшись, через повалений вітром сушняк. І, наблизившись до лісового кордону, не повірить своїм очам: Вовк над трупами Ерні і вовченят критиме свою люту стару вовчицю! Саме ж тепер, в шлюбний період, через відроджену хіть, вона й помститься Ерні за давні ревності й тодішнє своє безсилля.

Отже, Вовк незворушно й смиренно спостерігатиме за жорстокою розправою над Ерною і своїми вовченятами, жодним чином не реагуючи на це звірство! Бо й сам є лютий звір. Тільки Ладо не помітить його з Верхнього лісу: мабуть, Вовк стоятиме за рогом будинку, стайні чи сажу і спокійно спостерігатиме, як нищить своїх ворогів люта вовчиця? А може, заляже за густими кущами калини, насадженої Ладиною дружиною з любові до цього символу України та засобу від простуди?

Його – старого й досвідченого лісівника і мисливця, що об'їздить півсвіту і доволі набачиться всяких див на далеких континентах, вразить у саме серце байдужість Вовка! А ще дужче – диявольська жорстокість старої вовчиці.

«Отакі зараз жорстокі та байдужі люди, як вовки!» – подумає він.

Із-за товстого стовбура столітнього дуба Ладо навскидку вицілить вовчицю й покладе її з першого ж пострілу узгодженою картеччю. А Вовк, пов'язаний намертво із вовчицею, злякано рвонеться з-під пострілу. І вовчиця, вже мертва, одірветься од нього, глухо вдарившись головою об дошки, коли він перестрибуватиме високий паркан. Ладо й цього разу не встигне вистрілити в нього і покласти поряд з вовчицею могутнього й хитрого Вовцюгу. Вже вкотре йому, досвідченому й на диво спритному, вдається уникнути меткого й несхибного пострілу старого Ладо, який зі свого вінчестера валив буйволів і носорогів у долині Серенгетті та в кратері згаслого вулкану Нгоро-Нгоро на вершині гори Кіліманджаро в Африці...

За три місяці постійного висліджування і ночівлі в засідках Ладо не діждеться Вовка. А сьогоднішньої ночі Вовк сам прийде й підставиться йому – тільки стріляй! Але Ладо не вистрелить: якась дивна апатія скує й обезволить його. Надто багато смертей на його лісовому кордоні за короткий час! До того ж, його мучитиме здогад: що з Вовком? Чому він прийде вмирати під його постріл? «Щось тут не так», – думатиме Ладо. А честь і достоїнство



справжнього мисливця не дозволяє вбивати самогубця, а не вислідженого звіра. Його помста і гнів за розправу над Ерною та її вовченятами раптом вгамуються. Чи й забудуться зовсім.

Та й власна смерть Ладо давно стоїть за плечима й не зводить з нього холодних і моторошних очей! В такому стані – не до пострілів. Самому б вціліти.

5.

Тої осені самотнього Ладо засипатиме листям у його лісовій сторожці, як ніколи! Дуби, ясени, граби, осокори і клени квапляться передчасно скинути своє листя. Єгипетська літня спека даватиметься взнаки з настанням осені: листя спадає не саме по собі, а разом із сьоголітнім приростом. Деревя, виснажені небувалою спекою, скидають з себе зайві шати, щоб уберегтися від очікуваних холодів – зиму обіцяють синоптики морозну й сувору.

Цілі кетяги, схожі на плодушки фруктових дерев, передчасно зжовклого листя на тонких гіллячках-розчепірках без вітру зриваються з найвищих дерев і летять та й летять на землю, встеляють подвір'я товстим шелестючим килимом. Навкруги листя і листя – на ганку, на покрівлях будинку, стайні, сажу. І навіть на покинутій собачій будці. І тільки сум і запустіння тчеться з опалим листям у дивну й печальну музику, викликають тугу за втраченими надіями, за щастям, яке не збулося. І вже ніколи й нізачо не збудеться. Не повернеться во віки віків ні дружина, ні молодість, ні Держава, яка його посилала рятувати ліси на інших континентах, у інших країнах...

Всі його – старого вченого, дослідника лісів, мисливця і мандрівника – покинуть і забудуть, мов бакенщика-пенсіонера чи матроса, списаного на берег. Навіть діти не озиваються, зайняті роботою, проблемами й клопотами. Друзі-ровесники або постаріють і поринуть у неміч, або умруть. А він ще живе. Чи доживає. Для кого? Для чого? Про це якимось і не думається. Бо Ладо постійно відчуває, як він потрібен лісові! Може, це й тримає його на світі? Не дає старіти й слабнути? І це, мабуть, найголовніше. І деревину від браконьєрів охороняє – давно перестали валити ночами найліпші дерева, відколи обстріляв їх, освітлених фарами власних вантажівок-лісовозів з довгими причепами, зі свого боювого Вінчестера.

Та й звірів не дає на поталу ще хижішим браконьєрам, що звуть себе мисливцями. Норовлять стріляти з іномарок та джипів з-під фар. Прибавиться в лісі його піклуванням і стараннями



лосів, кабанів, косуль – він їх бачить тепер під час обходів цілими табунами. І радіє: є, є в наших лісах дичина! Хоч ми й не турбуємося про неї.

Давно щезнуть і зграї бродячих псів, які розганяють і нищать лісових тварин. Майже всіх виловлять і вистріляють. А поповнення немає, бо в садових кооперативах наведено сякий-такий лад із цим ділом. І вовків виведуть облавами та червоними прапорцями із загонщиками. Якихось вистріляють мисливці-вовчатники, а котрісь повтікають в інші ліси. І коли далекий Сиріус зійде над лісовим кордоном, помітний навіть місячної ночі, озивається з порослої терном яруги один-єдиний старий Вовк. До нього Ладо давно звик: чекає щовечора його жалібного виття, стоячи з дійницею на ганку, подоївши корову...

«Це ж, як я його вб'ю, – думає Ладо, цідячи молоко, – то й виття вовчого не почую? І тиша стане повною, як у могилі? Ні, більш не ходитиму в засідку. Хай собі живе. Чи доживає, як я!» – вирішує він. І самота й тиша огортають його до самого ранку.

Наспіх повечерявши черствим хлібом, накришеним в тепле молоко з-під корови, Ладо за давньою звичкою запише враження минулого дня в фенологічний журнал – може ж, хтось колись прочитає ті записи й спостереження: «Приходив вовк уночі. Підставлявся під постріл. Але я не стріляв. Чому? Сам не знаю...»

Зробивши цей несподіваний запис в кінці фенологічних спостережень, Ладо довго сидітиме, замислившись. Але так і не зрозуміє, що його утримає від пострілу? Зате відчує полегшення: не взяв гріха на душу! З цим приємним відчуттям і засне. Вперше за три місяці у своїй постелі, а не в засідці.

І снитиметься йому місячна ніч, його осоружна, давно вже набридла засідка. І Вовк із своєю різкою чорною тінню на зів'ялій траві. Цього разу він вицілить-таки його зі свого несхибного вінчестера, спустить курок. Але ні постріл не пролунає, ні віддачі не відчує в плече. Ладо здивується. І, здивувавшись, прокинеться і вийде на ганок.

Яскравий місяць висітиме над лісом, воістину «як млинове коло». Але вже й світанок засяє на Сході вранішньою зорею. І в цьому непевному, змішаному освітленні Ладо помітить біля самого ганку... мертвого Вовка! Його, вже задубілого, густо вкриє лапате і жорстке дубове листя. Воно опадє останнім цієї ночі з першим приморозком Дуби пізно криються листям весною і роняють їх найпізніше.



«Отак і мене тут, в урочищі, засипле листям, – подумає Ладю.
Ніхто й не знайде»...
А листя падає й падає, з тихим шерхотом валиться з дубів.
Вкриває землю. А там і зима скує морозами, замете все снігами.
– Й сліду не лишиться, – скаже сам собі Ладю і тихо зітхне...

*Конча-Озерна,
14 жовтня 2009 року.
На Покрову*



ТС-С-С! НЕ ЗБУДІТЬ ...

Новела

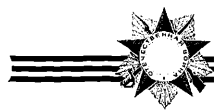
На його улюбленій канапі спить перед телевізором молода жінка з лицем Богородиці – далека, чужа і мало зрозуміла.

Спить серед білого дня. А день – сонячний-сонячний! «Весна Світла» за Михайлом Пришвиним. Вона летить-пролітає над реліктовим лісом, над Великим Дніпровим Лугом. Васильківський на своєму геніальному полотні назве його «Козачою Левадою». Пам'ятаєте? На передньому плані високі буйні трави, як при Палеоліті, різнокольорові яскраві квіти, а в далині, під темним лісом, пара білих круторогих волів. Наче їх щойно випрягли чумаки з далеких мандрів у Крим по сіль. Чи з ще дальших походів гетьмана Богдана Хмельницького. І пустили пастися.

Зараз поріділий ліс просвічується наскрізь, а сам луг після зими – бляклий, порожній, мов осиротіла душа зсамотнілого еге-ра-лісовика, прозваного «Ой дід-Ладо». Крислаті дуби-нелині в сонячному буйстві непоправно чорніють потрісканою корою, а вікові сосни, навпаки, золотяться і святково сяють рожевими стовбурами, утворюючи ілюзію літа. Або «Весни Води», що скоро почнеться. Чи «Весни Трави» – такої далекої, що здається мрією...

Мрією здається старому Ладо і ця молода, вічно засмучена жінка. Вона інколи з'являється на його віддаленому й глухому лісовому кордоні, забутому Богом і людьми. Віє від неї забутою власною молодістю, ще забутишим родинним щастям. Розділеним, а тому, за древньою китайською мудрістю, подвійним. В довгій і тяжкій самоті, що нагло впаде на Ладо зі смертю дружини, те щастя недосяжне. І, як усе недосяжне, особливо бажане й знадливе. Тому Ладо жде-недіждеться її дзвінка.

А як тільки ця жінка зателефонує, що виїздить до нього з Києва, ще затемна зустрічає її своїм «Опель-Омегою» на кінцевій автобусній зупинці. А як вертаються, над лісами й автострадою вже синітимуть Небеса. Сонце яритиметься – битиме прямою наводкою у вітрове скло «Опель-Омеги», а з стереофонічного



бортового радіоприймача лунатиме П'ята симфонія Бетховена. І Ладо, розчулений божественною музикою, близькістю молодої вродливої жінки, що пахне йому забутим щастям, не втримається і, не випускаючи керма з лівої, правою рукою обніме її за тонку, гнучку й податливу талію і несподівано й для самого себе поцілує тугу пахучу щоку в розвихреному волоссі.

– Ви не джентльмен! – різко й сердито відсторониться, зиркне осудливо, мов на лютого ворога.

Навряд чи зважилася б отак сказати йому котрась із його аспіранток чи докторанток, у яких він був то опонентом, то науковим керівником в підготовці й захисті дисертацій. Та й ніхто з колег по Лісовій Академії не дозволяв собі такого тону. А вона ще й відсунеться до самих дверцят і більше навіть не гляне на нього. Учений із світовим ім'ям, він мовчить і терпить отаку відразу й демонстративну відчуженість. Чому? Навіщо вона йому, оця «Дика Бара»? Але щораз жде її приїзду, як свята. Хоч не може збагнути: чому вона їде до нього?

Ось і сьогодні мовчки забереться з ногами на його канапу, укриється старим кожухом і попросить увімкнути телевізор. Ладо вдовольнить її примхи і, доки митиме машину, чутиме з розчинених дверей стрілянину, зойки поранених, гуркіт і ревище автомобілів, рокіт вулиць і майданів далекого і чужого мегаполіса – всі ці нетутешні звуки особливо нестерпні в лісовій тиші й спокої. «Ой дід-Ладо» дивуватиметься: як може отака розумна й освічена жінка «насолоджуватися» американськими кривавими бойовиками? Це ж такий несмак! Та ще й стандартизований, стереотипний...

Помивши й поставивши машину в гараж, заходить, а вона спить собі в Содомі і Гоморрі цієї голлівудської колотнечі! Навіть потужні сирени поліцейських «Кадилаків» не будять її. Ні постріли, ні вищання та скрегіт шин, ні вибухи розстріляних з ручних гранатометів автомобілів.

Вона спить на спині, відхиливши голову в пухнастій зачісці до лівого плеча, і її інтелігентне обличчя умиростворено тулиться тендітною щокою до жорсткої гобеленової спинки канапи. Уві сні вона зворушливо беззахисна. Де й дінеться її суворя незалежність. Натомість сумовита зажура за чимось втраченим назавжди кладе відбиток на її лице...

«Ой дід-Ладо» стоїть над нею, затаївши подих. Милується її іконописним обличчям, вибагливо й тонко окресленими губами, набубнявленими уві сні й напіврозтуленими, вигнутими дугами брів, довгою, зовсім юною шиєю – білою-білою, мов сніг, що зій-



шов і встиг забутися під весіннім промінням. «Хто ти, дівчинко-жінко? – вже вкотре думає «Ой дід Ладо». – Чому їздиш до мене в лісову глушину? Що залишаєш там, у Києві, в гуртожитку чи на роботі? Хіба ж дізнаєшся?». А в душі й пам'яті відлунює недавно почута сумна й тужлива мелодія Леоніда Дербеньова:

Всё пройдёт... И печаль, и радость.

Всё пройдёт - так устроен свет...

– Я вовчиця! – скаже з першої зустрічі.

Епатує? Кокетує? Чого не почувеш від сорокап'ятилітньої жінки, у якої не склалось життя? Але ж... Хіба вовчиці бувають отакі зморені й тихі? Вони й уві сні хижі та люті!

Шокує, щоправда, її необов'язковість: приїде, побуде, навіть переночує на першому поверсі в окремій кімнаті, що правила дружині за спальню. А вранці шезне, як у воду пірне. Ні дзвінка, ні телеграм. Наче ти для неї – ніщо! Це ображає й принижує. Ну, хоч би подякувала за гостювання. Ніби данину збирає. Як податкова інспекція чи поліція. Наче всі їй зобов'язані. Невідомо за що...

А може й справді вона – прибудна вовчиця? Без вовка, без вовчат, без лігва? Хіба ж гуртожиток – пристановище для такої вродливої й зрілої жінки? А без лігва хіба ж то вовчиця? Саме в лігві вона й володарює. Навіть над могутнім та лютим вовцюгою: заріже той вівцю чи ягня, поцупивши з кошари, нахватається свіжини з кров'ю – ледве волочитиме по снігу відвисле, перевантажене черевом, повертаючись до лігва. А вовчиця повільно й погрожливо підведеться йому назустріч, грізно зиркне на нього, гіпнотизуючи, і він тут же виригне перед нею все, що нахалає в кривавім бенкеті. Вовчиця підпустить вовчат до здобичі, а як вони нажеруться, й сама вхопить якийсь шматок, щоб молоко прибувало. А вовцюга лежить при самому вході у лігво, покірний і тихий, не посміє й наблизитись.

Стоїть «Ой дід-Ладо» над сплячою – яка там вовчиця? Анічогісінько вовчого – сама незахищеність і тендітність...

Тихесенько відслоняє штору і виглядає у Весну Світла. В широкому, на всю стіну, вікні, далеко-далеко над невидимими звідси Десною й Дніпром летять білі й круглі оболочки. Їх ніяк не назвеш хмарами – такі вони світлі й веселі. Ще веселіший їхній лет до обрію й за обрій. Летять вони й відлітають назавжди й безповоротно, як наші літа ...

Стоїть Ладо над неприкаяним дитям зглобалізованого й комп'ютеризованого світу: чому ж ти вже п'ятий місяць з'являєшся тут, в глухому урочищі, у моїй сторожці, і з кожним



приїздом не ближчаєш, а віддаляєшся і чужішаєш, наче я чимось завинив?!

Мовчить-мовчить, а потім як з кілочка:

– Ви мене зовсім не знаєте!

Не знаю. Бо не відкриваєшся. Їздиш-їздиш, а ніби відгороджуєшся. Про тебе можна сказати, як Чехов про яструба у своїй безсмертній повісті «Степ»: «І не зрозуміло, чому він літає і що йому треба?»

– Мною й моїм життям ви зовсім не цікавитесь!

Ще й як цікавлюсь! Але ж я – не Кальтенбруннер і не Мюллер з гестапо, щоб вас допитувати. А ви мовчите, мовчите – все ніби чогось очікуєте. А роки летять – рахую вже дні й ночі в самотині. Нічого ж не вернеш!

– Весь час говорите самі, аж голова йде обертом. А я хочу спокою...

А-а-а, он воно що! Вами крутить-вертить життя, оглушує й виснажує, і ви шукаєте тут спокою й тиші? Їх у лісі не бракує. Але ж ви і тут мовчите. То мушу говорити я. Хоч я теж – не говорун. Тільки й того, що читаю вам напам'ять українську, російську й світову поезію, що запала в душу замолоду. А також висловлювання Екклезіаста, Ніцше, Толстого і Шевченка, що по-новому хвилюють і самого на схилі літ парадоксальністю, незбагненим пророцтвом і заглибленням у суть явищ, в психологію людини і людства.

– Ви мене не слухаєте!

Ще й як слухаю! Самі розповісте в перший приїзд, як на випускному вечорі вас зачинять в порожньому класі з закоханим однокласником, і він намагатиметься згвалтувати вас. Як злякаєтесь і після цього зненавидите його. А потім, уже студенткою, вас згвалтують-таки по справжньому.

Що це? Фатальні збіги? Чи ви самі провокуєте такі домагання?

Не знаєте, мабуть, і самі. Може, й від мене чекаєте насильства? Може, в насильстві для вас насолода? Але я насильства над жінкою не визнаю й не припускаю!

Стоїть «Ой дід-Ладо» над нею, милується сонною й гадає: «Згвалтував її той хлопець чи ні? Зненавиділа його чи любить і досі?»

Що ми знаємо про жінок? Навіть про тих, що віддаються нам самі, добровільно й з охотою, даруючи найбільше щастя з усіх можливих щасть і насолоду, найсолодшу з усіх насолод. На-



віть про тих, з котрими проживаємо життя. І що я, справді, знаю про вас – «Сплячу Красуню»? Ми ж з таких далеких і різних поколінь! Чи ж можлива, чи припустима близькість між нами? Не знаю й не відаю. Але ви все дужче заповоняєте мою душу, і мені тепер важко уявити своє життя без вас, без ваших відвідин.

Далека й чужа, чом же ви так вабите мене? Нащо розповідаєте найстрашніші епізоди свого життя? «Щоб довести, що я недостойна вас!» – якимось вирвалось мимоволі. Яка наївність! Та ви мені ще дорожча через ці біди і кривди – хочеться захистити вас від цього жорстокого й звироднілого світу, як свою дитину!

Стоїть Ладо, милується її молодією вродою і думає: «Хто ви? Хіба тільки жертва бездуховності і насильства? Може, зненавиділи усіх чоловіків, а мститеся одному мені? Бо чом же й після розповіді про згвалтування відстань між нами не скорочується, а збільшується, стає нездоланною?»

Ди-ви-на! В кінематографі, на телебаченні, в сучасній (так званій) літературі відверто-оголені сцени «вільної любові», бездарна імітація дикого й розгнужданого сексу, а ви за п'ять місяців і не поцілуєте мене.

Телефонуючи, що їдете, неодмінно питаєте:

– А ви сьогодні молилися? – квапливо і ніби злякано.

Хоч стій, хоч падай! Мені, що пройшов Крим, і Рим, і мідні труби: досліджував джунглі Амазонки і Південно-Східної Азії, а у війну рубався автоматними чергами з есесівцями лейб-штандарта «Адольф Гітлер» на Віслі, на Одері, на Зеєловських висотах і в Берліні, задавати такі запитання?! Що це – святенність чи схимництво? Замолювання давніх – шкільних, студентських чи комсомольських гріхів? Заклик, щоб і я їх замолював разом з вами? Не знаю. І ніколи не взнаю...

І все ж, ця жінка-дівчина дорога мені! І потрібнішає з кожним приїздом, хоч до нинішнього дня лишається не зрозумілою.

«Ой, дід-Ладо» нагинається над нею тихо-тихесенько, щоб не збудити, бере з спинки канали пульт дистанційного управління й обережно вимикає телевизор. Не сполохав? Ні-і-і! Спить собі і в тиші, як спала в гуркоті і стрілянині американського бойовика. І пригадується йому Франц Кафка:

«Людство спить... Темної ночі спить воно у широкій долині під відкритим небом. Упевнене, що над ним не небо, а надійна й міцна стеля. Темно, тихо, моторошно...

Тільки де-не-де, по далеких краях долини палають вогнища вартових. І якщо вийняти з багаття палаючу головешку, підняти



її високо над головою і помахати, мов смолоскипом, то від іншого далекого вогнища, з протилежного краю долини, хтось теж підніме з багаття палаючу головешку-смолоскип і помахає тобі у відповідь: «Я бачу тебе! Бачу! Спасибі, що ти є у цій темряві над сплячим людством!»

Бо хтось же має не спати! Хтось повинен бути на чатах...»

Тільки, Ради Бога, не шукайте у Кафки цієї мініатюри, щоб звірити: це лише парафраз із неї, додуманий чи згаданий над сім'ячою чужою й далекою жінкою. І хоч вона спить в лісовій сторожці на моїй канапі, я клянусь вам: немає чужішої і не зрозумілішої людині для мене! Вона ще чужіша за оте людство, що спить у широкій долині, вигаданій Кафкою. Долина може бути й планетою Земля. Але й там, у фантазмагоричній Кафчиній новелі, вам помахають у відповідь смолоскипом приязні від далекого вогнища. Тут же, в лісовій сторожці, навіть знаку не подадуть, що бачать смолоскип твоєї прихильності чи навіть – любові...

Інколи, як довго не приїздить, пише дивні листи-ребуси:

«Мова моя, порівняно з Вашою, бідна, а душа – окрадена мною самою. Усе своє свідоме життя я борюся за життя, тому що, як у відвертому пориві зізналася Вам, - мене переслідувало багато років небажання жити. Я вже так змучилася від жорстокості світу і своєї власної недосконалості, що стала надзвичайно чутливою, навіть психічно хворобливою... Якщо здаюсь Вам блукаючою та неприкаяною душею, то зможу згодитися з таким судженням, бо інколи, а то й часто, - сама собі здаюся такою.

Але запевняю Вас: я не ота «вдатна та успішна «комсомольская невеста». Багато років свого життя я займалася громадською роботою, віддаю купу енергії направо і наліво. Мабуть, у цій роботі я шукала відповідь на безліч запитань, а саме: «Хто ти, людино?» і «Хто я?».

Повірте, я дуже стомилась, особливо робота в «Просвіті» підірвала мої сили. Звільнилась я з «Просвіти» 1-го липня цього року і пролежала майже два місяці у своєму ліжку, інколи піднімаючись і блукаючи містом у пошуках Віри і Надії... Не хотілося потрапляти в такому стані на очі друзям, не хотілося їхати в Херсон до могил своїх близьких. 23-го липня, в день мого народження, мене прийшли привітати молоді просвітяни, які пішли з «Просвіти» вслід за мною, і подарували мені ікону Божої Матері. «Я есмь с вами и ничтоже на вы».

... Коли 7 листопада я побачила і почула Вас в Будинку Кіно, серце моє потяглося, попросило знайомства... Було тільки дивно,



чому Ви хапаєте мене за талію? «Мабуть, надзвичайно життєрадісний чоловік, та ще й напідпитку», – подумала я. Ваші слова про землю прозвучали прекрасним акордом на початку фуршету і врзалися в мою пам'ять, як лейтмотив нашого майбутнього «Круглого столу»: «І сказав Господь Мойсею, що стояв на горі Синайській: «Земля не має продаватися, наділятися чи перерозподілятися навічно. Бо – моя земля!»...

Несподіванкою була для мене Ваша рішучість завезти мене проти ночі на свій далекий лісовий кордон, але в моє серце влилась якась гармонія: поруч з Вами я відчувала себе мило і затишно. Я дякую Вам за ту ніч у Вашому лісництві. Я довіряла Вам повністю, хіба що до зближення інтимного була зовсім не готова.

У своєму трепетному листі Ви називаєте мене мудрою, і Вас дивують мої вислови. Та мудрість і ті вислови – то аксіоми нашого людського буття, які я засвоїла завдяки вченням Великих Учителів (імена Ви знаєте).

Я не знехтувала Вашими почуттями, як Ви пишете: «Ви перша відхилили мої домагання, і зневажили мій порив до Вас».

Що Вас принизило й шокувало? Вам, певне, і в голову не приходило, що Ваші домагання могли принизити й шокувати мене. З великої поваги й симпатії до Вас я не збрикнула зразу, просто намагалася зупинити якимись безглуздими поясненнями, які виринали з глибин моєї пам'яті у вигляді слогадів про свій болючий досвід, і не підставляла я Вам своє коліно, як Ви пишете, і не виношувала ніякого злого наміру...

Поза нами існують закони Космосу. Але ж і для нас вони існують. Порушуючи космічний порядок, а простіше – гармонію, що тримає світ, люди розплачуються, мусять платити. Так формується досвід людства і кожного з нас. Кожен день нашого існування вписано в програму життя всього людства. І як важливо навчитися нам розуміти одне одного, а також світовий порядок та сенс усього сущого. Існують тисячі знаків і символів, що рухаються поза нашою свідомістю. Але можна їх розпізнавати, можна навіть навчитися використовувати їх во благо.

Ось, наприклад, у мене питання: що мені робити? Як мені бути? Чи летіти до Вас за першим покликом? Чи нагородити купу бар'єрів, або ж навіть претензій? Як розібратися у своїх почуттях? Як пояснити або ж дати зрозуміти, що зі мною можна робити, а що – не час! Як говорити з Вами, коли Ви не цікавитесь, що відбувається в моєму серці, а самі розказуєте, розказуєте, цитуєте



поетів і прозаїків, згадуєте свою дружину, душа якої, я це відчула тієї ночі, літає над нами...»

Листи (а їх, отаких, чотири чи п'ять) відверті, розумні й прихильні. Це майже оспівдення! Ладо згадує їх, доки вона спить, змучена невідомим життям, невідомими людьми, які теж, можливо, домагаються її – самотньої, молоді і вродливої. І хіба він, Академік-лісівник, що перетворився тепер на єгеря-лісника, схожий на них? Чи вона перебільшує, підозрюючи і його в лихих намірах, надивившись на хтивих домагачів та настраждавшись від їхніх домагань?

«14 грудня 2003 року – Неділя. 15:06. Час відрізає кожний день, ніби скибку хліба. І від тебе залежить, як проживеш цей день: чи смакуватиме тобі хліб, чи подаруєш радість комусь, чи будеш корисним?

Чи оживатиме, чи вмиратиме у твоєму серці любов?

Рішаю задачу, задану життям: як поступити, як порозумітися з людиною, яка прагне мене, засліплена пристрастю зболілого самотнього серця?

Як розрадити, як втішити відомого вченого «Ой дід-Ладо»?

Єдине, що прослуховується із середини мого єства, отой внутрішній голос: «Ти не будеш з ним спати!». Якраз саме цього найбільш хоче Ладо.

Що саме цікаве, – я не втратила звичайних людських сексуальних потягів, відчуваю себе живою, потребуючою фізіологічного задоволення».

«Так чого ж тобі ще треба?» – думає Ладо, милуючись її молоддю вродою, свіжою-свіжою під його старим кожухом, відчуваючи, як гаряча хвиля ніжності охоплює його, піднімаючи в небеса, що синіші за сині небеса «Весни Світла», ще біліші за оті білі оболони над далеким Дніпром?! Але вона у сні ще дальша, ніж наяву. Спить, а сама віддаляється, віддаляється! І ніяк не збагнеш, чому?

«Але, – пояснює далі сама у своєму листі. – Існує одне але... перевірене досвідом, десятками прикладів, сотнями пригод, – це моя Душа!

Вона відмовляється коритися дурному, лінивому, інертному тілу, хворому астралу, моєму простому бажанню.

Я відчуваю до цього чоловіка потяг, окрім цього в моєму серці народилося почуття приязні, симпатії до нього. Але ж це ще не Любов. Моя Любов зродиться, якщо я зумію її дочекатися і дорости до неї, освячена Небесами. «Господи, сохрани і помилуй душу грішну!»



12 грудня, напередодні Свята Андрія Первозванного, учня й апостола Ісуса Христа – я отримала теплого, радісного листа – визнання мене мудрою і зрячою, майже святою.

17 грудня, в День Варвари Великомучениці, яка опікує самогубців, під час телефонної розмови з Вами почали відкриватися такі за давнини і заіржавілі завеси моєї душі, що сльози котилися і котилися після того, як поклала трубку. Наче рідний батько, якого я не знала, і рідна мати, яку за її життя я так і не зуміла простити, обізвались разом узяті до мене через Вас. А може, Господь Бог через Вас торкнувся заіржавілих струн...

І саме в цей день нас розвела невідома сила: я не змогла додзвонитися до Вас увечері. Мені так хотілося подякувати Вам, а ще – вибачитись, що в другій телефонній розмові цього ж дня не змогла дослухати Вашу розповідь про будиночок Чехова в Ялті, який Ви відвідали влітку, перебуваючи там в Будинку Вчених. Просто не могла більше займати службовий телефон.

А 18 грудня, вранці, я почула Ваш відчужений голос: у Вас були гості, і Ви не стали зі мною говорити. Сказали, що передзвоните, і не передзвонили...»

«Отак сам собі копаєш могилу відчуження, з якої не виберешся сам. І Вона – теж», - думає Ладо над «Сплячою Красунею», строгою й принадоною уві сні.

«А, може, варто згадати 19 грудня – День Святого Миколая-Чудотворця, покровителя усіх моряків. Я просто візьму знов уривок із свого щоденника.

«В день Святого Миколая я очікувала чуда і бажала чуда оточуючим. Чи ж було чудо? На перший погляд нічого особливого не відбулося. Хоча стільки подій за один день і стільки знаків!

Мій дорогий Ладо почав мене розчаровувати. Але це таке, що я придумала для того, щоб не прив'язуватися до цієї Людини-Дуба всім своїм серцем!

Не хочу приростати. Не хочу залежати. Чого ж я хочу?

Легкого дихання хочу! Свободи внутрішньої хочу! Любові справжньої у своєму власному серці, у своїй душі!

Із трьох доріг, які світили мені того вечора, я вибрала ту, яку просило серце. Можливо, серце моє так і залишиться сліпим. Бо втіхи, якої очікувала від зустрічі з Ладо, я не отримала.

Але ж хіба для втіхи однієї живемо? Втіха може бути дарунком Неба. Може бути здобутком серця. Але вона має бути справедливою винагородою у будь-якому випадку.



Я не отримала цієї нагороди – кого ж звинувачувати в цьому? На кого ображатися? Може, я не заслужила винагороди? Бо що ж я зробила для Ладо? Не простягла руки йому, коли він так цього потребує. Відхилила його домагання й не віддалась йому, хоч він так прагне цього! Я відчуваю: він палає і палахкотить! А в мене, проти моєї волі, це викликає відразу». Що це? Задавнений переляк? Пережитий отам, у замкненому класі, перед брутальним насильством, що потім у потворнішому вигляді повториться в інституті?

«Немов тонюсінька сіточка-павутинка плететься аура, енергія твоєї душі. А ти рвеш і рвеш цю золоту мережку споминами, дурною ейфорією неіснуючого щастя: ба! Тебе он як любили! Тебе бажали, хотіли поєднати з тобою долю, життя, розділити з тобою все! І твій Ладо, проживши таке довге і яскраве життя з дружиною, чи принесе тобі щастя? Чи буде тобі достойною парою? Як і ти йому? Я в полоні цих вагань.

Одна і та ж помилка – це своєрідне збочення: поринати в минуле, мов у чорну безодню океану, в якому тобі ще не раз доведеться плавати і навіть тонути. Адже від тебе самої залежить, чи безодня чорна, чи хвиля прозора, ніжна і чиста, яка сама тебе несе, підносить до Неба, а не тягне на дно. Як зробити вибір? Як знайти істину? І чи існує вона взагалі?

Кликали мене сьогодні в Будинок Кіно подивитися «Гамлета» із щасливим фіналом, настійливо запрошували й до Волинського братства. Але я вибрала те земляцтво, де мав виступати Ладо: в Будинку профспілок вони влаштували передноворічні вітання. Я милувалася знаменитим вченим «Ой, дід-Ладо» – який він все-таки гарний у своєму віці! Він цікаво, мудро говорив, не проминув згадати і свою покійну дружину, та його, на жаль, упинила поцілунком і квітами ведуча...

І знов у мою душу прокралось сум'яття, рій думок увірвався в мій мозок. Ладо оточили жінки, він цвів і пахнув, дарував свої усмішки їм, танув від утіхи, торкався їхніх щік і рук! А я, вже самотійно одягнута, стояла назирці, спостерігала і все більше ніяковіла за нього.

Мені хотілося швидше залишити цей будинок, втекти від людей і від самої себе. Знову щем у серці, цей пекучий щем...

Він мене піймав і більш не відпускав до самої ночі».

Мабуть, все ж таки, досить цитування. Можливо, я роблю фатальну помилку, що пишу Вам про такі дрібниці, як може здатися на перший погляд. А може, так воно і є насправді?»



Лист не підписано, бо завершується він віршем Григорія Сковороди:

*Ти питаєш: якщо щастя життя в кожному з нас,
То чому його досягає так мало людей?
О, це тому, що їм важко керувати душею.
І тому, що не навчилися приборкувати пориви...*

Такий лист могла написати тільки вельми розумна й талановита жінка. Ладо це збагнув одразу. Але що ця жінка закохана в нього, він не може і припустити: приїде і весь час відгороджується! «Не чіпайте мене!» А пахне ж як! Молода, туготіла, гаряча! Сама палає, а його тримає на відстані: «Ось облиште! Я стомилася!» – відгороджується і вдає з себе «Недотрогу» – в сорок п'ять років! Двічі побувавши замужем. І Ладо дивується та ніяк не збагне, якого дідька корчити з себе Орлеанську Діву, про котру, однак, так багато написано поетами, істориками й письменниками. А Валентина Толкунова – його улюблена співачка – і досі грайливо твердить:

*В сорок п'ять, в сорок п'ять
Баба – ягодка опять.*

І пригадується йому геніальний, хоча й еклектичний фільм Панфілова «Початок», у якому Інна Чурикова грає Жанну д'Арк перед стратою через спалення – справжнісіньке тобі Аутодафе крупним планом:

– О, святий Себастіане! О, пресвятії Єлизавето і Катерино! Чом же Ви не говорите зі мною? Чом покинули мене в цю жахливу хвилину?! – молиться Інна в Небеса під гоготіння полум'я.

А якісь старі, похилені жінки в чорних чернечих одежах несуть та й несуть, підкладають та й підкладають в багаття під її ногами сухий хмиз і дрова! А полум'я готить все дужче, росте й охоплює Жанну-Інну знизу. Лиже її ступні, гомілки, ще ніким не ціловані стегна, добираються до живота, до тендітних дівочих грудей, обпікає обличчя і нарешті дико спалахує у волоссі веле-тенським німбом-смолоскипом.

– Дайте хрест! – несамовито, передсмертно зойкає Інна, перекриваючи гоготіння полум'я. І знову – ще несамовитіше – з диму й марева від пекельного вогню, вже й не своїм голосом: - Дайте Хрест!!!

«Ой, дід-Ладо» й досі чує той несамовитий крик. Особливо ночами на самоті, і він рве йому душу жалем і співчуттям.

За один той крик в Інну Чурикову закохається весь Радянський Союз, вся Європа, весь кінематографічний світ! А що ж



говорити про Панфілова, котрий саме тоді домігся її любові?! Про Панфілова, режисера-постановника в білій кепці, що на рететиції збирається відпиляти ножівкою руки своїй коханій, бо вона ніяк не впрається з ними, не знає, куди їх подіти...

Стоїть Ладо над «Сплячою Красунею», милується нею. Тонкостанна й довгонога – це вгадується навіть під його старим кожухом, – вона здається зараз такою рідною, ніби котрась з двох дочок, яких вони викохали з дружиною замолоду. Він давно вже забув, як милувалися ними, сплячими, ще коли були маленькими. А тепер милується Нею. Оцією зсамотнілою й беззахисною дитиною. Батьки її рано повмирали, покинувши її на діда й бабу. А ті теж не забарилися сісти в човен старого Харона й перепливити через ріку Стікс у Країну Мертвих.

Спи, спи, чужа й далека дитино...

З гуртожитського глуму й неприкаяності ти прибиваєшся сюди, на далекий лісовий кордон, мов до батька й матері, яких давно немає. Чи до діда й баби, що теж покинули тебе надто рано.

Де ти була? З ким ти була минулої ночі? «Ночувала у друзів і забула окуляри. Так що спершу з'їжджу за ними, а тоді вже – до вас» – зателефонує перед приїздом. А хто ті «друзі»? Хіба ж визнаєш?

*Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была...*

– Не цитуйте! – якось гримнула в телефонну трубку з відразою.

І знаменитий вчений Ладо терпить отакі командні окрики від інфантильної дамочки, що бавиться то в святенництво, то в «Недотрогу», то в «громадську діяльність», що давно стала нонсенсом у цьому розшарпаному «ринковому», а по суті – базарному світі. Його дивує й обурює оця нетактовність, зухвалість вередливої обраниці, що звикла усіма командувати і всім крутити голови. Але її розум, її листи, чари вроди і молодості, зрештою – її «Вольносьць і неподлеглосьць, пся крєв!». Вони чарують самотнього Ладо і роблять його безпорадним перед своїм запізнлим захопленням. І перед Нею. За що потім, на самоті, зневажає себе за давнім козацьким і селянським звичаєм не коритися жіночим чарам і самим жінкам. «Щоб вони не запихали нас за пояс! І не носили нас у своєму очкурі», – казали колись діди-запорожці.

Їдуть ото сьогодні з Українки, а Вона:



– Ми вже колись були в цьому світі. Давно-давно! Ви вірите, Ладо? І були ми тоді англійцями...

Ну, що ти їй скажеш? Ладо мовчить, бо йому нічого сказати: його син захистив дисертацію з типології англійської мови, глибоко і назавжди занурився в стихію англійської культури, літератури, кіно й театру, в музику і співи. А за ним – онук і онука. То що ж ти їй скажеш?

– Я це відчуваю одразу, як тільки прилечу в аеропорт Хітроу, – вголос марить вона, наче його тут і немає. – А вже як потраплю в Лондон, тоді все! Я тут колись жила! Мені здається, моя душа одвіку – в Лондоні. І зараз живе там. Я ніби роздвоююсь: і тут я, і там я. Ви уявляєте? Ви вірите?

Ладо не втримується й починає гаряче доводити їй, що це – маячня: всі індійські й китайські вірування в загробне життя, в те, що ми вже були на цьому світі. А будемо й ще у якійсь іншій субстанції: птахами чи звірами. Як можна забивати собі голову такими дурницями?

– Не кричіть, ради Бога! – затуляє вуха, піднімає ще крутіше дугами свої іконописні брови, і болісна гримаса пересмикує її вродливе лице.

А зараз? Зараз воно таке лагідне, вмиротворене, спокійне і добре. Наче в душі у неї – рай! Ніби вона з усім і всіма вже змирилася, всіх простила, за все вибачилася перед усім світом. Дайте їй спокій!

Хто її оточує? Хто шанує, а хто зневажає? «Ой, дід-Ладо» ніколи, мабуть, не знає. А як хотів би від усіх її захистити! Сам не дихає над нею і всім ладен сказати: «Тихо будьте! Не збудіть її – хай спить...»

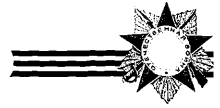
Їй там, у сні, краще, затишніше і спокійніше, ніж у цьому жорстокому, погупілому, звироднілому світі.

Спи, далеке й чуже дитя, а я мовчатиму й мовчки милуватимуся тобою.

Тс-с-с! Не збудіть і Ви її...

Не збудіть...

*Конча-Озерна,
5 квітня 2004 року*



ТИ ПЛАЧЕШ, СОЛДАТЕ?

*Не мало ми воювали, стоптали чобіт рудих.
І якщо мертвих згадати, то я заплачу по них.
А якщо живих згадати, хай заніміє плач:
Друзі ідуть полками! І я серед них – сурмач.
Андрій Малишко*

Дунай, Влтава – вся Дунайська долина, підпоясана Судетами, тануть в імлі. І в просвітах між хмарами Європа з піднебесся здається суцільною грядою гір, помережаною смутком долин, синявою річок, темними масивами лісів і перелісків. Не знаю, чи є в світі щось прекрасніше за Європу? Колиска муз, науки й цивілізації. Це наша Земля, Господи!

Багата Європа – багата й Чехія. Це помічаєш відразу, піднявшись на борт «Боїнга-737» в Борисполі, з одягу екіпажа, стюардів (до речі, виключно чоловіків!). Та й з вишуканого обіду, який подають одразу після набору висоти. Ще більше це відчувається за сніданком у празькому готелі «Піраміда»: шведський стіл вражає різноманітністю й вишуканістю страв і кількістю метушливих кухарів у накрохмалених ковпаках та білосніжних куртках. Здається, їх тут більше, ніж постояльців.

Вперше «преломивши хліб свій» у Празі, причастившись чеської кухні, ідемо на Міжнародну книжкову виставку. Бруківка дворів і тротуарів, асфальт вулиць і майданів, стрімкі готичні дахи, криті глянцевою черепицею різноманітних форм і кольорів, – усе блищить і сяє під дощем незбагненим і незрозумілим сяйвом: над Прагою, як і над усією Дунайською долиною, громадаються темні й низькі дощові хмари. То звідки ж цей блиск, мерехтливе й мінливе світло?

Джерела ніби то й відсутні, а світло ллється – затаєне, тремтливие, але стійке. Від нього й Прага здається добрішою й привітнішою. Європа сяє своєю древньою культурою, духовністю й естетикою чи що?



Всесвітня книжкова виставка, на яку мене запросили з щойно виданою видавництвами «Дніпро» та «Московским писателем» трилогією «Советский солдат», іде, як кажуть москвичі, «ни шатко, ни валко»: юрби нудьгуючих пражан бродять, вештаються від стенда до стенда величезним ангаром. Тут і Міністерство культури Іспанії, і своєрідне «бунгало» Сполучених Штатів Америки, і бутики Великої Британії, Німеччини, Франції, Португалії, Бразилії, Аргентини, Мексики, Уругваю, Китаю. Пражани і гості тиняються поміж ними, роздивляються, ні на чому не зосереджуючись, перемовляючись, жують жувачку, їдять морозиво, чіпси, смажену кукурудзу й горіхи, цукерки і шоколад. Байдужі і спокійні, мов воли на паші, коло ото їх розпряжуть чумаки і заходяться варити кашу чи куліш.

Ця байдужість до 60-ліття Перемоги над фашизмом, що дала-ся такими нечуваними й небувалими в історії жертвами, обурює, викликає протест. Одначе обиватель, незворушний і безсмертний в усі віки, не винен, що презентація книг про Велику війну виливається в дурнувате й розв'язне «якання»: «Я написав!», «Я видав!», «Я створив!» «Я маю підручники з історії Другої світової війни, котрі перевидаються і дозволяють мені й досі безбідно й безтурботно існувати на гонорари від них!»

Та будь ти проклятий, саморекламщик-самовосхвалитель! Не про тебе ж йдеться на Всесвітній виставці в переддень 60-ліття Перемоги над нацизмом! Могили, могили, могили по всій Європі, по всій Азії, Африці, по архіпелагах і островах Океанії! Чи пам'ятаємо їх? Згадаймо хоч перед цією датою – вони волають до нашої пам'яті, до наших душ і сердець!

А ті безвісні, «невідомі солдати», що впали із зброєю в руках на полях битв з фашизмом – в лісах, у степах, загиблі в болотах. Ті, хто не вийшов з оточень, хто загинув у концтаборах і таборах для військовополонених, – ось про кого треба говорити, кого згадати перед цим сумовито-врочитим святом! А ще краще – ніколи не забувати їх. Ні у свята, ні на тризні. Зовсім юним Лермонтов написав колись в «Бородіно»: «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать!» А ми й досі не підрахували наші втрати. І обиватель, начисто позбавлений пам'яті, лишається безсмертним, а солдат, убитий на полі бою, приречений на забуття. Беззахисний, як у Радіярдга Кіплінга:

*Из всех беззащитных тварей земных
Мёртвый солдат беззащитнее всех...*



І далі, далі:

*Гиены скребут песок без конца
И чавкают, и рычат.
И хаки бедного мертвеца
Клыками вверх волочат.
И вот появился на свет солдат –
Кругом ни друзей, никого...
И лишь гиен глаза глядят
В пустые зрачки его...*

Саме ці слова згадаються мені у Празі. Як і «Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте. В пятой роте. На левом. При жестоком налёте. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки. Словно в омут с обрыва, и ни дна, на покрышки! И во всём этом мире, до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастёрки моей...» Це – великий Поет ХХ століття Олександр Твардовський, котрого зараз теж забувають. І звучить тут, в Празі, на Всесвітній виставці, присвяченій 60-літтю Перемоги над фашизмом, як і скрізь тепер потворна, криклива, бездарна поп- і рок-музика замість героїчних маршів і пісень Великої Вітчизняної війни. По-моєму, в союзників їх чомусь не було. Чому? Не знаю – не моя парафія. Треба б запитати істориків. А найшвидше – психологів: що то була за війна – Велика Вітчизняна? Чому вона дала такі зразки народних пісень, яких не було в жодній з воєн! А оце безсловесне й немелодійне гупання й верещання убиває все людське в людині, навіть такт, де треба було б мовчати й думати, згадувати й сумувати.

«Оглушить бы их трехпалым свистом – в бабушку, и в Бога, в душу мать!», – написав колись про обивателів Маяковський. Та вони ж і його довели до самогубства, переступили й забули. А зараз царствує, володарює над усім світом пан Обиватель під егідою насаджувача «нового світового Порядку на всі віки». Це ж він леліє і пестить, вигодовує і продукує саме обивателя-споживача і дрібного торговця, а не громадянина.

Волай, кричи – все одно ніхто не почує. Навіть вухом не поведе. Всупереч волам з «Пасторалі» Бетховена на слова Шіллера: «Поведут волы ушами вдалеке, вдалеке...»

Бо обиватель незворушний у своїй закостенілій байдужості. Ну, а чехам ще в більшій мірі, ніж французам і полякам, випала дивна доля в Другій світовій війні – майже всуціль колабораціоністська, угодовська. Не народ винен – правителі винні. Ну, а угодовство і колабораціонізм породжують одворотну і підлу байдужість до чужих подвигів і смертей – вони ж не наші, чужі! Десь



там, далеко, в інших країнах гримлять бої, здійснюються наступи й відступи, терпляться поразки і досягаються перемоги, беруться і здаються міста, гинуть люди – мільйони людей! Але не у нас же? Не в нас. Ну, і слава Богу, ще не в нас. Хай гинуть інші. Тільки б нас не займали! На нас не падали бомби й снаряди! Отака ідеологія обивательщини. А з неї ж – яка пам'ять? Про кого і про що? Тому Фучиків на світі небагато. Їм тільки й лишається, що боротися в самотині та писати «Репортажі із зашморгом на шиї».

І дійде коли-небудь до обивателя доля і слава загиблих на полі бою? Хто їх згадає, поспівчуває і воздасть хвалу? Байдужість і забудькуватість обивателів – страшенне зло! Це вони прирікають на забуття подвиги і страждання, героїзм і загибель 54 мільйонів солдат, що полягли в битвах з фашизмом із зброєю в руках по всьому неосяжному світу, котрий давно забув їх.

Аж ось і потурання обивателю – барила помиїв на власну країну, на свій народ, що виніс на своїх плечах всі злигодні війни і фашистської окупації. В «Плані для СРСР» Аллена Даллеса – Меморандумі Держдепартаменту США про необхідність об'єднання усіх «стратегічних служб», тобто розвідок армії, флоту, авіації, дипломатичної й економічної розвідок в ЦРУ, говориться: «Недовіру і страх між людьми, ворожнечу і звірячу ненависть між народами – перш за все ненависть до російського народу – ми будемо непомітно і неухильно насаджувати. І на очах ошелешеного світу розгортатиметься вражаюча картина загибелі найнепокірнішого народу на землі, остаточного згасання його самосвідомості». Насочно виконується цей антилюдський план в Україні – ми ж бачимо, як насаджується ненависть до найріднішого народу-брата, до його мови, культури, літератури і перевертнями з числа колишніх комсомольських і партійних вождиків, і колишніми прислужниками фашистів, що набирають все більшої ваги в політиці. Жменька їх, а своєю експансивністю, нахабністю, пролазливістю в законодавчі і виконавчі органи влади, в засоби масової інформації вони домагаються і вже домоглися домінуючого становища в ідеологічній «обробці», в зомбуванні населення. Непомітно, але настійливо нав'язують свої погляди молоді наші, і без того розбещеній телебаченням, бездумною музикою, порнографією, жорстокими і кривавими бойовиками найнижчої якості.

Аж тут у Празі, ніби виконуючи настанови Аллена Даллеса, знайдеться і серед москвичів «якальник» і обплывувач власного



народу й держави-переможниці: він влаштовує перед пражанами й гостями чеської столиці ідеологічно-політичний стриптиз, щоб за всяку ціну сподобатися обивателю:

– У нас в Росії, знаєте ли, сперва делают, а потом думают. «Раззудись плечо, размахнись рука!» Наломает дров, а потом сокрушаемся: что же мы наделали? Сам русский народ не научился думать. И бездарные правители не умели да и не хотели думать. И его не научили.

Аплодисментів, однак, паплюжник не удостоїться і не діждеться: гості виставки і пражани здивуються такому самовикриттю і облльовуванню власного народу, і «якальник» пригасне і замовчить, завершивши вступне слово перед презентацією своєї книжки. Я огляну московську делегацію – усі сидять, понуривши голови.

– Доведеться мені, українцю, заступитися за Росію і захистити її од такого, з дозволу сказати, російського письменства, – кажу Єгору Ісаєву, котрого з великою радістю зустріну тут, прилетівши з Києва із щойно виданою у нас в Україні «Московским писателем» та журналом «Дніпро» трилогією, презентація якої має відбутися на цій виставці 8-го травня. А тут в епіцентрі московської делегації Єгор Ісаєв – мій давній і улюблений друг, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії за чудові поеми «Суд памяти» і «Даль памяти», які сподобаються самому Твардовському.

Єгор стрункий, худорлявий, елегантний і поривчастий. Очі його, як і раніше, молоді, шалені, із зеленувато-весіннім іронічним полиском.

– Саш-ш-о! – кидається до мене з обіймами. – Не може бути! – і по-козацьки цілує мене тричі. – Це ж скільки ми не бачилися? Років з тридцять, мабуть? – І раптом зупиняється, ріже мене холодним поглядом кулеметника. – А Женя – дружина моя, залишила мене дев'ять років тому. Покинула цей не найкращий із світів. На той світ подалась. Уявляєш?

– Ще й як уявляю, – підхоплюю в тон йому. І мушу повертатися, тому що він завмер на місці, як вкопаний, посеред величезного й височенного ангару, залитого передвечірнім сонцем, що на мить виплянуло з летючих хмар над Судетами. – Мене самого залишила моя Галя два роки тому на шістдесят першому році спільного життя.

– Та ти що? – дивується експансивний Єгор. – Змовились вони чи що?



– Ходімо, Єгоре! – беру його під руку. – Он нам уже махають від автобуса...

Давно, мабуть, виглядаємо обоє серед величезного ангару чужої столиці – два старих солдати відгримілої війни, про яку всі в Європі майже забули. А ті, що одбули її, відходять, відходять, відходять...

«Мы теперь уходим понемногу, – згадується й тут Єсенін – В ту страну, где тишь и благодать». «Пора й нам», – подумается обом.

Це станеться вчора увечері. А сьогодні зранку сидимо перед стендом з книгами про війну, випущеними московськими видавництвами. І я сиджу серед москвичів. Бо Україна проігнорує цю виставку, присвячену 60-літтю Перемоги. З ідеологічних міркувань? Чи й прислати нічого? Велика Вітчизняна давно вже в нас підмінена «Другою світовою», щоб відчужитися, дистанціюватись від «чужої війни», яку вів проти фашизму весь український народ! Збагнути цю позицію неможливо. І я радію з того, що Президентський фонд «Україна» Леоніда Даниловича Кучми – сина загиблого під Новгородом солдата – взяв на себе видання моєї трилогії.

Це чи не єдине в Україні ювілейне видання до 60-ліття Перемоги? Як це зрозуміти? Як пояснити? Сиджу серед москвичів, з гіркотою думаю про дивне ставлення до своєї історії, і велика вдячність Леонідові Даниловичу огортає мою душу.

– Чуєш, Єгоре, – шепчу тихо, бо сидимо поруч з «якальником».
– Доведеться мені захищати Росію від російського письменника.

– Що ти? Що ти? Заперечувати йому – тільки рекламу робити! Ну його к бісу. Ти не уявляєш, яку хулу на адресу нашої Великої Вітчизняної війни і Перемоги несуть так звані демократичні, а по суті ліберальні видання у нас в Москві! Обливають поміями Жукова, ЗоюКосмодем'янську, Матросова, – Єгор близько схиляється до мене, суворий і ображений. І дивно мені, і сумно мені, і серце стискається від жалю.

І раптом, як постріл з-за рогу:

– Зараз презентація вашої книги, – раптом каже мені височений Ткач, керівник московської делегації.

– Як? Планували ж на восьме!

– Треба рятувати становище, – шепче мені на вухо, доки «якальник» відповідає на запитання. – Погляньте: наш павільйон порожній. Ніхто не слухає, не цікавиться такою презентацією.



– Це не презентація, – на весь голос заперечує Єгор. – Це самореклама, – говорить він ще гучніше, поклавши руку на плече «якальника». – Не ображайся, старче, але такого я від тебе не чекав.

Похмурий і самовдоволений «якальник» насуплюється ще дужче, але продовжує сидіти за столом і сидить досить довго, доки стенд готують до наступної презентації.

Починається вона знову з безоглядного розхвалювання моєї книги-трилогії в одному томі, загострено-полемічно названої «Советский солдат». Адже все радянське з 1991 року – після руйнації СРСР – втоптується в багно. А тут, перед 60-літтям Перемоги, підкреслюється, що саме радянський солдат, Радянська Армія подолала Вермахт. Бо іншої такої країни і такої сили на землі не було!

Особливо розхвалює мою трилогію директор «Московского писателя» Стручков. Тримаючи перед аудиторією ошатно виданий том, ніби гвинтівку за командою «На пле-че!», він хвалить на всі заставки і мою книгу, і мене самого.

– Олександр Федоровичу, – кажу йому тихо, – побійтеся Бога! Ми ж не збираємося торгувати книгою. А тільки представляємо її. А ви рекламуєте, ніби збираєтесь продавати.

Стручков з невдоволенням перериває промову, дивиться на мене іронічно і поблажливо, мов на школяра:

– Доповідаю, – звертається на весь голос до мене, а не до публіки. – Ви ні хріна не тямите в презентації! – а перекладачці: – Будь ласка, це не перекладайте.

– Правильно, Олександр Федоровичу, – підтримує його Єгор Ісаєв, – патронів не шкодувати! Для чого ж ми прилетіли в Прагу?

Похвальба триває. Мене ніби роздягають перед пражанами догола.

Високий, імпазантний, в гарному костюмі, в білосніжній сорочці з модною краваткою, Стручков здається міжнародним комівожером книжкових справ: книгу він тримає на плечі, ніби скрипаль свій інструмент, і заливається солов'єм. З книгою він злився воедино. Це його дітище, його пристрасть, його суть і покликання. Здається: відбери в нього книгу – і він упаде. Й перестане бути собою.

Ніяковію від славослів'я, а все ж, милуюсь ним. У Празі він почуває себе, як вдома: повна розкутість! Ні знічення перед пу-



блікою, ні напруги – все ж, чуже місто, чужа, а то й чужда аудиторія. А йому хоч би що! Природність жесту й інтонації, з якими він демонструє книгу, натхненно говорить про неї і ... палить, просто вражають!

– Він прилетів сюди не на книжкову виставку, – шепоче мені Єгор, зблискуючи розбишакуватими, веселими очима, – а ніби визволяти Прагу. Як ми в сорок п'ятому.

А Стручков не вгаває – вихваляє книгу, мов на ярмарку коня.

– Олександр Федоровичу, досить! – зриваюся з місця й хапаю його за рукав, щоб зупинити.

І саме цієї миті згадую, що на мені не святковий костюм з орденами, а широка й неоковирна куртка морських десантників, у якій так зручно водити машину. Але не виступати перед пражанами.

«Господи, зовсім непрезентабельний вигляд, – з жахом думаю собі. – Яким недолугим здаюся пражанам поряд з імпозантним Стручковим?!»

– Перед вами, – перехоплює мою руку і підштовхує наперед невтомний Олександр Федорович, – автор цієї книги...

Я відчув, що пражани розчаровані, бачачи перед собою бритоголового, дуже немолодого (щоб не сказати – старого) солдата в дивному й чужому обмундируванні, привезеному сином з Англії. Саме в таких куртках і беретах висаджувалися морські піхотинці королівського флоту в далекій Нормандії у ще віддаленішому 1944 році, здійснюючи операцію «Оверлорд». Коли це було? І чи було коли-небудь? Всі вже позабували...

– Перед вами видатний український письменник, – продовжує гучно, урочисто директор «Московського писателя», мов на тому аукціоні, з якого й привіз мені цю форму мій син.

– Та вгомоніться ж нарешті, Олександр Федоровичу! – кричу сердито, хапаю його за плече і садовлю поряд. Стручков здивовано зирить на мене, але покірно сідає.

– Не хотілося б перебільшень, – кажу пражанам, що здаються мені цієї миті далекими, чужими і байдужими.

Мені раптом, як завжди перед небезпекою, стає вільно і ясно в думках і на душі. Так завжди було на фронті перед артпідготовкою і особливо перед атакою, коли одним ривком вихоплюєшся з траншеї на бруствер під вогнем ворога разом з усіма. А то й випереджаючи товаришів. У цю мить всі тривоги очікування лишаяються на дні траншеї, і веселий азарт, безоглядна хоробрість охоплюють тебе, і ти вихором несешся нейтральною смугою, на яку



ми цілими місяцями тільки поглядали з пересторогою. І командири твої, й товариші теж біжать поряд з тобою. Ти бачиш роззявлені роти, з яких виривається оте відчайдушне «Ура!», що глушить усі тривоги і небезпеки. Бачиш роздуті в надривнім диханні ніздрі, поблідлі обличчя своїх товаришів. Де ви, друзі моєї фронтової юності, бійці і командири нашої славної Радянської Армії? І сліду не лишилося...

І трави й пшениці та жита вирости там, де ми бігли під вогнем і падали, зрізані чужими кулями й осколками. А всі наші близькі і рідні були тоді далеко-далеко від нас! Але ми бігли в атаку не інакше, як для того, щоб закрити їх своїми грудьми, захистити їхнє життя своєю смертю чи перемогою, відвагою і рішучістю, перед якими й смерть не страшна.

Стою перед пражанами, ніби перед ворожими траншеями за Віслою чи Одером. Тільки ні друзів, ні командирів зі мною вже нема. І ніколи не буде!

І всі полегли стають переді мною. Перед пам'яттю моєю – падають, падають, падають... А нам, живим, вперед, уперед! Доки й наша мить не настане.

Хто їх бачив? Гинучих, падаючих? Солдати на полях битв гинуть без глядачів. Хто ж розповість про них, якщо не я, дивом дивним залишившись в живих? Немов останній з них, я зобов'язаний, мушу розповісти про них оцим байдужим людям, що жують жувачку, їдять чіпси, нудьгуючими поглядами ковзають по мені, ніби по бездушному предмету.

Що їм сказати? Ну що сказати їм, щоб розвіяти оцю обивательську байдужість? Хай би засоромилися. Або хоч перестали жувати жувачку та чіпси у переддень Перемоги над фашизмом – згадали загиблих своїх захисників і рятівників, що поклали за них життя! Он скільки книг на стендах...

– Еге-гей, пражани! – гукаю до них, розпочинаючи презентацію, і потужні динаміки громохко розносять моє звернення по всіх прольотах величезного ангару. – Що ж ви жуєте-ремігаєте в Дні спогадів про загиблих?

Гомін і гул уриваються враз – западає тиша. Хоч перекладачка й не переклала моїх слів: розгублено дивиться на мене. Їй ще не доводилося перекладати такого зухвалого звернення. Але публіка, як не дивно, зрозуміла чи підсвідомо вловила іронію, ще й не перекладену чеською мовою.



– Не вагайтесь – перекладайте, – кажу перекладачці. – Хай здригнуться і засоромляться своєї байдужості. Інакше їх не вивести з обивательської летаргії, не розбудити совісті й пам'яті.

Професорка славістики Празького університету, глянувши у свої записи (і коли встигла?), перекладає слово в слово, знічучись і хвилюючись. І вся аж пашисть: розчервонілась обличчям, шиєю, вухами. Раз-по-раз поглядає на мене з подивом чи пересторогою. І за кожним реченням п'є воду з пластикового стаканчика. «Не робіть довгі періоди», – шепоче з благанням.

– У відомій п'єсі Чехова є убивча фраза, – кидаю, мов каміння, в натовп, що наближається до нашого стенду з усіх усюд і все гущішає. – «Я їм про чайку, а вони жують!» А тут йдеться не про чайку – про 54 мільйони загиблих на полі бою із зброєю в руках! Ми ж їх забуваємо!

Тут я роблю паузу, доки перекладачка тлумачить мої гіркі слова.

– І не про книги наші, виставлені на цих стендах, маємо говорити, вихваляючись, а віддати полеглим заслужену шану: вони врятували світ і нас з вами від усього того, що ніс фашизм людству. Що з такою відвертістю викладено в «Майн Кампф» Адольфа Гітлера.

Я теж хвилююся – дивлюся-вдивляюся у обличчя пражан. Ага, і їх зачепило! Мені теж пересохло в роті, теж хочеться хоча б промочити горло. Та я не маю права перед пражанами виявляти своє хвилювання, як це дозволяє собі перекладачка. Вона – жінка. А я – солдат. Терпів і не таку спрагу.

– Коли думаєш про величезні втрати у війні з фашизмом, то мимоволі згадуються слова Фемістокла – полководця древніх Афін: «Ми б загинули, якби не гинули!» Він сказав це патриціям, які звинуватили його в непомірних втратах у битві на острові Саламін, де він розгромив персів і потопив їхній флот...

– Зупиніться, – тихо каже мені перекладачка, занотовуючи мій виступ, і починає гарячково перекладати, весь час зазираючи до блокноту.

– Ще й досі не сказано, який могутній був вермахт, створений Гітлером для блискавичних перемог – «бліцкрига». Бо головним стратегічним завданням нашої агітації, пропаганди, преси і радіо було розвінчання й приниження супостата! Щоб вселити віру в перемогу над ним. Принаймні у нас, в Радянському Союзі. А правда полягає в тому, що такої армії – злютованої, навченої, оснащеної найновішим та найдосконалішим озброєнням і збагаченої бо-



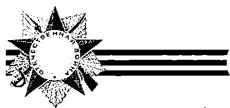
йовим досвідом ведення сучасної війни – світ ще не знав! Її треба було зупинити й перемогти. І це зробила, як відомо, наша Червона, а згодом Радянська Армія, що б про неї зараз не говорили. Тому й неповерненні втрати у нас такі великі. Такі гіркі наші відступи, оточення, здані міста і залишені території, які доводилося відвойовувати не меншими, а може, й більшими зусиллями.

Перекладачка й тут молитовно складає руки й благає зупинитися, робити паузи для перекладу. І доки вона це робить, я вдивляюся в обличчя пражан – фактично сторонніх спостерігачів за тодішніми бойовими діями – і боюся, що вони втратять інтерес. Але ні – кілька чоловік, переважно літні люди, піднімають руки, просячи слова.

– І все ж, – підводиться сивий, інтелігентний чоловік, якого про себе я визначаю: «Професор». – Скажіть, чи все оце, про що ви тут говорите, якось відбилося у Вашій трилогії?

– Так. Вона саме й написана, щоб заповнити ті прогалини у висвітленні війни, про які я згадую. Я намагаюся абстрагуватися від ідеологічних штампів і зашореності, щоб відтворити події війни та її характер якомога об'єктивніше – з часової, історичної відстані. Бо інша воююча сторона, всупереч глобальній, розвінчувальній та осуджуючій політичній риториці, агітації й пропаганді, абсолютно необхідній тоді і сумнівній тепер, були теж людьми. Хай засліпленими й одуреними расовою теорією «юберменш», геббелівською пропагандою й гітлерівською ідеологією, та все одно – це були люди! Від фельдмаршалів Манштейна, Рундштеда, Роммеля, генерал-полковника Гудеріана до останнього рядового Ганса, Еріха, Гейнца. Були в них не лише автомати «шмайссери» та гвинтівки «маузер», а й сім'ї – матері, батьки, брати й сестри, дружини й діти. Як у всіх людей. От про них, як про людей, мені й хотілося теж розповісти: про їхні настрої й переживання – що вони думали, що відчували в душах, прийшовши на чужі землі, в чужий дім, в чужі країни. Куди їх привели й покинули на погибель правителі й командуючі в наших невблаганних степах і просторах.

Чи владося це, судити не мені. Але те, що при підготовці цього видання виявилось, що моя трилогія «не постаріла» – читається й через чверть століття з інтересом, щось, мабуть, значить. Особливо вирішальні битви на початку Другої світової війни і нашої Великої Вітчизняної, в самий трагічний її період! Інтерес підсилюється ще й виходом у найвищі штаби воюючих сторін, в кабінети Гітлера, Рузвельта, Сталіна, Черчілля. І навіть в палац Імператора Хірохіто. Бо я й Тихоокеанський театр воєнних дій захопив, почи-



наючи з підступних і хитрих переговорів Адміністрації Рузвельта з японською представницькою делегацією, коли Посла Його Імператорської Величності 62-літнього Адмірала Номуру тримали в приймальні по 5-6 годин, не знаючи, як відвернути притязання Японії від Південних морів і спрямувати її інтереси на наш Далекий Схід, коли точаться бої під самою Москвою. Ретельно, за свідченням очевидців і документів відтворено й блискучий напад японської палубної авіації на Пірл-Гарбор, де базувався Тихоокеанський флот США, і повний його розгром 7 грудня 1941 року. Цей день Президент Рузвельт у своєму зверненні до народу того ж ранку назве «Днем ганьби» і закличе помститися японським мілітаристам. Мені довелося багато працювати в архівах, перечитати гори свідчень і мемуарів учасників тих подій, журналістських розслідувань – особливо багато було їх проведено в США. А також розвідувальних і дипломатичних донесень того часу. З цього погляду трилогія моя не суто художній, а художньо-документальний твір. Саме тому, мабуть, вона читається й сьогодні з певним інтересом. Потрясає нашу уяву блискавичний розгром Франції за новим стратегічним планом Манштейна, висунутим всупереч Головній директиві фюрера, коли війська вже були виведені на висхідні позиції й розгорнуті в бойових угрупованнях за застарілим планом Шліффена. І Головному командуванню довелося кардинально перегруповувати їх за новим планом Манштейна. Небувалий випадок в історії воєн!

Не залишить байдужим сучасного читача й жорстокий розстріл французького флоту в Мерс-ель-Кебірі під Ораном (Алжир) на якірній стоянці оперативним з'єднанням «Н» англійського королівського флоту, що підійшло кільватерним строєм з Гібралтара з вимпелами на щоглах «Вітаємо наших союзників», а вийшовши на траверс цієї гавані, розвернулось за командою «Всі раптом!» і відкрило ураганний вогонь по французьких кораблях майже у притул! Лише новітньому лінкору «Страсбург» вдалося з п'ятьма есмінцями прорватись крізь заслін англійських кораблів. Але, прийшовши у Бордо, відчайдушні французькі моряки мусили відкрити кінгстони і потопити свої кораблі, бо там уже були окупанти.

Ця драма, навіть трагедія французького флоту вперто замовчується з дня її здійснення за згодою, мабуть, обох сторін. Бо, мовляв, усе це робилося для того, щоб французький флот не достався німцям. Наче не існувало інших способів його збереження й використання: піти на далеку Ямаїку, що належала Франції, або



приєднатися до англійського флоту в його боротьбі з «Вовчими зграями» підводних човнів гроссадмірала Деніца та з лінкорами «Бісмарк», «Гнейзенау», «Тірпіц» та усім надводним флотом Німеччини під командуванням гроссадмірала Редера...

Натовп біля нашого павільйону густішає – заповоняє усі проходи й прольоти величезного ангару, і перекладачка вже геть розчервонілася і спітніла: їй доводиться перекладати досить специфічну військову термінологію, а потім ще й запитання та відповіді на них.

Питали мене й про Зорге-Рамзая, і про Отто Скорцені. Про французьких генералів Жіро і Дарлана. А отой «професор» – навіть про найновіші французькі лінкори «Жан Барт» і «Рішельє», яких не було в Мерс-ель-Кебірі. Що з ними? Де вони поділися?

– «Жан Барт» на світанні того дня знявся з якоря і пішов у Даккар, а «Рішельє» – в Касабланку, – відповів я, немало здивувавшись такій обізнаності громадянина абсолютно не морської держави. – А що вас цікавить у долі цих новітніх кораблів? – запитую і я його.

– Чи не було якоїсь змови між розвідками Англії й Франції через голови урядів та Генеральних штабів? – з готовністю відповідає, поправляючи інтелігентне пенсне.

– Не було й не могло бути! – відповідаю впевнено і навіть сердито. – Бо по кількох днях обидва лінкори – гордість Франції, були виявлені пілотами основної авіабази англійців на озері Ель-Хаббанія, атаковані торпедоносцями й потоплені біля пірсів. Так що й досі там лежать на великій глибині. На змову це ніяк не тягне. Скоріше, інтуїція командирів цих лінкорів змусила знятися з якорів і піти в інші гавані. Але й вона їх, однак, не врятувала.

– Вони загинули?

– Всі до одного – від командира корабля до останнього кока. Напад був несподіваний, блискавичний, добре підготовлений. На Ель-Хаббанію повернулися всі англійські літаки, скинувши торпеди з бриючого польоту. Так що лінкори не встигли відкрити вогонь. Їх заскочили зненацька, як і «Гнейзенау» та «Тірпіц» у норвезьких фіордах. Англійці зміли це робити. Один-єдиний літаючий човен «Каталіна» дві доби в суцільному тумані безперервно висліджував зниклого «Бісмарка» і все-таки знайшов його у просвітах між хмарами дуже далеко від курсу, який з певністю прогнозували аналітики Адміралтейства. Навів на нього кораблі з Головної бази в Скапа-Флоу, а також «Роднея» з п'ятьма крейсерами, що йшов з Ньюфаундленда, і оте саме оперативне з'єднання



«Н» з Гібралтару. Тільки так вони подолали цей геніально збудований лінкор, який встиг потопити флагман англійського флоту «Худ» з адміралом Товеем – головнокомандуючим королівським флотом. А новісінький лінкор «Принс оф Уельс» дивом лишився на плаву, бо в нього «Бісмарк» «впакував» п'ять 400-мм снарядів одним залпом! Обидва попадіння здійснено з відстані 25 тис. метрів з першого й другого залпів! Це дивує спеціалістів і понині. Адже на «Бісмарку» не було радіолокаторів, а стріляв він виключно при допомозі оптичних дальномірів. Радіолокатори були тоді лише на англійських крейсерах «Норфолк» і «Суффолк», які й стежили за «Бісмарком» при його виході з проливів Каттегат і Скаггерак у Північне море і супроводжували в суцільному тумані повз Фаррерські острови аж до Ісландії. Командир «Бісмарка» капітан I рангу Хайдеман і командуючий групою «Схід» адмірал Лютьєнс дивувалися цій настирливості, бо не знали, що англійці використовують радіолокатори. Однак, зманеврувавши й наддавши ходу, «Бісмарк» одірвався й від радіолокаторів: «Норфолк» і «Суффолк» загубили його і не знали, що він повернув у Брест на північний захід Франції. І якби не настирливість пілота «Каталіни», ім'я якого залишилося невідомим, «Бісмарк» міг би вийти в Атлантику і завдати англійцям великі втрати. Особливо конвоєм з Ньюфаундленда із стратегічними матеріалами, які поставляли острівній Англії Сполучені Штати Америки.

Не судилося... Спільними зусиллями морської авіації і флоту цей могутній, найновіший лінкор був потоплений 10 травня 1941 року вранці, саме тоді, коли німці взяли з повітря острів Крит. І Черчіль, дізнавшись про це на порозі Палати обшин, де мав повідомити радісну звістку про перемогу королівського флоту, закінчив своє повідомлення знаменитою фразою: «Острів у нашої Імперії багато, а в німців «Бісмарк» – один! Хай живе наша перемога!»

І тут мене перебиває Єгор Ісаєв:

– Сашшо! – робить наголос, на французький манер, на останньому складі. – Ти так захопився документалістикою, що вона заступає художню літературу! А це ж несправедливо. Як же тоді бути з поемою Твардовського «Василий Теркин», з романом Шолохова «Они сражались за Родину»...

– ... з романами Юрія Бондарєва і Олесея Гончара, - підхоплюю цей перелік, – повістями Бикова і Григорія Бакланова? Це – магістральна течія радянської літератури, породжена Великою Вітчизняною війною. Чомусь в інших країнах і народах такої літе-



ратури не народилося, крім романа Еріха-Марія Ремарка «Час жити і час любити» та «Де ти був, Адаме?» Генріха Бьоля. Не я, а час, його вимоги, поставили документалістику: мемуари полководців, історії й енциклопедії Другої світової війни в ряд найчитабельнішої літератури. Адже є «Історія Другої світової війни» в 62 (!) томах англійська під редакцією самого Уїнстона Черчілля. Є його чотири томні мемуари, удостоєні Нобелівської премії. Є наша Історія в шести томах та енциклопедія Другої світової війни в 12 томах. А є навіть польська в чотирьох томах, хоч вони війну програли за два тижні: 1-го вересня німці напали на них і 14-го взяли Варшаву. Є й кілька німецьких «Історій», виданих в ФРН і НДР. Є знамениті мемуари Жукова, Ейзенхауера, Гудеріана і Манштейна, Рокосовського і Конєва. Це читалося й перечитується досі як свідчення головних фігурантів Другої світової війни. Але до художньої літератури це не має ніякого відношення. А в мене лише та частина, де я описую село, звідки все починається на білому світі: виходять полководці і вчені, державні діячі й політики – всі з села! А також намагання змалювати психологічні портрети Гітлера, Черчілля, Рузвельта, Сталіна. А також німецьких фельдмаршалів і наших маршалів, японських адміралів, генералів, таких, як найвойовничіший з них Тодзіо – «провідник манчжурської мілітаристської банди», як його прозвали самі японці. Отут є ознаки художньої літератури. Наскільки досконалі? Не знаю. Але є їхні характери, психологічні портрети. І це – головне. А закінчити я хочу твоїми словами, Єгорє Олександровичу, з поеми «Суд пам'яті»: «Вы думаете, павшие молчат? Конечно «Да!» – вы скажете. Неверно! Они в тебе, во мне, во всех кричат, пока сердца стучат и осязают нервы. Они кричат, когда приходят в город ветры полевые. И со звездой звезда говорит! И памятники дышат, как живые... Вы думаете, павшие молчат?»

Буря оплесків розірвала тишу, як тільки перекладачка, хоча й без рими і ритму, переказала сенс цієї строфи. І до Єгора, а не до мене, підійшли жінки й дівчата з квітами. Чоловіки тисли йому руки і намагалися обійняти, заважаючи один одному. А якась спритниця ткнула йому до рук щось на зразок поетичної збірки: біле-біле поле, а на ньому синій квадрат із золотистими паралепіедами, обвитими темно-коричневим кільцем. У правому кутку загадкове слово під червоною літерою «V» – «Вікторія» чи що? А внизу під отим синім квадратом золоте тиснення «Мегсі». І замість крапки над «і» – червоне серце, як червона масть на гральних картах.



– Що це, Єгоре? – питаю його під нестихаючі оплески. – Книга?

– Шоколад, – каже він, сміючись, і мені теплішає від оцього захоплення його поезією і золотою зіркою Героя Соціалістичної Праці, яку пражани, можливо, вважають Зіркою Героя Радянського Союзу за фронтові подвиги.

– Єгор Олександрович рятував повсталу Прагу 9-го травня сорок п'ятого року! – кричить невгамовний Стручков, перекриваючи аплодисменти. – Він визволяв Прагу...

Але оплески, замість того, щоб спалахнути з новою силою, раптом западають в тишу, і натовп з якоюсь незрозумілою нам квапливістю розсосується, наче пражани почули якусь хулу чи образу. Ніхто з нас не чекав такого дивного завершення презентації «Советского солдата», і ми розходимося по своїх номерах, спантеличені й похмурі. До того ж, наш рейс Прага-Київ змушує швиденько збиратися. А москвичі залишаються.

В Єгоровому номері темно, а двері відчинено. Він стоїть біля розчиненого вікна перед залитою вогнями Прагою і не реагує на моє вітання, зосереджений і сумний.

– Ти чуєш, Єгоре? Негайно їду в аеропорт. До побачення.

– Яке чуже місто, – каже він глухо, не обертаючись до мене.

У відсвітах празьких ліхтарів я бачу вологий зблиск його очей і задуму на чолі, під світлим, просто-таки парубоцьким чубом.

– Нікому ми тут не потрібні, Сашшо, – каже він, не обертаючись, і я чую, що його душить плач. – Як визволителі непотрібні, от що обідно! Тайни Другої світової війни – будь ласка. Образи полководців і політичних діячів, особливо з протилежного табору, та й з союзницького – Цікаво! Навіть поезію привітали, неспекладену, як слід. А як тільки нагадали про визволення, весь інтерес пропав. Що ж це таке? Де ж звичайна людська вдячність за порятунок? Тут пам'ятають не травень сорок п'ятого, а «Празьку весну» шістдесят восьмого, з якої почалася загибель соціалістичного табору і «Варшавського договору». І нікому нічого не доведеш. Бо й Велику свою Батьківщину втратили через дурнів-правителів. А яка Держава була, Сашшо! Яка Держава! – Єгор знову одвертається до вікна і махає мені опущеною рукою: іди, мовляв...

Прага лежить внизу, залита тисячами вогнів – далека й чужа.

– Яку Державу, яку Армію втратили?! – видавлює з себе Єгор, припавши обличчям до відхиленого в кімнату вікна.

– Ти плачеш, солдате? – хотілось спитати, але я не посмів.



Я тоді не сказав йому більше ні слова. Вийшов, не попрощавшись, сів у літак і полетів додому. Але й досі мене переслідує спогад про наше дивне прощання: адже солдати не плачуть, навіть вмираючи. Невже є щось страшніше за смерть?

Що?

*Прага – Київ – Конча-Озерна,
травень – листопад 2005 року*



ЗАБУТІ МЕЛОДІЇ

Чую далеку-далеку музику: «Егмонт» і «Коріолан» – чарівні увертюри Бетховена до античних трагедій, «Апассіоната» й «Місячна соната», сповнений великої тривоги, навіть відчую, грізний вступ до П'ятої симфонії, апофеоз Дев'ятої «Обніміться, мільйони!» – музичне втілення «Оди Радості» Фрідріха Шіллера. Або ж відголоски прекрасної «Сорокової», «Турецького маршу» і «Чарівної флейти» Моцарта.

Не пам'ятаю, де й коли вперше почую ці божественні мелодії, а тільки й досі бринять в душі величаві й печальні звуки геніальної музики, викликають тужливі й імлісті спогади тих невловних і невимовних настроїв, які вона навіювала.

Бетховен твердив: «Музика – це згадки про пережиті почуття і настрої». Мабуть, саме тому оце звучання в пам'яті напівзабутих мелодій – справжня музична насолода! Бо згадуються не лише «Лица, давно позабытые» чи «Тихого голоса звуки любимые», а й повертається тодішній стан душі, запахи й кольори неповторних обставин, коли геніальна музика Бетховена й Моцарта входила в душу і лишалася там назавжди, як найбільше диво у світі. В одному ряду з музикою Глінки, Чайковського, Рахманінова, Свиридова, а також народними піснями.

Але як же рідко чуємо їх тепер!? Майже не лунають нині на радіо й телебаченні озаріння музичних геніїв! Тому навіть у снах гукаєш невідомо кому: «Ви чуєте музику? Чуєте?» Бо мають же чути й інші, якщо вона лунає в твоїй душі й пам'яті?

А в стінах оселі тиша. І в нічній темряві урочища – ані звуку! Це і є самотність? Старість? Чи туга за прожитим життям і марно втраченими роками? Хто його знає...

А в снах літають птахи, яких бачив підлітком у Дикому Полі – в несходимих наших південних степах. Коли ото з дорослими пасеш коней на далеких вигонах: дрохви, степові орли, шуліки і



яструби. Журавлі й дикі гуси, летячи у вирій чи з вирію, сідають спочити в топилі – пологій улоговині глухого, найвіддаленішого степу, на все літо залитій весінними водами й порослій буркуном у зріст людини. А то й очеретом та осокою.

А орли найчастіше спочивають у спеку на козацьких могилах та скіфських курганах, увінчаних кам'яними бабами. Або на тригонометричних землемірних вишках, суворо оглядаючи степ лютими поглядами. І досі чується гордий і погрозливий клекіт орлів з тієї далечини напівзабутих літ і подій.

А дрохви літали великими табунами навіть над нашим селом – важкі, величезні, якісь нетутешні й древні, мов залишки далеких часів, коли ще й нас не було на цій грішній землі. І ми бачили, як вони випростовують і міцно притискають до світло-сірих животів довгі, жовтуваті й кігтисті ноги, сторожко озираючись навіть в польоті, ці величезні, але беззахисні птахи...

А то йдемо з мамою ранньої весни в топило садити баштан, а там якийсь довгоногий, цибатий гурт бавиться і скаче: кожне різко кланяється до землі чубатими голівками на довгих шиях, квапливо та кумедно випростовується, за кожним скоком стріпуючи ламкими крильми. Ніби вибачається і просить прощення.

– Журавлі танцюють, – схиляється до мене ясне мамине обличчя. – Радіють, що благополучно вернулись додому з далекого вирію.

І тільки після маминих слів розпізнаю в текучому мареві розмиті й тремтливі силуети граційно танцюючих журавлів – далеко-далеко, як у сні чи в дитячому маренні.

Спустили наші небеса. І спорожніла рідна земля без славних птахів, що вимерли, мов динозаври. Чи покинули нас, невідомо за які гріхи. Як і божественна музика покидає і забувається, наче ми її недостойні, чи не тямимо ні змісту, ні її краси.

Людство розвивається інтелектуально, науково, технологічно, але деградує духовно, морально, естетично. Не вірите? То увімкніть телебачення, відвідайте сучасні концерти. Навіть у столичних філармоніях! Все вбиває настирлива й криклива реклама, «масова культура», примітивна естрада. Ще примітивніші так звані розважальні програми. З отими вічно реготливими виноккурами, що в новорічному шоу закликають по-одеськи: «Кушай, кушай, нікого не слухай...» і т. д.

Та записними дотепниками петросянами, що скалять зуби з усіх телеекранів у будні та особливо в свята, яких нам щедро випадає зараз ніби з самої божої десниці, щоб не замислювались над



своїми бідами, проблемами й трагічною долею на конвеєрі вимирання, на який нас «вознесли» насаджувачі «Нового світового порядку на всі віки». Непомітно, спідтишка, як «таті нічні» чи «зłodії в законі».

А далі в «розважальних програмах» – старі дядьки, чомусь перевдягнені в ще старіших тіток. Щоб смішніше було? Але ж не смішно! Плакати й ридати хочеться від такої пошлятини, несмаку, грубіяництва, придуркуватості, хамства і примітивізму!

Народ вимирає – в Росії мільйон щороку, в Україні 400-500 тисяч щороку, – а на згорьованому пострадянському просторі – сатанинський регіт стоїть! Стоїть – і не проходить...

Одні й ті ж самі вгдовані «лиця» веселунів: «Сделай мне весело!», «Сделай мне смешно!» – ті ж самі витівки, заяложені жарти, анекдоти із «зеленими бородами»!

Від Москви до Одеси, від Бреста до Владивостока регочуть і кривляються якісь злі виродки, гермафродити, на зразок «Верки Сердючки».

Який Бетховен і Чайковський? Який Моцарт і Рахманінов?

«Пора-пора-порадуемся на своем веку!» – і радуються. І радіють. Регочуться, постійно зубоскалять, коли трудовий народ вимирає шаленими темпами!

«Дикі танці», «Гринджоли» і «Верка Сердючка» – оце і весь рівень сучасної музичної культури незалежної України, яку демонструють не лише вдома, а й возять на конкурси Євробачення! Комусь вигідно показувати наш народ дикунами, неандертальцями. А носіїв отакої псевдокультури обирають в нагороду депутатами Верховної Ради!

А села гинуть, і вже навряд чи й відродяться: ні ферм, ні машинних дворів, ні тракторів, ні комбайнів. Люди мруть сотнями, а поля заростають амброзією й бур'янами, якимись дикими, нетутешніми – наче в нас зроду таких і не було! Їздив оце на могили батьків і родичів у славному колись Баштанському районі на Миколаївщині. Надивився...

Такого безладдя й спустошення не було навіть після війни й фашистської окупації!

Дрохв – цих велетенських таємничих птахів Дикого Поля – давно-давно не стало. Немає й лелек – наче їх ніколи й не було в наших краях. І журавлі давно вже не курличуть, пролітаючи над нашими селами й хатами. Десь поділися наші журавлі – хто їх забрав?



А ще ж зовсім недавно написали прекрасну пісню Михайло Ткач і Олександр Білаш – «Сину, качки летять!»:

*Не барися, сину! Не блукай, дитино:
Через нашу хату, через Україну
Вже качки летять....*

А зараз вже й качки вже не літають, і дикі гуси не озиваються хтозна й відколи. Навіть ластівок не стало: на спустілому й осиротілому батьківському обійсті – ні однісінької! А колись же вони біля самого порога, над вікнами веранди, «задньої хати» і над двома стайні ліпили свої гніздечка – цілісінський день, з досвітку до сутінків, снували човниками, креслячи небо. І чулося найніжніше у світі ластів'яче щebetання.

Недарма ж Максим Тадейович Рильський напише незабутнє й незрівняне:

*Ластівки літають, бо літається.
І Ганнуса любить, бо пора...*

Навіть посмітюхи не стало – отієї, що майже біля кабиці, серед шорсткого й лапатога гарбузового листя, під картопляним кущем, виривши ямку в теплій землі, щоліта неслася і висиджувала пташенят на наших очах. А потім лишалася зимувати разом з нами, малими. Чомусь сама, одна-однісінька! Під кущиком зів'ялої лободи чи щириці. Ідеш, бувало, вже присмерком із школи, а вона: «тьох-тьох!», «пі-пі» – випурхне у тебе з-під ніг і покотиться сіреньким клубочком чи грудочкою у свою ямку і замре. Що там гріло її в довгі морозні ночі та сніговії? Мабуть, тільки пір'ячко? Та отой чубчик на голівці – стирчить із ямки, мов антена, а самої посмітюшки й не побачиш, як не придивляйся...

Все пропало. І сліду не лишилося. Ні птахів, ні – ще страшніше й трагічніше! – людей. Тих, кого ти знав і любив, як свою душу, найрідніших та наймиліших. І тих, які вчили тебе запрягати коней у безтарку, у гребку, у волок чи жатку. Тих, з ким ти ходив до школи й сидів за однією партою. Ні батьків, ні вчителів, ні сестер, ні родичів. Нікого. Нікому тепер і багьківські могили поправити в День Спомину Умерлих. А по-нашому, ново-олександрівському, нікому прийти «на гробки», «на проводи» й пом'янути небіжчиків на нашому сільському забур'яненому кладовищі. В рідному селі!

Та й тут, у Києві та у Кончі-Озерній: ні Головка, ні Рильського, ні Яновського, ні Сосюри, ні Малишка, ні Гончара, ні братів Тютюнників, ні братів Майбород, ні Жені Гуцала, ні Володі Дрозда, ні Віктора Близнеця – він повіситься, як і Григір. Не з добра ж, мабуть, не з добра...



«Та що ж це таке, люди добрі?» – гукаєш у розпачі. А кому ж ти гукаєш?

Оглянешся навколо – порожньо...

«І душа моя стражданнями народними вражена стала», – згадається Радичев.

Нема і вже ніколи не буде завжди усміхненого і доброго Михайла Ткача. Ні зовні суворого й набурмосеного, але доброго й привітного Сашка Білаша, що гримав по телефону з філармонії:

– Сезан де Базан! Де ти є? Чому тебе немає перед концертом? Я ж умру тут без вас, моїх друзів, від хвилювання!

Він і справді перебільшено хвилювався перед своїми концертами, хоч і написав багато ніжних і сумовитих пісень, аж до чарівної – «Цвітуть осінні тихі небеса...» на слова Андрія Малишка. Пісні Білаша, без перебільшення, співала тоді вся Україна, весь великий Радянський Союз!

Аж не віриться, що немає і вже ніколи не буде Роберта Третьякова – гарного поета із Харкова, що в будинку творчості «Ірпінь» різав уночі собі вени, але вижив якимсь дивним чином. Ні Євгена Бандуренка та Володимира Гетьмана з Одеси – вродливих смаглявців, замріяних і ніжних поетів, з якими разом починали – з муками й невдачами входили в літературу. Ні Іванів – Гайдаєнка й Рядченка – вельми дійових і аж занадто діловитих, як для письменників. Вони б правили за емблему Одеської письменницької організації, якби виникла потреба.

Ні Івана Чендея з Ужгорода – автора «Березневого снігу» й «Івана», за які його розпинали і мало не посадили. Ні Михайла Томчанія звідти ж, з його «Латаним мішком» – новелою про селянські бідування, що вразила дивовижною і незбагненною правдивістю.

Ні-ко-го! Ні мелодій, ні птахів, ні людей! Хотілось якось розділити їх на окремі етюди, а вони не розділяються й край! Бо зливаються в одну картину наших неповернених втрат, як під час воєнних дій. Було б три етюди: «Забуті мелодії», «Втрачені птахи», «Умерлі люди». А чомусь, ніби сам собою, виник один оцей реквієм. Бо все на світі озвучено й опромінено музикою, ніби зв'язано нею в один тугий вузол.

Як летять ото над тихим ставом табунці бекасів чи куликів-жалібників, відбиваючись у гладенькій і спокійній, мов дзеркало, поверхні води, то ніби звучить якась нечувана баркарола. Але давно вже не бачу того блискавичного й стрімкого лету, коли серпасті крильця журливих і прудких птахів ріжуть тугим свистом на



шмаття вечірню тишу і воронувату поверхню спокійної води, як ото «ріжуть» смичком струни на скрипці чи віолончелі, на контрабасі чи на альті. Хіба ж не музика? А тепер – ні птахів, ні мелодій...

Тільки тиша бринить в душі й пам'яті. Та ще далека-далека музика, якої нізащо не відтвориш, хоч би й хотілося: від першої ж спроби вона відлетить і вже ніколи не вернеться, доки світу й сонця! Так іноді здається. Бо мелодії забуваються швидше, ніж люди й птахи, і від них лишається тільки назва.

«Півник», наприклад. Таке, знаєте, легковажно-кепкуюче, грайливо-іронічне означення! А тривожна й тужлива народна мелодія, здається, увібрала в себе і відтворила всю драму темпераментної, барвистої, нервово-збудженої, далекої, мов сон, Бразилії.

Або «Кумперсіта» – в ній бринить душа і мелос ще дальшої Аргентини, загадкової, манливої, як мрії про щастя, котре вічно відлітає від нас в далечинь Буття, розчарувань і втрат...

Чи сумовито-грайливий мексиканський «Пелікан», якого награвав нам морозної ночі в госпіталі 3447 на Дубровці в Москві горілий у танку дивовижний баяніст-москвич з випаленими й вибитими окалиною «Т-34» очима. Цей дивовижний, незбагнено захоплюючий танок далекої екзотичної країни повертав нас із війни в мир, вселяв віру в близьке і досягне щастя, в яке вірили всі ми, лишившись живими після тяжких поранень. Адже по-справжньому радіють щастю тільки мученики й страждальці! Щасливі й благополучні його майже не відчують і не усвідомлюють.

А рідні українські народні пісні? Вони не покидають ні на хвилину. І не ті, що часто звучать на телебаченні (якщо звучать?) чи по радіо, а давні, забуті слова і мелодії. Може, втрачені назавжди: «Воли ж мої круторогі! Гей-гей, хто ж вам буде пан?»

Або: *Налетіли журавлі. Налетіли журавлі.*

Сили-впали на ріллі. Сили-впали на ріллі.

Де журавка ходила, де журавка ходила,

Там пшениця родила, там пшениця родила...

Де журавель походив, де журавель походив,

То там кукіль уродив, то там кукіль уродив...

Луче жінка первая, луче жінка первая,

Аніж тая друга-ая, аніж тая друга-ая...

Що з першою діток мав, що з першою діток мав,

То з другою розігнав, то з другою розігнав...

А особливо оця, козацька: «Військо йде – хоруговки мають...»

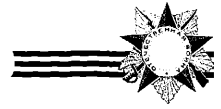


Та де ж наше військо, браття і сестри? Де воно? Де? Хто й куди його дів?

І хто ж заспіває після нас цих пісень? Хто відтворить ці слова і мелодії? Хіба Всесвітній Потоп чи термоядерна катастрофа збережуть їх?

Горе нам на нашій золотій землі! Під високими блакитними небесами!

*Конча-Озерна,
19 квітня 2007 року*



МОВЧАННЯ ЯГНЯТ

Гіркі роздуми після вручення Шевченківських премій із літератури

*«А ви претесь на чужину
Шукати доброго добра!»*

Т.Г. Шевченко

Страшно й сумно читати («Літературна Україна» за 1 березня цього року) звернення Голови ОУН – Миколи Плавюка до Прем'єр-міністра України Віктора Федоровича Януковича: «... між 15 і 31 грудня 2006 року у м. Оуквіл, провінція Онтаріо, Канада, у меморіальному парку Тараса Шевченка невідомі зловмисники зрізали з п'єдесталу і викрали пам'ятник Т.Г. Шевченку. Пізніше до поліції звернувся власник ливарного підприємства, якому на переробку продали...**ВІДПИЛЯНУ ГОЛОВУ ПАМ'ЯТНИКА**»

Господи! Відпиляну голову пам'ятника тому, хто закликав усіх нас: «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!» А також: «Обніміте ж, брати мої, найменшого брата!»

Звідки беруться такі вандали в наш час?! Страшно, що такі злодюги вирости, виховувалися і «дозріли» до нечуваного варварства та злочинства у благополучній, ситій, демократичній Канаді. Адже навіть Гітлер, Гімmlер, Геббельс, за всієї їхньої кровожерливості, не сміли посягнути на пам'ятники Кобзареві ні в Києві, ні в Каневі, ні в Ромнах, ні деінде під час війни! А тут, у мирний час, в такій нам близькій, майже рідній країні, що прийтила свого часу наших нещасних вигнанців!? Жах та й годі...

Однак ще жахливіше, що це не поодинокий випадок. Ще страшніше, що все людство в гонитві за «доляром» (чи за 20-ма тисячами «зелених», як у цьому конкретному випадку) здатне на подібний вандалізм в будь-якій країні! Хіба мало випадків було на



Україні після розвалу Радянського Союзу? І пам'ятники надгробні на кладовищах, і дрiт з електричних передач високовольтних лiній, і цехові верстати крали й здавали в брухт!

Але щоб отакий, відомий усьому світові, пам'ятник Генієві і Пророку, подарований Радянською Україною іншій братній країні та її народів, як знак вдячності за те, що приютила наших співгромадян, вимушених покинути в безземеллі рідну країну, – таких випадків, здається, ще не було. Викрасти і розпилити на брухт багатотонний бронзовий пам'ятник Генієві Світової літератури й культури – це вже й не просто «зловмисники», а справжні змовники-бандити!

«А нащо ж ви, «містере-власнику ливарного підприємства», купували такий страшний речовий доказ сплюндрованої Святині?» – хочеться спитати. Та як же ти, приватна особа, запитаєш громадянина іншої країни, коли твої правителі мовчать, набравши в рот води? Коли у відповідь на дикий вандалізм і на глум та знущання над національною святиною третій місяць мовчить Президент України! Мовчить Уряд! Мовчить Міністерство Іноземних справ України! Мовчить Верховна Рада! Як розцінити це «Мовчання Ягнят»?

Може, ми й справді – і в Незалежній Україні – «раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття ваші пани»? – як писав Шевченко. Чи дрібні й хитренькі «хохли», що тихцем та ще й чужими руками нищать пам'ять про Радянську Україну, що подарувала Канаді та її народів, привізши із-за океану, свою національну святиню від імені українського народу в 1951 році до 60-річчя української діаспори в цій країні? Щоб вивітрилася й пам'ять про наше благородство і шану до Кобзаря? Сказано ж: «Ми відкидаємо радянське псевдонаукове Шевченкознавство!», – Головою Шевченківського Комітету! Але, на щастя, є й інше мислення - людей розважливіших, толерантніших, хоч ніби й дальших. А в радянські часи навіть ворожих: «Приймаючи цей дар, – зазначає у своєму зверненні до Прем'єр-міністра нинішньої Незалежної України Віктора Януковича Голова ОУН Микола Плавюк, – Канада вшанувала пам'ять видатного українського поета, який є символом невмиручості (так в оригіналі! – О.С.) ідеалів боротьби за свободу українського народу.

Вважаємо, що цей жахливий злочин є прикладом вандалізму і неповаги до держави Україна та її народу», – наголошує колишній «Президент України в екзилі», і заявляє: «Ми здивовані сором'язливим мовчанням влади України щодо цього ганебного



випадку». Тут і я підписався б під кожним словом Миколи Плавюка! Та й не тільки я – вся моя родина: діти, онуки й правнуки. А також мої літературні побратими. І товариші по зброї, переможці фашистських завойовників, істинні визволителі України від гітлерівської окупації.

Подає свій голос у цьому ж числі «Літературної України» і новопризначений Голова Комітету з Шевченківських премій пан Лубківський: «... у Польщі зловмисники сплюндрували погруддя Тараса Шевченка на подвір'ї однієї з українських шкіл», – пише він «Його поважності Президентові України». Що за фразеологія? Чи не від Папських нунціїв у Варшаві? Бо в нас споконвіку так не звертались навіть до Гетьманів: не було в Низового Запорозького козацтва запобігливості ні перед ким! Бо обирали всю старшину на Січі Радою, і кожного новообраного піддавали ритуальному приниженню: посипали голову землею й попелом, піднімали на глум за колишні провини чи ухиляння від обов'язків Товариства, щоб не задирав носа, не зазнавався! Щоб пам'ятав: як обрали, так і переоберуть при першій-ліпшій нагоді. Але хочеться уточнити:

– Пане Лубківський, хіба ви не знали про цей акт вандалізму на польській землі, коли присуджували Шевченківську премію зовсім невідомому на Україні полякові?

Що це – плата за вандалізм, вчинений у його країні? Чи «плата за страх», щоб Вам не нагадали про ваше процвітання в ненависному тепер для вас «Радянському минулому», яке Ви ставите поза законом своєю вчорашньою промовою при врученні Шевченківських премій в Оперному театрі: дорікаєте всім, хто не проклинає його, бо вважаєте великим гріхом, а то й злочином перед нинішньою Україною навіть ностальгію по ньому!

Довелось бачити, як Ви нищечком хрестите собі груди, мовби підпільно, біля могили Олесья Гончара в роковини його смерті. Отже, ревно віруєте? Мабуть, за греко-католицьким обрядом? І за заповітами Творця підставляєте й праву щоку після того, як Вам дали ляпас по лівій, сплюндрувавши погруддя Шевченка? Вигідна та й гарна ж позиція! Тільки вкрай гнила: нагородивши Національною премією України імені Шевченка громадянина Польщі, де вчинено наругу над пам'ятником нашому Генієві, і знаючи про це, Ви аж он коли, щоб оббілити себе і свій Комітет, звертаєтесь до Президента і тим самим переадресовуєте йому обов'язок і право дати достойну відсіч вандалам, лишаючись осторонь, щоб не псувати приятельські стосунки з друзями-сусідами? А чому ж самі офіційно не заявляєте протест? У Президента ж є інші клопоти!



Одну Шевченківську премію Ви і Ваш Комітет, як уже мовилося, віддали невідомому в Україні полякові. Іншу – американцеві. Жаль, що не канадцеві! Було б саме в масть! І виявилася б певна тенденція: нагороджувати Шевченківськими преміями громадян саме тих країн, де плюндрують Шевченка! А не увінчувати нею українських письменників.

То для кого ж вона існує, ця наша Національна премія Незалежної Держави? Хіба таки для іноземців? Тоді оголосить її «Міжнародною», а не «Національною». І зніміть Святе Ім'я нашого Пророка. Чи не маєте на це повноважень? Тоді ж не поведіться, як отой герой Некрасова: «Вот приедет барин – барин нас рассудит!»

І Ви, як Голова Комітету, і весь новий склад Комітету з Шевченківських премій – всі ставитеся до українських письменників зверхньо, сповідуючи модерн, а не реалістичне відображення народного життя. Про це яскраво свідчить сьогорічне відзначення преміями абсолютно невідомих іноземців! І тогорічне увінчання премією імені Шевченка «Господніх зерен», якими виявилися кріпосники типу пана Енгельгарда, котрий знущався над малим Тарасом і звів у могилу його батьків, братів і сестер. Пам'ятаєте ж бо: «А сестри, сестри! Горе вам, мої голубки молоді! У наймах вросли чужії, У наймах коси побіліють, У наймах, сестри, і вмрете!» То кому ж і за що дає Шевченківські премії очолюваний Вами Комітет? Оспівувачам кріпосників, гнобителів нашого народу? Чи він уже не Ваш? А просто бидло, як був для панів? Зупиніться і поміркуюте гарненько!

І «Переписування» Василем Шклярем на свій розсуд класичних творів Панаса Мирного та Ольги Кобилянської, і оце ігнорування достойних письменників, висунутих на Шевченківську премію цього року, – таких як Петро Перебийніс з його талановитою книгою поезій «Пшеничний годинник», як Галина Тарасюк, як Валентина Мастерова з її глибоко правдивим і високохудожнім романом про нашу молодь, – все це походить і росте з одного кореня – із зневаги до серйозної, а не розважальної модерністської літератури, на яку Ви робите ставку, забуваючи, хто такий Шевченко і що він писав! А писав він кров'ю серця біди й страждання свого покріпаченого народу, від якого ніколи й ні в чому не відмежовувався, не відрікався! І не відрікся до самої смерті! У нього більше було підстав, ніж у нас, нині сущих, віднести себе до еліти. Бо он у якому Петербурзькому середовищі обертався, навчаючись в Академії мистецтв у майстерні Великого Карла Брюллова! А приятелював з Жуковським, графом Вільєгорським, з княжно



Респіною, з родиною графа Толстого – Президента Академії мистецтв, з братами Лазаревськими.

А Ви всім гамузом – всім комітетом – «так і претеся» в еліту, з погордою позираючи на нещасних, безгонорарних, покинутих напризволяще і забутих владою літературних колег. «Ми – еліта! Ми – Лауреати! А інших нема! Інші – недостойні!». Проклинаєте «совіти», Радянське минуле, «минулу добу»? Так виправте її помилки й недогляди, яких та доба припустилася, не відзначивши, скажімо, Шевченківською премією за життя незабутнього і незрівняного Григора Тютюнника! Відзначте, скажімо, Миколу Негоду за його геніальну пісню «Степом, степом», над якою ридав у своїй далекій Овсянці на Єнисеї Віктор Астаф'єв! Або хоча б посмертно – Василя Діденка за його чарівну і незбагненну в своїй поетичності пісню «На долині туман... На долині туман упав. Мак червоний в росі... Мак червоний в росі скупав!».

Ні, Ви цього не помічаєте! Як ота Дунька, в Європу претесь: «Наге Вам Шевченківську премію! Бо в нас нікому дати – достойних немає! Крім нас самих, олауреачених!» Гадаєте, Петра Перебийноса менше знають в Україні, ні ж отого поляка? Чи отого американця? Чи не можете простити йому службу у відділі культури ЦК? Але ж погодьмося: туди відбирали здібних, найдостойніших, найскромніших! Дурнів і падлюк туди не брали! А як поет він давно і міцно утвердився в нашій Літературі.

Та Ви й самі визнали це у своєму виступі на його творчому вечорі в Будинку вчителя і обіцяли підтримку при остаточному голосуванні. Але здавна відомо: обіцянка – цяцянка!

Я прочитав його нову книгу поезій «Пшеничний годинник», як звик читати все, що він публікував і видавав. Не претендую на так звану істину в останній інстанції. Не вдаватимуся й до порівнянь, бо вони в літературі не правомірні. І все ж, не втримаюсь, бо переконаний: ті, хто «завалили» Петра Перебийноса – вже вкотре! – при остаточному голосуванні, не можуть похвалитися, що їхні, відзначені Шевченківською премією, збірки вищі за інтелектуальним і художнім рівнем, ніж Перебийносова нова книжка!

Ось, наприклад, «ЧОРНИЙ СПЕКТР»:

*«Ви знаєте із чого
Виникає чорний день?
Із суміші яскравих кольорів.
Береш собі звичайний білий день.
Домішуєш ультрамарину неба,
зеленолистя і багряноцвіту.*



*Затим до цього спектра додається
Чиясь рум'янощока підлість.
В очах спливають кола
І зливаються
В єдину – чорну барву дня.*

Яке іносказання! Який морально-настроевий підтекст, братове Поети! Справжній модерн! І таких віршів – переважна більшість у «Пшеничному годинникові». Але й цього новаторства, виявляється мало для комітетчиків-модерністів. Їм аби тільки «Ніж у сонці!» Що ж, гарна поема-феєрія. Але ж не все вона та вона? Велика кількість ножів не завжди продуктивна: вони знадобляться патриціям для вбивства Цезаря в Сенаті, де він встигне промовити одну-єдину передсмертну фразу: «І ти, Бруте?!». Бо той був його позашлюбним сином. Та ще – преторіанцям, які, змовившись, уб'ють найжорстокішого імператора Калігулу, якого охороняли, на порозі Сенату, винесуть мертвого на ножах і кинуть під ноги перехожим та під колеса колісниць і екіпажів на брук, як стерво. А коли угатити багато ножів у Сонце, то воно може й погаснути...

Хіба таки модерн, по-вашому – єдиний напрям в літературі? Невже традиції, що вивірялися століттями, нічого не варті, як досвід і набуток тисячоліть? Чому Ви їх оголошуєте поза законом? Схоже, що так, якщо проаналізувати діяльність Голови і самого Комітету за останні два роки. Вам не життя народу цікаве – Вам подавай екзотику! «Обличчя пустелі», наприклад. Хоч було «Обличчя дерев» Любові Пономаренко – чудові новели істинно-сучасної літератури! Але хіба ж ви помітите її в забутій Богом і людьми Гребінці з свого марнославного Олімпу? А саме ж з Гребінки кавалергард і бажаний учасник петербурзьких великосвітських балів Євген Гребінка ще он коли гукав у «Сулі і Оржиці»:

*«Хто знає Оржицю? Ануте, озивайтесь!
Усі мовчать. Гай-гай, які шолопаї!
Вона в Сулу тече у нашій стороні!
(Ви, братця, все-таки, домівки не цурайтесь!)
На річці тій жили батьки мої...»*

Але що Вам Сула і Оржиця? Вам подавай Європу! Та так, щоб здивувати її не лише преміями Шевченківськими, роздаючи їх направо і наліво, а й карколомним модерном, від якого вона давно відійшла. А ви тепер повторюєте її «зади».

Не дарма ж Ви, пане Голово, у своїй «тронній» промові, заступаючи на цей відповідальний пост після Івана Дзуби, пообіцяли, читаючи з аркуша, щоб не помилитися, що будете «строго



відбирати високохудожні, МОДЕРНІ(!) твори для відзначення Національною премією України імені Тараса Шевченка». Мене тоді вразило це підкреслення. Бо в ньому – чистісінький снобізм! А Шевченко снобом ніколи не був і не міг бути! Як і Толстой, як і Діккенс, як і Достоевський, Коцюбинський і Чехов.

Зрештою, як і Торнтон Уайлдер – знаменитий археолог, котрий 25 літ розкопував для людства Трою, а потім, повернувшись в Англію, несподівано для всіх написав роман про зовсім іншу епоху – епоху Гая Юлія Цезаря і Клеопатри – «Березневі іди». І ніякого тобі модернізму! Справжній історичний реалістичний роман. А й досі так захоплює, що не відірвешся! Бо це справжня Література, без ніяких «ізмів». Скільки написано з античних часів про вбивство Цезаря, а він один подав вражаючий передсмертний жест Великого Імператора Риму: падаючи під ударами ножів у безпам'ятство, Цезар останнім рухом прикриває тунікою ноги, щоб і по смерті виглядати пристойно! А Ви кажете: «Модерн...»

І все оце надбання реалізму світової літератури відкидаєте заради модернізму та постмодерну? З ким і з чим же ви зостаєтесь? З Андруховичем та Оксаною Забужко? Але порівняйте непорівнянне з скороспілками і епажем та матюками! Яка бідність! Яка одноманітність! Яка убогість!

Модерн і снобізм, на моє глибоке переконання, зовсім не притаманні Шевченкові. А тим більше – його доробку. Ні його світогляду. Він думав, мучився і страждав муками і стражданнями свого народу! А ви дбаєте про що? Про епатаж? Отож, дивіться, хлопці: чи у свої сани сіли? Чи не помилилися знову ті, хто формував новий склад Комітету з Шевченківських премій, немов за відомим дотепом одного гострослова: «У нас що не складеш - виходить кулемет!» або «Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди».

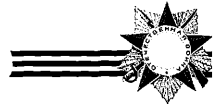
І ще одне, останнє. Вчора Ви, пане Лубківський, при врученні Шевченківських премій звинувачували українських письменників – треба думати, в першу чергу висунутих на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка – в тому, що вони, на превеликий Ваш жаль, не позбулися ностальгії за Радянською дійсністю. Ми вже чули з вуст Вашого сина, що треба негайно знищити всю радянську атрибутику, символіку, історичні пам'ятки Радянської доби, бо все це, за його словами, заважає виховувати молодь «в патріотичному дусі». Але ж для цього довелося б ліквідувати Музей Великої Вітчизняної війни, зрівняти з землею Пагорб Слави та знести на ньому могили Героїв Радянського Союзу з надгробками з полірованого граніту і лабрадориту, погасити Вічний



Вогонь Воїнської Слави, зруйнувати пам'ятник генералові Ватутіну «Від Українського народу», знищити численні меморіали по всій Україні! А це веде до безпам'ятства і здичавіння! Тому, мабуть, Ваш син зник з телевізійних екранів, з яких він певний час і не злавив, драгуючи отакими непродуманими заявами телеглядачів – громадян Незалежної України. Особливо учасників Великої Вітчизняної війни і відбудови сплюндрованої німецько-фашистськими окупантами України, її міст і сіл! То дайте нам хоч спокійно вмерти на своїй, а не чужій, не НАТОвській землі!

А хто Ви самі, пане Лубківський, дозвольте Вас запитати: оракул, волхв чи новітній Сократ? За яким правом рядового літератора забороняєте ностальгію за Радянським минулим, у якому – ми ж це добре пам'ятаємо! – були не лише голодомори, гулаги і репресії, як запевняють отакі, як Ви, «оракули», а й зовсім інше, про що й мрії не можуть зараз трудові люди? Чому дозволяєте собі не лише «гадюкою лізти в очі», за виразом закарпатців, а й удавом заповзати в наші душі?! Всім тим, хто чисто по-людськи тужить за своєю молодістю, що ніколи вже не вернеться? Чи й на це треба питати дозволу в Голови Комітету з Шевченківських премій? Це ж зовсім не Ваша «парафія»? Поводьтєся толерантніше і скромніше. Адже посаду Голови Шевченківського Комітету Вам ввірили дивним чином за життя справжніх класиків нашої нещасної літератури: Драча, Олійника, Павличка, Загребельного, Дзюби та Ліни Костенко, талановитіших і достойніших за Вас. Я нічого категорично не стверджую: не маю впевненості.

Бо щось мені чим далі, тим не зрозумілішими стають останні події в Державі з абсолютно відкритою, легальною підготовкою державного перевороту, який очолює у вигляді формування загонів «Самооборони» для весіннього походу на Київ (що страшенно нагадує «Марш справедливості на Рим» Беніто Муссоліні) син абсолютно толерантного, порядного й незабутнього батька, що чесно поклав своє життя, захищаючи права ветеранів війни і праці, інвалідів, пенсіонерів – усіх знедолених і незахищених, – очолюючи відповідний комітет Верховної Ради України. Все заплутанішою стає й ситуація в нашій Національній Спілці письменників, яка зусиллями сучасного керівництва втратила навіть права юридичної особи, ліквідувала Літфонд – і все це на угоду вигаданого Головою Спілки кишенькового «фонду майна», здається, з трьох осіб, основною функцією якого є процес остаточного відчуження спілчанського майна – Будинків творчості в Коктебелі, Ялті, Одесі й Ірпені - від письменників. Ви ж, може, чули, як гірко бідують



українські письменники? Без можливості публікуватися в журналах, які ледве животіють. Видавати книжки тільки в мріях та ще в надіях, що вмирають останніми разом з безгонорарними авторами.

То залиште при собі і власний, і комітетський снобізм, віддаючи виділені Урядом на підтримку вітчизняної літератури Шевченківські премії іноземцям: он які ми, мовляв, вимогливі, щедрі й принципові! Не виставляйте цей осоружний і не зовсім розумний снобізм на показ, заперечуючи саме існування вітчизняної літератури, оголошуючи реалізм і реалістичні твори про живе життя народу, про його страждання й переживання поза законом! Бо за це колись доведеться дуже дорого платити. А були серед висунутих на цьогорічну Шевченківську премію письменники і твори набагато достойніші за Ваших «закордонних» обранців, абсолютно невідомих українському читачеві!

Зокрема, повторюся і наполягаю, це книга поезій Петра Перебийноса «Пшеничний годинник», широковідома зараз на Україні Галина Тарасюк з романами і повістями, що друкувалися і друкуються постійно мало не в усіх газетах і журналах – і столичних, і обласних. І Валентина Мастерова з романом «Суча дочка» – давно в нас не було таких правдивих, гострих і високохудожніх творів про нашу молодь та її заплутану в тенетах споживацького світу, складну, а часто-густо й трагічну долю! Жаль, що самозакоханість і снобізм переважної більшості нинішніх членів Шевченківського комітету заважають їм помічати чужі досягнення і успіхи, упиваючись власною, найчастіше ефемерною славою.

У такого доморощеного снобізму з-під довгополого й розцяцькованого кептаря ні-ні, та й визирають личаки хутора Букулькине, вигаданого колись Тарапунькою в його інтермедіях. Або й постолі, які добре морщать і в наших степах, і на Гуцульщині та в Галичині. Особливо в Карпатах. І на Буковині та на Волині – скрізь, де народились сучасні модерністи.

*Конча - Озерна,
10 березня 2007 року*



ВИДІННЯ?

Етюд

Оксані Мадараш...

Сідаю в машину, запускаю двигун. Коли глядь – іде!

Білим янголом – з невідомості: літня блузка і літні брюки, як сніг. Білим лебедем – на синьому тлі: дивлюсь-бо на неї з низенької «Toyota-Corolla», а Вона йде згори, немов з піднебесся. А небо чисте-чисте! Бездонне, як і належить на маківці літа.

І одразу ж Павло Васильєв:

Так идет, что ветви зеленеют,

Так идет, что соловьи чумеют,

Так идет, что облака стоят!

Наближається – світлява, висока, статна і тендітна – і всімається сонцю, небові, літу, погожому дню. А здається, й мені.

– Підвезти? – опускаю скло.

– Мене? – здивовано пурхають вгору оксамитові брови, і усмішка опромінює лице. На щоках ямочки грають, а на ламких соковитих губах – бурштиново-рожевий мед та й годі. Погляд ніяковий: – Ви, мабуть, помиляєтеся. Я не та, кого ви чекаєте.

– Не помиляюсь, – перебиваю її. – Саме отаку виглядаю з неблаганного світу: він забрав у мене дружину. Чи ж не шле оце нарешті Жінку-Женщину, Мадонну і спокусницю? – Відчиняю дверці їй. – Сідайте. Може, виходите оце на мій самотній берег? «А на том березу, а на том березу... незабудки цветут», – співає Олександр Малинін. Чули?

Мовчить. А як сідає в машину, не помічаю. Від хвилювання? З розгубленості? Хоч любив дивитися, як сідає поруч дружина: граційно вигнувши спину – тоншала в талії, гнучкішала станом, ніби молодшала на очах.

А тут прогавлюю найголовніше: як оця циганка – вигинає спину чи горбиться? Ні-і-і, така – ОТАКА! – горбитись не буде: не та порода, не та постава! Царственна осанка...

Вириваюсь на бульвар Лесі Українки, їду навмання, а вона:



– Отам, біля башти (чи ще якесь дивне слово, значення якого не розчую чи не второпаю), зупиніться, – показує праворуч.

А я мчу, як завжди лівим рядом, і світлофор світиться зелено – дозволяє проїзд. Проскакую до перехрестя з вулицею Щорса, розвертаюсь і жму назад до світлофора, який проскочив, з ходу роблю лівий поворот за «Мерседесом-600», проти всяких правил, адже ці машини їздять потоптом. І на першому ж перехресті розвертаюсь, бо вона показує на протилежний бік поперечної вулиці:

– Отам!

Гальмую. Перегинаюсь і відчиняю їй дверцята, остерігаючись торкнутися звабливих стегон, що напинають рипучу тканину. Та пахне ж, Господи! Мов ранковий луг чи моє Дике Поле. А як виходить з машини, знов не помічаю. Засліпила мене? Оглушила чи що?

Виходжу вслід за нею, відчиняю багажник і даю їй сьогоднішні публікації, невідомо, чому і навіщо.

– Ух ти! – вигукує, вгледівши моє прізвище. – А я вас знаю. Тільки не віряться, що це ви.

Мовчу. Дивлюсь на неї зблизька й не можу надивитись.

– Яка врода! – бурмочу сам собі. – Яка краса!

– Яка там врода, – сердито, без тіні кокетства.

– Навіть Київ світлішає від вас. Залиште координати, – подаю блокнот, не зводячи з неї очей.

– Не терплю повелителів, – а сама слухняно пише номер телефона, дрібно-дрібнесенько, і йде геть, не оглядаючись.

Вскакую в машину, бо її буквально притирають до високого бордюра автобуси й тролейбуси, беручи правий ряд перед перехрестям.

Вириваюсь з цієї тісняви і думаю: «А далі буде?» І сам з себе кепкую: «Це ж тобі не публікація в журналі з продовженням. Це, братику, життя...»

Продовження не було й немає. Але я знаю: Вона йде!

Вона десь йде – на роботу чи з роботи, – осяяна сонцем, мов героїня Павла Васильєва:

Так идет, пшеничная от света!

Больше всех любовью разогрета,

В солнце вся – от макушки до пят...

І перехожі милуються Нею, і місто красивішає, немов тло її вроди. Але знаю також: не воно належить Їй, а Вона належить Urbi et Orbi.



А «городу и миру» абсолютно байдуже, хто в них живе, мучиться і страждає, любить і ненавидить. І хулу, і хвалу, красу і потворність – все вони сприймають незворушно. Або не сприймають ніяк. Бо існують вічно – Вічності ї належать!

А от Вона пройде, мов хмаринка над містом, і краса її колись померкне. Зараз же Вона цвіте й пахне, всі, хто бачить її, любуються Нею. І мені радісно знати, що Вона є! Уявляти, як Вона йде нашим містом, опромінюючи його своєю вродою і красою. І моя душа назирці йде за Нею по всіх її слідах і дорогах...

Я б послав Її свої захоплення поштою чи телеграфом. Але адреси не маю. А телефон мовчить, мовчить. Або стрічає металевим голосом автовідповідача, що уявляється мені цербером чи грифоном Древнього Світу.

Що ж, хай іде і захоплює інших. Аби тільки була щаслива!

*Конча-Озерна,
20 грудня 2010 року*



АРАБ

Есе

«Нам залишається мовчання!»
З епосу «Загибель Богів»

Вперше побачу його за раннім сніданком в ресторані «Панорама» на 22 поверсі готелю «Білорусь». В неймовірному стовпотворінні, шумі і гамі найперше помічу саме його – худого, аж чорного, а не бронзово-смаглявого, як уявляються араби з книг і легенд. У військовій сорочці «хакі» кольору пустелі без погон, сидить самотньо біля вікна і дивиться на світанковий Мінськ, покурюючи тонку дешеву сигару.

І я відразу ж попрямую до його вільного столу зі своїм сніданком на підносі.

Моєї з'яви Араб ніби й не помітить – ні погляду, ні слова, ні жесту.

Перед ним – філіжанка чорної кави і тонкий бутерброд із знаменитого білоруського заварного хліба з пластівцем сиру на блюдці. Оце й увесь «шведський стіл», вибраний з щедрого меню гарячих блюд та холодних закусок. Але й про цей свій скромний вибір Араб, здається, забуде, вдивляючись в Мінськ. Ніби намагається запам'ятати назавжди, щоб ніколи й ніде не забувати його.

Поміж будівлями ще мерехтять вуличні ліхтарі, світяться вікна і палахкотять вогні крикливої реклами. Але ранок вже напинає над містом вітрила легкої синюватої імли, поглиблюючи перспективу чудової панорами, що відкривається звідси, немов з висоти пташиного польоту.

Я вперше в Мінську і теж милуюся архітектурними ансамблями «Сталінський ампір» післявоєнної відбудови, прямими вулицями, широкими проспектами і майданами, бульварами і скверами – все це як на долоні!

Фашисти візьмуть Мінськ вже 28 червня 1941 року, на шостий день війни! За втрату столиці Білорусії без слідства і суду роз-



стріляють Командуючого Західним фронтом Героя Радянського Союзу генерал-полковника Павлова, начальника штабу генерал-лейтенанта Климовських та багатьох інших генералів і вищих офіцерів Управління і Військової Ради фронту.

Мій Араб може й не знати давньої мінської трагедії, але сумує ніби саме з цього приводу. Доки снідатиму, він до кави й не доторкнеться. І сигара вкриється білястим попелом забуття.

Сидить, мов кам'яний Сфінкс, що стереже піраміди єгипетських фараонів у Африці. І його оливкове худе обличчя теж закам'яніє. Задумливість і туга гнітять і мучать його. А він не може чи не хоче звільнитись від них – стріпнутись і збадьоритися хоч на мить. І я, нарешті, починаю здогадуватися: його терзає невимовне й нестерпне горе!

За своє життя надивлюсь на страждальців у голодні роки, в окупації і на фронті. Але таке незносне страждання, занурене в мовчання, зустрічаю вперше.

«Арабе, Арабе! Що згадується тобі в цій далекій холодній країні? Якісь біди, ще страшніші за нашу Велику Вітчизняну війну? Горе родини? Втрата домівки? Чи тебе вигнано з твоєї Батьківщини, з рідної землі – із землі твоїх дідів і прадідів? Бо й до вас вже прийшли новітні загарбники, ще жорстокіші за середньовічних іспанських конкістадорів, котрі винищать інків та народ майя у Південній Америці з їхньою високою культурою і привласнять їхні незліченні багатства. Нащадки тих авантюристів, що повбивають благородних індіанських вождів та найхоробріших воїнів, а решту «червоношкірих» женуть із благодатних земель Північної Америки в резервації. Теперішні ж пришельці – державні терористи – насаджують свою демонічну «демократію» і «культуру» на Балканах, на Близькому Сході, в Європі й Африці! Скоро окупує всю землю: на ній вже не лишається регіонів, де б не було «державних», «національних», «економічних» або «стратегічних» інтересів США.

Чи не про це ти думаєш зараз, брате мій? Бо саме на вас, арабів, на ваш Близький Схід та на Африку йде шалена експансія – воєнна, расова, ідеологічна і релігійна. Особливо лютує Ізраїль, підтримуваний могутністю США. Єгипет, Іран, Ліван, Лівія, Сирія, Йорданія – всі під прицілом! З 2003 року, день при дні стирається з лиця землі Ірак! А що вчинили з Ліваном – цим раєм земним, а



не небесним? Бейрут вщент зруйновано й розбито, як Сталінград в ту Велику тотальну війну.

Тобі є що згадувати, мій брате, є над чим печалитися. Здогадуюсь, що це ніколи не покидає твоєї стражденної душі та натрудженої пам'яті. Припускаю, що й Абдель Насера згадуєш – Єгипетського Президента, істинного Вождя всього Арабського Світу, отруєного ЦРУ і «Моссадом» у розквіті сил і слави.

А сьогодні, до речі, 21 грудня – день народження Сталіна, теж отруєного ворогами і зрадниками, як і твій Абдель Насер. Ти, мабуть, не знаєш, а може, й забув цю знаменну дату. Бо хто ж її тепер пам'ятає? Крім нас, його солдатів, що воювали проти фашистських вшателів і окупантів під його Верховним командуванням. Абдель Насер не допустив би оцього державного бандитизму Сполучених Штатів Америки на арабських землях! А Сталін не дозволив би підступно знищити Великий Радянський Союз продажним «агентам впливу» з числа партійних і державних функціонерів, що продалися за долари, щоб розбагатіти на зраді народу й Батьківщини, втрапивши честь і совість.

Дивлячись на Мінськ, про що думаєш, за чим страждаєш, мій брате Арабе? Які міста Арабського світу згадуєш? Абу-Дабі, Багдад, Бейрут, Дамаск, Тегеран, Тріполі, Ель-Аламейн чи Мерс-Ель-Кебір? Що гнітить і мучить тебе? Може, в тих перманентних війнах, які веде Ізраїль на Близькому Сході проти арабів, ти втратив батьків, родичів, улюблену дружину й дітей? І тепер згадуєш їх перед панорамою нечужого тобі міста?

Чи загиблих на твоїх очах із зброєю в руках бойових друзів, залишених під ворожим вогнем на полі бою, а тепер уявляєш, як їх ночами терзають ненажерливі й хижі гієни?

Я ніколи не визнаю, що ти думаєш, сидячи за одним столом поруч зі мною.

Бо ти – мовчиш...»

Худе, оливкове обличчя, з чорними тіннями під очима, під крилами носа й на вилицях, кам'яніє й ціпеніє, здається, навіки. Такі лиця бувають тільки в горем убитих людей, яким немає і вже ніколи й не буде розради на цьому жорстокому й невблаганному світі.

І тут пригадується катехізис: «Араби живуть споглядално, не цілеспрямовано. Ніколи ні в чому не уподібнюймося арабам! Ми маємо щохвилини бути активними та діяльними! Світ жорстокий – в ньому не припиняється ні на мить боротьба за місце під



сонцем, за право бути єдиним народом і жити на цій грішній землі! Допмагайте один одному! Допмагайте один одному, навіть якщо ненавидите один одного! В єднанні – наша сила! В активній діяльності – запорука наших успіхів!»

На тлі цього Катехізису ти, мій задумливий і сумний Арабе, викликаєш невимовний жаль! До тебе самого, до твого народу і твоєї далекої Батьківщини, якої я не бачив і ніколи вже, мабуть, не побачу. Не знаю навіть, що це за країна: Єгипет, Ірак, Іран, Ліван, Лівія, Палестина, Сирія чи Саудівська Аравія? Всі вони під прицілом міжнародного жандарма – США! В цих країнах ллється кров від американо-ізраїльської агресії...

Осиротілий шестилітній арабський хлопчик з іграшковим пістолетом в руках біля домовини батька, щойно вбитого ізраїльськими солдатами, знову згадається того ранку. Мене потрясе ця фотографія з німецького журналу «Штерн», що обійде тоді чи не всі газети світу. Вона й досі лежить під склом на тумбочці торшера в моєму кабінеті на вулиці Михайла Коцюбинського в Києві і крає серце жалем і співчуттям до осиротілої арабської дитини.

Може, ти, на вигляд сорокалітній, Арабе, і є отой хлопчик? Вцілів, навіть після різанини в таборах біженців Сабра і Шатіла, вчиненої тодішнім міністром оборони Ізраїлю Шароном, і приїхав оце в Мінськ! А чому б ні? Багато років минуло відтоді, як я вперше побачу оте фото заплаканого арабського хлопчика з іграшковим пістолетом, яким він грався при живому батькові, та так і тримає свою мілітарну іграшку й після його смерті, лишившись сиротою. І його сльози капають на іграшковий пістолет. Того дня його гіркі сирітські сльози стануть сльозами Близького Сходу й усього Арабського Світу!

І найперше – Палестини, де Ізраїль вчинить арабам справжній голокост, забувши винищення шести мільйонів євреїв гітлерівськими й гіммлерівськими бандитами. Як тут не погодитись, що історія нікого нікому не вчить? І що людство – забудькувате? Але це – дуже спрощений, умоглядний висновок. Біда в тому, що страждання будь-якого народу не стають нашим спільним досвідом, щоб не допустити більше отакого варварства!

На жаль, усвідомлені страждання цілого народу викликають не тільки скорботу, а й жаду помсти! Але при чому ж тут араби? Чому на них виміщають свій гнів, ненависть і лють ізраїльські «яструби»? Адже не єврейський народ, а саме сіоністські правите-



лі Ізраїлю зживають із світу палестинців! Народ ніколи не буває винний – це давня, як світ, аксіома. Винні правителі! Свої злочини вони вішають на всіх співгромадян під хитрим постулатом «колективної відповідальності».

Це ж немислимо – зганяти людей із їхніх споконвічних земель, з родинних гнізд в табори біженців на нестерпні муки, страждання і поневіряння до кінця життя з діточками, немовлятами і старими німецькими батьками! Та ще й в отих проклятих таборах чинити серед дня різанину беззахисних стариків, жінок і дітей! Хіба ж це не той самий голокост, стенання над яким затьмарює нині і битву під Москвою, і контрнаступ в наслідок неї, що призведе до першого в Другій світовій війні розгрому фашистського вермахту, який до цього не знав поразок і вважався непереможним. Пропаганда голокосту перевершує нині оборону Києва, Ленінграда, Одеси, Севастополя. Сталінградську битву і битву на Курській Дузі як і битви генералів Окінлека та Уевелла з Роммелем в Африці, висадку союзників у Нормандії, взяття Берліна й навіть саму Перемогу над гітлерівською Німеччиною! Подвиги і смерті, втрати і страждання цілих народів – все забувається, замовчується, розвінчується і принижується, а голокост втокмачується у свідомість молоді, як визначальна, найголовніша подія Другої світової війни, всього ХХ століття! Потрясаюча аберация! Вона перекреслює пам'ять п'ятдесяти мільйонів воїнів, загиблих із зброєю в руках на полях битв з італо-німецьким фашизмом та японським мілітаризмом.

Найголовнішого ж переможця в другій світовій війні – Радянський Союз, що прийме на себе наймогутніший удар, вистоїть один-на-один з могутнім вермахтом і зазнає небувалих в історії втрат, – оголошено «імперією зла»! В подяку чи що?

Ця історична брехня, лютя і ненависть до інших народів, подвійні стандарти в оцінці держав і націй розшматовують світ, заперечують принцип співіснування. Бо насаджувачі «нового світового порядку на всі віки» мають забезпечити процвітання «Золотого мільярда» за рахунок винищення решти: шести мільярдів «неповноцінних в расовому відношенні» народів! Чим не расова теорія «націонал-соціалістської робітничої партії» Гітлера? Забули? То пригадайте! Й отямтеся, бо буде вам те, що й головним німецько-фашистським воєнним злочинцем у Нюрнберзі!

Має ж коли-небудь Міжнародний Гагський трибунал судити й замучувати до смерті не лише Мілошевича, вішати на шибениці



перед телекамерами не лише Саддама Хусейна, а й справжніх мучителів інших народів!

Поснідавши, збиратиму посуд, гримлячи тарілками. Араб же й не ворухнеться. На виході з ресторану, у дверях оглянуся: чи не змінить своєї пози?

Ні. Так і сидить боком до свого убогого сніданку, ніби закам'янілий.

Вуличні ліхтарі тим часом вимкнуть. Погасне й криклива капіталістична реклама над дахами будинків та на їхніх фасадах. Тут, в столиці Білорусі, вона особливо брутальна, нахабна й обурливо чужа.

Мовчазний Араб, його сум і самотність стоятимуть перед очима, цілісний день ятрить душу, і мучитимуть мене серед з'їздівського стовпотворіння і метушні.

На з'їзді письменників, куди запросить мене Посольство Білорусі в Києві, я не застану вже ні Лауреата Ленінської премії Івана Мележа, ні голови Спілки письменників Івана Шамякіна, ні вродливого й талановитого новеліста Янку Бриля, ні Івана Чигринова – автора дивного ліричного роману «Плач перепілки» про ту жорстоку й страшну війну, що прокотиться лісами, полями, «в'юсками» й містами Білорусії. Всі вони – мої друзі й ровесники – тихо відійдуть, наче змовившись, і не діждуться мого першого приїзду.

І зазвучать в душі, застрянуть в пам'яті й супроводжуватимуть протягом перебування в Мінську сумовиті рядки з романсу Плещеева:

*«Над кровлей ворон прокричить,
Осенний дождь прольет...»*

І велика туга й печаль за всіма, кого я знав і любив і кого вже ніколи не буде на цьому світі, огорне знову і не відпускає й понині...

В передз'їздівській метушні шукатиму колишнього секретаря парткому Спілки письменників Білорусі Савицького, котрий якось у Москві, на ювілейному вечорі в Центральному будинку літераторів, кинеється мало не на трибуну з обіймами, розчулений моїм словом про Андрія Васильовича Головка. Він з дитинства любить його оповідання «Пилипко» й «Червона хустина». Таких



новел після Андрія Васильовича у нас більш не було і вже, мабуть, ніколи й не буде!

Їдучи на з'їзд, мріятиму зустрінися з Савицьким. Але коли мені покажуть у натовпі, я не пізнаю його – так він постаріє й переміниться. Не виявить ні радості, ні пристойної в таких випадках приязні. Чи хоча б привітності. Це мене здивує: ми ж з ним тоді мало не побратаємося! Пображничаємо того вечора в «Арагві» та в моєму номері в готелі «Москва». Забув чи що? Вже вкотре здивуюся: що з нами відбувається? Старіємо? Байдужіємо? Стомлюємося жити? Хто його знає...

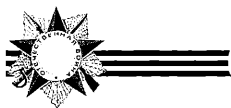
Нічого не скажу йому, ні про що не питаю й нічого не нагадаю. Навіщо? А тільки раптом відчую себе чужим і непотрібним у цьому натовпі, в переповненій делегатами з'їзду й гостями філармонії, вже прикрашеній новорічною ялинкою. «Чи й варто було приїздити, виряджатися в таку далеку дорогу?» – подумається само собою.

Але я здавна мрію потрапити в Білорусь Олександра Лукашенка, який тут збереже інфраструктуру й не дасть розграбувати народне добро ні в промисловості, ні в сільському господарстві, забезпечивши білорусам пристойний рівень життя і зайнятості. Тому не без вагань перед далекою дорогою прийму із вдячністю запрошення на з'їзд письменників.

З'їзд буде, як з'їзд: звітуватиме не лише Голова Спілки Микола Іванович Чергинець, а й керівники обласних філій, як велося ще за Радянської влади. Такі собі «звіти з місць», що до літератури й не туляться. З цим лихом боротимуться і в Москві, й у всіх братніх республіканських письменницьких організаціях. Але бюрократизм виявиться стійким.

А гості з Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Сербії, Сирії, Естонії аналізуватимуть сучасний літературний процес у Європі й у світі. Торкатимуться й авангардизму, модернізму та постмодерну, якими намагаються витіснити реалізм, щоб штукарством підмінити головне завдання літератури – відтворення глибинних процесів сучасного народного життя і народних характерів. Реальна дійсність, таким чином, підміняється віртуальністю не лише в політиці, в кіно і на телебаченні, а й у літературі.

Цікаво й дотепно виступить професор Дамаського університету – низенький, повний, але жвавий, мов ртуть! Його промова на з'їзді перерватиметься аплодисментами й сміхом у залі. Ще



дужче вразить його тост на дружній вечері, коли Микола Іванович Чергинець надасть йому першому слово.

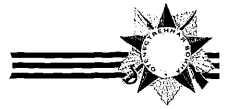
А тут саме вчиниться тіснява навколо столу, що й не протовпишся. Ще й стілець комусь із старших письменників принесуть, щоб сидіти, а не стояти. Поставлять саме перед сирійцем. Професор із Дамаска з розгону, не вагаючись, легко й спритно перестрибне його і під загальний регіт підійде до мікрофону, сміючись, як дитина!

Він тут, в Білорусі, перебуває в епіцентрі засобів масової інформації як представник Близького Сходу – найнеблагополучнішого регіону на землі! Де експансія Ізраїлю, від самого проголошення цієї країни 1947 року, не знає меж. А зараз стався ще жорстокіший, розбійницький напад США на Ірак. Саме про цей державний тероризм професор Дамаського університету говоритиме й тут, на фуршеті, як говорив у своєму телеінтерв'ю перед з'їздом і в промові на самому з'їзді.

Марудне діло, скажу я вам, слухати промову чи тост незрозумілою мовою, а потім ще й переклад його. Але дамаського професора виручать лаконізм, інтелект і дотепність.

– Світ лихоманить глобалізація, терзають локальні загарбницькі війни, а література мовчить! – вигукне він несподівано весело, тримаючи в короткопалій руці фужер з помаранчевим соком. Бо правовірні мусульмани не вживають алкоголю. – Що діється в Іраку, в Палестині, в Лівані, на Голланських висотах і в секторі Газа та Йорданії? Ви ж знаєте, що там відбувається. Знаєте? А література туди й не заглядає! Ми повинні взяти й на себе відповідальність за цю дивну, неправомірну інертність літератури, за її байдужість до людських страждань! На Близькому Сході десятиліттями в жорстоких перманентних війнах ллється кров людська і дитяча, руйнуються древні міста, гине матеріальна культура, а література мовчить! Я не знаю, як це пояснити. Давайте вип'ємо за те, щоб література пробудилася, як отой Лісоруб Пабло Неруди, і сказала своє гнівне образне слово на захист найдревнішої культури – культури Дворіччя між Тигром і Єфратом, колиски людської цивілізації, яка зараз розграбовується американськими вояками з спеціальних підрозділів! – Він високо піднесе келих над головою, зробить символічний ковток і повернеться на своє місце, темний, як ніч.

Вражений його несподіваним тостом, пробиваюсь до сирійського професора, розумного, як змій, і привітного, як голуб: адже він усміхається навіть перед майже трагічним тостом, який уже



визріє й сформується у його душі й уяві! А він все одно всміхатиметься приязно, з безмежною добротою. А сказавши те, що напевне давно мучить його, пройметься трагізмом реальної дійсності на Близькому Сході – спохмурніє, стане колючим і жорстким на наших очах.

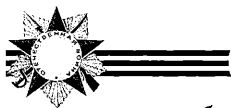
Ледве протиснувшись між юрбою, нашттовхуюсь на ще тісніше коло сирійської делегації, що оточує свого професора, дякуючи за тост. Високі, плечисті, натреновані сирійці схожі, скоріше, на спецназівців, ніж на літераторів. І професор загубиться в їхньому оточенні зі своїм невеличким зростом і ординарною зовнішністю. Але, видно по всьому, він тут найголовніший: де б не зібралась сирійська делегація, слухають тільки його! Уважно і шанобливо. Іноді сміючись. Дивний дамаський професор! А може, не тільки професор?

Шукатиму в його оточенні, між членами сирійської делегації, мого Араба і, на жаль, не знайду.

Наступного ранку Араб сидітиме за тим самим столом біля вікна. За тією ж філіжанкою паруючої кави. З тим самим пластівцем сиру. З тією ж тоненькою дешевою сигарою. Наче так і сидить з учорашнього ранку. І так само задумливо дивиться на мерехтливі вогні реклам, освітлені вікна будинків і панораму повитого синюватою імлюю Мінська, як дивився вчора.

Заговорити з ним не зважуся й цього разу: мовчання і споглядання його такі заглиблені, що порушити їх неприпустимо! Та й не знаю, як ти з ним говоритимеш? Чи знає він нашу мову? А головне, все-таки, оця його відчуженість і заглибленість у свої роздуми, занурення в печальний настрій: здається, він насолоджується і своїм мовчанням, і самотою. І вдоволений, що йому ніхто не заважає.

«Арабе, брате мій! Я б міг розповісти тобі й про свої біди і втрати, про свій славний і роботящий рід, вибитий на війні: Петро наш – 24-х літній командир 122-х міліметрової гаубичної батареї – загине ще на «тій війні незначеній» у Фінляндії. «Під станцією Кямьяра, півтора кілометри на південь від Перон-Йоки» – так повідомляється в похоронці. Вона прилетить в наше село в березні 1940 року. Потім, вже у Велику Вітчизняну, загинуть, обороняючи Одесу, Роман і Сергій – рядові піхотинці, призвані із запасу за мобілізаційним планом. А Василя, пораненого великим осколком авіабомби теж під Одесою, відкопа-



ють з глибокої вирви, почувши його стогін, розвідники першого полку морської піхоти і непритомного доставлять в медсанбат перед самою евакуацією одеського гарнізону. Андрій, будучи ординарцем генерал-лейтенанта Костенка – командуючого 26-ої армії, котрий очолюватиме невдалий наступ на Харків у травні 42-го, – стрілятиметься в оточенні разом із своїм командуючим. Але невдало: зостанеться живим і таки потрапить у полон, якого вони хотіли уникнути ціною власного життя. Віктор – вісімнадцятилітній, щойно «спечений» лейтенант, командир кулеметного взводу – загине під Кенігсбергом 18 січня 1945 року, прикриваючи фланги двох дивізій під час танкової атаки противника. Іван Сизоненко чи – як ми дражнили його за малий зріст – Ваня Зелик загине літом 44-го в ході Ясько-Кишинівської наступальної операції.

Таким чином, з усього нашого численого роду залишуться в живих один я. Та й то майже смертельно поранений в ближнім бою при штурмі Берліна на центральній вулиці Фрідріхштрассе 28 квітня 1945 року, за два дні до капітуляції Берлінського гарнізону.

Переживу, як і ти, мій друже Арабе, окупацію своєї Батьківщини і визнаю, почому фунт лиха. А головне: ми обоє самотні після таких тяжких втрат і злигоднів. Тому й зву тебе своїм другом і братом. Бо всі солдати, які захищали і захищають свою рідну землю, мої брати. Чи й твої теж?

Хоч ти й сам, мабуть, добре знаєш, але так хочеться сказати тобі: ми всі – араби, слов'яни, африканці й азіати – поставлені на конвеєр винищення заради процвітання «золотого мільярда»!

Кого знищують одразу – несподіваним нападом, бомбардуванням і ракетами, так званими «миротворчими акціями», як Югославію і Сербію, чи отакою бандитською агресією, як зараз четвертий рік знищують Ірак. А кого – іншими підступними методами, як Росію і Україну, населення яких неухильно зменшується щороку на мільйон в Росії та на 400-500 тисяч в Україні. І ніхто цьому не зарадить – не врятує невинних людей!

Ми страшенно роз'єднані, брате мій! Об'єктивними мовними й географічними бар'єрами та суб'єктивними тайними політичними змовами. Ще дужче роз'єднують нас системною й брехливою сатанізацією іракців, росіян, сербів: одним продажні засоби масової інформації ставлять модне зараз тавро «терористів», іншим шийють «геноцид» та «етнічні чистки», третім ліплять лейбл «Імперії зла». Для цього годяться газети й радіо, журнали й телебачення, догідливі та брехливі політологи, що своєю брехнею «за-



шибають велику деньгу». Їх розвелось зараз по світу, як блошиць і тарганів у старих занедбаних і занехаяних будинках.

А ще ж існують десятки, а то й сотні таємних центрів, латентних аналітичних інститутів, що керували підривною діяльністю проти СРСР і країн Варшавського Договору. Їх не закрили – вони продовжують працювати. Проти кого? За щось же ці високоосвічені, спеціально підготовлені люди отримують свої високі оклади?

А ЦРУ, британська воєнна розвідка «Мі-5» чи «Мі-6»? Або ізраїльський «Моссад»? Їх же теж утримують за бюджетні кошти не дарма? Ти, мабуть, ближче до них, ніж я, і добре знаєш, а то й відчуваєш на своїй власній долі і на становищі твоєї Батьківщини їхню підступну діяльність – діяльність «лицарів плаща й кинджала».

Брате мій, Арабе! Я не тільки не можу розпитати тебе про твою долю і твоє горе, що так гнітить тебе. Я не можу навіть розповісти тобі про оте фото арабського хлопчика-сироти, сльози якого вже сорок років пропікають моє зболене серце. Може, то був ти?

Зараз я встану й піду від тебе назавжди, не обмовившись з тобою ані словом! І вороги наші торжествуватимуть з нашої відчуженості і роз'єднаності.

І ніхто в цьому не винен, крім нас самих: піддаючись підступно насаджуваній відчуженості і недовірі між людьми і народами, втрачаємо велике благо єднання для спільної боротьби проти наших лютих і жорстоких ворогів. Нам треба єднатися, щоб боротися з ними «усім миром», – як кажуть у нас в Україні, – всією загальнолюдською громадою!»

Другого дня на з'їзді дадуть слово й мені. До виступу готуюся з самого початку переговорів з Посольством Білорусії в Києві. Та й тут Голова Співки Чергинець попередить заздалегідь. Всі ці дні тільки й думаю про те, що скажу сябрам? А все ж, підніматимуся на сцену і йтиму до трибуни, наче мене застукають зненацька. За трибуною постою непристойно довго, збираючись з думками, щоб уникнути будь-якої банальності. Все, що хотів сказати, вилетить із голови, здасться несуттєвим. Гляну в зал і, несподівано для самого себе, не вітаючись з аудиторією, почну, як у сні:

– «Заратустра вийшов із своєї печери і крутим лісистим схилом став спускатися до людей. В лісі він зустрів святого. Старий, збираючи гриби і ягоди, сам до себе бурмотів: «Я знаю цього блу-



кача. Він колись вже проходив тут... Його звать Заратустра. Заратустра перемінився. Заратустра постарів. Заратустра став дитиною...»

А коли Заратустра порівняється з ним, святий випростається і здивовано вигукне:

– Як? Ти ще живий, Заратустро? Для чого так довго жити в цьому безглуздому, злому й жорстокому світі? І куди оце ти йдеш?

– Я йду до людей, – відповідь Заратустра, – Я несу їм дар.

– Нічого не давай їм! – скрикне святий. – Вони не вірять нам, самітникам! Не вірять, що ми вміємо дарувати. Наші кроки по нічних порожніх вулицях лунають для них надто самотньо. І, пробуdivшись опівночі у своїх постелях, вони тривожаться: «Куди йде злодій?» Однак, – стишує голос і підступає ближче, – що ти несеш в дар нам?

Заратустра вклониться святому і скаже:

– Що ж я можу принести вам? Дозволь мені скоріше піти звідси, щоб я чогось не взяв у вас...»

Зал гримне оплесками.

– Я й сам аплодую разом з вами Фрідріху Ніцше, – скажу аудиторії, коли оплески відлунають, – цьому дивовижному й парадоксальному поетові філософії. Але, як і Заратустра, нічого не несу вам, письменникам голубоокої нашої сестри Білорусі. Не маю навіть повноважень. Наші спілчанські керівники відхилять офіційне запрошення. Вони відмовляться брати участь у вашому з'їзді. Одні з приводу «недемократичного режиму» в Білорусі. Інші боячись гніву високого політичного й державного начальства. Це ганебна позиція! Вона викликає обурення! Тому я приїхав з власної ініціативи – на знак протесту!

В залі зірвуться аплодисменти.

– І стою перед вами без жодних повноважень – солдат Великої Вітчизняної, вбитий у Берліні 28 квітня 1945 року і воскреслий аж на дванадцятий день стараннями наших видатних польових хірургів. Повторюю: без офіційних повноважень, але з сердечною відданістю нашому братерству – воєнному, слов'янському, радянському! А також братерству по спільній історичній та етнічній колісці – Київській Русі, якої в нас ніхто не відбере! Ніякі кон'юнктуристи не позбавлять нас високого статусу народів-братів!

Тут гримне овація, і я відчую справжнє єднання з аудиторією.

– Все, що я міг би принести вам і приніс – це моя честь і моє достоїнство. І моя понад шістдесятилітня робота в радянській



українській літературі. Все це я кладу на олтар нашого братерства. Це і є мій дар вам, якщо ми приймаємо іноказання Фрідріха Ніцше.

Знов пролунають оплески на знак згоди.

– А взяти у вас я хотів би радянський колективізм, дух якого витає над вашою землею й столицею. А ще я взяв би у вас не розграбовані колгоспи й радгоспи, промислові об'єкти і підприємства, збережені в державній власності. Діючі науково-дослідні інститути і конструкторські бюро. Всю дорогу я милувався чистими й могутніми лісами над Дніпром, Сожем, Прип'яттю, Десною і Березиною. Дбайливо доглянутими смарагдовими килимами озимини, що одразу ж нагадують Пушкіна, його чарівну, повиту красою і смутком поезію:

*«И страждут озими от бешенной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы...»*

Але у вас не розгулятися отаким мисливцям – любителям толочити виплекані роботящими руками й невсипущою працею озимі ниви республіки Білорусь. І це – ваше щастя, повірте! Бо в себе ми бачимо зовсім іншу картину: гуляє панство, гуля! Що хоче, те й витворює на просторах «золотої», як недавно співалося, України. Влаштовують опівночі феєрверки на честь власних «тезоіменинств», стрясають ближні й дальні простори вибухами петард, немов артилерійською канонадою. Влаштовують гульбища й серед дня. І немає на них ні юридичних законів, ні моральних перепон цим злодюгам і бандитам, що пограбують Державу, а народ ввергнуть в злидні й безправ'я.

А які ми проїздили у вас новозбудовані агромістечка для молодих колгоспних родин! Архітектурно вишукані котеджі, заасфальтовані вулиці і дороги! Кажуть, там є і водогін, і природний газ, як у місті. А світлі та ясні фасади звеселяють похмурі грудневі пейзажі. Які ниви, поля і дороги, які ферми біліють серед пустошів і боліт! Яка чистота і порядок у Мінську! Все це хочеться взяти у вас і перенести в окрадену, розграбовану Україну. Воно збережено непохитною волею Олександра Григоровича Лукашенка, якого ваш народ нарік «Бацькай» і який усе це народне добро затисне у великому й міцному державному кулаці й не дасть розграбувати пройдисвітам і хитрунам-спритникам, як це станеться в Україні, Росії та всіх республіках Великого Радянського Союзу! Бо Лукашенко дбає не про «олігархів», а про свій народ. За що його й ненавидять за океаном сердобольні покровителі грабіжників і спекулянтів. Отож бережіть свого Президента!



Тут овація змете оратора з трибуни. Як тільки зйду зі сцени, мене оточать делегати, гості, навіть члени президії. Першим налетить з обіймами, з своєю новою книгою «Русский полонез» та ювілейним номером «Нашего современника» Станіслав Куняєв, якого я давно люблю як поета і глибоко шаную як редактора знаменитого патріотичного журналу. Чоловіки тиснутимуть руку. Жінки цілуватимуть, а деякі навіть плакатимуть від розчулення. Запам'ятається висока світловолоса й струнка – припаде до мого обличчя й розридається, шепочучи уривчасті слова вдячності. І досі чую на своїх губах її рясні сльози. «Де ж ти зараз, білоруско моя ясна?» – пригадається наш поет Терень Масенко.

Пишу це через півроку без зайвої скромності не для того, щоб похизуватися й покрасуватися. А тому, що горджуся своєю участю в роботі письменницького з'їзду братньої Білорусі, яка перебуває в економічній облозі наших спільних ворогів.

До того ж, кожне слово, мовлене там і написане тут, підтвердять учасники письменницького з'їзду. І «не дадуть збрехати», – як мовиться в народі.

Щоб випередити свого Араба, наступного ранку піднімуся безшумним швидкісним ліфтом з 4-го на 22-й поверх за чверть до восьмої, тобто до відкриття ресторану. Може, він, запізнившись, привітається чи заговорить? Але Араб, на моє здивування, вже сидітиме на звичному місці за філіжанкою кави і шматочком сиру на блюдці. І так само димітиме тонкою й дешевою сигарою.

«Хіба мої біди і моє горе, – знов думатиму я, дивлячись на мовчазного, заляклого Араба, – зрівняються з твоїми втратами і горем, брате мій, мусульманине? Речі це непорівнянні. Але повір, друже Арабе: тяжко бачити, як гине без війни і без ворожого нашестя рідна земля! Конають гіганти радянської індустрії. Вони кров'ю окипіли нашому працювитуму народові. Створювалися десятиліттями тяжкої невисипущої праці, в недоїданні, в перевтомі та самообмеженні! А дістаються майже задарма загребушим і хитрим спритникам. «Чортам нетрудженим», – кажуть наші роботящі люди.

Без війни знищено колгоспи і радгоспи. А ферми, майстерні, машинні двори, польові і тракторні стани зруйновано, як перед кінцем світу! Повір, друже Арабе: страшно бачити і лишатись безсилим проти такої руїни!



У якому світі живемо, мій друже Арабе? Я не порівнюю наші біди й страждання з твоїми бідами і стражданнями – я тільки кажу, що вони чиняться спільним лютим ворогом, хоча й різними методами. Тому це наше спільне горе. Недарма ж у нас кажуть: «Чужого горя не буває!». Бо твоє горе – це й наше горе. А наше – це також і твоє. Одне це має єднати нас!

Але чомусь не єднає. Чому?

Мовчиш, Арабе? Мовчи. Мовчи...

Я й без слів розумію тебе. Ти ще раз довів, що справжнє горе – мовчазне! Галасують і кричать, щоб відвернути його. А як воно наляже, тоді вже, брате, не накричишся! В мовчанні зносять його. В мовчанні з ним і вмирають, як умирали оті нещасні біженці в таборах Сабри і Шатіли. І людство – все людство, а не тільки Ізраїль та Шарон, – винне в тому небаченому й нечуваному злодійстві!

Я не зможу забути, Арабе, твого мовчання, твоєї самоти, твого горя, що жевріє в твоїх очах, зоріє на твоєму чолі і палає на твоєму зчорнілому обличчі. Не забуду навіть всупереч твердженню геніального де Сент-Екзюпері:

«Араб самим поворотом голови, самим поглядом своїм творить життя, і мені здається, що він – як Бог... Це диво... Він іде до нас по піску, мов якийсь Бог по морю. Араб просто подивився на нас й, поклавши руки нам на плечі, легенько натиснув – і ми скорились йому. Немає більше ні рас, ні мов, ні каст... Є тільки цей бідний кочівник, який поклав на плечі руки архангела. Ми чекали, лежачи ниць на піску. І ось ми п'ємо, так само лежачи, занурившись в таз, мов телята.

Вода! Ти найбільше у світі багатство. Ти – життя. Що ж до тебе, лівійський бедуїне, то хоч ти і врятував нас, але риси твої навічно зітруться з моєї пам'яті. Я не згадаю твого обличчя...»

Я люблю прозу Сент-Екзюпері. Насолоджуюсь її образністю, поетичною вишуканістю. Але тебе, мовчазний мій Арабе, не забуду ніколи! І не зраджу тебе! Пам'ятаєш, у Редьярда Кіплінга:

Я їв ваш хліб, я пив вашу воду –

Як же я можу зрадити вас?!

Цими днями ми їли хліб і пили воду Білорусі – її ми теж не зрадимо! Правда, Арабе?

*Конча-Озерна,
19 серпня 2007 року.*



ІМЛА

Етюд

Синові Віктору

Почувши, як «із стріх вода капле», вириваємося ранньої весни в Одесу, до брата Галини Дмитрівни – підполковника Олександра Драгунівського.

«Ще всі живі, цитуємо поетів», – напише Ліна згодом у знаменитій книзі «Над берегами вічної ріки». І в нас ще жива Галинчина мама Соломія Мусіївна. Лишається вдома з нашими дітьми. Іще жива Сашкова дружина Люда. Ще живі й мої друзі по війні, по літературі, навіть по школі. Вони всі ніби з нами – і в житті, і в дорозі. Ми знаємо, що вони є – заповнюють весінній простір, де б ми не були. І нам радісно усвідомлювати й відчувати, що всі вони є: Гончар, Загребельний, Зарудний, Земляк, Збанацький, Малишко, Рильський, Головка, Сосюра, Вінграновський, брати Тютюнники і Майбороди, Михайло Ткач і Сашко Білаш. Так було тоді.

Тепер уже – нікого. Тільки згадки. Але вони не заповнюють порожнечу втрат, і зараз світ здається прозорим, просякнутим смутком і тугою. Через цю порожнечу проглядається все, що було колись з нами і відлетіло назавжди – трепетне й нетривке, мов ранкові тумани над морем чи над степом, мов над нашою долею. Чи як оця імла.

Від Білої Церкви до самого моря, що врізається в степ синьокими лиманами, земля парує, димить, немов ось-ось спалахне! Синювата, тремтлива імла висне над ріллями й долами, залишеними під веснооранку, під пропашне. Імла стелеться низенько, над самісінькою землею, й тече спроквола за вранішнім вітерцем із-під сонця. Вона кошатиться, чіпляючись за кожну борозенку, торішню билинку, але не стікає до решти і не пропадає. Бо здійсмається із надр оброблених нив, ніби виносить на поверхню морози і холоди, що накопичилися за довгу зиму під ударами заметілей і хуртовин. А тепер відлітає геть з потеплілої землі-годувальниці, прогрітої сонцем по тривалих і тихих дощах, та ніяк не відлетить.



«Земля парує – серце хлібороба квітує», – задумливо рокотали наші діди й прадіди в посушливих степах південної України.

«Парує земля? То вона від холодної зими відігрівається», – казав мені малому столітній дід Мусій Пасічка, засновник нашого села в Дикім Полі. Такий старий, немов стемнілий уламок Запорозької Січі.

– А як відпарує, тоді я і в хату не йду – надворі ночую: сили від землі набираюся денно і нічно. Овва! – випинає хоч і кістляві, але широкі й високі груди. – Яка ж то радість, як земля парує! В степ пора – до журавлів, дрохв, чайок-небог і жайворонків. До роботи. Авжеж! До найславнішої роботи – землю зерном засівати!» – і йшов на степ з древнім козубком на широкій засмальцьованій ливні. Широкий, щоб не різала плече. Сіяти йшов. З року в рік... Вдовам, сиротам, немічним і хворим. Бо ж сам землі ніколи не мав – тільки пасіку з древніх потемнілих колод. Чи козакував замолоду, чумакував чи біглим кріпаком був – ніхто не знає.

«Зоре моя-га, вечірня-га-я, зійди на-га-гад горо-гою...» – співував хрипко в темряві й самотині, а я нищечком плакав, слухаючи той спів через вулицю.

Давно вже нема діда Мусія. І козубок його десь безслідно зник, наче його ніколи й не було. І батьків моїх не стало. І Галі давно вже нема. І друзів моїх. А земля наша щовесни парує. Так само, як і при них парувала. І після нас паруватиме. Думати про це приємно – навіть смерті не так уже й страшно.

Он як вона парує, наша Земля! Ох, як парує! У видолинках геть закутана, мов у розкудлану вовну. А долини вщерть заповнені імлюю. А по горбах та над рівниною земля мовби заткана летючим прозорим тюлем небаченої краси. Він летить над землею, не відлітаючи. Тече, не витікаючи. Тріпотить над полями виявом пробудження і радості. І обіцяє врожай, ярі зелені вруна, листату кукурудзу і сонцеголові соняшники.

По горбах і узвозах, по крутих схилах долин, підставлених сонцю, вже тягнуть широченні причепи з боронами яскраво-помаранчеві трактори «К-1100» й зелені харківські «Т-150». Занурюють могутні ребристі колеса у летючу імлу, немов у збаламучену воду. І через те, що причепів і борін зовсім не видно (вони тонуть в текучому мареві при самій землі), здається: кожен агрегат тягне за собою дивовижні неводи, в які неодмінно вловиться найчарівніший улов – хліб наш насущний!

– А ті он стоять, – показує Галя. – Ждуть, мабуть, коли просять.



Де-не-де в глибокій грудчастій зяблі й справді бовваніють агрегати з налиплою на колеса грязюкою, такою масною і мокрою, що аж із траси видно, яка вона глибка і непокірна. Зяблева рілля ще не піддається обробці, ще опирається, і трактористи сидять у своїх засткленних кабінах, очікуючи, доки протряхне нива, щоб одразу ж закрити вологу, не віддати її на поталу невсипущим та невситимим весіннім вітрам, які висушують землю швидше, ніж сонце.

А над усіма цими видолинками і буграми, над рівнинами й горбами, над лісосмугами й перелісками, над усією імистою землею летять з вирію в ясному небі дикі гуси. У відблисках вранішнього сонця вони здаються викутими з чистого, ледь червленого срібла незвичайної краси й свіжості. Летять низько, втративши орієнтири, не пізнаючи узвичаєних заповідних місць, бо густою імлою запнуто ріки, лимани, ставки і озера, де гуси гніздяться чи тільки відпочивають у своїх довгих і далеких перельотах. Гуси зараз нічого не впізнають – з машини, навіть з руху, видно, як вони розгублено вертять головами, і який в їхніх очах-намистинах метється жах і розпач.

– Гуси-гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, – пригинаючись до лобового скла, щоб краще їх бачити, промовляє словами Івасика-Телесика з нашої милої казки моя Галя. – Та й понесіть до матінки, до батечка. Там є що їсти й пити і є в чому походити...

Гуси все віддаляються й віддаляються, меншають на очах. А Галя – кароока, тепла й жива, – лишається зі мною, і в її задумливому милому оці тремтить сльоза розчуленості чи суму. Обнімаю її за вигнуту впадисту талію, пригортаю й цілую в тугу рум'яну щоку. А вона на мить відхиляється і дивиться на мене з відстані тим рідкісним, вільним од щоденних клопотів і турбот поглядом, у якому все життя бережеться, мов електричний заряд у ляйденській банці, наша любов. Ще з дитинства, з семирічки і юності. Той погляд пронизує мене наскрізь, гріє душу і серце радістю і щастям, бентежить і хвилює й досі...

– Шурочко... – шепче вона, не зводячи з мене погляду, і кладе свою теплу руку на мою холодну, що тримає кермо. А потім дивиться услід гусячому клину, що углибає в синій обрій, і протяжно зітхає: – Отак, як оці гуси, відлітають наші роки. І ми отак колись відлетимо... І життя наше промайне, мов оця імла над весінньою ріллею...

Мовчки цілую її руку, що пахне нашим домом, і кладу собі на груди під піджак. А земля наша парує, обіцяє весну, тепле літо, да-



лекі мандри, яких тепер уже ніколи не буде... У Крим – в Ялту, Євпаторію чи в Коктебель. Або й у рідну Ново-Олександрівку.

А в Кривому Озері імла рідшає, і стає видно, як над заплавами Кодими та над луками літають парами чайки, табунцями – кулики, зграями – чибіси. І поклики їхні дзвінки та ясні, мов сонячне проміння. А земля парує й парує – до самого синього моря!

*Конча-Озерна,
23 березня 2009 року.*



«ФАШИЗМ – ЭТО ЛОЖЬ, ИЗРЕКАЕМАЯ БАНДИТАМИ!»

Перечитывая Хемингуэя

Суровый и точный диагноз, похожий на приговор, неподлежащий обжалованию, поставит в июне 1937 года на Втором конгрессе американских писателей Эрнест Хемингуэй, прилетев из осажденного Мадрида и еще не остыв от пыла сражений с фашистами за Испанскую Республику! Он окажется самой запомнившейся и яркой характеристикой страшной беды, обрушившейся к тому времени на человечество.

Среди делегатов конгресса были писатели более известные, чем молодой Хемингуэй: Эптон Синклер, автор знаменитого романа «Сотворение мира», Теодор Драйзер со своей «Сестрой Кэрри», обошедшей весь мир, Нобелевский Лауреат Уильям Фолкнер – автор трилогии «Деревня», «Город» и «Особняк», другие выдающиеся мастера американской прозы. Все они выступят с осуждением фашизма. Но речи их забудутся и останутся лишь в стенограмме конгресса. А выступление Хемингуэя появится во всей прогрессивной прессе Америки и Европы. Его речь транслировали почти все радиостанции мира. Это определение фашизма и сейчас поражает исчерпывающей точностью. И время окажется невластным над ней.

В Испании шла тогда первая открытая война с фашизмом. Генералу Франко, поднявшему мятеж против Республики, оказывали военную помощь фашистская Италия Муссолини и нацистская Германия Гитлера. А Испанскую Республику защищали почти безоружные патриоты и прибывшие им на помощь антифашисты из многих стран мира И, среди них, одним из первых, Эрнест Хемингуэй, автор всемирно известного романа «Прощай, оружие!».



Он и в первую мировую войну девятнадцатилетним репортером газеты «Канзас-стар» уезжал в Европу «защищать искусство древнего Рима от нашествия австрийских вандалов». И не в качестве фронтового корреспондента, а с колонной санитарных машин в помощь неподготовленным к войне итальянцам.

В ночь на 8 июля 1918 года выдвинутый в предполье наблюдательный пункт, куда в это время явится Хемингуэй, подвергнется минометному обстрелу. Двух солдат итальянцев рядом с Хемингуэем убьют наповал. А его тяжело контузит близким разрывом и ранит многочисленными осколками. Третьего тяжело раненого итальянца Хемингуэй потащит к траншеям. Но его засечет прожектор, и пулеметная очередь ранит еще раз — в колено и голень. А раненого итальянца убьют на руках у Хемингуэя.

При первой перевязке хирурги передового медицинского поста извлекут из тела Хемингуэя двадцать восемь осколков. А позже обнаружат еще более двухсот мелких осколочных ранений. Его эвакуируют в английский госпиталь в Милане, где за ним станет ухаживать сестра мелосердия — англичанка Хэдли. Она влюбится в него, выйдет за него замуж и родит ему сына «Бэмби». Об их любви Хемингуэй напишет роман «Прощай, оружие» и всю жизнь будет тосковать по ней: первая любовь, как известно, не забывается...

В этом госпитале Хэмингуэй пролежит несколько месяцев и перенесет множество операций. «Тененто Эрнесто» наградят итальянским военным крестом и серебряной медалью за доблесть — вторым по значению военным отличием. Но вследствие контузии и ранения он надолго лишится способности спать в темноте: ночью его будут мучить кошмары и травма контуженого сознания. Эта тема отразится в его рассказах «На сон грядущий», «Какими вы не будете», а так же в первом романе «Фиеста».

Выписавшись из госпиталя, Хемингуэй после короткого пребывания в доме родителей в Оук-парке под Чикаго, который станет ему чужим после самоубийства отца, устроится в канадскую газету «Торонто-Стар». Как ветерана войны, знающего языки, его отправят собственным корреспондентом в корпункт, находившийся в Париже. Отсюда он выезжает на греко-турецкую войну, на Генуэзскую и Лозанскую конференции, в Италию, в Испанию на бой Быков, в оккупированный союзниками Антанты немецкий Рур. Он многое видит, встречается с интересными людьми и настойчиво совершенствует свой знаменитый «телеграфный стиль», которым отличаются его репортажи и первые рассказы.



Однако в Париже он попадет под влияние бездарных, крикливых и суетящихся модернистов Гертруды Стайн и Шервуда Андерсона, не оставивших заметного следа в литературе, но в то послевоенное время разброда и шатаний являвшихся чуть ли не законодателями «современной прозы». Они забавлялись и проповедовали бессвязное, алогичное письмо с бесконечными повторами одних и тех же мотивов. Эти влияния особенно заметны в ранних рассказах Хемингуэя.

К счастью, скажется здоровая реалистическая основа его дарования, и он вырвется из-под опеки модернистов. Даже спародирует стиль Шервуда Андерсона в своей юмористической повести «Вешние воды». А сам будет упорно искать пути к прозе, как он говорил, «которая не портится от времени». Все эти годы Хемингуэй много читает Флобера, Стендаля, Тургенева, Киплинга и особенно – Толстого. Как-то на замечание Эзры Паунда, ныне совершенно забытого, а в то время самого модного поэта-модерниста: «Что вы все носитесь со своими русскими? Учитесь изящества стиля у французов!» — Хемингуэй отрежет:

– Я могу учиться и учусь у кого угодно. Но сначала буду учиться у русских, а потом у всех остальных! — и с Эзрой Паундом прервет всякие отношения.

Он окажется очень способным учеником. Стоит прочесть его первые рассказы, чтобы уловить в них не прямое подражание, а как бы само дыхание Толстого. Вот как ярко и сжато, по-толстовски, изображены скачки в рассказе «Мой старик» 1923 года:

«Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте сойдутся все в кучу, а потом выходят на прямую и до того хочется выругаться, просто мочи нет... А лошади подходят ближе и ближе, и вдруг что-то вынесется вперед и мелькнет в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все вдруг завопят: «Ксар!», — словно полоумные».

Уже в этом рассказе не останется и следа от влияния модернистов.

Как только в 1936 году вспыхнет гражданская война в Испании, он сразу же, не раздумывая, ринется на помощь Республике, несмотря на контузию и множественные осколочные ранения в Первую мировую войну близ Фоссальты на реке Пиаве, о которых уже упоминалось. Теперь тридцатисемилетний Хемингуэй отважно сражается на реке Ебро, под Гвадалахарой, Харамой и Теруелем,



отбивает вместе с интербригадой атаки мятежников под Толедо, защищает осажденный фашистами Мадрид. И в перерывах между боями шлет в «Торонто-стар» яркие репортажи, одновременно усвершенствуя и оттачивая свою прозу, где нет ни единого лишнего слова: никаких описаний – только изображение! Ему предлагают сотрудничество самые знаменитые агентства Америки. И не ошибаются!.

В адрес «Ассошиейтед-пресс», например, от него приходит ошеломляющая, яркая и неожиданная телеграмма о ситуации под Гвадалахарой, где идут ожесточенные бои, в которых он принимает непосредственное участие: «И артиллерия стреляет по своим, и английский военный наблюдатель плачет, как ребенок». До этой телеграммы ничего подобного в донесениях с фронта не встречалось!

В осажденном Мадриде под артиллерийским обстрелом и налетом немецких бомбардировщиков, в полуразрушенном бомбой отеле Хемингуэй завершает роман «Иметь и не иметь», пишет испанские рассказы «Никто не хотел умирать», «Мадридские шоферы», «Старик у моста», пьесу «Пятая колонна» о предателях Республики. Название пьесы станет на долгие годы, аж до наших дней, ярким определением политического предательства во всех странах мира!

По горячим следам и под свежими впечатлениями Хемингуэй создает сценарий «Испанская земля». А затем по этому сценарию, рискуя жизнью под пулеметным огнем и артиллерийским обстрелом, вместе с режиссером-оператором Йорисом Ивенсом они снимают боевые эпизоды документального кинофильма, вышедшего в 1937 году и обошедшего все экраны мира. В этом фильме отражены героизм и самопожертвование защитников Испанской Республики, их подвиги и смерти, страдания и утраты, мужество и нечеловеческое терпение простых труженников, взявши в руки оружие, чтобы защищать Родину от фашизма!

С присущей ему прямоотой и мужеством Хемингуэй не удержится в своем выступлении на конгрессе от язвительного упрека своим американским коллегам. С горечью скажет им: «В Испании я встречал английских, французских, русских, венгерских, немецких писателей, но не видел писателей американцев!». Однако, это его замечание проигнорируют: ни один из его американских коллег так и не поедет в Испанию защищать республику: скажется идеология изоляционизма и эгоизм.



А сейчас, во время перечитывания ранних рассказов Хемингуэя и знаменитого предисловия Ивана Кашкина к двухтомнику его избранных произведений, вышедшему в СССР в 1959 году, увижу на телеканале «Интер» 30 июня изуверские кадры осквернения памятника В.И. Ленину в самом центре Киева — столицы не только Украины, но и всего славянского мира!

Нельзя без содрогания глядеть, как в предрассветной мгле, подставив заранее припасенную лестницу к памятнику, вандалы, «аки тати ночные», зубилом и молотом уродуют лицо Владимиру Ильичу, будто живому!

Это — наглый вызов нашему обществу, всему украинскому народу! Он приурочен к дню рождения гауптмана Шухевича. К тому же, именно в этот день в 1941 году гауптман Шухевич лично командовал во Львове карательным батальйоном «Nachtigal», вступившим в город с передовыми отрядами вермахта и расстреливавшим просто на улицах львовскую интеллигенцию, коммунистов, комсомольцев и евреев с изощренной жестокостью, которая коробила даже немецко-фашистских карателей из зондеркоманды!

Памятник Ленину на бульваре Шевченко должен постоянно охраняться государством. Но наши правители, прежде всего, охраняют себя, свои «живые мощи»! От кого, спрашивается? От народа, ими же обворованного, униженного и ограбленного?!

Как тут не вспомнить слова Тараса Шевченко, выбитые на его постаменте в Каневе: **«ДРУГИ МОИ! ИСКРЕННИЕ МОИ! ПОДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА ЭТОГО ПОРУГАННОГО, УНИЖЕННОГО, БЕССЛОВЕСНОГО СМЕРДА!»**

До состояния, подобного крепостничеству, доведен ныне народ Украины «вождями» и «полевыми командирами» помаранчевого майдана, их бездарным «правлением» и хозяйничаньем. К тому же они насаждают фашистскую идеологию, переписывают и перелицовывают историю Украины на профашистский лад, возводя в ранг «героїв» ярых прислужников германского нацизма и унижая ветеранов Великой Отечественной войны!

Ну, а фашизм попирает не только права, свободы и демократию, но и культуру. Кто не помнит книжных костров на улицах и площадях Берлина, Мюнхена и других городов Германии после прихода Гитлера к власти? А разве можно забыть высказывание одного из нацистских главарей: «Когда я слышу слово «Культура», моя рука сама тянется к пистолету!». Это сказал, кажется, Геринг.

Не потому ли, наследуя своих фашистских предшественников, наши правители и в современной Украине насаждают такое



варварское отношение к культуре? Уже погиб наш украинский кинематограф, уничтожена система книгораспространения и книжная торговля, дышат на ладан литературно-художественные журналы, газеты, издательства. Не платят гонорары ни писателям, ни ученым. Современная Украина – единственная страна в мире, где совершенно обесценивается интеллектуальная собственность, нарушается элементарная законность, попираются права творческих коллективов!

А не напоминает ли времена гитлеризма распоряжение министра культуры об изъятии из библиотек «комунно-шовіністичної літератури»? «Музеї радянської окупації» во Львове и Киеве, открытые по прихоти президента Украины, берущего пример с «батона Михо»? А «Інститут національної пам'яті», прославляющий ОУН–УПА?

Эти распоряжения и указы не только напоминают – ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ИДЕОЛОГИЮ НАЦИСТОВ, ИХ БОРЬБУ С ПОДЛИННОЙ ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ! Недаром же фашиствующие поддонки, осквернители памятника Ленину, после завершения гнусного «действия», вынут из-за пазухи и предъявят милиционерам, спокойно наблюдавшим за этим варварством, указ президента «Про ліквідацію символів тоталітарної доби». «Рабочая газета» писала в те дни: «Наша доблестная милиция смотрела в небо!». (Жаль, не пела при этом «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» – А.С.).

Так что националисты бесчинствуют без малейшего риска: их сразу же отпустят, для близира взяв подписку о невыезде. Потому что их фашиствующий вандализм «крышует» сам «Гарант Конституции»? Он же несет и главную ответственность за фашистскую идеологию и антинародную «деятельность» помаранчевой власти, которая привела Украину к пропасти. За все это рано или поздно придется ответить! И перед Законом. И перед своей совестью, если она сохранилась. И перед Народом! Даром это никому не пройдет! Нашу историю насилуют, перевирают в угоду конъюнктуре, но переделать ее никому не дано! И не такие «мудрецы» пробовали, да провалились: История вечна, неповторима! Она не имеет условного наклона. В ней, по Твардовскому, «ни убавить, ни прибавить!»

«ФАШИЗМ – ЭТО ЛОЖЬ, ИЗРЕКАЕМАЯ БАНДИТАМИ!» – сказал Великий Писатель Эрнест Хемингуэй, в ту пору сражавшийся с фашизмом и разглядевший его с ближайшего расстояния через нейтральную полосу между воюющимися армиями.



Далее он сказал: «... и писатель, примирившийся с фашизмом, обречен на бесплодие».

Как в воду глядел! Хоть ему шел только тридцать седьмой год, он уже тогда был прорицателем, очень зорко глядящим в будущее!

Ни фашизм Муссолини, продержавшийся в Италии двадцать лет — с 1923 по 1943 год — не породил ни одного известного писателя или поэта! Ни нацизм Гитлера в Германии с 1933 по 1945 год не оставил следа в литературе. И это при том, что Германия и Италия за свою историю дали миру величайших философов, композиторов, поэтов, писателей и ученых, без которых не мыслима ни мировая культура и литература, ни наука всего человечества!

Только после Гитлера и фашизма на весь мир заявят о себе мои ровесники, воевавшие против нас, но не принявшие фашистской идеологии и потому угодившие в концлагеря и чудом выжившие в тех нечеловеческих условиях, — Вольфганг Борхерт, к сожалению, умерший в Гамбурге с голоду в 1947 году и оставивший в немецкой прозе гениальные рассказы «Ради», «Христос отказывается», «В тот понедельник», «У нее тоже розовая рубашка», и Генрих Белль — автор рассказа «Когда ты придешь в Спа» и романов «Где ты был, Адам?», «Дом без хозяина», «И не сказал ни единого слова...», «Бильярд в половине одиннадцатого», увенчанного Нобелевской премией.

Эти двое, чудом уцелевшие молодые солдаты-антифашисты, как бы снова явили миру своим творчеством талант немецкого народа и оправдали его двенадцатилетнее молчание под игом фашизма — самого страшного наказания человечеству от дьявола!

Хемингуэй не поехал в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, полагая ее запоздалой, но прислал письмо деятелям Шведской Академии, определяющим лауреатов:

«Писателю, во-первых, нужен талант, большой талант, как у Киплинга. Потом самодисциплина. Самодисциплина Флобера. Потом надо иметь ясное представление о том, что из всего этого получится, и надо иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, — для того, чтобы уберечься от подделки... Потом от писателя требуется ум и бескорыстие и самое главное — долготеление. Попробуйте соединить все это в одном лице и заставьте это лицо преодолеть все те влияния, которые тяготееют над писателем. Самое трудное для него — ведь время бежит быстро — прожить долгую жизнь и довести работу до конца».

Многими из этих качеств, кроме долготеления, обладали Вольфганг Борхерт и Генрих Белль. По-этому они не только созда-



ли в послевоенном, разрушенном до тла Гамбурге знаменитую литературную группу «47», но и вошли оба в анналы мировой литературы.

«Когда люди сражаются за освобождения своей страны от иностранной интервенции, — скажет далее в своей речи на конгрессе американских писателей Эрнест Хемингуэй, — когда эти люди являются вашими друзьями, одни — давнишними, другие — новыми, и вы знаете, как на них напали и как они боролись, сперва почти без оружия, — вы узнаете, следя за их жизнью, борьбою и смертью, что на свете есть худшие вещи, чем война. Трусость — хуже, предательство — хуже и эгоизм — хуже».

Так Хемингуэй закончил свое выступление в 1937 году. Но разве сейчас, через 72 года, не актуальны эти мысли? Разве не подло — глядеть равнодушно на безчинствующих, распоясавшихся фашистов, наблюдать издевательство над памятником Человеку, произведения которого по количеству экземпляров почти равны самой издаваемой в мире «Книге книг» — Библии! И по значимости соседствуют с ней. Потому что основаны на тех же библейских заповедях равенства, братства, свободы, любви и человечности, не только для богатых и избранных, а именно и прежде всего — для людей труда, создающих все материальные блага и ценности современного мира!

А гланое — видеть этот вандализм, это варварство и кощунство и — **МОЛЧАТЬ?!**

Это не к лицу гражданину и патриоту своей Родины — Украины, давно оккупированной Галичиною под патронатом нынешнего президента!

Вскоре после надругательства над памятником Ленину, буквально через несколько дней, меня пригласят на персональную выставку к 200-летию Н.В. Гоголя в музее Т.Г. Шевченко знаменитого художника Василия Лопаты — фактического автора гривны..

Выхожу из автомобиля и что же я вижу?

Вся подпорная стенка вдоль тротуара, ведущего к гуманитарному корпусу Национального университета, испещрена аспидно-черными надписями: «ВИЗНАВАЙТЕ ГЕРОЇВ!» — с фашистской свастики и эсэсовской эмблемой по сторонам! Такими «достижениями» завершается бесславное, антинародное правление новоявленного «мессии» — «вождя помаранчевой «революции».

— **КРОВЬ МОЯ ПАДЕТ НА ВАС! И НА ДЕТЕЙ ВАШИХ!** — умирая распятым на кресте, выдохнет Ганоцри, Иешуа, известный как Иисус Навин из Назарета. Наш Спаситель.



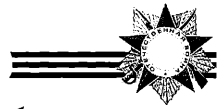
Кровь на Украине, Слава Богу, еще не пролилась. Но за все унижения, обрушенные нынешним президентом и помаранчевой, фашиствующей властью на истинных, верных защитников Отчизны – Украины и Советского Союза – от фашистского порабощения, на ветеранов, инвалидов войны и участников боевых действий Великой Отечественной, которым новоявленными идеологами навешивается позорное клеймо «оккупантов» родной земли, а так же за возвеличение прислужников фашизма История Украины – ТА, ИСТИННАЯ, А НЕ ПРЕПАРИРОВАННАЯ ПОД ФАШИСТСКИЕ, ХУТОРСКИЕ И ХОРУЖЕВСКИЕ СТАНДАРТЫ ИСТОРИЯ, – ЖЕСТОКО ОТОМСТИТ! И НАРОД ПРОКЛЯНЕТ СВОИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ! И не будет срока давности преступлениям тех, кто насаждает фашизм и прославляет прислужников фашизма! Ибо сказано: «ФАШИЗМ – ЭТО ЛОЖЬ, ИЗРЕКАЕМАЯ БАНДИТАМИ!». Это сказал Эрнест Хемингуэй. А он знал, что говорил! Ибо добровольно, по зову сердца, участвуя во всех войнах XX столетия против фашизма, посвятил этой борьбе всю свою жизнь! А не только Золотое Перо писателя, удостоенного за повесть «Старик и море» Нобелевской премии. Она и сегодня чарует наши сердца ярким и изображением океана и старика в его мужественном одиночестве, и как он борется сначала с огромной рыбой, а потом с акулами. Здесь именно тот случай, когда «о простых вещах пишется просто»:

«Ему уже не снились ни бури, ни женщины, ни кулачные бои. Только иногда, очень редко, ему снились львы, как он увидел их впервые лунной ночью со скользкой палубы броненосца у берегов Западной Африки. Они выходили из глубин пустыни, резвясь, как котята, и замирали у кромки океана, с изумлением глядя на проплывающее грохочущее чудовище, усеянное тысячами огней...».

Выше всех он ставил Толстого. В книге «Зеленые холмы Африки» читаем:

«Ну, значит, Мем-саиб (так называли его жену Мэри местные аборигены – А.С.) с оруженосцами улеглись спать в тени деревьев после обеда, а я налил себе еще стакан виски со льдом, достал из своего рюкзака довольно потрепанную, читанную-перечитанную книжицу, которую везде таскаю с собой, – «Казачья» называется – и, прислонившись спиной к дереву, стал читать. (Сохранилось даже такое фото! – А.С.).

И я опять переправлялся вместе с татарами через реку, пил водку с пьяницей Ерошкой, любовался стройными ногами сму-



глой казачки. Я снова был в России, знал, каким там бывает лес в разные времена года, какие там идут дожди, какие растут деревья и грибы, какие цветут цветы. Потому что где побываем мы, там непременно побываете и вы, если только Бог не обделил нас талантом, и мы научились писать честную, простую прозу без никакого шарлатанства!»

А его проза именно такая и есть, как он мечтал, всю жизнь учась у Толстого. Хемингуэю нужно и должно верить! Ибо он жил, как писал, и писал, как жил – честно и неподкупно, служа Правде, Истине и Красоте! И жизнь свою, без остатка, вложил в свою правдивую прозу. И застрелится, как только утратит из-за болезни способность писать ее – решит, что без этого не стоит жить.

Таким же непреклонным и последовательным будет во всем! Охотясь в Африке на львов, носорогов и буйволов, напишет в тех же «Зеленых холмах Африки»: «Охотиться буду до тех пор, пока смогу убивать наповал с первого выстрела. А как только утрачу эту способность – тут и охоте конец!» И действительно к концу жизни перестанет охотиться. Увлечется ловлей крупной рыбы в Гольфстриме близ Гаваны и в Мексиканском заливе.

Он не изменит себе ни на йоту. Даже перед лицом смерти. За это мы и любим его, как никого другого из западных писателей..

Последуем же его принципам и примеру, если мы настоящие граждане Украины, преданные своему народу и ненавидящие фашизм, как и он его ненавидел, и всю жизнь борющийся с ним!

*Конча-Озерна,
27 июля 2009 года*



ШЛЯХИ І ВІДСТАНИ

1. «Спочатку з'являється риба-лоцман»

Ранній дзвінок у двері, і на порозі – високий, плечистий спецназівець (судячи з виправки і статури). Вольове й строге обличчя під хвилию м'якого білявого волосся – суворіше, ніж годилося б для першої зустрічі. А в сірих і пильних очах – настороженість.

– Треба оглянути вашу садибу, – заявляє, не привітавшись. – Завтра тут буде високий гість...

– Так. Посол Росії...

– Беріть вище!

– В нашому селищі вищих не буває.

– Побачите, – обіцяє, строго мружачись.

Руки вільно й невимушено тримає в кишенях розстебнутої модної куртки – недовгої й не короткої, а саме такої, щоб виглядати елегантним. Під нею чорний костюм, білосніжна сорочка і яскравий рубіново-червоний галстук.

– Щойно від Сен-Лорана? – пускаю пробну іронічну кулю.

– Від Вороніна, – парирує, не піддаючись, і йде крутим схилом до озера, ковзаючись модними гостроносими туфлями по пожухлій траві та опалому з осені листі.

Шкодую, що досі не згріб минулорічний мотлох – він бруднить його чорні замшеві туфлі та чорні ж, як воронове крило, брюки. Мимоволі милуюсь ним: колись у мене були отакі самі браві фронтові командири в 101-му гвардійському полку – високі, стрункі, треновані. Суворі і надійні. Давно-давно, ніби уві сні. Або в іншому світі. Ох! Були, та загули...

А мене покинули й забули. Як на марші або в тривалій обороні. Нащо й кому я потрібен? Отакій самотній і старий солдат давно відгримілої Великої Вітчизняної. Її тепер в Україні не визнають. Не шанують і нас – переможців фашизму. І ми відчуваємось на своїй рідній землі, як непрохані гості. Бо, відкривши у Львові та Києві «музеї радянської окупації», усіх нас, хто будував державу, хто захищав її на полі бою і визволяв від німецько-фашистського нашествия, а потім відбудовував після війни й окупації,



тими безглуздими «музеями» виставляють мало не «окупантами» власної Батьківщини!

І війну в нас крадуть. І Перемогу над фашизмом. І рани мої та пролиту при штурмі Берліна кров зневажають. І героїв Великої Вітчизняної принижують. І могили їхні розорюють,obelіски зносять у тій же Галичині й Естонії, які теперішній президент ставить в приклад «національного єднання». Якого «єднання»? Фашистського? Горе та й годі! Не відають, що творять? Аби ж то...

А спецназівець тим часом ходить берегом, оглядає місцевість. Потім довго вдивляється у нетрі Великого Дніпрового Луга, прослого на тім боці озера верболозом і шелюгами. І невдовзі повертається ще похмуріший:

– Хто ваші сусіди?

– Драч і Павличко. А ви хто? Як вас звати?

– Руслан, – не міняючи тону, так само суворо.

Нахилиюсь з високого ганку до його обличчя й питаю ще суворіше, як в американських детективах і кривавих кінобойовиках:

– На кого працюєте? – шепочу погрозливо.

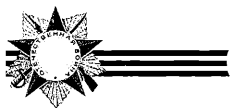
Нарешті скупо всміхається і йде геть, не промовивши й слова.

А я лишаюсь знову один у цьому глухому й прекрасному урочищі, де ще й досі блукають в спогадах тіні Головка і Малишка, Олеся Гончара й Петра Панча, Смоличів і Смілянського, Бажана й Минка, Нагнибіди й Швеця, Олександра Підсухи і Дмитра Білуса. Тільки спогади й тіні, наче їх ніколи тут і не було. І вже якось і не страшно, що й нас незабаром не стане – так що й сліду не лишиться. Бо, по правді кажучи: що доживати отак, в самотині, без дружини і друзів, що вмерти – яка різниця?!

2. «Хороші гості у мене!»

Дивовижний кортеж повільно рухається липовою алеєю: попереду «БМВ-750», важкий і грубуватий, як усе баварське. За ним «Мерседес-600» – довгий, елегантний і строгий. Обидва автомобілі гаспидно-чорні, дзеркально-сяючі, неймовірно чисті. Під високими небесами ранньої весни, серед яскраво освітленої сонцем золотавої кори і зеленої хвої реліктових сосен вони здаються пришельцями з іншого світу. Таких машин на нашому обійсті ніколи не бувало. Ні за нашого життя тут, ні за Смоличів. Та й в селянському роду нашому про таке видиво ніколи й не мріялось. І уявитися не могло.

Стою й дивуюся, як охорона, мов по команді, одночасно вискакує з обох машин, швидко і спритно, майже синхронно відчи-



няє задні праві дверцята, і з першої виходить Посол Росії, як я й передбачав, а з другої – Президент України, до якого за десятиліття президентства звикла не лише вся Україна, а й ближнє та дальнє зарубіжжя!

Здавна глибоко шаную Леоніда Даниловича, не зважаю ні на які плітки, інсинуації й звинувачення. Адже він разом з Академіком Янгелем та директором «Південмашу» Макаровим будував Ядерний Щит нашої Держави! Тому ніякі оббріхування політиканів, борзописців з продажних газет і оракулів з «незалежних» приватизованих телеканалів не похитнули моєї інтуїтивної, внутрішньої шани спочатку до Прем'єра, а потім і до Президента Кучми, завжди підтягнутого, суворого й вимогливого.

Особливо мене вражали його виступи на засіданнях Ради Безпеки й Оборони України, на яких він громив недолугих міністрів та інших високих чиновників, які не справлялися із своїми обов'язками, з поставленими перед ними завданнями на найважливіших ділянках і у вирішальних галузях державного будівництва. Ця висока вимогливість, компетентність, вільна орієнтація в найскладніших проблемах виробництва і діяльності державних органів нагадували мені ранкові виробничі наради і перевірки в кабінеті Головного інженера суднобудівного заводу імені Андре Марті (зараз – «Чорноморський») в Миколаєві, на яких усім нам – учасникам будівництва крейсерів проекту 68-біс або океанських підводних човнів 613 проекту – доводилося звітувати про виконання робіт на стапелях і в цехах заводу. Часто нам тоді перепадало на горіхи від вимогливого і всезнаючого Юхима Маркевича Горбенка. Не скупився він у нашій суто чоловічій компанії й на круті вирази, коли гнівався, а то й лютився з наших недоробок. Але всі ми глибоко поважали його за високу професійність і шанували за оту вимогливість, якої частенько й побоювалися, якщо за нами водились грішки чи якісь недоробки.

Це був істинний керівник 42-х тисячного колективу, котрий, здається, не тільки жив інтересами заводу, а й дихав ними! І нас до цього схилив. Будівництво флоту, найновітніших кораблів усіх можливих класів стояло перед нами невідкладним завданням, враховуючи вже готові могутні флоти наших стратегічних та ідейних противників. А ми ж починали буквально з нуля! Які там у нас були військово-морські сили на внутрішніх морях? Та й ті за війну понесли тяжкі втрати. А все одно, ці надлюдські зусилля і перевантаження згадуються нині з любов'ю і професійною гордістю, які вже ніколи не повернуться. Бо ми тоді жили заводом,



виконанням непосильних завдань, як одна дружна родина! Цього єднання і прагнення нам зараз дуже не вистачає!

Саме такий дух колективізму органічно притаманний Леонідові Даниловичу Кучмі. Знав я тоді, знаю і зараз: серед усіх президентів і прем'єрів світу немає жодного, хто міг би зрівнятися з ним творчою й трудовою біографією, технологічними й виробничими досягненнями до обрання на високі державні пости! Ніхто з них не проектував і не будував найсучасніші, унікальні ракети-носії, не возив їх ні на полігон «Плисецьк» в Архангельську область Академікові Янгелю для створення Ядерного Щита Держави! Ні на Байконур – Сергієві Павловичу Корольову для здійснення його Космічної програми – запуску космічних кораблів з космонавтами на борту і орбітальних станцій «Мир» і «Салют». А головне – ніхто з них не зумів охолодити гарячі голови тодішніх паліїв термоядерної війни небаченими досягненнями в будівництві ракет, які й досі лишаються недосяжними навіть для хвалених американців!

В середовищі Президента Кучми крутилося чимало людей недостойних. Але до самого Леоніда Даниловича, навіть коли я не знав його особисто і не зустрічався з ним, завжди відчував глибоку шану, як до видатного діяча нашого Радянського військово-промислового комплексу, коли ми дійсно були Великою Державою світу! Та й потім, коли він став Прем'єром і Президентом Незалежної України. А може, ще більше шанував саме на цих високих, вельми тяжких і відповідальних постах.

І ось він – на моєму подвір'ї! Ще й з Послом Росії Черномирдіним. Стою і дивлюсь на них зблизька, далеких і недосяжних на своїх високих постах для простих смертних. А вони обоє йдуть до мене, усміхнені й привітні, залиті квітневим сонцем, вродливі, свіжі, позначені тим аристократизмом, що приходить з роками володарювання. Обоє в однакових темно-синіх костюмах, блакитних сорочках з однотонними галстуками. Мов брати-близнюки.

Ну, хто ж їх не знає? Черномирдіна як засновника й керівника «Газпрому» та Голови уряду Росії, а Леоніда Даниловича по «Південмашу», по Прем'єрству в Україні та особливо по десятилітньому Президентству? Але щоб отак близько, в своєму дворі побачити їх разом?! Мабуть, я й справді, як казали моя незабутня бабуся Гапка, в сорочці народився. Бо чом би, так багато разів перебуваючи на тім світі у війну та й після війни, і досі живу, щоб діждатися таких високих і несподіваних гостей!

Дивина! І величезна несподіванка. Навіть якби зайшли на подвір'я лосі з Великого Дніпрового Лугу, як траплялось у цьому



урочищі в перші роки дачної забудови, чи якби налетіли з голубого Дунаю дикі гуси, а з Дикого Поля дрофи, які, на жаль, давно перевелися вслід за стрепетами в наших південних степах і взагалі у Європі, – і тоді б здивування було меншим. Проте виду не подаю, подиву не виявляю – стою і дивлюся на них. А вони підходять, ручкаються, кажуть мені якісь слова, але я їх майже не чую і геть не розумію в ці перші хвилини. «Он воно як! – думаю собі, враз пригадавши несподіваний візит Руслана. – Чим же я частуватиму таких високих гостей? Ще й Галі не стало на біду та на лихо...» Забуваю, що з самого ранку приїхали якісь мовчазні люди з усим готовим, накрили у веранді білою накрохмаленою скатертиною стіл, заставили його напоями й наїдками і зникли, наче їх і не було, теж не сказавши мені й слова.

З Послом Росії я особисто знайомий: минулого року на презентацію одностомників Гоголя й Шолохова в українському Фонді культури з'явимося з Академіком Толочком саме на початку, і головуєчий Борис Олійник з ходу надасть мені слово, як тільки переступлю поріг Золотої Зали.

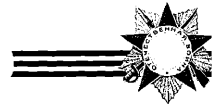
Побачивши в президії всім відомого Черномирдіна вперше так близько, звернуся найперше до нього:

– Пане Посол Великої Росії! – напружена тиша заляже в залі.

Я знаю, не всім до вподоби таке звертання: Росію прийнято зараз принижувати й ображати, бо так хочеться насаджувачам «Нового світового порядку на всі віки», що сидять за океаном. Та їхнім запопадливим прислужникам в Україні. Тому після паузи вдамся до логічного наголосу:

– Так, так, ми бажаємо, щоб Росія – оплот східного слов'янства – залишалася назавжди саме Великою Росією, як була вона за всіх перипетій нашої спільної історії. Звертаюся й до вас, дорогі москвичі – наукові співробітники і вчені Інституту світової літератури імені Горького, щоб нагадати вам слова Великого Гоголя, які ви, безумовно, знаєте і якими розпочинаються його «Избранные места из переписки с друзьями»: «Посмотри, как все мудро й неспешно совершается в природе...»

А ми? Куди ми весь час квапимося? Чому метушимися? Хіба можна забувати настанови Геніїв і нехтувати заповітами національних Пророків? Прокидаючись ночами, часто згадую його дивовижну прозу – портрет Дніпра, котрий у нього «Реет и вьется по зеленому миру». Ніхто до нього, українця, так не писав у російській літературі про нашу Велику Слов'янську Ріку. Але він збагатив не лише лексику й фразеологію, а й вніс у російську прозу



небувалий емоційний і настроєвий заряд, освіжив та оновив стилістику: « О, Русь! Что глядиш ты на меня из своего прекрасного далека? Дай ответ! Не дает ответа...» Так і я б звернувся зараз до Росії його безсмертними словами, бо нас роз'єднано кордонами!»

І тут гості, а не зал, влаштують мені овацію. А Посол Росії, нехтуючи Протоколом, хапає два томи – і Гоголя, і Шолохова, – оббігає президію і гримає ними переді мною об стіл.

Підхоплююсь і кажу йому в упор, в саме обличчя, ретельно виголене, рум'яне й свіже:

– Без автографів не приймаю! – під загальний регіт залу й президії.

Віктор Степанович вихоплює ручку і тут же ставить бліц-автографи на титульних сторінках обох однотомників. Міцно тисне мені руку, а потім обнімає й тричі цілує по-козацьки навхрест. Перед аудиторією. Так ми й здружимося і навіть побратаємося під іменами і спадщиною Геніїв – і Росії, і України.

А з Леонідом Даниловичем доля зведе вперше на могилі Олеса Гончара на Байковому, коли відзначатимемо п'ятиліття з дня його смерті. Тоді, 14 липня 2000 року, Президент перерве нараду Голів Облдержадміністрацій України, щоб за Протоколом протягом півгодини покласти квіти на могилу Великого письменника України. Запам'ятається: на відміну від деяких депутатів Верховної Ради з числа письменників, які службовими машинами їздять мало не на саму могилу, Президент залишить свій кортеж за ворітьми і прийде з квітами без охорони, покладе свій букет до пам'ятника. А потім увінчає могилу і офіційною, заздалегідь привезеною корзиною з трояндами, обперезану жовто-блакитною стрічкою «Від Президента України». А коли покладе, Валентина Данилівна й шепне мені за спиною Президента: «Сашо, нагадайте, що за народними традиціями...»

– А хто тут проти народних традицій? – Всміхнеться раптом Президент, почувши Валін шепіт.

Така, знаєте, світла, аж трохи шибеникувата усмішка. Так що й ми засміємось у відповідь. І Валентина Данилівна урочисто піднесе Президентові поминальну чарку. А Таня – Гончарева племінниця – подасть нам на підносі рум'яні й ще гарячі пиріжки.

– Мені з м'ясом, – попрошу я після чарки.

– А мені з капустою, – скаже Леонід Данилович. І ми вип'ємо й по другій, мов у родинному колі, якого давно в мене нема і ніколи вже й не буде.

А увечері Павло Вольвач телефонує:



– Що ви там сказали Президентові, що він засміявся на цвинтарі?

– Та не ми йому, – відповідаю, – а він нам.

– Ну, значить, путня людина, наш Президент. Простий чоловік, а не бундючний. Не строе з себе чортибатьказна що. І до вас так привітно... Навіть приязно. Приємно дивитись. По УТ-1 показували. Яюсь аж на душі радісно за вас. А то ж повиводили і з Ради, і з Президії. Наче й немає такого Сизоненка.

– Не надавайте значення, Павлуню, таким дрібницям. Хай наше спілчанське керівництво тішиться владою. Літературі до цього – аніякісінького діла!

– Не скажіть... – задумливо, але вперто мовить Вольвач і відключиться.

А вдруге зустрінемося з Леонідом Даниловичем на відкритті пам'ятника Олесю Гончару під нашими вікнами у сквері на вулиці Михайла Коцюбинського. Натовп, юрба, тлум і гомін. І квіти, квіти! І вінки. І через усю цю веремію Президент після промови й відкриття пам'ятника ледве пробивається з охороною до машини. Торкаю його за рукав. Обертається й, пізнавши, подає мені руку, притиснуту натовпом до грудей. І я теж, затиснутий з усіх боків, ледве випростую руку, щоб потиснути йому. Так і вивалюємось з юрби на вільну алею.

– Ну, як пам'ятник? – питає він, поправляючи галстук.

– Прекрасний, ліричний! І так швидко...

– Ну, значить, не дарма займаю пост Президента України. Не знаю, чи оцінять мої зусилля по утвердженню в світі Незалежної України, а пам'ятник видатному письменникові залишиться навіть. Бронза ж не іржавіє, правда?

Буде й третя зустріч – на врученні нагород Президентом Путіним у зв'язку з Роком Росії в Україні. Але я вже писав про неї по гарячих слідах в есе «Стільки смутку в тій пісні...» Тому не зупинятимуся на ній. До того ж, вона публікувалась в багатьох виданнях. В тому числі й у парламентській газеті «Голос України».

Але всі ці зустрічі носили публічний характер. Тобто відбувалися в тлумі й гармидері, серед маси людей. А зараз вони обоє приїхали до мене, стоять переді мною, залиті щедрим, сліпучим сонцем молоді-молодесенької весни, під її ясними голубими небесами. І ні вітерець не війне, ні хмаринка не набіжить. Не знаю, за що випав мені такий щасливий день і такі рідкісні й дорогі гості? В моїй задавненій і тяжкій самотині.



Вражений несподіваним візитом, стою і мовчу, як колись мовчав на плацдармах за Віслою й Одером перед артпідготовкою. Не знаю, що казати і що робити з такими високими гостями. Гамую хвилювання і вдаю спокій. На це йде вся моя енергія.

– Фінансове забезпечення проекту з видання вашої трилогії, – раптом каже без всякого вступу Леонід Данилович, – мій Президентський фонд «Україна» бере на себе. Ми все вже погодили з Віктором Степановичем і «Московским писателем». Заперечень не буде? – Немає меж... – Видавлюю з себе, ледве стримуючись, щоб не кинутися до нього з обіймами. – Не знаю, як і дякувати... Мені ще в житті... Ніхто... Ніколи...

– Ладно, ладно... – засоромившись мого розчулення, зупиняє мене Леонід Данилович. – Постає нелегке завдання: видати трилогію до 60-річчя Перемоги, а часу майже не лишилося.

Менше місяця! Хоч Віктор Степанович обіцяє, що все буде гаразд. Адже книга готувалась в «Московском писателе» та в Інституті Світової літератури імені Горького понад два роки. Так що все готове до друку. Діло тепер за друкарями. Правда, Вікторе Степановичу?

Черномирдін стоїть тихий, як горличка, всміхається сам до себе, кременний, міцний, впевнений у собі, в своїх силах. Адже саме він усе це затіяв, організував, домовився з Леонідом Даниловичем. А тепер поблажливо посміюється, тішачись з того, як ми обговорюємо вже вирішене ним питання. На нього хочеться дивитись, не спускати з нього очей: якийсь він затишний. За ним, як за кам'яною стіною! Недарма ж в критичний момент саме його уповноважать вести переговори з Басаєвим, щоб звільнити заручників з Будьонівської лікарні. І він доможеться-таки звільнення. А потім пошлють його на Балкани, щоб зупинити бомбардування Югославії. Чи тільки Сербії, бо Федеративна республіка Тіто давно вже розтерзана НАТО, в яке нас мало не силоміць заганяють, прославляючи цей бандитський агресивний альянс – ударну силу міжнародного жандарма і державного терориста, яким давно вже являються США. І Віктор Степанович у неймовірно важких переговорах доможеться припинення вогню. В багатостраждальній розбомбленій серед білого дня і серед темної ночі суверенній державі.

– Ну що, так і будемо стояти? – Весело питає він і подає мені руку, як давньому другові: ми вже з ним побуваємо разом і в Москві на міжнародній презентації його книги «Визов» – саме про ту його миротворчу місію на Балканах – у знаменитому Прес-центрі



ІТАР-ТАСС. А потім відзначимо цю подію в ресторані «Ельдорадо», де я вперше читатиму світову і російську прозу й поезію, здивувавши не лише Черномирдіна, а й усіх, хто там був того вечора. Не менше здивуюсь я й сам, у дивовижному натхненні перевершивши самого себе. Щось у ньому є окрилююче, в цьому Вікторові Степановичі! Ніби яснішає світ у його присутності, і віриш у себе самого і в свої сили та здібності більше при ньому, ніж в самоті. Рідкісна риса, скажу я Вам!

– Веди нас, Сашо, до столу, – вперше назве він мене так ласкаво. – Цю подію треба відзначити, як водиться на Русі. Та й на Україні.

Оце «Сашо» в його суворих устах вдарить мене в саме серце; нагадає далеку-далеку юність. І друзів, яких давно вже немає. А без них ніхто вже й не назве мене так ласкаво.

Леонід Данилович тримається скромно, ніби залишається в тіні Посла Росії – зачинщика видання моєї трилогії в своїй Бібліотеці «Всесвітня Поезія і Проза». А також оцієї зустрічі – такої несподіваної та радісної для мене.

3. Весна і Космос

Порозкошуємо в застіллі того дня – першого по-справжньому весіннього дня, коли вже зима тікає безвісти, поступившись місцем Весні. І перший тост буде зовсім не про мою книгу. Леонід Данилович візьме свою чарку, підведеться й помовчить, ніби збираючись з думками, шукаючи підходящі слова. А тоді раптом стріпне головою, випростається і погляне на нас зажурено й строго.

– Сьогодні дванадцятьє квітня, – скаже він і знову помовчить, ніби даючи нам змогу самим згадати, що означає це число і місяць, цей день в нашій історії. – На жаль, – зітхне він і знову помовчить за давньою звичкою робити паузи, – забуваємо й День Космонавтики – перший вихід людини в Космос. А мені не раз доводилось зустрічати це свято або на Байконурі, або на полігоні «Плисецьк» в Архангельській області. То був, мабуть, найзасекреченіший полігон Радянського Союзу. Ми тоді жартували: «Корольов працює на ТАСС, а Ягель, Макаров, ну і я з ними – на нас». Бо Корольов працював на освоєння Космоса, а ми створювали «Ядерний щит-Держави»: конструювали балістичні ракети, скажімо, СС-18, яку американці прозвали «Сатаною». Вони й досі такої не виготовили. Ну, а наші ракетносії обслуговували й космічні програми Корольова. І все це Дніпропетровський «Південмаш». Отож, за нашу Радянську і українську космонавтику! – Він підніме чарку над



головою, а випити не поквапиться. Зітхне й скаже довірливо: – Вип'ємо, щоб дома не журились...

Того дня за чаркою, при хлібові я читатиму ім Пушкіна, Шевченка, Лермонтова, Кіплінга, Бернса, Чехова і Коцюбинського, улюбленого Хемінгуея, Твардовського і Малишка, Ліну Костенко і Бориса Олійника, Вінграновського й Дмитра Кременя, Василя Симоненка і Драча.

– Де ти його взяв? – дивуватиметься Леонід Данилович, звертаючись до Черномирдіна, ніби мене тут і немає.

А Віктор Степанович, відкинувшись на спинку стільця, смітиметься весело й дзвінко, сяючи разком білих, мов сніг, зубів:

– Він же твій підданий, а не мій громадянин, Льоню! Виявляється, ти його прогавив? Не знав його? А я відкриваю тобі твої ж кадри. Ти знаєш: приємне заняття! А тепер, Сашо, читай Лермонтова, – звертається до мене ласкаво, і його владний, вимогливий і завжди строгий погляд тепліє і яснішає. І стає гарно й затишно на душі від його приятного тону і прихильного погляду.

*«Не хвались еще заране, – молвил старый Шат,
– Вот на севере, в тумане что-то видно, брат!»
Страшно был Казбек огромный вестью той смущен.*

И, смутясь, на север темный взоры кинул он.

От Урала до Дуная, до Большой Реки,

Кольхаясь й сверкая, движутся полки.

Идут полки всемогущи, шумны, как поток,

Страшно медленны, как тучи.

Прямо на Восток. И, овеянный ветрами бури боевой,

Их ведет, грозя очами, генерал седой.

Боевые батальоны тесно в ряд идут!

Впереди несут знамена, в барабаны бьют.

Веют белые султаны, как степной ковыль,

Мчатся пестрые уланы, подымая пыль.

Батареи медным строем скачут й гремят.

И, дымясь, как перед боем, фитили горят...

Тут я не втримуюсь і вигукую, мов на плацу перед казармами:

– Ви тільки вдумайтесь: яка картина! Як зображено військо! В русі, в усій могутності і красі! І буквально в кількох рядках. Навіть Толстому й Шолохову неспідвладні такі вражаючі картини. А вбили ж його на дуелі двадцятисемилітнім. Написав же він цей «Спор» ще молодшим – зовсім хлопчиком. Здається, ще в Тарханах, живучи там з бабусею Арсеньевою. Що ж це за геній? І щоб він ще написав, якби його не застрелив, безоружного, з великої



люті, викликані заздрістю та відчуттям власної неповноцінності, отой майор... Соломонович – син виноторгівця...

– Ну, а чим же завершується ця суперечка між Казбеком і старим Шат-горою? – заохочує мене Віктор Степанович.

Зітхну, мов за умерлим Богом, наберу в легені повітря, бо відчуваю, ось-ось заплачу за улюбленим з дитинства, таким самотнім і неприкаяним Лермонтовим, і закінчую:

Мутным взором он окинул племя Гор своих.

Шапку на брови надвинул й навек затих...

Довго сидимо мовчки, вражені Генієм Лермонтова. І раптом Леонід Данилович:

– Хлопці! А це ж і про Чечню... – і дивиться на нас якимсь дивним, винуватим чи співчутливим поглядом. У якому десь глибоко, на самому дні, тамується жаль і навіть скорбота. Весінній настрій покидає нас, і чужі страждання, наблизившись, влягаються між нами при хлібові, при чарці і при столі. Десь далеко-далеко в нетрях Великого Дніпрового Лугу, що мріє й ніжитья під сонцем, виборсуючись з-під зими, озивається дикий голуб-витютень. Кличе свою голубку, та ніяк, мабуть, не докликеться. І стрекоче сорока за вікном. І чимось обурюється непосидюща і вічно заклопотана сойка. Нарешті й вона затихне, і голуб, мабуть, десь полетить, не докликавшись голубки. Тиша така, що, здається, можна почути, як оживає і починає рости трава за вікном.

Притихнемо й ми у нашому розкішному застіллі 12 квітня 2005 року, в День Космонавтики, зачаровані красою і силою поезії Лермонтова і пробудженням весни, що буквально ломиться у розчинені двері веранди.

– А я люблю і Твардовського, – скаже після довгої мовчанки Віктор Степанович. – Прочитай, будь ласка, Сашо, «Я убит подо Ржевом».

Я й сам люблю його, очевидно, з часу написання. Бо він прозвучить вперше по радіо, коли я лежатиму після важкого поранення в Центральному науково-дослідному клінічному госпіталі в Москві на Четвертій Сокольницькій. І ми слухатимемо його із завмиранням серця. То був такий проникливий, нещадно-суровий, правдивий вірш про кожного з нас, пораненого чи вбитого солдата Великої Вітчизняної, сповнений прихованого, але ніжно-го співчуття, що мало хто з нас зумів тоді стримати сльози.

Я убит подо Ржевом в безымянном болоте.

В пятой роте, на левом, при жестоком налете.

Я не слышал разрыва и не видел той вспышки -



Словно в омут с обрыва! Й ні дна, ні покрьшки.

Й во всем этом мире, до конца его дней,

Ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей.

Я – где корни слепые ищут корма во тьме.

Я – где с облачком пыли ходит розь на холме.

Я – где крик петушиный на заре, по росе.

Я – где Ваши машины воздух рвут на шоссе.

І тут залізний Черномирдін кидається до мене з обіймами, цілує і швидко виходить, ховаючи очі.

– Батько в нього... – скаже мені Леонід Данилович. – Був майже вбитий у тих болотах під Ржевом. Невдовзі після війни і вмре від тих тяжких ран. Так що Віктор Степанович так само, як і я, ростиме безбаченком... Тяжко нам обом доведеться ставати на ноги без батьків! – Леонід Данилович зітхне й гляне на мене, мов пожаліється. – Ну, а в тяжкий повоєнний час – і говорити нічого. Такщо обоє ми – сини загиблих солдатів. Мабуть, тому й тягне до вас, – зізнається він, ніяковіючи. А потім гляне мені у вічі довгим і приятним поглядом: – Вперше зустрічаю, щоб стільки знали й читали прозу й поезію напам'ять. Учите спеціально? Я маю на увазі – заучуєте?

– Ні, якось лягає на душу й запам'ятовується само собою. Але тільки те, що схвилює по-справжньому. Або й потрясе за першим читанням. А я, до речі, за все життя не написав жодного віршованого рядка! Навіть не пробував писати. Наче Бозя посварився на мене пальцем: «Не твоє, мовляв, не твоє! Не смій і пробувати!»

– Дивно, – приятно всміхається Леонід Данилович. – Повірити в це важко. А то й неможливо. Щоб стільки знати напам'ять чужої поезії! А самому й не спробувати? Не віриться, – ще раз скаже він, дивлячись мені в очі зблизька. І в його погляді світиться тепла приятнь.

– Отаких би мені консультантів по літературі! І взагалі – помічників! Та що тепер про це говорити... – Він махає рукою, дістає сигару й припалює вишуканою запальничкою. – Закуримо, щоб дома не журились...

– Не палю. Вже років з тридцять, як покинув.

– Ну, й правильно, – він уважно обдивляється веранду, пускаючи дим через ніздрі, невдоволено кривиться: – Якесь усе тут примітивне, старе й занехаяне. Ну що оце за віконця?

Ніби грати. Ми тут, як ото в Пушкіна: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» – замовкне і додасть: – Негайно треба поміняти столярку! Тут у вас така краса кругом, а сюди ледве світло прони-



кає. Нічого ж не видно – ні озера, ні лісу, ні луга. Треба вас виселити звідси на пару місяців і зробити тут путній ремонт.

– Правильно, Льоню, – підхоплює Черномирдін, повернувшись із двору. – Я прислав сюди своїх дівчат із Посольства, щоб навести хоч якийсь лад до нашого приїзду. Вони тут три дні товклися, а толку? Повертаються й кажуть мені: «Там капітально все треба ремонтувати, а не лоск наводити!» Отож виселити його звідси місяців на три, навести тут не який-небудь порядок, а зробити євроремонт.

4. Нічні розмови

Виявиться: не на два й не на три місяці доведеться чекати завершення ремонту, а півтора року житиму в маленькому будиночку-гаражі біля воріт! Всю зиму проведу в неопалюваній кімнаті, прибудованій зятем, а ремонті – ні кінця, ні краю! І зиму пересяджу якимось з горем пополам, і весна промине, і літо відтьохає пташиними голосами, вже й осінь сипатиме липове листя і встелятиме ним ту алею, по якій вперше прийдуть до мене мої високі гості, а ремонт все триватиме. Бо ж відомо: він має початок, але не має кінця.

Але й у малому будиночку вони провідуватимуть мене. Телефонуює якимось увечері Леонід Данилович:

– Ми з Віктором Степановичем летимо зараз із Словаччини і хочемо з Борисполя заїхати прямо до вас. Можна? Тоді відчиніть ворота – зараз хлопці дещо підвезуть.

– Завжди радий вам! – кричу йому в трубку. – Але ж... «Наша ветхая лачужка и печальна, и темна». Нема де й повернутися.

– Нічого. Нам місця вистачить, – і відключається.

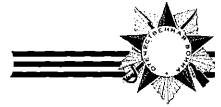
Тут же й в'їжджають у двір знайомі хлопці з охорони. Привозять з собою офіціантку Лілю і все, що треба. І заходжуються швиденько накривати на стіл.

– Що за поспішливість? – питаю. – Чому так квапиться?

– Шеф страх не любить чекати! – відповідає Ліля, не припиняючи клопотання й на кухні, й біля столу. В руках у неї все горить!

За кілька хвилин стіл стоїть, як ясочка! І тут же на подвір'я вкочуються ті ж самі машини обох моїх високих гостей. І вони ввалюються в легеньких курточках як для такої суворої зими і, роздягаючись, розповідають, що повертаються з полювання на королівських фазанів, на яке їх запросив екс-президент Словаччини.

– Не полювання, а промисловий відстріл, – уточнює Леонід Данилович. – Там розвели тих фазанів – море! Не те, що в нас: стрі-



ляти охочих до біса, а розводити ні зайців, ні куріпок, ні фазанів нікому. Але найголовніше – повезли нас у Рудні гори, на Дуклинський перевал. Наші брали його в сорок п'ятому в лоб, по єдиній ущелині. І полягло там наших 82 тисячі! Словаки відгрохали їм такий меморіал, що ні в Росії, ні в Україні таких немає! Постояли ми з Віктором Степановичем над тими пам'ятниками і могилами, помовчали. А потім переглянулись і вирішили: ідемо з аеропорту прямо до вас, не заїжджаючи додому! Бо там лежать ваші бойові побратими. І побратими наших батьків. Давайте пом'янемо їх... Де вони тільки не лежать? І на нашій землі, і по всій Європі. Хай їм пухом буде і рідна, і чужа земля. І Вічна пам'ять їм!

Вип'ємо стоячи, не чокаючись. І помовчимо. І згадаємо всіх наших рідних, односельців і родичів, яких забрала війна...

Засидимося майже до півночі. А мороз саме! Мінус 27! Згадаємо ще раз їхніх батьків і моїх загиблих на різних фронтах дядьків – Меморіал на Дуклинському перевалі розчулить обох неабияк. Леонід Данилович незабаром поїде, а Віктор Степанович залишиться. Вперше ми залишимося самі. І розмова якось урветься, ніби вичерпається. Наче вже й говорити нам ні про що. Віктор Степанович, очевидно, стомиться після такого довгого перельоту. Та й після полювання. Якось ніби поважчає, спохмурніє. Може, й туга за батьком оповіє його душу. Довго сидітиме мовчки. Не захоче ні пити, ні їсти. І раптом скаже довірливо й строго, дивлячись мені у вічі:

– Як би ти знав, Сашо, як я люблю Твардовського! Це найбільший і найдорожчий для мене поет двадцятого століття...

– Цієї думки ніхто з правлячої еліти Росії не поділить з вами. Зараз, на думку вашого міністра культури Швидкого, навіть Пушкін застарів. Визнаються хіба що Ахматова, Мандельштам, Пастернак. З Бродським носяться – як же! Нобелівський лауреат! А Твардовського, як і Шолохова, вважають традиціоналістом. І ваше захоплення ними обома може не сподобатися і найвищому, верховному начальству. Віктор Степанович спалахне – випростається, випне свої могутні груди:

– Я – Черномирдін! І мені наплювати на те, що думають і говорять якісь Швидкі! Чи й вище рангом начальство. Ні своїми переконаннями, ні приязню я не торгую! – А потім гляне на мене просвітлено і примирливо, ніби засоромиться свого вибуху чи щось згадає важливіше, і всміхнеться: – Ну їх, усіх швидких, к бісу! Читай, Сашо, Твардовського.

І я читатиму «Когда окончится война»:



*«Внушала нам стволів ревутих сталь,
Что нам уже не числитися в потерях.
Й, кроясь дымкою, он уходит вдаль,
заполненный товаришами берег...»*

Читатиму також улюблених мій вірш, особливо заключну строфу з нього:

*Мне проку нет - Я сам большой
В смешной самозащите!
Не стойте только над душой!
Над ухом не дышите...*

– А ти прочитай мені вірш про те, як їдять його сірі вовки! – заливисто сміється Віктор Степанович, помітно оживившись.

*Такою я долею отмечен бедовой
Была уже мать на последней неделе.
Сгребала сеницу на опушке еловой.
Минута пришла – далеко до постели.
И тою особой отмечен отметкой –
Я с детства подробности эти усвоил, –
Как с поля меня доставляла соседка
С налитшей на мне прошлогоднею хвоей.
И не были эти в обиду мне слухи
И всякие толки, что я из-под елки.
Зато, – как тогда уверяли старухи, –
Таких, из-под елки, не трогают волки!
Увы! Без вниманья к породе особой,
Что хвойные те обещали иголки,
С великой охотой, с отменной злобой
Едят меня всякие серые волки!
Едят! Но не даром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели!*

Черномирдін довго й захоплено сміється. А потім спохмурніє знову і довірливо скаже, пильно глянувши мені у вічі тяжким своїм поглядом:

– А ти знаєш: цей вірш і про Леоніда Даниловича! Ти йому не читав?

– Ще не встиг прочитати.

– А ти прочитай, прочитай! Це ж і про нього: скільки на нього дохлих котів і собак вішали! На таку чесну, порядну людину! Не знаю, як він усе це зносить? Щоб терпіти отаку брехню, отаку хулу, залізні нерви потрібні! Та й вони не витримують. – Віктор Степанович довго мовчатиме, замислившись. А потім знову під-



німе на мене свій тяжкий і суворий погляд, гляне мовби хтозна з якої далечини: – А ти знаєш, Сашо, мине час – рік, два, три, десять. Неважливо. Найважливіше: про нас тоді інакше думатимуть. По-другому згадуватимуть... – Він схилить голову і довго мовчатиме, мабуть, захмелівши з дороги. Та й після полювання в чужій країні. Важко підведеться зі стільця, злегка обніме мене за плечі і, дивлячись в упор мені у вічі, запевнить: – Час... Тільки час усе розставить по місцях, все оцінить по справедливості: і наші вчинки, і наші дії... І – помилки. Не зі зла чи з примхи, а із складності обставин.

І коли він поїде, хряпнувши дверцятами важкого БМВ, я зрозумію: думав він не про Будьонівськ, не про Басаєва і звільнення заручників, і навіть не про припинення вогню і бомбардувань в Югославії, а думатиме він про розстріляний Парламент Росії 3 жовтня 1993 року! Бо й на ньому лежить відповідальність за той злочин Єльцина: він же тоді очолював уряд Росії. І це, очевидно, мучить його постійно. Тому й заговорив про це, розчулений поезією Твардовського і Лермонтова, стомившись і злегка сп'янівши.

Більше він ніколи й не заїкнеться про це.

5. Лють і ненависть

Ці ганебні почуття зроджуються найчастіше із заздрощів та жадоби влади. Яскравим прикладом цього явища в Україні є десятилітнє шельмування й оббріхування, наклепи, що супроводжуватимуть обидві каденції Президента Леоніда Кучми. Засоби масової інформації перетворюються за цей період на засоби шельмування й оббріхування обраного народом гаранта Конституції, яка й народилася і діяла при ньому. Важко, а то й неможливо пояснити або хоч зрозуміти природу цього антилюдського, антидержавного і протиправного явища. Воно могло виникнути тільки в нездоровому суспільстві перехідного періоду – по своїй суті реакційного. Бо від соціалізму ми деградували в епоху «дикого капіталізму» періоду первісного накопичення капіталу. Класичні країни, що розвивалися еволюційним шляхом, цей складний і по суті злочинний процес «облагороджували» захопленням островів, архіпелагів та цілих континентів у період «Великих географічних відкриттів». Тобто завоюванням і освоєнням нововідкритих земель з усіма їхніми природними багатствами. А із злочинним розвалом Радянського Союзу відкривати було нічого. Лишається один засіб: грабування народу і держави – привласнення створених багатолітньою працею кількох поколінь робочого люду багатств куп-



кою хапуг і бандократів, що стояли при владі чи були близько до влади. Воістинно: мета виправдовує засоби, якими брутальними вони б не були. Саме це й сталося на пострадянському просторі з розпадом Великої Держави, оголошеної ідейними ворогами «Імперією зла» з подачі американських пройдисвітів типу актора-невдахи Рейгана і біглого «полячишки» Бжезинського, лютого, як піранья або кобра чи гюрза.

Все оббріхувалося і втоптувалося в багно! І під цей супровід, як написав Поет, «Рвали й крали – від ракети й церкви до сапи!» Особливо шалено й заклято взялися оббріхувати й паплюжити другого, успішного Президента Незалежної України Леоніда Даниловича Кучму, щоб самим дорватись до влади. Бо награвований капітал не може лишатися на політичному маргінесі – йому треба множитись і самозахистатись. Інакше він, мов англійська новонароджена буржуазія ХУ ІІ століття перед першою буржуазною революцією Кромвеля, буде «Економічно сильним, але без політичних прав». А це – загибель для капіталу. Та ще так нахабно вкраденого у народу!

Не знаю, як там із Кравчуком і Чорноморським пароплаванням, перетвореним на акціонерне товариство «Бласко» і вслід за цим негайно розпроданим. Мабуть, щось там та було. Бо публікувалися й автентичні документи про цю грандіозну аферу.

Був навіть суд над Кудюкіним у моєму рідному Миколаєві. Але в того суду виявилися короткі руки, щоб викликати в судові засідання тодішнього Президента України Кравчука. Хоча б у якості свідка. Не знаю і не хочу знати того, що було і минулося. Але певною мірою, все ж, виявилось одним із чинників, що призвели до дострокових президентських виборів 1994 року.

А ось про оббріхування і шельмування Леоніда Даниловича не забувається і не може забутись як злочин, що немає строку давності! Що йому тільки не «ліпили»?! Гидко й згадувати, а не тільки перераховувати.

П'ятий рік дружу з Леонідом Даниловичем і ні разу не чув від нього жодного слова про оцю розгнздану кампанію брехні, обмов і звинувачень, розв'язану проти нього майже з початку його десятилітнього президентства. Що це – стійкість? Мужність і мудрість? Чи залізна воля? Мабуть, все разом. Це викликає іноді подив. А найбільше – симпатію і повагу. Навіть захоплення.

Завжди він врівноважений, толерантний із співрозмовниками. Спокійний і ввічливий. Делікатний в застіллі, поштивий при хлібові. Гречний та уважний із співбесідниками. При цьому – жодно-



го панібратства! Коректність у висловах і поведженні – риса, на мій погляд, не набута, а вроджена і вихована в кращих народних традиціях матір'ю-трудівницею.

Леонід Данилович не терпить похвал. І пустопорожніх балачок – уміло й необразливо припиняє їх. В бесіді ні разу не підвищив голосу в моїй присутності. Не міняє тону – ввічливого і через стриманість трохи холоднуватого. Красиво й статечно їсть і п'є. Скромно і непомітно тримається в загальній бесіді.

З жалем думається, дивлячись на нього і пригадуючи шляхи і відстані, пройдені ним у житті, про невдячність та несправедливість сучасників: невже ви забули, браття і сестри, в якому стані прийняв він Україну від свого попередника – її економіку, промислове виробництво і сільське господарство, банківську та фінансову системи? Що робилося з девальвацією і купонізацією? Страшно згадувати ті часи! Яке було галопування цін! Вся промисловість лежала в обліжнях.

Вирізалось і вивозилося закордон поголів'я великої рогатої худоби, вимирало вівчарство і свинарство. Занепадали й гинули на очах колгоспи і радгоспи. Все це треба було піднімати з колін і налагоджувати. І перш за все ставити на ноги фінансову систему. За одне введення гривні, виготовленої і надрукованої два роки тому в Канаді, але залишеної в підвалах Нацбанку, бо в попередників Кучми не вистачало мужності й відповідальності на цей непростий крок, – за одну цю рішучість Леонід Данилович заслуговує шани і визнання. Але хіба в нас коли-небудь цінували і шанували Гетьманів і Поводирів? Майже кожного проклинали. Іноді й за життя, а не лише по смерті. Навіть Богдана Хмельницького – найвеличнішого державного діяча, видатного Полководця, що громив одне з найсильніших в Європі шляхетське військо, і справжнього дипломата – гудили за життя. А «ура-патріоти» і досі проклинають за Переяславську Раду та возз'єднання з Росією. Наче й не тямлять, що альтернативи у Гетьмана не було. Чи вціліла б Україна під турками? Чи не пропала б навіки, поглинута «Речюю Посполитою від можа до можа?!»

Проклинали й Дорошенка – за похід на Москву протягом сімдесятиліття Радянської влади викидали геть із історії. Наливайка ж його поплічники, змовившись, роздягли до гола, скрутили, прикували голого до воза й викотили з неприступного козацького табору в чисте поле ляхам, щоб врятуватися самим. А поляки, увірвавшись у відкритий перед ними табір, посікли тут же на капусту усіх, навіть його зрадників. Не вцілів і головний змовник – пол-



ковник Лобода. А Наливайка люті ляхи живцем спалили у мідному бику у Варшаві. А Винниченка, Грушевського, Скоропадського скільки десятиліть проклинали?

Бідна і нещасна Україно! Чи тобі на роду написано оцей розбрат, приниження й розвінчання своїх Вождів? Кара Божа витає над нашою благодатною, але не благословенною землею. І запозває в народну душу непам'ять, відступництво і зрада — найтяжчі гріхи людства перед Богом і Вічністю. Перед власною Святою Історією.

Але такої брехні і хули, які випали на долю Леоніда Даниловича Кучми, якому довелося ставити на ноги й утверджувати суверенну Україну, піднімати її фінансову систему, економіку й виробництво в найтяжче десятиліття перехідного періоду, здається, ще не було і в нашій неблагополучній історії!

Спитати б: за що? Та ні в кого...

А він стійко витримує безпідставні звинувачення й оббріхування, зберігаючи спокій і достоїнство. Якою ціною? Мабуть, про це знає тільки він сам. Та Людмила Миколаївна — його вірна дружина.. Та ще — донька Олена. А може, й онук? Хоч він ще малий. Але діти все розуміють і все відчують, як і дорослі. А реагують на несправедливість ще болісніше. Проте цьому хлопчині, як виросте, буде за що гордитися своїм дідусем: час і справді все розставить по належних місцях!

Оглядаючись на перейдені Леонідом Даниловичем шляхи і відстані, пригадуючи всі несправедливості в оцінці його особи та його діяльності на посту Президента України, мимоволі згадаєш Еклезіаста:

«Взгляни на братьєв, избивающих друг друга.

Я хочу говорить о печали...»

6. Який сьогодні день?

За роки знайомства один тільки раз побачу Леоніда Даниловича стривоженим і навіть розгніваним: на презентацію виданої до 60-ліття Перемоги трилогії «Советский солдат» запізниться основний доповідач — Посол Росії, який має відкривати презентацію! Всі вже зібралися, а Віктора Степановича немає. І оголошений в запрошеннях час вже минає. До того ж, сталося немислиме в книговидавничій справі: 12 квітня було вирішено фінансове забезпечення проекту, а 28-го Бібліотекою Черномірдіна вже виготовлено першу сотню примірників унікального подарункового ювілейного видання! Було над чим і працювати, і нервувати учас-



никам цього проекту: за 16 діб здійснити нездійсненне! Але все одно дивно було вперше бачити знервованим завжди спокійного і врівноваженого Леоніда Даниловича.

Та, по правді кажучи, хвилюватися й нервувати у нього були всі підстави: і на «Південмаші», і на Прем'єрстві, і особливо за десятиліття свого президентства він був пунктуальним і точним – ні разу нікуди не запізнився. Це – школа Янгеля, Макарова, Корольова, Байконура і Плисецька, де найменша непослідовність, неуважність чи недисциплінованість могли призвести до катастрофи і загибелі людей.

А тут, у його офісі Президентського фонду «Україна», проходила перша публічна акція, яка одночасно слугувала і презентацією самого Фонду, на яку зібралися послы держав ближнього і дальнього зарубіжжя, Академіки, депутати Верховної Ради, прибули високі гості з Москви – Голова Співки письменників Росії Валерій Миколайович Ганичев та колишній Секретар Співки письменників СРСР, редактор найзнаменитішого журналу «Новий мир», Герой Радянського Союзу Володимир Карпов. А відкривача презентації немає! Мимоволі занервуєш. Особливо, якщо сам звук до пунктуальності й точності. Отут я й побачу, яким схвильованим і навіть розгніваним буває завжди витриманий і врівноважений Леонід Данилович.

Незвично сухо привітавшись зі мною кивком голови, він різко, навіть роздратовано запитає першого помічника Посла Росії, що зустрине мене біля під'їзду і вестиме парадними мармуровими сходами в хол, де зберуться всі учасники презентації:

– Так де ж Віктор Степанович?

– В «пробку», мабуть, потрапили, – відповідає Євген Белоглазов тоном школяра, що проштрафився. – Саме ж час пік.

– Все! Починаємо без нього, – Кучма рішуче бере мене під руку і веде до мікрофонів, що стоять рядком, перед численною публікою.

Нас зустрічають оплесками. Не встигнемо наблизитись до мікрофонів, як оплески вибухають з новою силою – нарешті з'являється Посол Росії! Він навально вривається в двері та напористо квапиться до свого, центрального мікрофона і з ходу відкриває презентацію. Не стану тут розповідати про неї: презентація, трохи банальна і трафаретна, як усі нинішні презентації. Їх у нас тепер вистачає, і всі вони – на один копил.

А от після неї, як тільки вона скінчиться, і нас запросять, як водиться, на фуршет, Леонід Данилович знову візьме мене під руку і весело й гучно, щоб чув і Черномирдін, питає з усмішкою:



– Шановний авторе трилогії, який сьогодні день? Яке число?
Зупиняюсь, як вкопаний:

– Господи! – видихаю з самої душі. – Двадцять восьме квітня!
День мого смертельного поранення на Фрідріхштрассе в центрі Берліна!

– І саме в цей час, – показує на своєму годиннику Леонід Данилович. – Зараз саме двадцять годин, як тоді, в сорок п'ятому, – а сам сміється.

Такі хвилини не забуваються: це ж він так влаштує, щоб саме того дня, в той же час, як я був фактично вбитий автоматною чергою есесівця в ближнім бою, рівно через 60 років, призначити презентацію «Советского солдата» – моєї трилогії про нашу Велику Вітчизняну війну! Обнімаю й цілую Леоніда Даниловича, ховаючи очі від нього, від Черномирдіна, від московських і київських друзів – солдати ж бо не плачуть!

От і виходить, що кожна зустріч з ним – немов винагорода за всі пережиті страждання. А як же страждає він сам від наговорів і наклепів! Особливо від журналістів-циніків, що все, буцім то, знають і всіх повчають та оббріхують, прикриваючись «свободою слова». Не маючи за душею ламаного шеляга, з усіма розмовляють менторським тоном, дивляться на всіх і на все зверху вниз. І немає рятунку від їхньої брехні. Немає на них і управи: вони ж ні за що не несуть відповідальності! Он Скабічевський писав, що Чехов умре під тинем від пияцтва, і ніхто його не притягнув до відповідальності за дискредитацію найчеснішого, найчистішого душевно й морально письменника – Совісті Росії? Тільки сам Антон Павлович не втримається, вражений цією брехнею й цинізмом, скаже десь, і це пам'ятається й донині: «Таких пасквильянтів, как Скабичевский, нужно убивать палкой по голове!» – так допекли навіть доброго, інтелігентного, делікатного і скромного автора найлюдяніших, найкращих у світовій літературі повістей і оповідань. Так це ще коли було? У позаминулому столітті! А зараз? Зараз цинізму встократ побільшало! Журналісти по-своєму, по-розбійницьки використовують «свободу слова». І на них нема ради за нинішньої моделі демократії, підсунутої нам насаджувачами «Нового світового порядку на всі віки».

7. Несподівані візити

Глуха, сніжна й морозна зима. В нетопленій, без батарей, кімнаті чекаю завершення ремонту, а він тільки розгортається в цю зовсім несприятливу пору. В самотині інколи мені здається, що



всі мене забули й покинули. Друзі повмирали. Або хворіють, як найдавніший та найближчий з них — Павло Загребельний, надзвичайно талановитий і невтомний трудівник нашої нещасної літератури. Діти й онуки працюють і вчать — завантажені так, що й ніколи й угору глянути. Та я й сам намагаюсь не переобтяжувати їх ні своєю особою, ні своєю присутністю, ні своїми проблемами: у цьому клятому й метушливому світі проблем кожному вистачає й своїх, щоб ще й чужими займатися. Та іноді ночами, коли все замре і навіть щезнуть автомобілі із ближньої траси, наче їх вітром здує, а в нетрях Великого Дніпрового Лугу озивається самотній, як і я, вовцюга, виючи з туги на місяць, зане серце за всіма, кого я знав і любив і хто покинув мене на цьому незатишному світі.

І пригадається дивовижна строфа молодого-молодесенького Борі Олійника, написана ще 1962 року: «І ніхто мене не чує. І ніхто мені не пише. І ніхто мене не жде і не гука...» Наче про мене, теперішнього.

Дивовижна у нас поезія! Особливо «шістдесятників» — мабуть, найкраща і найсильніша в Європі! А може, й у світовій літературі. Бо поезія зараз відмирає: її жере, з'їдає телебачення, комп'ютери, Інтернет, американські криваві бойовики і порнографія. «Скушно на этом свете, господа!» — зігхнув колись наш Гоголь, ніби не так про свій, як про наш час, заглянувши далеко вперед! Так дивитися можуть тільки Генії.

І раптом саме отакого розпачливого дня, перед самісіньким Новим роком, 31 грудня, дзвінок по мобільному телефону:

— З наступаючим святом! — чую віддалений голос Леоніда Даниловича. — Як там у нас? Сніг випав? Морози жмуть?

— Ще й які! Зима люта, справжня...

— А тут — літо. Тридцять градусів у тіні.

— Де ви? В Сочі?

Леонід Данилович називає якийсь екзотичний острів, назви якого я й не чув. .

— Це — Тихий океан?

— Ні, Індійський. Будь ласка, відчиніть ворота. Зараз хлопці привезуть вам Новорічні гостинці. — Мобільний телефон відключається раптово, як і задзвонив. Ніби й він пірнає в теплі хвилі Індійського океану. І так завжди — ніяких формальностей! Навіть вітання ігноруються.

Тільки діло! Це стиль телефонних розмов Плисецька, Байкожура, Янгеля, Корольова і Макарова, вироблений на «Південма-



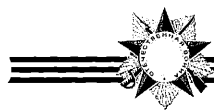
ші» багатолітньою працею, і десятиліттям президентства, що не минає ні марно, ні безслідно.

За якоїсь півгодини після цієї короткої розмови «Мерседес» в'їжджає на засніжене подвір'я, і браві хлопці з охорони вносять пахучу ялинку, екзотичні і яскраві серед зими помаранчі, виноград, свіжі помідори та огірки – зелені-зелені та свіжі, так що одразу пригадується забуте літо. А хлопці одразу ж розкладають на столі рожеву сьомгу, бурштинову осетрину, барвисті коробки шоколадних цукерок. Ставлять пляшки шотландського віскі, коньяку та горілки. Ну і, звісно ж, увінчує стіл новорічна пляшка «Шампанського». Як же без неї?

Хлопці – хоч куди! Високі, атлетичні, добре треновані. Але серед них немає Руслана. Мабуть, він там, на тому екзотичному острові в Індійському океані, разом з Леонідом Даниловичем та Людмилою Миколаївною. А ці всі, як один, зі мною за панібрата: обнімають, цілують, вітаючи з Новим роком. Тепло й гамірно стає в нетопленій хаті. І ще тепліше в охололій самотній душі: Новий рік сам прилетів до мене з острова в Індійському океані!

А в кінці лютого приїздить Леонід Данилович серед дня. Сам за кермом «Мерседеса», без охорони. І їде прямо до великого будинку – дуже затягнувся ремонт! Так що й краю йому не видно. Тільки після цього повертається, дістає з багажника дивовижно величезний букет яскраво-червоних палахкотючих троянд, свіжесеньких, немов щойно з ранкового саду, осипаного рососою, і заносить мені.

– Жодних пригощань! – рубає з плеча, помітивши мою метушню від кухні до столу. – Я на кілька хвилин. Поздоровляю Вас з Днем Радянської Армії та Військово-морського флоту! – і вручає букет, який закриває мені все обличчя і очі. – Тепер це свято зветься Днем Захисника Вітчизни – я сам підписував Указ про його перейменування. Під тиском «демократичної громадськості». – Підкреслює, роблячи наголос, не фонетичний, а смисловий. Уточнює: – Особливо – зарубіжної, заокеанської. Зрештою, хай буде так. Але ж батько мій, як і ви, воював і загинув під Великим Новгородом у лавах Радянської Армії. Політруком. Його могилу, вірніше – братську могилу, в якій він похований, знайшли пошуковці, вже коли я став Президентом. Щороку з онуком літаємо 9 травня, в День Перемоги, кладемо квіти й поминаємо його та його бойових побратимів, які там лежать. А сьогодні я привіз квіти вам. Бо батько далеко, а ви – близько. І приїхав я саме в цей день, щоб сказати вам... Щоб ви знали: Книгу вашу про війну нашу Священ-



ну я видав і оплатив і ремонт вашої дачі роблю, як робив би своєму батькові! Його я майже не пам'ятаю – малим був, як він ішов на фронт. – Замовкне, замислиться.

– Але все життя горджуся ним. Горджуся тим, що я – син солдата, воїна Радянської Армії, котрий віддав своє життя, захищаючи Батьківщину. А ви – бойовий, фронтовий побратим мого батька. Представник його героїчного покоління. Такого патріотичного й відданого покоління у нас вже ніколи не буде!

– Не знаю, Леоніде Даниловичу, як вам і дякувати, – кажу йому, тримаючи дивовижний букет у руках і ховаючи в ньому обличчя, очі, вдихаючи тонкий і чарівний трояндовий аромат, такий ніжний, як далекі й напівзабуті мрії про щастя, про любов, про доблесть і славу. – Це ж не тільки мені... Це й дітям та онукам ... І книга. І ремонт цей...

– Ні! – різко перебиває мене. – Саме вам! Представникові покоління мого батька. Теж були тяжко поранені, як і він. Тільки вижили. А він помер від ран у госпіталі... – Леонід Данилович тяжко зітхає, переводячи подих. Йому нелегко говорити все це. Він з великим зусиллям каже про батькові страждання – і батькову смерть. Але він має це сказати. І я бачу, як йому важко це говорити. І думати про це.

Дістає сигару, надкушує кінчик і закурює, відганяючи дим від троянд. Робить це якимось механічно, думаючи зовсім про інше. Потім забирає у мене букет:

– Шукайте відро, наливайте в нього води. І троянди ваші стоять до весни. Тільки винесемо їх в коридор, щоб тут, у теплі, вони не зів'яли передчасно.

Сам же й примостить відро і букет в куточку, щоб не перекинулися. І виходить на двір. Виходжу і я. Опашки накинувши на плечі козушок. Леонід Данилович рукавицею збиває сніг з ганку, сідає на приступку. І я сідаю поруч із ним. І ми довгенько мовчимо. Гарно нам – отак сиділося б рядочком, мовчалося б, як на поминках. Тільки б відчувалося оце душевне єднання, дорожче за всякі слова! Надворі вже повіває теплий вітер. Пахне снігом і чується подих весни, хоч небо й затягнуте хмарами. Але вони якісь тонкі й тремтливі – ось-ось ніби розійдуться й відкриють небо і сонце. І тоді потепліє і зовсім розвесниться.

– Ніколи вже в нас не буде такого покоління, як ваше, – повторює Леонід Данилович, помовчавши. – Нікому зараз виховувати таких патріотів. Та й не дадуть, – уважно і строго гляне на мене, ніби прикидаючи: втямлю чи не втямлю, хто саме не дасть. – Ви



ж бачите, що роблять з нашою молоддю. Як розбещують її і морально, й ідеологічно, і духовно. Роззброюють її! Хіба ж такі люди відстоять у тяжких боях Батьківщину? Продадуть і зрадять рідну матір! Розбіжаться за першим же пострілом... – Він знову надовго вмовкає, курить і думає. А потім обертає до мене своє строге, але провітліле лице:

– Хочу, щоб ви знали: роблю все для вас, як робив би своєму батькові, якби він був живий та здоровий. Оце головне, що я хочу сказати вам сьогодні, в День Радянської Армії і Військово-морського флоту.

Леонід Данилович швидко тисне мені руку і йде, не попрощавшись. Сідає за кермо свого «Мерседеса», і тільки сніг за ним завихриться! Стою один на спорожнілому подвір'ї. І згадую свого батька, як він отак самотою жив без мами після її смерті. І як йому було тяжко на душі. А я був далеко, аж у Києві, поглинутий кіностудійними проблемами без кінця й краю. Так що рідко й згадував його, самотнього. І серце моє защемить за пізніми каяттям. Він би оце й про від'їзд Леоніда Даниловича сказав би по-своєму:

–Тільки жмурки схватилися! – Це був його улюблений вираз, один з наших ново-олександрівських афоризмів, завжди несподіваних і точних.

Любий мій батько-батьчко... Скоро й мене не стане. І нікому буде згадати і маму, і вас. Ваші труди і дні, муки, страждання й надії розвіються з вітром – пропадуть, наче їх ніколи й не було. Ви й зараз існуєте лише в моїй пам'яті. Тільки хата, побудована вами замолodu, та сад, посаджений і виплеканий вами над ставом, двір, по якому так легко носили маму її босі ніженьки, та ваші могили на забур'яненому сільському кладовищі – оце тільки й лишилось від вашого стражденного життя. Але скоро вже й цього не стане. І невідомо, нащо люди в муках народжуються, весь вік тяжко працюють, в муках і помирають? Нащо? І що залишиться після нас? Люди ж ніколи не замислюються над цим – живуть собі, щоб жити. А Еклезіаст ще в сиву давнину гірко думав про це і лишив нам свої безсмертні сентенції й афоризми, які вражають і досі. І навіть лякають нас – так що ми відвертаємо від його істини і очі, і душі свої...

«В майбутні дні все буде забуто, – писав він у тяжких роздумах про марноту марнот нашого незбагненого життя. – Немає пам'яті колишнім людям. І любов їхня, і ненависть, і ревність пощезнуть. І немає їм участі ні в чому, що діється під сонцем...»



Амінь! Бо краще ніхто не сказав і не скаже, – «доки світу й сонця», як мовиться в моєму рідному селі на Баштанщині й Миколаївщині.

8. Його книги і його життя

Першу свою книжку як спробу осмислити свою долю і своє життя Леонід Данилович напише по гарячих слідах після перемоги на дострокових президентських виборах. Це було потрясіння, ейфорія, що зміниться потім усвідомленням великої відповідальності, що віднині не ляже, а впаде важким тягарем на його плечі. Книжечка невелика. І назва її дуже влучна – «Про найголовніше». Вичерпна і точна назва! Це сповідь людини, здивованої тим, на яку височину державного і суспільного життя несподівано вине сла її доля. Щира розповідь про свої почуття й переживання, безхитрісна й нелукава розмова з читачем, як з рівнею: ось ти – мій співвітчизник і співгромадянин, а ось я – такий самий, як ти, українець, сільський хлопець, син загиблого солдата, що ріс і виходив у люди без батька. Школярем працював на різних польових роботах разом з мамою у рідному колгоспі на Новгород-Сіверщині. Був студентом, потім стану комсомольським ватажком і активістом, комуністом і партійним керівником – парторгом ЦК на знаменитому «Південмаші», який згодом доведеться очолити, ставши його директором.

Виготовлятимемо не що-небудь, а балістичні ракети-носії і возитимемо їх на полігон «Плисецьк» Академікові Янгелю, а потім і на Байконур – Корольову. Спочатку для запуску супутників Землі. А потім і для запуску космічних кораблів, у яких полетять у космос перші космонавти. А далі – й космічні станції.

Прекрасна доля і не менш приваблива трудова і творча біографія, розказана щиро і скромно, без хизування і гордості. Навпаки, із здивуванням! Що така блискуча кар'єра і щаслива доля випала саме йому – звичайнісінькому хлопчикові-безбачченку з чернігівської глибинки.

В цій нехитрій книжечці найбільше вражає простота і щирість розповіді про те, як запеклий виробничник і «Червоний директор» наймогутнішого всесвітньовідомого підприємства науково-оборонного комплексу Радянського Союзу стає спочатку Депутатом Верховної Ради Незалежної України, потім Прем'єр-міністром, а тоді вже й Президентом Держави, яка ще тільки спинається на ноги. Як міняється, розширюється і поглиблюється його світогляд. Як зживаються стереотипи суспільного, ідеологічного і політич-



ного мислення під тиском тих відповідальних обов'язків і завдань, які постають перед людиною, наділеною високою і найвищою владою. Жаль, що у нас зараз, як і в усьому метушливому й прагматичному світі, змінюються морально-етичні й естетичні цінності й уподобання. Що відмирає література, серйозна, а не споживацька філософія. Що телевізія вбиває книгу. Напиши зараз хоч «Іліаду і Одиссею», «Війну і мир» та «Анну Кареніну» чи «Тихий Дон» – ніхто й вухом не поведе! Запевняю вас. Інакше, якби літературу цінували й читали, то й цю скромну книжечку свого Президента українці помітили б і зацікавилися нею. Не тверджу, що нею зовсім не цікавляться і не читають. Кажу, що мало цікавляться і менше читають, ніж слід би було читати. От що головне. Самі в цьому винні: «Прагматизм! Прагматизм!» – твердимо, мов папуги. А що прагматизм убиває душу, поетичне сприйняття світу, обмежує любовмудріє, як казали в старовину, та прагнення прекрасного у світі і в самій людині притлумлює і вбиває заради чистої вигоди, – це нікому і в голову не збреле!

Як тут довірливо й просто розказано про оту ніч після виборів – тривожну, сповнену надій і бентежного очікування! Нічні телевізійні новини, підбиваючи підсумки дуже попереднього підрахунку голосів, залишать пріоритет за діючим Президентом. А на ранок донька Олена гукає:

– Тато! Візьми трубку. Тобі з Центральної виборчої комісії телефонують.

Оце й була ота радісна вість, мить перемоги, довіри народної, що возносить на висоту, яка мало і дуже рідко кому із смертних випадає на цій грішній землі! Коли читаєш цю безхитрісну й щирю розповідь, стаєш і сам учасником тих незабутніх подій і ділиш усі переживання з щирим і довірливим автором безоглядно і безпосередньо! Чому ж ця радість не лишається з нами назавжди? Чому злоба і лють витісняють її? Тому, що знайдеться багато піднощиків хмизу в багаття роздутої заздрісниками і ворогами ненависті, як вистачало їх на аутодафе, коли інквізитори спалювали на майданах еретиків, а середньовічні правителі – Коперніка, Жанну д'Арк, щоб потім прийдешні покоління віками славили їх, оплакуючи.

Ну, і кому ж несе свою радість – радість досягнутої перемоги – новообраний Президент України? Він їде старенькою «Волгою» на могилу неньки в далеке й глухе Чернігівське село, звідки вийшов у люди під її благословенням. Найблагородніший і найблагословенніший порух синівської душі! І ми ніби їдемо тим шляхом золотим до матеріної могили разом з нашим щирим оповідачем,



ділячи з ним і радість перемоги, і ревний жаль за тим, що мама ніколи не визнає, яка щаслива доля випала її синові. Як це по-нашому, по-народному, по-українському!

Але ж не дарма наш незабутній Поет назве одну із своїх збірок «З журбою радість обнялась». Так у цій книжці, на отій святій дорозі до матері обніметься з радістю підступність: дзвонить Мороз по отому допотопному величезному сотовому телефону:

– Леоніде Даниловичу, зараз на ранковому засіданні Верховної Ради затверджуватимемо Голову СБУ, – і називає кандидатуру. – Ви не проти?

Новообраний Президент ще й у своєму кабінеті не був, не заходив туди, не встиг прийняти справи, а йому вже, як на пожежі, підкидаються отакі пропозиції!

Толерантний і витриманий від природи та й добре навчений багатолітнім досвідом, Леонід Данилович витримає паузу – не стане дорікати спікеру за його поспішливість. А Мороз тим часом наполягає. І тоді Леонід Данилович спокійно скаже йому:

Перенесіть це питання на завтра. Я ж зовсім не знаю цю людину. Хочу зустрітися і хоча б познайомитися з претендентом на таку відповідальну посаду.

На цьому розмова й закінчилася. Але незабаром з трансляції засідань Верховної Ради по бортовому радіоприймачу у тій же старенькій «Волзі» по дорозі до матеріної могили Леонід Данилович почує, як Мороз внесе-таки кандидатуру на пост Голови СБУ, запевняючи зал, що питання погоджено з Президентом. Отакі сюрпризи підносяться новообраному президентові, коли він ще й не став Президентом! В народі це називають: «Підкладають свиню». І краще вже не скажеш.

Цю книжечку Леонід Данилович подарує мені під високими реліктовими соснами в Кончі-Заспі, куди мене завезуть по дорозі у Феофанію із запаленням пораненої ноги. Буде сьома година ранку. Леонід Данилович в тренувальному костюмі і в оточенні охорони рушає на щоденний ранковий крос. Вручивши мені книжку без автографа, скаже:

– Їдьте і гарненько підлікуйтеся. А потім побачимось, – і легким, сягнистим кроком піде, не оглядаючись. Так що охорона підбігцем доганятиме його. Приємно було дивитися, як він легко й швидко йде під високими деревами. Який він ще молодий і дужий, який свіжий після ранкової гімнастики і душа! «Хай легкими й радісними будуть ваші кроки, Леоніде Даниловичу, ваші дні, ваші шляхи і відстані!» – якось отак подумавши, сідаю в присланий



ним за мною «Мерседес» і їду далі – вже в котрий раз у Теофанію за його наполяганням, дивуючись його турботливості та уважливості.

Він і зараз дуже зайнятий діяльністю свого фонду – багато їздить по Україні в його справах, цілими днями приймає у самому фонді і в своїй резиденції в Кончі-Заспі людей і зовсім не схожий на пенсіонера, ярлик якого вперто, наполегливо й нахабно ліплять йому журналісти. А особисті лікарі Леоніда Даниловича розповідають, як багато і вперто займається він ранковою гімнастикою та важкою атлетикою в тренажерному залі, плаває по цілій годині в 25 метровому басейні, вижимася по 10-12 разів 80-кілограмову штангу і проходить щорання п'ятикілометрові кроси по пісках, так що лікарі й охорона ледве встигають за ним. Тому він завжди в гарній спортивній формі – зібраний і діяльний.

Другу книгу свою «Україна – не Росія» він видасть у Москві в подарунковому варіанті й привезе мені першого ж дня нашої зустрічі – в День Космонавтики 12 квітня 2005 року. Вже в самій назві підкреслено ідентичність Незалежної Держави. Можна не сумніватися: мало кому там сподобалася ця виклична, майже демонстративна назва. І особливо зміст цієї книги. А отже й підтримки Росії після виходу цієї книги Леонід Данилович позбудеться. Не офіційної, а «підклимної», як це називають в журналістських колах.

Можна не сумніватися, що Леонід Данилович свідомо дає таку категоричну назву своїй книзі: десятилітнє президентство віддано саме становленню й утвердженню Незалежної України! Хоч це й не визнають хулители, які привласнюють право всіх повчати, перевершуючи в безапеляційності суджень і Президентів Держав, і Президентів Академії наук. Не зупиняються перед осудом, а то й шельмуванням істориків, філософів, полководців. Хоч самі нічого не петрають у цих галузях і не здатні ні на що, крім безвідповідального базікання.

А ляльководи і куховари сучасної геополітичної кухні, особливо заокеанські, сіючи хаос у світі для успішного досягнення своїх стратегічних інтересів, всіляко заохочують так звану «вільну» пресу, нацьковуючи її на владні державні структури, щоб викликати перманентну нестабільність, так званий «керований хаос» в зоні своїх «державних інтересів», розкиданих по всьому світу для досягнення власних корпоративних та національних інтересів – інтересів єдиної в світі «Наддержави».



Вся ця рать борзописців і телебазік з подачі ляльководів накинеться свого часу на першого Президента Незалежної України Кравчука, як тільки він публічно обуриться безпардонним втручанням у внутрішні справи своєї Держави. Його негайно «здадуть» після телевізійного протесту, в якому він відкритим текстом дасть їм одкоша: «Чому вони лізуть чи пруться до нас із своїми статутами? Чому вчать нас, як нам жити в своїй Незалежній країні?» – обурюватиметься Президент Кравчук, звертаючись до своїх виборців та співгромадян.

Одразу ж після цього телевізійного виступу насаджувачі «Нового світового порядку на всі віки» через своїх помічників – «Агентів впливу» – протягом кількох місяців створять в Україні атмосферу такої нестабільності, що її доведеться розв'язувати достроковими президентськими виборами. Це всі добре пам'ятають.

Назавжди запам'ятається й День Уряду у Верховній Раді – його повністю транслюватиме телевізійний канал УТ-1, – коли тодішній Прем'єр Кучма покине трибуну, з якої звітуватиме того дня перед Парламентом, і підніметься в Президію Верховної Ради до Президента Кравчука та спікера Плюща і в упор питає їх:

– Скажіть мені нарешті, яку державу будуємо? Бо я – Прем'єр України – ніяк не втямлю, що ми будуємо! – Спитає, схилившись до них – вгодованих, огрядних, самовдоволених і самовпевнених. Випростається і піде геть в глибину цього незабутнього телевізійного кадру – стрункий, елегантний, інтелігентний.

Вся Україна побачить тоді цю сцену й возрадується! Бо ніхто не розумів тоді й справді, що ж ми будуємо? Яку державу? З якою моделлю економіки? Куди й до чого ми йдемо, торгуючи мотлохом по всіх усядах, коли заводи й фабрики стоять, фінансова система не працює, люди тиняються по смітниках, безробітні і безпритульні. Страшно й зараз згадувати ті часи! Леонід Данилович поставить це запитання вже й не від себе – він питає Верховних Правителів від імені всього українського народу, що й справді опиниться на роздоріжжі. Зоряна мить! Вона буває не лише у великих режисерів, акторів, письменників та вчених, але зрідка – дуже зрідка! – і в державних діячів та політиків. То й була саме така Зоряна Мить для Прем'єра Кучми.

Я певен: тоді, саме тієї миті, в нього закохається вся Україна! Бо він за багато літ, а може, й віків заговорить вустами України, голосом її народу – рідного народу, який дав йому все. Йому – сироті, синові загиблого солдата Радянської Армії! Він висловить не лише свої, а в першу чергу народні тривоги, викликані зневірою



й розпачем. Недарма ж не лише телевізія, а й уся преса дружно відтворюють на своїх шпальтах ту драматичну, сповнену великого сум'яття і змісту сцену: королі виявляться голими! Вони досі не мали уявлення, що діється з Україною, з її економікою, виробництвом і фінансами, з її народом. Ні Кравчук, ні Плющ.

Одним коротким запитанням Леонід Кучма висвітлить всю абсурдність і безпорадність внутрішньої політики тодішніх верховних правителів, ніби поставить діагноз, який усіх вразить, відкривши очі на абсурдність становища, в якому опинилася на той час Україна.

Скаже й піде з прем'єрства, щоб повернутися Президентом. Сам він, можливо, й не усвідомлював тієї Зоряної Миті. Бо діяв за велінням серця. За покликом своєї чистої і чесної, діяльної душі громадянина і патріота. В таку мить людина забуває себе.

А Толстой в кінці життя твердив: найпрекраснішою людина буває тоді, коли з любові до ближнього і заради святого діла забуває себе. Цей ясно-полянський мудрець знав, що говорив. І нам це заповів...

Пам'ятаю, одна газета дала цілий фоторепортаж тієї пам'ятної сцени, немов у кінокадрах: як Прем'єр підходить до двох Перших Осіб Держави, як, схилившись до їхніх облич, ставить своє, запитання, як випростовується і йде в гліб фотографії – з достоїнством, незалежний і гордий. Але самотній-самотній, Боже ж ти мій! Таким він запам'ятається назавжди...

Ну, а третю книгу – «Своїм шляхом» – він пришле мені охоронцем у Феофанію, де я лікуватимуся, з написом: «Дорогому Олександру Олександровичу! Якщо у Вас буде вільна хвилина, перелистайте сторінки цієї книжки, я буду радий. Л.Кучма. 12. 10. 2006 р.»

Читаю, а не листаю цю складну, аналітичну книгу, в якій наш колишній Президент оглядає пройдений шлях – свій власний, шлях становлення державної самостійності, стан і розвиток України, розмірковує про свої пошуки й рішення, не забуває і свої помилки та прорахунки. Бо про своє десятилітнє Президентство міг би сказати словами Твардовського, мовленими з трибуни письменницького чи партійного з'їзду: «Не шутки шутим! Не в бирюльки играем!» Хоч Олександр Трифонович мав на увазі тільки літературу, а не управління Державою, та ще в перехідний період.

Хоч я й не фахівець – нічого не тямлю в економіці та фінансах, – але про цю серйозну книгу гіркого і складного управління державою варто було б написати. І я, можливо, ще напишу колись



про неї. Однак, уже зараз не погоджуюся з тим, що розколгосплюванню альтернативи не було! Була, була альтернатива! І про це свідчить досвід Білорусі, де я щойно побував на З'їзді письменників і все бачив на власні очі. І досвід півторамильярдного Китаю свідчить про те що тільки крупнотоварне сільськогосподарське виробництво має історичну перспективу. Дрібні ж приватні чи, як колись казали, одноосібні господарства приречені на загибель...

До того ж, учені — радники Президента — Саблук, хто там ще? — не задумувались над тим, до чого призведе руйнація колгоспів і радгоспів, розпаювання земель? Вони, мабуть, не читали ні видатного, всесвітньовідомого англійського економіста Адама Сміта погляди якого не тільки поділяв, а й гаряче підтримував і пропагував Лев Миколайович Толстой у своїх публіцистичних роботах. Обидва Великі Мужі твердили: приватна власність на землю призведе до духовної деградації, а не лише до соціальних та майнових конфліктів, які зараз буквально терзають Україну. Толстой прямо твердив: «Личная собственность на землю — Великий Грех... Проституция от нее!»

А в Біблії написано: «І сказав Господь Мойсеєві, що стояв на горі Сінайській:

— Земля не повинна продаватись і здаватись в оренду навічно. Бо — моя земля!»

Що ж зараз робиться по селах? Ні ферм — розібрані й розтаскані з фундаментами, загублені, розграбовані й понищені польові тракторні стани, вирізана і вивезена закордон велика рогата худоба! І винних нема. І по селах наче Батий пройшовся зі своєю кіннотою, все грабуючи й плюндруючи. Все це я бачив цього року, побувавши в своєму селі на могилі батьків. І ніхто мене не переконає, що реформи на селі поліпшили життя селян. Навпаки, село вигибає! І я не знаю, як його можна тепер врятувати...

Розколгосплювання — це те ж саме розкозачування, проведене 1919 року Троцьким і Донбюром, яке він очолював, на Верхнім Дону. Про це писав Шолохов у своєму «Тихому Доні». Потрясіння, що впали зараз на селян, нагадує період розкуркулювання і колективізації. Отже, все, що йому нарадили псевдовчені-аграрники і що він зробив із селом, назвавши це земельною реформою, найтяжча помилка і найтяжчий гріх Президента Леоніда Даниловича Кучми. Це я заявляю твердо і відверто, пам'ятаючи античний афоризм: «Платоне, ти — друг, але істина дорожча!»

А все інше, що інкримінують йому вороги, жадібні до влади, не що інше, як заздрість, інсинуації, брехня і наклепи! Це заявляю



я – колишній солдат Великої Вітчизняної, майже убитий в ближнім бою на Фрідріхштрассе в самому центрі Берліна і врятований диво-лікарями, хірургами Центрального науково-дослідного клінічного госпіталю Червоної Армії в Москві, куди мене доставили спеціальним санітарним поїздом для тяжкопоранених учасників штурму Берліна. Леонід Данилович Кучма – справжній Президент, Патріот України! Це я сказав би й перед строєм своїх однополчан 101-го гвардійського полку, який майже поліг там – на головній Берлінській вулиці в останні дні війни. Але кажу тепер Вам, дорогі мої співвітчизники: не вірте обріхувачам та пасквілянтам! Наш десятилітній Президент Леонід Данилович Кучма достойний не лише моєї, а й Вашої, Всенародної, шани! Були в нього помилки – зокрема й кадрові; призначення, скажімо, Прем'єром Лазаренка, чи губернатором – Шербаня. Але хіба ж це його вина, що вони виявилися такими? Це ж скоріше його біда!

Але згадаймо, в якому становищі він прийняв від свого попередника Україну і яку передав наступникові! Хіба можна порівняти нинішню ситуацію з тією фінансово-економічною стабільністю і розвитком, які панували протягом десятилітнього президентства Леоніда Кучми, хоч воно й припало на найважче та найскладніше десятиліття становлення України як самостійної Держави. Він багато зробив доброго для нас з Вами – згадаймо ще раз введення гривні, на яке не зважувалися його попередники, виготовивши її ще 1992 року і, побоявшись відповідальності, не зібрались з духом, щоб замінити цією справжньою валютою оті жалюгідні купони. Пригадаймо підняте з колін промислове виробництво, налагодження фінансово-банківської системи, спорудження нових енергоблоків Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, будівництво автобану Київ – Одеса, швидкісних залізничних магістралей та нових вокзалів. А скільки разів під час акцій протесту Україна опинялася на грані громадянської війни і кровопролиття? І тільки залізна воля, витримка і спокій Президента Кучми врятували нас від трагічного розвитку подій. Звичайно, були зумовлені складністю і новизною проблем та непротореністю шляхів недогляди й помилки, без яких у такому складному економічному, фінансовому, політичному процесі становлення самостійної держави не обійтися. Та й радники та наглядачі з Міжнародного Валютного фонду диктували свої умови, мов за конвоювання: «Крок вліво чи крок вправо – стріляю без попередження!» Заради об'єктивності відкиньмо упередженість і ворожість і погляньмо на шляхи і відстані, пройдені Україною за десятиліття і подолані



її Президентом. І ми побачимо багато доброго, а не лише лихого. Хоч живеться всім нелегко, а іноді й дуже важко! Що на селі, що в Донбасі. Такий нам час випав – час злочинного й підступного розвалу Радянського Союзу, час будівництва самостійної і незалежної держави, становлення порушеної і пошуки нової моделі економіки.

Безконечні нападки на Президента і його оточення в самій Україні особливо вибухнули в час президентських перегонів 2004 року, коли за це брудне діло взяли зарубіжні і навіть заокеанські координатори й політтехнологи. По правді кажучи, у мене виникло передчуття цих подій ще на початку президентства Леоніда Даниловича, коли він 9 травня 1995 року на 50-річчя Перемоги у своїй промові віддав належне Сталіну як Головнокомандуючому у Великій Вітчизняній війні, як керівникові й організаторові, що зумів вселити віру радянських людей в перемогу над фашизмом, у високу місію визволення людства, а не лише Європи, від фашистського поневолення і рабства. А головне своєю непохитною волею і організаторськими здібностями об'єднав усі народи СРСР на відсіч ворогові і на Перемогу над ним.

Ветерани Великої Вітчизняної війни в переповненому палаці «Україна» в єдиному пориві зірвалися на ноги і влаштували овацію президентові Кучмі, який зважився сказати правду – ту святу правду, яка переповнювала серця героїчного покоління Переможців фашизму. Я теж радів тій Правді. Але в глибині душі чи в підсвідомості билася тривожна думка, скоріше – передчуття: цього Леонідові Даниловичу не простять ті сили, які розірвали й знищили Радянський Союз! Які паплюжать і принижують нашу Перемогу і нас самих – учасників тієї Великої і Священної війни! А Сталіна обливають брудом від дня його смерті. А може, й раніше.

Так воно і сталося: почалися нападки на нього майже з перших днів президентства, а через десять років ці технології вилилися в «Помаранчеву революцію» і «Майдан». Тому справжньою подією стала остання книга Леоніда Даниловича «Після майдана. 2005 – 2006» з підзаголовком «Записки Президента». Вона відзначається сповідальним характером.

До речі, і попередні книги «Про найголовніше» і «Україна – не Росія» теж не вписуються в жанр спогадів чи мемуарів: їх писав діючий Президент України, який перебував в епіцентрі державних і політичних подій! Які ж це спогади чи мемуари, коли на його плечах, на його сумлінні і долі лежав тяжкий вантаж обов'язків і повноважень Президента України? Це не що інше, як хроніка по-



дій, викладена Головною Діючою Особою української держави і політики.

Таким самим характером сугурбої причетності і прямої участі у викладених подіях позначена і третя книга. Звідси й уточнення: «Записки Президента», а не стороннього спостерігача. Адже само собою зрозуміло: з припиненням повноважень не так то просто і легко (якщо взагалі можливо?) повністю відректися і самоусунути від десятилітнього президентства, що припало, повторюю, на найтяжчий, найскладніший період становлення України як самостійної, незалежної, суверенної держави. Разом з тим, це було і найяскравіше та найвідповідальніше десятиліття в біографії і в долі самого автора. Як же тут обійтися без сповіді? Без роздумів про свої шляхи і відстані, про власні досягнення й прорахунки? Про жаль за тим, що не всього вдалося досягти, хоч і були можливості.

Отже, перед нами записки самого Президента! Записки правдиві, чесні, відверті, як сповідь перед близькими й далекими людьми, як роздуми наодинці з самим собою – саме ці обставини й особливості і складають головний інтерес, визначають суть цієї книги.

До того ж, знайдено точний і, здається, єдино можливий «ключ» або, якщо хочете, стиль розповіді – проста, довірлива розмова з читачами, своїми співвітчизниками, заради яких же й створювалася Незалежна Держава Україна – в труднощах, в муках, вперше в нашій історії!

Зміст книги подається у формі щоденних записів. Не стільки про поточні події окремого дня, а про те, які гіркі, в більшості своїй тяжкі роздуми хвилювали тоді й хвилюють зараз Президента в період його відставки: що вдалося, а що не вийшло, не склалося протягом десятилітньої президентської діяльності. Саме оці роздуми – найголовніше достоїнство цієї книги, котра, я певен, викличе неабиякий інтерес у читачів.

Вражає простота і ясність викладу найскладніших процесів становлення зовсім нової економіки, фінансової системи, промислового і аграрного виробництва – все це довелося налагоджувати, як мовиться, з чистого аркуша, не маючи ні аналогів, ні прикладів, ні напрацювань. Навіть мене – абсолютного профана в економіці та фінансах – по-справжньому захоплюють ці ностальгічні міркування про перші успіхи і гіркі роздуми про невдачі, втрачені можливості і прорахунки.

Ще більше хвилює відображення колізій і перипетій цього процесу. З неослабним інтересом читаю про пошуки шляхів ста-



новлення державності, що базується перш за все на економіці та фінансовій системі, котрі в той час, без перебільшення, лежали в руїнах. «І вітер, – як відзначає автор, – ганяв і розвіював вулицями Києва обезцінені купони». Заводи й фабрики, доменні печі й металургійні заводи стоять, шахтарі страйкують, а фінансова система не працює – навіть національної валюти нема! Бо купони введено тимчасово, доки друкуються в Канаді гривні. Вони, вже надруковані, другий рік лежать у підвалах Державного Банку України, але їх не наважуються чи не хочуть вводити попередники Леоніда Даниловича. І він, не вагаючись, бере на себе цю величезну відповідальність! Шкодує тепер, що не зробив це одразу – з перших днів свого президентства: фінансово-економічні втрати виявилися б меншими.

Розповідаючи про це чесно, скромно і просто, автор викликає у читача самий безпосередній душевний відгук, робить його мовби учасником усіх тих подій, котрі ще свіжі в нашій пам'яті. А головне – вводить нас в атмосферу тих складних і скритих від стороннього ока пошуків виходу зі складних ситуацій, з якими йому довелося зіткнутися на посту президента, не применшуючи, але й не перебільшуючи труднощів перехідного періоду в житті України.

Читання – захоплююче! Мені здається, що книга «Після майдану» – це справжній політичний бестселер: у ній нам вперше відкривають «кухню», якщо можна так висловитись, президентства, куди простим смертним доступу нема. Та навряд чи він і буде колись в ближньому чи далекому майбутньому.

Разом з тим, розповідаючи про ці складні перипетії й колізії, а також про свої враження й переживання, автор і сам розкривається перед нами як людина і як державний діяч в процесі становлення від «Червоного Директора», як він сам висловлюється, до Президента Незалежної України! Стає нам ближчим і зрозумілішим. Так що в кінці книги це вже – друг, а не лише особа, наділена найвищими президентськими повноваженнями.

За всієї прямиоти й суворості в зображенні найгостріших і навіть трагічних подій, книга «Після майдану» – я це з подивом підкреслюю! – надзвичайно добра! В ній немає і тіні озлоблення, гніву чи мстивості по відношенню до тих, хто «с великою охотою, с отменною злобой», за виразом Твардовського, проклинав діючого Президента за неіснуючі гріхи протягом усієї його десятилітньої діяльності, зводив наклепи і заважав працювати. Якщо ж і згадується це ганебне явище, то тільки з відтінком гіркоти, з подивом і поблажливістю до гріхів і людських слабостей. В цьому – мудрість автора. А му-



дреці ніколи не бувають злими, дріб'язковими і мстивими. Головна їхня зброя проти скверни – добрість і толерантність,

А добрістю, як відомо, обеззброюють найлютіших ворогів. Прочитавши цю мудру і ширу книгу, дивуєшся: звідки, із яких глибин невдячності, люті і темних закутків ущербної душі виникає ненависть до людини, яка бажала і бажає всім нам і нашій любій Україні добра, котра в міру своїх сил і можливостей намагалася робити це добро? Звідки ця зловна брехня, ненависть і наклепи? Чим вони викликані? Заздрістю чи невіглаством? Невже нашій нації і всім нам на роду написано ненавидіти своїх керівників? Гетьманів чи Кошових, Наказних чи Походних отаманів за Козаччини? Чи тепер – своїх, обраних нами самими, Президентів? Чи не цим підлим почуттям несправедливої заздрості й немотивованої ненависті пояснюється наша тяжка багатомісячна бездержавність?

Адже ми всіх огульно проклинаємо, не дивлячись ні на що! Тепер уже й Івана Сірка вслід за Богданом Хмельницьким – найвидатніших наших Гетьманів і Героїв того страшного часу, коли Україну терзали і Польща «от можа і до можа», і страхітлива Оттоманська імперія, і набіги кримських татар – «Зрадецькі хани з поглядом шулік» за вдалими визначенням Ліни Костенко

Гірко згадувати все це, читаючи книгу Леоніда Даниловича. Адже і його за десятилітні зусилля по утвердженню Незалежної України не шанували, як належало б, а ганили, цькували, принижували наклепами. Під транспарантами «Україна – без Кучми!» влаштовували вуличні безпорядки, бійки із спецназом та міліцією, що ледве не призвели до кровопролиття. «Кучму-геть!» – ревли на Майдані Незалежності. І внаслідок цього дійства отримали «всенародне обраного», за якого не нашкреблося й половини виборців.

Ну от і діждались «месії», з чим вас і поздоровляю, браття і сестри! А також з «музеями радянської окупації» у Львові й Києві. А ще маємо антиконституційні перевибори парламенту в наслідок трьох (!) антизаконних указів. Трьох Генеральних прокурорів України. Розігнаний «гарантом» Конституційний Суд. Гітлерівських поплічників, увінчаних званнями Героїв України. Переписану й перевернуту з ніг на голову історію. Отакі наші «досягнення»! «Без Кучми»! Зате – з «месією».

Найлютіші вороги не відважилися б отак цинічно плювати в лице народові-воїну, народові-переможцеві фашизму, народові-трудівникові, паплюжачи його працю і подвиги, неповерненні втра-



ти у Великій Вітчизняній війні. Хто здатен отак топтатися по історії свого народу? «А чи ж свого?» – мимоволі думається з гіркотою.

Але навіть з цього кричущого приводу не знайдемо в книзі Леоніда Даниловича й тіні злорадства. Навіть натяку на критику. Толерантність і доброта, витримка і мудрість і тут не зраджують нашого автора. Саме ці риси характеру не дозволили Леоніду Даниловичу порушити Закон в найкритичніший момент «помаранчевої» вакханалії, коли розгнuzдані натовпи заблокували всі урядові будівлі і паралізували роботу Центральних органів державної влади. А Кабінет Міністрів навіть закрутили колючим дротом, як за фашистської окупації.

А головне – готувався штурм Адміністрації Президента! Але і в цій критичній обстановці Президент Кучма відхилить вимогу посадових осіб і найвищого генералітету примінути силу для розгону Майдану однією короткою, але владною фразою: «Не хочу крові на руках!» А потім врозумлятиме носіїв особливо гарячих голів: «Там же діти!»

Але повернемося до розгляду книги «Після майдану» й до часу, в який вона писалася.

«Боги вмерли!» – твердив ще в позаминулому столітті Фрідріх Ніцше. З ним важко не погодитися. Такі «боги сучасності», як рівність і братерство, Свобода й Демократія, під прапорами яких вершилися всі буржуазні революції, та й наша пролетарська Жовтнева революція, – ці боги дійсно вмерли або вмирають в сучасній Україні.

«За бідного гусара замовте слово!» – лунало у великосвітських салонах Петербурга в ХІХ столітті. Але Держава – не бідний гусар. Вона не потребує мого захисту. А Ви, Леоніде Даниловичу, на президентському посту багато зробили – так багато, як ніхто інший! – для утвердження Незалежної України! Хоч всього зробити й не вдалося.

І тут треба зупинитися, пригадавши Пушкіна: «Судіть автора за законами, обраними ним самим!». Отож, не зважаючи на мої деякі особисті претензії щодо реформ на селі, своєю мудрою, щирою й чесною книгою «Після майдану» Ви, наш Президент з 1994 по 2004 рік, завоюєте ще більше прихильників. Бо заслуговуєте найбільшої поваги до Вашого людського й громадянського достоїнства, втіленого у Вашій діяльності та у Ваших книгах.

Конча-Озерна, 2005 - 2008 роки



ЧИ ПЛАКАВ КОЛИ-НЕБУДЬ СТАЛІН?

Реквієм

*«Все, что было, все, что было, все дав-
ным-давно уплыло...»*

З циганського романсу

1.

Кінорежисерові Сайгаку постійно рве серце загибель атомного підводного крейсера «Курськ» — особливо, коли голландці не зуміють підняти його і залишать місце загибелі. І над неприкаяним, пустельним північним морем одна-єдина осиротіла сурма гратиме дивовижний реквієм, вже відспівуючи і крейсер, і його мертвий екіпаж...

І який би фільм не знімав після того Сайгак, реквієм над Баренцовим морем звучить і не перестає у його душі й пам'яті. Сам — колишній підводник — він переживе загибель «Курська», як особисту трагедію

Ось і зараз, перевіряючи перші кадри нового фільму, він все ще чує ту сурму і той потрясаючий тужливий і самотній реквієм.

— Пейзанство! — Припавши до кінооб'єктиву, визвіряється Сайгак на кінооператора. — Знову цитата з «Тіней забутих предків»? Доки ви будете їздити в санях Сергія Параджанова і Юрія Іллєнка: барвисті кептарі, завітчані крисані, розкішні смереки і райські кущі навколо! А в нас має бути кожен кадр жорсткий. Навіть жорстокий! Як сучасне життя! Де немає місця ні гламуру, ні пейзажу, ні етнографії, як в «Тінях», ні благополуччю! Бо нас, усіх слов'ян, Світовим Урядом Девіда Рокфеллера поставлено на конвеєр вимирання задля процвітання «Золотого мільярда» англо-саксів. Вони непомітно захоплять банки і пароплави, газети, радіо й телевізію всього світу! Привласнять через Конгрес і Президента США верстати для друкування нічим незабезпечених доларів. Нікому не підлягаючи і ні перед ким не звітуючи. Скажімо



хоч ми про це у своєму фільмі, якщо всі мовчать, наче змовились чи поміли! Або перелякались навіки! Сидять вони! Мовчать вони! І кіношники, й письменники, й державні діячі! Доки всіх нас винищать? В Росії щороку скорочується населення на мільйон, а в Україні — на 400 тисяч чоловік! Тобто без війни гине щороку на Україні армія Паулюса, оточена й знищена в Сталінграді! Думаєте, це випадково?

— У звуковому ряді лунатиме реквієм, — тихо заперечить оператор-постановник. — Чи не стане це «перебором» — пересиченням печалі, коли поєднається трагічний звуковий ряд із таким же трагічним екранним зображенням? А в контрапункті зображення і звуку щось тає! Ще від Довженка... Та й Фелліні, Бергман, Антоніні постійно використовують контрапункт. Тобто протиставляють звуковий і зоровий ряди, домагаючись потрясаючого ефекту!

— Коли гине в боргах МВФ Україна, вмирає її народ, щезають школи, а потім і села, нам не до ефектів! На цей жорстокий, бездуховний і прагматичний світ ніхто не настачить печалі, щоб її виявилось більш, ніж треба, для його відображення! — Знову розгнівається Сайгак. — Вчитуйтеся у режисерський сценарій — там все написано: що і як знімати! А до звукового ряду ще далеко! Ні ви, ні я, ні Папа Римський не знаємо, як він поєднуватиметься із екранним зоровим зображенням. Чи не виявиться зайвим або чужерідним?

Цієї миті озветься мобільний телефон, і Сайгак вихопить його з кишені зюйд-вестки, яку любить понад усе з часів своєї служби на Чорноморському флоті. Він не знімає її й тут, у Карпатах, будь-якої негоди. Восени і взимку.

Телефонує помічник Посла Росії, Сашко Заболотний. Він часто приїздив до нього на дачу з Віктором Степановичем Черномирдіним та Леонідом Даниловичем Кучмою. Привозили рідкісні делікатеси та «Лучше Водки хуже нет» найвищого розливу!

Нині Сашко Заболотний — помічник нового Посла Росії:

— Діти Черномирдіна, — каже він без всякого вступу, — телефонують Послу, щоб вас безпремінно запросили на панахиду і на поминальні сороковини Віктора Степановича як близького друга їхньої родини. Відспівування й панахида завтра об одинадцятій у Києво-Печерській лаврі. За Вами пришлють машину на дачу. Все. Кінець зв'язку! — телефон відключиться.

Настане тиша, яка буває тільки в Карпатах глухої осені або на початку зими. Тільки й чути далекий звук бензопили та сокири — хтось дорубує карпатські ліси.



«Ще одна болюча смерть! — подумає Сайгак.. І тут же поправить сам себе: — Навіть —дві смерті! Бо раніше за Віктора Степановича вмере його висока й величава дружина, красуня-співачка Валентина Федорівна. Та скільки ж тих смертей випадає на мою долю? — обуриться Сайгак. — Скільки на флоті і на фронті загине на моїх очах бойових друзів і командирів? А сучасність доганяє за смертністю Велику Вітчизняну війну. Невже Боги й справді вмерли, як твердив ще позаминулого століття Фрідріх Ніцше, і відвернули свої лица від нас! А диявол не дримає — він тут, як тут!»

2.

За Сайгаком пришлють завчасно в урочище під Києвом величезний, мов дредноут, джип «Міцубісі» із Президентського благодійного фонду «Україна» Леоніда Даниловича Кучми. До лаври вони приїдуть чи не першими, і заздалегідь виставлена охорона Посла Росії скаже водієві:

— Замкнете кортеж за джипом охорони. Тільки глядіть, не засидьтеся на старті! Бо кортеж йтиме на великій швидкості.

— Отут? — здивується водій, — На оцих крутоярах і крутосхилах?

Але начальник охорони, не слухаючи його і не помічаючи здивування, відходить і займає своє місце на в'їзді в Лавру.

Кортеж, переважно з «Мерседесів-600» та вертлявих джипів з охороною, несподівано увірветься в Лавру, як вихор! І вправний та досвідчений водій «Міцубісі» рвоне вслід за останньою машиною. Спадисті спуски й круті повороти на них, здається, зовсім не турбують висококласних водіїв стійких «Мерседесів», і вони, не збавляючи швидкості, несуться вниз та вниз, до самих печер, долаючи вузькі проїзди в гранітних огорожах, невідомо для чого вибудованих тут давно-давно! Ще коли й нас на світі не було.

Перед одним з таких вузьких проїздів водій «Міцубісі» різко гальмує, зупиняється.

— Вибачайте, — скаже він Сайгакові.

— Тут я не проїду, щоб не зачепитися за огорожу широкими бортами свого джипу. Хоч у вас і поранена нога — я бачу, як ви накульгуєте на неї, — але тут вже недалеко до найдревнішої церкви біля печер, де відправлять панахиду.

Сайгак вперше в житті відстоїть молебень, ведений єпископом Павлом, намісником Києво-Печерської Лаври. Єпископ читатиме прощальну проповідь під божественні хори Бортнянського, Березовського, Веделя, Рахманінова.



По закінченню панахиди Сайгака підхопить на своє авто експрем'єр Української РСР Масол, знятий з свого поста «революцією на граніті» — першою операцією ЦРУ проти України. І вони незабаром опиняться в глухому урочищі, неподалік від Аскольдової могили, в розкішному сучасному ресторані. Там подаватимуть такі делікатеси — холодні й гарячі, — яких Сайгак ніколи й не пробував!

Оскільки новий Посол Росії ще не знає «істеблїшменту» України, то поминальний обід вестиме його перший заступник — радник-посланник Всеволод Лоскутов. Екс-президент України Кучма відкриє поминальну трапезу чітким, як завжди, ясним і лаконічним словом.

Голова Верховної Ради України Литвин, виголосивши прощальний спіч, покине ресторан, ні до чого не доторкнувшись. Лоскутов надасть слово колишнім Прем'єрам України Масолу й Фокіну, Президентові Академії наук України Борисові Євгеновичу Патону, колегам з Посольства Росії. І нарешті, під самий кінець, схилиться до Сайгака, з яким сидить поруч, запитає, мабуть, для пристойності;

— Може, й ви скажете своє пам'ятне слово?

Сайгак підведеться із свого місця, постоїть, зробивши паузу, — не для того, щоб зібратися з думками, а щоб привернути увагу вже трохи захмелілих поминальників. Огляне зал і, несподівано скаже, як вистрільть:

— Забудьте вмерлих!

Зал оторопіє і замовкне. Бо тільки ж що всі говорили про те, що ніколи не забудуть Віктора Степановича Черномирдіна! А тут...

— ... закликають далекі й чужі нам релігії, — продовжить Сайгак, перевівши подих. — Наприклад — іудейська.

Він знову зробить довгу паузу, вслухаючись у тишу залу. Тиша — гробова! Якби в листопаді літали мухи, чути було б їхній політ.

— «Забудьте тих, кого забрала Земля!» — це вже заклик сінтоїстської релігії. Релігії японської, у надрах якої визріє і сформується «Шлях Бусідо» — «Шлях воїна-самурая», що зневажає життя своїх воїнів заради перемоги, і життя інших людей. — Скаже Сайгак без зупинки. — На наше щастя, християнська, особливо Православна, віра закликає шанувати і пам'ятати тих, хто полишає цей не дуже білий, але прекрасний світ! Згадуються найперше добрі діла небіжчика. Про які тут багато говорилося: як про Голову Уряду Росії, засновника «Газпрому» і керівника будівни-



цтва нафтопроводу «Дружба» з Уренгою в Європу та газопроводу в тому ж напрямку. Я ж хочу зупинити вашу увагу на якості Віктора Степановича, якої тут не торкалися. Про його любов до літератури і мистецтва, якої, на жаль, так бракує сучасним правителям України і Росії! За виключенням, можливо, Володимира Володимировича Путіна. Може, пам'ятаєте, Леоніде Даниловичу, як на ланчі з приводу нагороджених під час «Року Росії в Україні» директор кіностудії імені Довженка Мащенко спробує прочитати напам'ять вірш Шевченка, всього одну строфу, і ганебно зіб'ється, забувши. А Путін підведе голову від тарілки і прочитає замість нього чистою українською мовою, без жодного акценту:

*І день іде, і ніч іде, і, голову вхопивши в руки,
Дивуюся: чому не йде Апостол Правди і Науки?*

Я вже не раз говорив і писав, що літературу і мистецтво у нас в Україні викинуто вже й не на узбіччя життя, а навіть за його кювети! А Віктор Степанович любив культуру, зокрема літературу, не декларативно, а діяльно: видавав Бібліотеку «Всесвітня Поезія і Проза»! В першому томі — всі твори Пушкіна! В другому — всі твори Лермонтова! В третьому — всі твори Гоголя! В четвертому — всі чотири книги «Тихого Дону» Шолохова! А далі — грубезний том літописів Пімена й інших давньоруських літописців! Фактично — літописців тутешньої, Київської Русі! Бо Володимирська і Суздальська виникнуть набагато пізніше. Затим — три томи «Московії». Я не знаю, чи продовжать цю благородну справу його осиротілі сини. Чи люблять вони літературу, як любив її їхній батько? Бо Віктор Степанович навіть в застіллях — це підтвердить Леонід Данилович — проситиме:

— Сайгак! Ну, а теперь — Лермонтова! І я читатиму напам'ять знаменитий «Спор»:

*Вот у ног Ерусалима, Богом сожжена,
Безгранична, недвижима, мертвая страна!
Дальше, вечно чужды тени, моет желтый Нил
Раскаленные ступени царственных могил.
Бедуин забыл наезды для своих шатров
И поет, считая звезды, про дела отцов.
Посмотри: в тени чинары пены сладких вин
На узорные шальвары сонный льет грузин...
У жемчужного фонтана дремлет Тегеран.*

— На цьому я зупинюся, бо вірш довгий і прекрасний, мов сади Семіраміди! А Віктор Степанович хитає головою:



— Ну, вот давайте подумаем: как такое диво можно написать в семнадцать лет? Да еще в забытых Богом и людьми провинциальных Тарханах? Под присмотром строгой бабушки Арсеньевой, державшей внука в рамках Домостроя! В то время отец Юрий Петрович Лермонтов, капитан в отставке, оставит их ради новой семьи — в трехлетнем возрасте Миша лишится матери. Круглым сиротой рос наш будущий Гений!! За гневные, обличительные стихи «На смерть поэта» его сошлют на Кавказ, под пули чеченцев и Шамиля. Но его убьют «свои» на несправедной дуэли. У подножья Машука, по дороге к месту поединка, он купит у местных старушек кулечек только что созревших вишен, вытянет при жеребьевке билет на право первого выстрела. И в знак примирения выстрелит в ясное летнее небо, надеясь на ответную честность и порядочность оскорбленного в шутку, невзначай, майора Мартышова. Но достойный сын виноторговца хладнокровно подойдет к барьеру, тщательно прицелится и выстрелит ему прямо в сердце. В тот момент, когда Лермонтов, доставая из кулечка, ест вишни, считая размолвку исчерпанной!

Его злодейски убьют, может быть, по велению Царя! А может — по распоряжению шефа жандармского Третьего отделения Бенкендорфа. Убьют на 27-м году жизни! Под видом дуэли лишат жизни Гения России, не меньшего, чем оплаканный им Пушкин, на смерть которого он напишет уничтожающий памфлет на правителей России. Лишат жизни враги России! Сколько истинных гениев мы утратим только в XIX столетии?! Пушкина тоже подло убьют иноземные гомосексуалисты в 37! В Тегеране восставшая, озверевшая толпа разорвет в клочья 25-летнего Посла России, автора «Горе от ума» Грибоедова. Есенина повесит в «Англетере» в 1925-м — 30-летним! — тот самый Блюмкин, который по приказу Троцкого застрелит Посла Германии Мирбаха, чтобы сорвать Брестский мир, задуманный Лениным. А Павла Васильева — в 24 убьют в тюрьме обломком трубы. В запертом на ключ кабинете начальника «Крестов!» Утраты колоссальные! А литература русская — Величайшая в мире! Самая милосердная! Народнейшая из всех литератур!

Так он думал, Виктор Степанович. З этими думами, я уверен, он и умрет. Царство ему Небесное. Немного таких людей во всей Великой России! Да й в мире — тоже... І тут зривається з місця витриманий, завжди толерантний Леонід Данилович: — Товариство! — гукне він українською мовою, забувши, що поминальний



обід веде Посольство Росії. А потім вибачиться й перейде на російську: — Это — человек-легенда! — кивне на Сайгака.

— Подойдите к Леониду Даниловичу, — схилившись, шепне Сайгакові незворушний Лоскутов. — Да не з соком же! Не с соком! — гукне на весь голос. — Поминаем же по-настоящему!

Сайгак повертається до столу, бере свій незайманий келих з горілкою на денці — так наливають «по протоколу» — і йде до Леоніда Даниловича. А той тим часом пояснює:

— Сайгак брал со своей штурмовой группой Главный штаб ВМС Германии, выручая заблокированного эсесовцами командира 101-го гвардейского полка подполковника Андреева й начальника штаба дивизии майора Подрубенко, полковое знамя, награды и штабные документы! Эсесовцы проникнут в наш тыл подземными коммуникациями из Тиргартена. Сайгак будет убит эсесовцем очередью «шмайсера» почти в упор 28 апреля, за два дня до капитуляции Берлинского гарнизона. А придет в сознание лишь 9 мая. В День Победы!

І тут до Сайгака підійде молодий, інтелігентний чоловік у гарному, вишуканому сірому костюмі, цокнеться з ним напівпорожнім келихом, а потім мовчки обніме його.

— Сайгак! — вигукне завжди стриманий Леонід Данилович. — Вас обнимает новый Посол России! Випивши з Послом одночасно, Сайгак милується ним, а потім каже:

— Именно таким интеллигентным и элегантным и должен быть Посол Великой России, Сэр!

— Благодарю, — Посол круто розвертається й йде на своє місце.

... Поминальний обід чи, по-народному, сороковини закінчаться пізнього вечора. Леонід Данилович з Людмилою Миколаївною, як завжди в таких випадках, щезнуть швидко, тихо й непомітно. Одягаючи свою дублянку, Сайгак оглянеться: хто б його одвіз в урочище? І помітить Сашу Заболотного.

— Підкинете мене в мої дрімучі ліси, Сашо?

— А як же! Тільки мені тут треба дещо завершити...

Але цієї ж миті, немов з-під землі, виникнуть перед Сайгаком Начальник охорони Леоніда Даниловича — Василь Васильович, вродливий, навіть на вигляд натренований, стрункий, легкий і невимушений в рухах, — і водій Людмили Миколаївни Михайло — добрий, завжди усміхнений і скромний здоровань.

— Ми — за вами, Сайгаче, — тихо скаже Василь Васильович.

— Хто вас прислав? Леонід Данилович?



Василь Васильович мовчки схилиє голову. З-під лоба зирить на Михайла:

— Хай він скаже. Мені не положено. За Статутом.

— Людмила Миколаївна, як тільки вийшла з машини, каже мені: «Негайно їдьте за Сайгаком. А то покинули його в лісі, наче забули: «З очей зник — з пам'яті — геть?»

— А чому шлють самого Начальника охорони? Мені щось загрожує?

— Глупа ніч, знаєте... — тихо скаже Василь Васильович, і Сайгакові захочеться його обняти — так він схожий на Сухова, на юних його фронтових друзів, які майже всі загинуть на його очах у Берлінському полум'ї, артилерійському та кулеметному вогні.

Та й урочище ваше дике й пусте. Мало що може статися? — докине начальник охорони.

Сайгакові завжди важко розставатися з такими товаришами. Вони привезуть його під самий поріг його двоповерхової порожньої дачі, проведуть до дверей, навіть відімкнуть їх при світлі «Мерседеса-600». Але Сайгак зупиниться на порозі своєї «обителі дальньої», холодної і пустої, наміряючись їх провести. Хоча б до воріт.

— Ніколи, ніколи! — незвично різко відповість Василь Васильович. — Нас чекають у Кончі-Заспі! На добраніч! — і за «Мерседесом» тільки зів'яле листя завихриться...

І Сайгак знову лишиться один. Наче й не було ні панахиди, ні поминок, ні його схвильованого виступу на поминальному обіді.

І нікому вже Сайгак не читатиме так захоплено «Спор» Лермонтова, як читав напам'ять із завмиранням серця Вікторові Степановичу й Леонідові Даниловичу!

Ранком він вилетить у свою знімальну групу.

3.

По чотирьох місяцях фільмування на натурі в незносних гірських умовах Карпат, де сніг і мороз по кілька разів на день безперервно міняються, Сайгак, повернеться у Київ напередодні Нового року. Він уперше з'явиться на людях, здичавілий від роботи й самотності.

Навіть «засвітиться» (що рідко буває) на щорічних іменинних зборах свого земляцтва. І коли йому, несподівано нададуть слово на урочистих зборах, висловить увесь свій біль про недосконалість сучасного світового «порядку», про економічні й фінансові злочини правителів України — оцієї самозваної «еліти» з шахраїв і зло-



діїв, — що вкрали й привласнили всі надра, землю, всю індустрію, незаконно «прихватувавши» народне добро! Індустрію, окипілу кров'ю нашому люду, — в недоїданні, недосипанні, в голоді й холоді! Грабарками, ломами й лопатами, кіньми й волами наші батьки й діди збудують за десять років тисячі металургійних та машинобудівних заводів, гірничо-збагачувальних, хімічних комбінатів! Здійснюючи лаконічний і, як завжди, виразний і чіткий, зрозумілий кожному, заклик Сталіна на XII партійному з'їзді 1931 року: «Капиталистические страны прошли свой путь индустриализации, за счет ограбления колоний, на протяжении 100 лет! А мы должны совершить зтот рывок своими силами и средствами за 10 лет! Или мы это сделаем, или нас сомнут!» Коротше і ясніше не скажеш! І Сталін зумів з допомогою Комуністичної партії підняти всі народи СРСР на небачену й нечувану височінь будівельного ентузіазму!

А зараз, панове «патрійоти», «демократи», русофоби й антирадянщики? Що ви і ваші ідейні та партійні однодумці збудували за 20 (Двадцять!) років «Незалежності»? Хто вас підтримає, якби ви й надумали щось грандіозне будувати? Ви ж — чужі українському народові своїми націоналістичними і навіть нацистськими гаслами та переконаннями! «Україна — для українців?» — кажете ви? А 11 мільйонів росіян, що живуть тут з діда-прадіда, — це не люди, не громадяни? Ви хочете окупувати Галичиною Всю Велику Шевченкову Україну? Нав'язати їй свою нацистсько-фашистську ідеологію? Ніколи — зятяте навіки — НІ — КО — ЛИ! — цього злочину вам не вдасться здійснити! Вовіки віків не одірвете ви генетичних, істинних українців від братів по Київській Русі!

«Знову збиваюся на цю болючу тему, що мучить мене», — подумає Сайгак.

Але йому ніяк не вдається втілити цю тему без лобової ідеології та політики в істинно художній сценарій, щоб потім зняти по ньому фільм!

«Але повернусь, — подумає він, — до Сталіна від цих пігмеїв і нікчем, які нині правлять Україною. За виключенням Кучми — менеджера і професіонала. Він би і за Сталіна виділявся б своїми організаторськими здібностями, вимогливістю, дисципліною та феноменальним талантом керівника найновітнішого ракетобудування! Отже — Сталін!»

Ще сидять в Президії з'їзду його люті вороги: члени Політбюро Каменев, Зінов'єв, Бухарін, Ейхе, Риков — вся інша троцькістська «рать»! Як зараз і досі у нас «сидять на духовності й культурі»



бандерівсько-галичанські окупанти Великої України, від яких не продихнути! Нічого путнього не зробити! Бо вони засліплені ненавистю до «совітів», до всього Радянського минулого, яке їх вигодувало, дало їм вищу освіту на свою голову, яке видавало їхні книжки такими масовими тиражами, що тепер нікому й не снять-ся!

Будували письменницькі будинки в центрі Києва і давали безплатні квартири. А тепер письменники стали найвідчайдушнішими антирадянщиками, антикомуністами та русофобами, ніби блекотою отруїлися. Та чому ж дивуватися? Коли головний комуністичний ідеолог ЦК КПУ став перевертнем і підписав у Беловезькій пущі, які тат вночі, вирок Радянському Союзу, а п'ятий Єльцин тут же телефонує Бушу і доповідає не своєму народові, а президентові США про ці «доблесті і славу» по розвалу Великої Держави!?

Сайгак саме про це й знімає свій фільм! Та не знає, чи затвердять його? Чи візьмуть у прокат? Чи допустять до глядача? Чи й далі крутитимуть «Молитву за гетьмана «Мазепу», підданого анафемі зрадника, відлученого від церкви?!

Зал, де сидить щонайменше 500 чоловік, затаїть дихання.

— Але це ще не все, — продовжить Сайгак. — Вкрадені у народу і в України заводи і комбінати промисловці й підприємці, за вашою спиною, шановний Анатолію Кириловичу, реєструють в інших, чужих країнах! І вся «прибавочная стоимость», за Марксом, іде туди — в ті країни, в їхню економіку! Через рахунки в банках, відкриті на імена ваших підлеглих. Йде туди й затримувана місяцями, а то й роками заробітна плата робітників та інженерних працівників.. За таких умов ніякий Президент — навіть Леонід Кучма з його менеджерським досвідом ракетобудівника — і жоден уряд не врятує й не підніме економіку України!

— В якій брехливій і підлій країні ми живемо? — вигукне Сайгак наболіле по довгих і гірких роздумах, завершуючи промову.

У відповідь півтисячна юрма дружно вдарить у долоні, навіть загукає щось схвальне, і Сайгак згадає, яку овацію влаштує в далекому 31-му з'їзді партії Сталіну в присутності його ворогів! І подумає про неприпустимість будь-якої аналогії: не та ситуація, не ті масштаби! Проте, в його душі й пам'яті щось ворухнеться, і він навіть зніяковіє.

І раптом побачить на трибуні, поряд із собою, Кінаха! «Коли ж він устиг так швидко злетіти на трибуну?» — встигне подумати Сайгак, опинившись в його обіймах.



Анатолій Кирилович розцілує його в обидві щоки перед усім залом і сам заплодує йому разом в усіма.

«Значить, і він проти цього варварства! — подумає Сайгак. — Бо його нувориші давно навчилися всі звинувачення струшувати з себе, як гуси воду. Вода ж до гусей не пристає!» Кінах тут же, біля трибуни, візьме його під руку й поведе в ресторан, за сервірований для святкового фуршету стіл, посадить поруч з собою в центрі Правління земляцтва, в яке Сайгак ніколи не входив. Бо в кінорежисера на такі дрібниці часу не вистачає. Чемний і ввічливий экс-секретар ЦК компартії України Погребняк з готовністю пересяде на сусідній стілець, і вони опиняться з Кінахом поруч. Прихилившись лобом до лоба Сайгака, Анатолій Кирилович шепне йому на вухо:

— Те, про що ви так палко й справедливо говорили, на жаль, є не що інше, як світова практика! І в мене немає важелів, щоб впливати на такі глобальні процеси. А почали оцю ганебну практику американці, відновивши з нуля промисловість Німеччини з приходом Гітлера до влади. Це вони збудували на свої капітали гарматні заводи Круппа і сталеливарні Тіссена, могутній хімкомбінат «Фарбеніндустрі», електричний концерн «Сіменс-Шукерт». Та й гроші на знамениті німецькі автобанни виділяли вони, американці, рятуючи Німеччину від безробіття, забезпечуючи платіжну спроможність населення, без якої економіка мертвіє, а то й умирає — не може розвиватися. І все це зареєструють і залишать в Німеччині, на користь Гітлерові! Взявши з нього лише безпроцентний кредит. Бо ж готували його вже тоді, на початку тридцятих, проти нас! Ви це знаєте не гірше за мене, знявши не один воєнний фільм. Не лише про наших солдатів, офіцерів і полководців: Жукова, Конєва, Василевського, Черняхівського перед танковою битвою, найграндіознішою за всю Другу світову війну, під Прохорівкою. А й про німецьких солдатів та офіцерів. Навіть про фельдмаршалів: Рунштедта, Манштейна, Роммеля, генерал-полковників Гальдера, Гудеріана, Йодля. Аж до кабінетів Сталіна, Черчилля, Рузвельта, Гітлера, де вирішувалася доля всіх битв, їхня підготовка та планування їх. Я горджуся знайомством з вами! Захоплений вашою прямоотою і вболіванням за Україну!

«Що ж відповіси йому на це?», — подумає Сайгак. А вголос скаже:

— То давайте вип'ємо не червоного вина, як ви, звичайно, п'єте «по протоколу», пригублюючи. А коньяку, як належить справжнім мужчинам.



— Давайте! — рішуче змахнувши рукою, погоджується Кінах. І офіціантка, стоячи за їхніми спинами, спритно налле їм обом по келиху «Hennessi»,

— За що п'ємо? — питає Головуючий. — За дружбу?

— Можна й за дружбу, — погоджується Сайгак. — Але сьогодні, 19 грудня, в День Святого Миколая — покровителя всіх мандрівників, а найперше — мореплавців — слід випити за те, щоб Україна впливла нарешті з болота корупції і тотального розкрадання!

А в душі й пам'яті зрине знову дивний реквієм єдиної сурми над злим і пустельним Баренцовим морем, у якому затоне атомний підводний крейсер «Курськ»: «Ту — ту — у, Ту — у — ту — у — ту — у. Ту — у — ту — у — ту — у — ту — у. Ту — у — ту — у — ту — у — у... - над погибельними, свинцевими хвилями Баренцового моря листопадової, глухої пори. «Без американців там не обійшлося, — знову подумає Сайгак. — Мене, колишнього підводника, ніякі експертні комісії, спеціалісти-догідники, як і жодна інформація не переконають, що янкі тут ні при чому! Це їхнє підле діло! Бо, коли норвежці піднімуть «Курськ» з мертвим екіпажем на борту і поставлять у сухий док, в його зовнішньому корпусі виявлять вм'ятину. Значить, такий самий американський підводний крейсер зістикується з ним, щоб послати імпульс у його замкнений простір через метал і підірвати торпеду, не поставлену на бойовий взвод».

— Згода! — гукне Головуючий звідкись здалеку, де лишиться Путін серед вмлїваючих від горя й туги за втраченими красенями-чоловіками жінок, ніби забутих у своєму горі усім світом! — І, дзенькнувши об келих Сайгака своїм келихом, випиває коньяк до дна!

За третім келихом Кінах шепне Сайгакові:

— Здається, я починаю п'яніти. А мені сьогодні треба відзначати вісімдесятиліття дуже близької й дорогої для мене людини. Я вже сказав, кому вести далі вечір. Сам же піду тихцем, за англійським звичаєм, не прощаючись ні з ким. І ви не видайте мене перед земляками.

— Ніколи не зраджував і не підводив друзів! Ні на війні, ні в кінематографі...

І тут раптом підходить до столу і, перебиваючи Сайгака, подає йому руку до танцю елегантна, висока й струнка дівчина яскравої циганкуватої вроди, що впадає одразу ж в око. «А потім стоїть в очу», сказав би Павличко.



А від оркестру гримить з мікрофрона гарно поставлений і наповнений баритон:

— На честь Сайгака — його улюблена пісня «Білий лебідь»!

Головуючий здивовано гляне на дівчину, потім на Сайгака, усміхнеться порозуміло, стисне йому лікоть і попрямує до виходу.

Але що за пісня? Так бере за серце, як Толстого брала циганська безсмертна: «Ой да не Вече-ерня -ая... Не Вече-е-ерня-а-а-а заря-а-а-а...» — Заводить басом «циганський барон». А хор многоголоссям підхоплює: «Ой да не Вече-е-ерня-ая-а-а заря-а-а-а... спотуха-а-ала-а-а...». Так що вона навіки лишиться в усіх спектаклях за п'єсою Льва Толстого «Живой труп». І навіть у фільмі, де Смоктуновський гратиме Альошу Протасова і жалібно проситиме циганів: « Ну, а теперь — «Невечернюю...»

Але його ніхто не слухатиме й не чутиме, доки цю пісню не замовить багатий гість.

І Сайгак, вийшовши із-за столу, не візьме незнайому дівчину за талію, як водиться. А піде чомусь, сам не тямлячи чому, прямо на неї, з тим самим гнівним виразом на обличчі, який у нього був на трибуні.

А вона стоїть і не ворухнеться, чекає його наближення — юна, свіжа, вродлива і така предивно-чиста, як сльоза! Тендітна, як сама Краса чи Врода. І коли Сайгак наблизиться впритул, майже торкнувшись її тендітного плеча, вона легко, граційно, пластично й невимушено, мов вихор на степовій дорозі, крутнеться в дивовижному піруеті навколо нього і, вийшовши із-за його спини, рішуче візьме його праву руку своєю випростаною лівою — так що й він випростає свою, і вона, а не він, спрямує їхній танок, як це буває тільки в полонезі, прямо до оркестру і співака, котрий «Білим лебедем», його могутніми крильми та ніжним лебединим пухом стелить їм дорогу до Бога, до музики, до радості і щастя. Вони обоє вклоняться співакові — солістові одного із столичних ВІА, який за пояс заткне й Кіркорова, і теперішню Аллу Борисівну, всіх «розкручених» московськими «віртуозами шоу-бізнеса» безголосих співаків! А «Білий лебідь» зніме з душі Сайгака втому і весь накип прагматичної, лукавої, а тому — брехливої й бездуховної сучасності, із-за п'єми й куряви якої заясніє йому Золота наша Радянська ера, коли всі ми були братами й сестрами однієї Матері-Вітчизни — Великого Радянського Союзу!

Зараз йому здасться, що «Курськ» саме з неї й вийшов, з тої золотої Радянської ери, сповненої ентузіазму і творчості, пере-



вершивши американців! За що вони і втоплять його якимись хитрими, підлими установками, викликавши вибух торпеди в середині підводного крейсера. Хіба ж про це скажеш незнайомій дівчині? Чи будь-кому? Всіх відучили думати, замислюватися над своїм минулим, порівнювати з ним сучасне виживання під гнітом МВФ. Під орудою бездарних правителів забуваємо мріяти про майбутнє...

Мелодія «Білого лебедя піднімає з глибин душі й пам'яті Сайгака всіх загиблих на його очах фронтових товаришів і командирів, вогонь і кулеметні черги на Фрідріхштрассе 28 квітня 1945 року, де його й самого вб'ють. І він виживе якимсь дивним чином, невідомо для чого.

Теплий Берлінський дощик омиватиме його палаюче від внутрішнього жару лице, ніби його окроплятимуть в церкві батюшки чи Благочинні, мов у купелі для новонароджених. Або благословляють після смертовбивства есесівською автоматною чергою майже в упор на довге життя. Йому знову згадається улюблений командир мінометної батареї Сухов, убитий на Темпельгофському аеродромі дальньою, потужною чергою «МО-42», і Блінніков, зрубаний автоматною чергою, як тільки вискочить на підвіконня розбитої вітрини універмагу, в якому повно було знаменитих німецьких акордеонів, ніби для глуму над війною і смертю. Згадається й убитий при прориві за Віслою начальник штабу третього батальйону капітан Лучин - красунь москвич, ровесник, скоцюрблений на дні траншеї, коли Сайгака приведе туди ще живий старший лейтенант Сухов, щоб глянути на нього востаннє й забрати документи й ордени. Лежатиме капітан Лучин на дні траншеї — маленький, коли на нього дивишся з бруствера, скоцюрблений. І вже забутий усіма, наче його ніколи й не було. Як же тут не згадати Редьярда Кіплінга?

Из всех беззащитных тварей земных
Мертвый солдат беззащитнее всех!

Згадаються й затонулі в Баренцовому морі моряки, мов рідні брати. І дивовижний реквієм однієї-єдиної сурми над ними, над холодним і чужим свинцевим морем...

А пісня лине! Пісня каже Сайгакові, що він ще живий, а навколо нього крутиться й вертиться не «шар голубой», як у тій непманській пісні, а молода, на диво пластична, строго вродлива дівчина чи молода жінка. Мало їх побувало в його житті, у знімальних кіногрупах? Але жодна не справляла на нього такого враження, не манила до себе й не заворожувала так, як оця зараз!



Це був не просто танець. Принаймні для нього. Це було Щастя! Була Радість, давно забута ним. І лишиться Щастям і Радістю назавжди? А хіба це можливо в цьому дикому, брехливому й лукавому світі прагматизму і грошолобства? Але вперше за вісім літ від смерті улюбленої дружини радісно осініться його охолота самотня душа. І ні про що інше в цю мить не хочеться думати і розмірковувати! Аби тільки Вона вилаась навколо нього! І це тривало довго-довго! І не припинялося!

Він знову піде на неї, вільну, відпущену, незалежну, навіть не доторкнувшись, виставить праве плече. Вона негайно, в одну мить, зробить граційний пірует, обернувшись на всі 360 градусів навколо себе, і підлетить до нього, підставляючи і своє тендітне праве плече. А потім з розгону – раз! – вдариться у його виставлене праве плече, ніби ждала чи передбачала цей несподіваний і непередбачуваний ні полонезом, ні яким іншим танцем жест. В її інтуїції таїться невимовне диво – якась невловима й нерозгадана тайна.

Ще дивніше стане Сайгакові, коли вона, завершуючи пірует, посланий їй м'яким жестом руки, наблизиться впритул і раптом скаже йому так, що він відчує її пахуче дихання на губах:

— Ви – геній!

Цієї ж миті Сайгак згадає, як падатиме поруч з ним і той есеївець, що зрубає його з «шмайсера», вцілений ним випадково, коли кулі, влучені в нього, розвернуть його в польоті. І його підсвідомо, інтуїтивна, як завжди в ближнім бою, черга з «ППШ» прошиє есеївцю лице і груди.

— Не розкидайтеся такими високими словами! — Скаже він їй суворо, ніби щойно повернувшись з того ближнього бою на Фрідріхштрассе.

Вона сміливо гляне йому зблизька в очі і, завершивши навколо нього черговий граційний пірует, впевнено відповість:

— Я ніколи не розкидаюся словами! А тим більш — похвалами. А ваші фільми люблю з дитинства. Ще з школи. Тому ви для мене — геній. От і все.

4.

Тільки зараз Сайгак, ніби прокинувшись з летаргічного сну від її чарів, помічає: всі, хто танцював, зупиняться. І всі, хто сидить за столами, з подивом дивляться, як вони танцюють — єдині у великому залі ресторану.

Вони дивуються? — питає дівчину, до якої й досі навіть не доторкнувся, але яка увійшла в його душу, здається, назавжди.



Вони милуються нашим танцем, — відповідає Вона так впевнено, ніби вже взяла у всіх інтерв'ю. — А може, й трохи дивуються. Ви ж не часто танцюєте на таких вечорах земляцтва із своєю тяжко пораненою ногою?

Облишмо розмову про моє поранення! — знову розсердиться Сайгак. — Скажіть краще своє ім'я та прізвище. Я його запам'ятаю... А Вас не забуду ніколи!

За танець?

І за танець, на який ви мене запросили, мабуть, за мій сміливий і визивний виступ.

І за те, що я ніколи, ні з ким ТАК не танцював, як сьогодні з вами. Навіть не підозрював у собі таких здібностей.

— Чому?

Тому, що закохався у вас з першого погляду! Як тільки ви підійшли. А в танці — ще більше...

Вона раптом зупиняється, довго дивиться йому у вічі і тихо каже: Я — теж закохалась у вас. А може, люблю вас з дитинства. За ваші талановиті і дуже людяні фільми. Не знаю й сама... — вона назве своє дівоче прізвище, яке не поміняє, вийшовши заміж.

Ви — угорка? Я люблю 2-гу симфонію Ференца Ліста і Перший угорський танець Брамса. А Ви? Ви любите Брамса?

Ви що? Цитуєте Франсуазу Саган? У неї є роман під такою назвою: «Ви любите Брамса?». А як же його не любити? — і вона тихо проспівває йому, коли змовкне співак, оркестр, і «білий лебідь» згорне свої крила й замре, мотив Першого угорського танцю Брамса:

«В степь умчался Данко мой лихой, Не простился милый мой со мной...» Сайгакові до сердечного болю захочеться обняти й розцілувати її! Але тут до нього підійдуть хлопці, які привезли його на цей вечір з глухого урочища, де він живе літо й зиму.

Сайгаче! Ми за вами. !

« — Поїдем, кохана, у ліс? » — є такий вірш у Платона Воронька, якого вже забули, як усіх тепер забувають. А дівчина відповідає йому: « — У лісі ще холодно, друже! » « — Не дуже, кохана, не дуже... ». Так поїдемо в моє дике й пустельне урочище? — питає він чудо-дівчину, не вірячи, що розставання вже настає — так жорстоко і безжально, як і сам цей жорстокий і не дуже білий світ.

— Вона мовчки, тим самим довгим поглядом дивиться на нього, а він тоне і тане в її погляді, в її очах! І, може, саме в цю мить, пройшовши Крим, і Рим, і мідні труби, тільки зараз згадає всю глибину, радість і згубу, що означає для самотнього чоловіка улюблена Жінчина!



— Ні, — нарешті видавлює вона з себе. — Я тут з мамою.

— То представте мене своїй матінці. Я побачу, хто вас, отаку дивну, отаку вродливу й елегантну народив!

— Тепер ви перебільшуєте. Значить, ми — квити! — Вона бере Сайгака під руку, підводить до величавої Матрони в чорному, що сидить непоруще за столом і дивиться на них, ласкаво всміхаючись.

Ви гарно танцювали, — скаже вона Сайгакові, подаючи йому пухку й білу руку. — Я ще й не бачила, щоб отак танцювали. Це — щось більше за танець. Може, міні-спектакль Радості і Щастя?

— Спасибі вам, що народили отаке диво! — киває Сайгак на зняковілу дівчину. Сайгаче! Пора! — гучно, по-флотськи, кричить йому через увесь зал Генеральний директор земляцтва, замінівши Кінаха. Я вас проведу, — схиляє голову дівчина.

Жодних проводжань! — вигукне Сайгак. — У нашому роду, вибитому на війні, не любили проводжань. І я не люблю. Вони завжди приносять нещастя.

Вона знову схиляє голову, круто розвертається і йде до матері. А Сайгак чує душею, а не усвідомлює розумом, як віддаляється від нього, разом з нею, Вічність, яку він сьогодні відчув зовсім поруч. І Краса, яка врятує світ, за твердженням Достоевського.

5.

Всю дорогу додому — через ліси, повз санаторій «Конча-Заспа», Урядові дачі — Сайгакові маряться її очі. Чується її тихий і ніжний голос, трохи ніби зняковілий і цнотливий, сповнений щирості й розуму, радості і співчуття. Ввижається її тонкий і красивий стан, її елегантна постать. І задума в очах. І чисто українська заміря... .

«Як же мені тепер бути без неї? — думає Сайгак, піднявши комір своєї вишуканої дублянки і загородившись від водія та охоронця, для чогось посланого з ним. — А як житиме Сталін без своєї Наді Алілуєвої, що застрелиться після його п'яного окрику під час застілля на честь Жовтневих свят на званому вечорі у Ворошилова: «Ну, ты, Сука! Пей! Чего сидишь, как привезенная?» Він, мабуть, ревнував її до Бухаріна, в Промакадемії якого вона працювала разом з Хрущовим. А може, й щось знав про це — у нього ж була своя, особиста, розвідка: нишпорила, вивідувала! Все знала про всіх! Тому він і переміг таких небезпечних і хитрих ворогів. Своїх. І — партійних. І був жорстоким, втративши контроль над собою.



Сталін того вечора повернеться додому пізно, добре випивши. І після того, як він засне у віддаленій кімнаті, Надя Алілуєва вистрелить собі в серце з браунінга, подарованого їй братом, невідомо для чого. Може, заздалегідь готувалась до цього, перекинувшись у стан його ворогів? А як Сталін прокинеться і почує таку страшну звістку? Що він переживе того ранку? А головне: він же молодим лишиться без дружини! Чи закохуватиметься він у когось? Ніколи ніяких чуток про це не було навіть в народі, який усе знає про своїх правителів — королів, царів, гетьманів, президентів, Генеральних секретарів.

Щоправда, промайне чутка про солістку Саратовського театру Лідію Ковальову — Народну Артистку СРСР, меццо-сопрано якої і Сайгака в дитинстві чарувало «Саратовськими страданиями».

Але була одна-єдина лірична — класична чи народна — пісня, яку та Лідія співала по радіо, а Сайгак чув у своєму глухому степовому селі. Слова забув зовсім! Мелодія ж і досі звучить у пам'яті й серці. Чи десь під серцем, в підсвідомості — невловна, ніжна й тонка. Тільки він не може її проспівати — хоч постійно чує в собі, десь у серці! Вона й зараз звучить там і навіртає на очі непрохані сльози розчуленості й ностальгії за тим, що ніколи вже не вернеться, доки світу й сонця! І дивним, невмотивованим і незрозумілим чином в'яжеться із Сталіним, і з тією недосяжною Лідією, як найінтимніший спогад степового дитинства!

Долинатимуть і в його степове село глухі й віддалені московські чутки, ніби Сталін, запросивши Лідію Ковальову після концерту у Великому театрі на ближню дачу, проситиме Кагановича:

— Лазарь Моисеевич! Не могли бы вы, как Нарком путей сообщения, задержать хотя бы на час поезд Москва-Саратов. У нас тут, понимаете, не окончен важный разговор с саратовскими товарищами.

— Будет сделано, товариш Сталин! — виструнчиться з телефонною трубкою біля вуха «залізний Нарком».

Сталін ніяк не міг розстатися з прекрасною Лідією? Правда це чи вигадки — хіба ж тепер дізнаєшся?

«А мені як тепер жити без моєї Мрії і Радості, такої довірливої і покірної в танці? Такої вродливої й елегантної, наче я ніколи й не бачив таких дівчат і жінок, — думає Сайгак, заколисуваний класним автомобілем на вибоях. — Без моєї чарівної партнерки в танці, котра стане мрією про щастя. Як жити? Світ без неї немилий!»

І піднімається з самісінького дна пам'яті чи серця Циганський «Хор у Яра», котрий на все життя зачарує молодого Толстого:



Ой да не вече-ерня-я-а... Не вече-ерня- я-а за-аря-а... спотуха-а-ала... Ой да не Вече-е-рня-а-я за-а ря-а спотуха-а-ала...»

Ця чарівна мелодія ніколи й не затухає в Сайгаковому серці — спалахує сумом за всім, що минуло й ніколи не вернеться, і наvertsає на очі непрохану сльозу.

«Що за чортівня?!» — розсердиться сам на себе Сайгак. Але не зможе угамувати хвилювання. Хоч би водій та охоронець не помітили! І відчуває: ця мука — надовго. А може, й на все життя, її очі, її задумливе лице, її граційна постать стоять у нього перед очима. Стоять і не проходять.

«А от цікаво: чи плакав коли-небудь Сталін? Та ще — за жінкою?» Досі таке диво не можна було ні припустити, ні уявити. Але тепер він би не здивувався, коли б почув від когось, що Сталін плакав за Надею Алілуєвою.

... Коли Сайгака висадять з авто, і він лишиться сам, з нетрів Великого Дніпрового Лугу озветься старий Вовцюга. Дике виття його лунає довго і тоскно, бере за душу нелюдською тугою.

«Ага, ти й досі тут, старий мій друже, — подумає Сайгак. — А я думав, тебе витурили звідси нахабні забудовники реліктових сосон і заповідних земель. Котрі за президентства Юшенка нашивали пісок з річечки Рогульки, будували котеджі і тут же продавали їх громадянам Ізраїлю, Арабських Еміратів — усім, хто більше заплатить...».

Подумавши отак, Сайгак не відчує ні звичного гніву, ні полегшення. А чекатиме вовчого виття, ніби для того, щоб і самому завити разом з ним з туги й відчаю! Хтось натякне йому, що вона заміжня. І на дуже високому рівні в театрі, як і її молодий чоловік. «То в які ж я двері ломлюся?» — спитає сам себе Сайгак, гірко всміхнувшись.

... І знову снитиметься йому тієї ночі, передсвітом, затонулий атомний підводний крейсер «Курськ», облишений нашими й голландськими водолазами без жодної надії на підняття чи врятування. Баренцове море котитиме на нього далекі й холодні, свинцево-сірі важкі листопадові хвилі далекої і неприкаяної Півночі. І ні чайки, ні альбатроса — нічого! Лише одна-єдина сурма тоскно ридає реквієм по затонулому з екіпажем атомному підводному крейсерові, потопленому (він певен!) американцями. Ніколи не уявлялося за все життя, що сурма може так сумно грати реквієм над пустельним і холодним морем! Ридання і вранці рвуть йому серце — за Нею, за загиблим екіпажем, за вбитими на його очах фронтовими друзями й командирами. І раптом зовсім по-новому



зазвучить в серці й пам'яті пісня Окуджави з геніального фільму Мотиля «Біле сонце пустелі». Ніби оновиться по смерті Булата:

«Ваше благородне, госпожа удача! Для других вы добрая, а ко мне — иначе... Девять граммов в сердце постой, не зови! Не везет мне в смерти — повезет в любви...

Доки вони йтимуть до її матері, він чомусь проспівав їй саме ці дивні слова. А вона раптом продовжить, ніби чекала цієї пісні:

– Ваше благородное, госпожа чужбина! Крепко обнимала, только не любила...

Урве чистий і ясний спів, зупиниться й гляне на нього нерішуче. Ніби хоче щось сказати, а потім роздумає. І це здасться йому дивним і дуже важливим, як усе недомовлене..

Давно вже немає Окуджави. Немає і Мотиля. Немає Олесья Гончара, Загребельного, Зарудного, Земляка, Малишка — ще давніше! Немає братів Майбородів і Тютюнників, Сашка Білаша, Мишка Ткача — «Через Україну, через нашу хату вже качки летять...»

Може, саме через те, що їх нема і вже ніколи не буде, Сайгак відчуває себе покинутим і забутим? Як боцман чи бакенщик, списані на берег. Тому, мабуть, від останніх слів так стискається серце від передчуття неминучого розставання і з Нею? Бо що ж іще йому, крім розлуки, може послати найщедріша Доля?

А потім з дна пам'яті зринає: «А чи плакав коли-небудь Сталін?» Сайгак безмежно любить його й досі, як любив і присягав йому на війні, коли ми, за словами поета Саші Межирова: «Целовали шелка гвардейских знамен».

Що б про Сталіна не казали й не писали пігмеї, невігласи і його вороги чи мстиві потомки його ворогів, Сайгак вважає їх і своїми особистими ворогами! Цих брехунів, перевертнів і відступників...

Чи плакав коли-небудь Сталін? За Надею, що вистрілить собі в серце. За матір'ю, що вмре без нього, бо йому ніколи було приїхати й на її похорон...

За вікном починає світати. Сайгак помітить із заскленої веранди, як летючою тінню промайне свіжою порошею могутній Вовк з молоденькою вовчицею.

«О, вже десь здибав і «бере на абордаж!» — згадає Сайгак флотський гумор. — Мабуть, у вовків саме зараз, серед зими, шлюбна пора. А раз так, то вовчиця й сама по нюху знайде його — сильного, могутнього. Хоч і старого, зате лютого, досвідченого в битвах за самицю. Цей захистить її від цілої зграї претендентів!



Вовки не нехтують старшими, як теперішня молодь: «Вони, мовляв, «не продвинуті». У вовків водять зграю і володарюють нею найдосвідченіші, найстарші».

За спиною в нього — він це знає — довгою верьовочкою в'ються його численні літа, що розділяють його з Нею непереборною перепonoю.. Хоч він і досі не відчуває свого віку. Але літа його лишаються з ним. Вони є, є! І нікуди не зникнуть, не дінуться!

«Прощання слов'янки» все ближчає й ближчає. А реквієм сурми лунає вже й не над Баренцовим морем, а в його серці. І йому здається, що — й над усією Україною, над усім слов'янством! Звучить і не перестає! Його знову починає душити плач.

«Та що за чортівня!» — розсердиться сам на себе Сайгак, злітаючи з ліжка.

За вікном падає тихий і лапятий сніг.

«Тиша і сніг», — згадається Сосюра. На все життя — тиша і сніг.

Без Неї...

Без друзів. Без Великого Радянського Союзу, розірваного й знищеного бездарами і зрадниками Єльциніми, Кравчуками, Шушкевичами. І «латентними агентами впливу», — як їх назве голова КДБ Крючков на останньому з'їзді народних депутатів СРСР.

А як жити без Держави, якій присягав? Хто-небудь замислювався? Усім ніколи... Ніколи? Чи не тямлять, у якій країні живуть? І яку Велику й Справедливу — втратили?

Знову відчує Сайгак, як сльози безсилля застять йому зір. Зітхне і одвернеться од вікна і од світу...

*Конча-Озерна,
14 лютого 2011 року.*



Мене привезли в Центральний Науково-дослідний Клінічний Госпіталь імені Бурденка щойно з санітарного поїзда з Берліна. *Москва, червень 1945 року.*

Старша сестра госпіталя та дружина Академіка Вирубова з донькою вітають з приїздом в Москву.



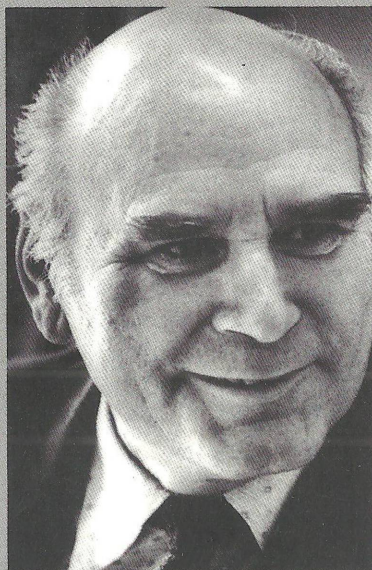
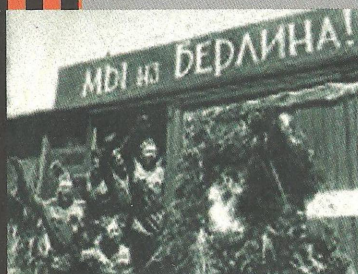
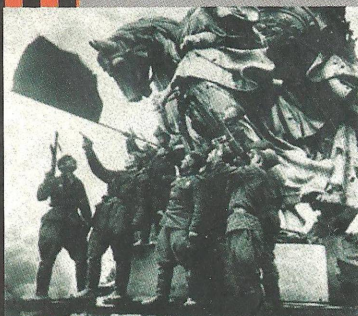
Москва, ЭГ-3447 на Дубровке, ноябрь 1945 год.

Я – в центре, сижу с прямой, негнущейся, только что освобожденной от гипса раненой ногой.

Мне 22-а года! Слева – мой лечащий врач Мария Михайловна Сотникова. Справа – начмед.

Госпиталя. Сзади – товарищи по несчастью.

Такие же раненые и такие же молодые!



Сизоненко Олександр Олександрович відомий український письменник і публіцист народився 20 вересня 1923 року в селі Новоолександрівка Баштанського району. Саме про нього сказав Павло Загребельний: «Проза Сизоненка має особливу тональність, Сизоненко не любить багато вигадувати, любить писати з натури. Усі його герої — це майже не вигадані люди...». Ця книга - свідчення про справедливість цих слів: не вигадані герої та події, в яких брав участь автор під час Великої Вітчизняної війни.